



Наталья Громова

Узел

СоРрvS

Поэты. Дружбы. Разрывы

Из литературного быта
конца 1920-х—1930-х годов

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Эллис Лак, 2006. — 685 с. — ISBN 978-5-17-095557-2.

Эта книга о судьбах поэтов в трагические 30-е годы на фоне жизни Москвы предвоенной поры. В центре повествования, основанного на ранее неизвестных архивных материалах и устных воспоминаниях М.И. Белкиной, Л.Б. Либединской и других современников тех лет, — судьбы поэтов, объединенных дружбой и близкими творческими позициями, но волей судеб оказавшихся на разных полюсах. Главные герои книги — Б. Пастернак, В. Луговской, Н. Тихонов, Д. Петровский, а также знаменитые и незаслуженно забытые поэты и писатели, без которых невозможно полно представить русскую литературу советской эпохи.

Table of Contents

[Annotation](#)

[Наталья Громова Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х-30-х годов](#)

[Предисловие ко второму изданию](#)

[Предисловие](#)

[Часть I Двадцатые годы: «...что в личностях таилось как набросок»](#)

[Московский быт: 1921–1926 годы. Приметы времени](#)

[Узлы и «узловцы»](#)

[Софья Парнок. Вполголоса](#)

[Александр Ромм: из рассыпанного поколения](#)

[Из одного «Узла». Пастернак](#)

[Петровский. «Наследник традиции поэтического безумия»](#)

[Хлебников и Петровский](#)

[Пастернак и Петровский](#)

[Марика Гонта. Мертвый переулок](#)

[Исай Лежнев. Похождения главного редактора журнала «Россия»](#)

[Луговской. Первородный грех происхождения](#)

[Петровский и Луговской. «Поэты перешли на «ты»»](#)

[Пастернак и Тихонов](#)

[1927 год: макушка нэпа. Приметы времени](#)

[«Констры» и конструктивисты](#)

[Партия конструктивистов. Драка на все фронты](#)

[Корнелий Зелинский: менять «социальные маски»](#)

[Григорий Гаузер. «Вытравить из себя интеллигента»](#)

[Кризис глазами Луговского. «Возьми меня в переделку и брось, грохоча, вперед!»](#)

[О друзьях](#)

[Асеев и Пастернак. Эхо ЛЕФа](#)

[Петровский против Маяковского. Вариант пародийный](#)

[1929-й – год великого перелома. Приметы времени](#)

[Любовные лодки](#)

[«Самоубийца»](#)

[Смерть Маяковского](#)
[Прощание с поколением](#)
[Часть II Тридцатые годы](#)
[Начало. Приметы времени](#)
[«Организовали РАПП, разогнали РАПП...»](#)
[Рапповцы на страницах романа Бориса Левина «Юноша»](#)
[Фадеев и Луговской. «Жизнь улыбается эсквайрам»](#)
[Светлые люди РАППа: «Ложь» и «Страх» А. Афиногенова](#)
[Зинаида Нейгауз и Борис Пастернак](#)
[Сусанна Чернова и Владимир Луговской](#)
[Дом Герцена. Тверской бульвар, 25](#)
[О бытовом разложении](#)
[«Полезные писатели»: Павленко](#)
[1933 год. Дагестан. Тихонов, Луговской, Павленко. Предчувствие 1937-го](#)
[1933 год. Грузия. Пастернак и Тихонов](#)
[Поездка писателей на Беломорско-Балтийский канал](#)
[1934 год. Съезд писателей](#)
[Путешествие на Парижский конгресс, или Пастернак как Гамлет](#)
[Истинно верующие: комсомольский поэт Николай Дементьев](#)
[1936 год. Путешествие по Европе. Сельвинский, Луговской, Безыменский, Кирсанов](#)
[1936 год. Битва с формализмом](#)
[Сюжеты 1936 года. Путешествие Андре Жида в СССР](#)
[Петровский. Дни заката](#)
[Квартиры и дачи](#)
[Поэты: первое советское поколение](#)
[Хроника 1937 года](#)
[Угадывание знаков власти](#)
[Тень друга. Июнь – июль 1937 года](#)
[Гибель поэтов. Как это было](#)
[Афиногенов и Пастернак. Переделкинские встречи](#)
[Аресты и доносы](#)
[Смех и страх](#)
[Отношения писателей и чекистов как факт литературного быта](#)
[Конец тридцатых. «Мы находимся в руках фашистов...»](#)
[Тихонов. «Я тот, кого не беспокоят»](#)
[Писатели получают награды](#)
[«Потребность в прямом независимом слове...»](#)
[Эпилог. Без узлов](#)
[Приложения Письма, дневники, воспоминания](#)
[Письма\[421\]](#)
[Татьяна Луговская Записки\[446\]](#)
[Марика Гонта Из воспоминаний о Пастернаке\[447\]](#)
[Дм. Петровский Автобиография\[451\]](#)

Маргарита Алигер Дневники

Вклейка

Сноски

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)

[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)
[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)
[101](#)
[102](#)
[103](#)
[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)
[108](#)
[109](#)
[110](#)
[111](#)
[112](#)
[113](#)
[114](#)
[115](#)
[116](#)
[117](#)
[118](#)
[119](#)
[120](#)
[121](#)
[122](#)
[123](#)
[124](#)
[125](#)
[126](#)
[127](#)
[128](#)
[129](#)
[130](#)
[131](#)
[132](#)

[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)
[137](#)
[138](#)
[139](#)
[140](#)
[141](#)
[142](#)
[143](#)
[144](#)
[145](#)
[146](#)
[147](#)
[148](#)
[149](#)
[150](#)
[151](#)
[152](#)
[153](#)
[154](#)
[155](#)
[156](#)
[157](#)
[158](#)
[159](#)
[160](#)
[161](#)
[162](#)
[163](#)
[164](#)
[165](#)
[166](#)
[167](#)
[168](#)
[169](#)
[170](#)
[171](#)
[172](#)
[173](#)
[174](#)
[175](#)
[176](#)
[177](#)

[178](#)
[179](#)
[180](#)
[181](#)
[182](#)
[183](#)
[184](#)
[185](#)
[186](#)
[187](#)
[188](#)
[189](#)
[190](#)
[191](#)
[192](#)
[193](#)
[194](#)
[195](#)
[196](#)
[197](#)
[198](#)
[199](#)
[200](#)
[201](#)
[202](#)
[203](#)
[204](#)
[205](#)
[206](#)
[207](#)
[208](#)
[209](#)
[210](#)
[211](#)
[212](#)
[213](#)
[214](#)
[215](#)
[216](#)
[217](#)
[218](#)
[219](#)
[220](#)
[221](#)
[222](#)

[223](#)
[224](#)
[225](#)
[226](#)
[227](#)
[228](#)
[229](#)
[230](#)
[231](#)
[232](#)
[233](#)
[234](#)
[235](#)
[236](#)
[237](#)
[238](#)
[239](#)
[240](#)
[241](#)
[242](#)
[243](#)
[244](#)
[245](#)
[246](#)
[247](#)
[248](#)
[249](#)
[250](#)
[251](#)
[252](#)
[253](#)
[254](#)
[255](#)
[256](#)
[257](#)
[258](#)
[259](#)
[260](#)
[261](#)
[262](#)
[263](#)
[264](#)
[265](#)
[266](#)
[267](#)

[268](#)
[269](#)
[270](#)
[271](#)
[272](#)
[273](#)
[274](#)
[275](#)
[276](#)
[277](#)
[278](#)
[279](#)
[280](#)
[281](#)
[282](#)
[283](#)
[284](#)
[285](#)
[286](#)
[287](#)
[288](#)
[289](#)
[290](#)
[291](#)
[292](#)
[293](#)
[294](#)
[295](#)
[296](#)
[297](#)
[298](#)
[299](#)
[300](#)
[301](#)
[302](#)
[303](#)
[304](#)
[305](#)
[306](#)
[307](#)
[308](#)
[309](#)
[310](#)
[311](#)
[312](#)

[313](#)
[314](#)
[315](#)
[316](#)
[317](#)
[318](#)
[319](#)
[320](#)
[321](#)
[322](#)
[323](#)
[324](#)
[325](#)
[326](#)
[327](#)
[328](#)
[329](#)
[330](#)
[331](#)
[332](#)
[333](#)
[334](#)
[335](#)
[336](#)
[337](#)
[338](#)
[339](#)
[340](#)
[341](#)
[342](#)
[343](#)
[344](#)
[345](#)
[346](#)
[347](#)
[348](#)
[349](#)
[350](#)
[351](#)
[352](#)
[353](#)
[354](#)
[355](#)
[356](#)
[357](#)

[358](#)
[359](#)
[360](#)
[361](#)
[362](#)
[363](#)
[364](#)
[365](#)
[366](#)
[367](#)
[368](#)
[369](#)
[370](#)
[371](#)
[372](#)
[373](#)
[374](#)
[375](#)
[376](#)
[377](#)
[378](#)
[379](#)
[380](#)
[381](#)
[382](#)
[383](#)
[384](#)
[385](#)
[386](#)
[387](#)
[388](#)
[389](#)
[390](#)
[391](#)
[392](#)
[393](#)
[394](#)
[395](#)
[396](#)
[397](#)
[398](#)
[399](#)
[400](#)
[401](#)
[402](#)

[403](#)
[404](#)
[405](#)
[406](#)
[407](#)
[408](#)
[409](#)
[410](#)
[411](#)
[412](#)
[413](#)
[414](#)
[415](#)
[416](#)
[417](#)
[418](#)
[419](#)
[420](#)
[421](#)
[422](#)
[423](#)
[424](#)
[425](#)
[426](#)
[427](#)
[428](#)
[429](#)
[430](#)
[431](#)
[432](#)
[433](#)
[434](#)
[435](#)
[436](#)
[437](#)
[438](#)
[439](#)
[440](#)
[441](#)
[442](#)
[443](#)
[444](#)
[445](#)
[446](#)
[447](#)

[448](#)
[449](#)
[450](#)
[451](#)
[452](#)
[453](#)
[454](#)
[455](#)
[456](#)
[457](#)
[458](#)
[459](#)
[460](#)
[461](#)
[462](#)
[463](#)
[464](#)
[465](#)
[466](#)
[467](#)
[468](#)
[469](#)
[470](#)
[471](#)
[472](#)
[473](#)
[474](#)
[475](#)
[476](#)
[477](#)
[478](#)
[479](#)
[480](#)
[481](#)
[482](#)
[483](#)
[484](#)
[485](#)
[486](#)

Annotation

Эта книга о судьбах поэтов в трагические 30-е годы на фоне жизни Москвы предвоенной поры. В центре повествования, основанного на ранее неизвестных архивных материалах и устных воспоминаниях М. И. Белкиной, Л. Б. Либединской и других современников тех лет, – судьбы поэтов, объединенных дружбой и близкими творческими позициями, но волей судеб оказавшихся на разных полюсах. Главные герои книги – Б. Пастернак, В. Луговской, Н. Тихонов, Д. Петровский, а также знаменитые и незаслуженно забытые поэты и писатели, без которых невозможно полно представить русскую литературу советской эпохи. Издание переработанное и дополненное.

Наталья Громова

**Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из
литературного быта конца 20-х-30-х
годов**

© Н. Громова, 2006, 2016

© Н. Коржавин. Послесловие, 2006, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Издательство CORPUS ®

* * *

*Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветвь,
Найдут и воскресят.*

Б. Пастернак.

Безвременно умершему

Все, что со мной было в годы 1918–1922, я давно предчувствовал и выразил, твердя без конца строки З. Гиппиус:

Покой и тишь во мне.

Я волей круг свой сузил.

Но плачу я во сне,

Когда слабеет узел...

«Покой и тишь» – от «узла». О, как тихо в узле! Но рано или поздно уют узла пропадает: нет такого узла, который когда-либо кем-либо не был бы развязан или разрублен, и тогда... тогда узел оказывается веревкой. Она может служить бичом, плетью подгоняющей, ею можно связать и нанести раны. Ее можно привязать к крюку, к отдушине... И ее можно выбросить – и жить без веревок и без узлов.

С. Н. Дурылин

В своем углу. 22.VIII.1926

Предисловие ко второму изданию

Со времени выхода первого издания этой книги прошло десять лет. За это время тема советской литературной жизни и литературного быта перешла из маргинальной в центральную тему истории литературы. Это сделало работу с подобным материалом более ответственной. Вышло очень много новых исследований, появились новые источники. Во втором издании мне удалось поправить те неточности и ошибки, которые с неизбежностью появлялись, так как этой темой почти не занимались специалисты; отлакированные книги о советской жизни, выходившие прежде, конечно, не в счет. Я благодарна всем критикам, которые заставили меня двигаться к улучшению моей работы.

Благодаря циклу лекций об истории литературного быта 20–50-х годов, которые я прочитала по просьбе И. А. Ерисановой в музее Пастернака, удалось систематизировать и структурировать основные темы этой книги. Она дополнена новыми главами, и более точно прописаны отдельные сюжеты.

Огромную помощь мне оказала Елена Лурье, без которой не могло бы быть целого ряда моих книг и исследований.

Предисловие

О советской литературе 30-х годов осталась мрачная память, оттого, наверное, целое поколение литераторов выпало из внимания историков. Собственно, и сами современники тех лет, чудом пережив ту эпоху, пытались вспоминать о ней как можно меньше.

Но «пропущенные» времена – своего рода роковая точка, куда то и дело возвращаешься, они снова и снова напоминают о себе.

Литература Серебряного века и 20-х годов признана и оценена по достоинству. Поэты и писатели последующего поколения какое-то время продолжали думать и писать в традиции начала века. Прошлая эпоха, во всем своем многообразии, осенила и советских писателей тоже. Еще в конце 20-х присутствие прежней традиции ощущалось у Багрицкого, Сельвинского, Тихонова, Луговского, Лавренева, Фадеева и даже у молодых комсомольских поэтов, хотя порой они и не подозревали об этом.

Но прошлое разрушалось последовательно и целенаправленно, и даже память о нем становилась опасна.

«Разгром», «Разлом», «Железный поток», «Котлован», «Голый год», «Шум времени» – названия знаменитых повестей и романов 20–30-х годов. Главная тема этих книг – Время, которое потребовало от человека полного отречения от себя... Сначала во имя великой идеи, а затем во имя сильной власти.

Разлом прошел по человеческим душам. Что писать? Как остаться самим собой? Любить, иметь друзей? Ответа не было.

В этом повествовании мы попытаемся пройти вслед за литераторами, искавшими разные пути в советской действительности. И теми, кто приспособливался, и теми, кто прятался за переводы и писал «в стол», и теми, кто сопротивлялся и погибал, и теми, кто сломался.

Многие драмы того поколения писателей не могли попасть на страницы книг. Пожалуй, одному лишь Булгакову в потаенном романе «Мастер и Маргарита» удалось рассказать историю писателя 30-х годов, вынужденного выбирать между тюрьмой, сумасшествием и самоубийством.

Но реальность была еще трагичнее. Не было волшебных превращений, а до торжества справедливости оставались еще десятилетия...

«Искусство 20-х годов возникло из дружбы, – писал в дневнике Г. Козинцев. – Оно было неотъемлемо от дружбы. <...> Компании. Кружки. Объединения (ФЭКС, ЛЕФ). Потом Дома кино, худсовет. Большой худсовет. От дружбы к службе. От спора к инстанциям»^[1].

С конца 30-х яркие личности, некогда объединенные творчеством и дружбой, стали превращаться в унылых литературных чиновников, желчных обитателей переделкинских дач, спивающихся завсегдатаев ресторанов, гонимых одиночек, связанных только случайными воспоминаниями.

Что соединяло поэтов и что их разъединяло? Почему в 20-е годы слово «друг» звучит так же часто, как и в пушкинскую пору, и почему к концу 30-х оно вытеснено безликими отношениями товарищей по литературным собраниям?

Герои тех лет много раз менялись ролями, то из гонимых они превращались в гонителей, а то, наоборот, гонители превращались в изгоев. Так было с И. Сельвинским, Вс. Ивановым, В. Шкловским, Ю. Олешей, М. Алигер и другими.

В едином пространстве сосуществовали – М. Булгаков и В. Маяковский, А. Ахматова и А. Фадеев, Б. Пастернак и Н. Тихонов; объем жизни был полон самого настоящего, подлинного драматизма. Каждый день приходилось делать выбор. Нельзя сбрасывать со счетов и того, что большинство художников поначалу не чувствовали разрыва между временем и собой – понимание приходило постепенно, и те, кто понимал, какова реальность, и те, кто старался ничего не замечать, и те, кто считал, что они приспособились, – сидели в одной клетке под названием Союз советских писателей. Отрывки из дневников и писем, воспоминания и рассказы – это гул голосов, позволяющих услышать многоголосие времени, почувствовать интонацию людей того поколения.

Жизнь «плохих» и «хороших» литераторов нуждается в своем исследовании. Увидеть эту жизнь в контексте времени на основании сохранившихся устных рассказов, домашних преданий – очень важно, так как еще можно застать свидетелей тех лет. Остались рукописи, письма и дневники – в них след уничтоженных произведений, сломанных судеб.

Борис Пастернак, занимающий в книге одно из центральных мест, сострадательно называл некоторых героев той эпохи «немыми индивидами». Не потому, что они молчали, а потому, что потеряли самих себя, слились с массой.

Советские писатели занимали в течение нескольких десятилетий «не свои» места. Отнимали воздух у других, изгнанных, непечатаемых, сосланных. Переиздавая свои тома и собрания сочинений, теснили тех, кто существовал в самиздатовских перепечатках. Для многих, даже хороших, литераторов – публикации стали в конечном счете их приговором. За последнее десятилетие произошла реакция замещения, исторически справедливая, но приведшая к очередному перекосу в понимании объема литературной жизни.

В начале 30-х годов Сталин решает объединить писателей под общей крышей. И не только в творческой деятельности – в Союзе писателей, но и в быту. Критик К. Зелинский вспоминал, что на встрече у Горького в октябре 1932 года, после разгрома РАППа, Сталин говорит: «...писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую – все учреждения. Мы дадим на это средства». Главная мысль Сталина при этом была такой: «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы же производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар – души людей» (Зелинский замечает: «Помню, меня очень поразило это слово – «товар».»). – «Да, тоже важное производство, очень важное производство – души людей»^[2], – еще раз подтвердил Сталин.

Поначалу писателей селили в комнаты в знаменитом Доме Герцена («Грибоедове») на Тверском бульваре, начинающие пролетарские литераторы жили в общежитии на Покровке, 3, – это была еще демократическая юность советской литературы. Вскоре члены творческого союза получают квартиры на улице Фурманова, а с 1937 (!) года начнется заселение огромного писательского дома в Лаврушинском переулке.

Круг литераторов все теснее – они толкуются в ресторане Клуба писателей, на дачах в Переделкине, коллективно путешествуют, все больше убивают время на общих собраниях и пленумах.

В конце 30-х годов писательский улей жужжит почти единообразно – как большое и управляемое сообщество. Однако это лишь видимость. Официоз. Бытовая жизнь – с дружбой, любовью, разрывами – открывает подлинное лицо существования советской литературной среды. Отношения героев повествования были завязаны в сложный узел, в который вплетаются все новые и новые персонажи, отсюда и форма этой книги, где автор основных сюжетов – Время, по лабиринтам которого движутся судьбы литераторов.

На первый взгляд дружеская связь героев книги кажется произвольной: Б. Пастернак – Д. Петровский – Н. Тихонов – В. Луговской. У каждого из них были и иные друзья, и иные привязанности. Волны времени то прибывали их друг к другу, то разносили очень далеко. Была ли тут закономерность, и есть ли вообще закономерности в потерях? Воспоминания порой вытесняют имена бывших друзей; это естественно – ссора, разрыв или предательство (что для 30-х годов особенно характерно) делали свое дело, люди отпадали, а память о них затягивалась рубцами.

Но каждый из них вместе со страной прошел и свой особый путь. Смог уцелеть, сохранить жизнь в страшных условиях сталинского террора. Как они прожили те трагические десятилетия – теряя или обретая себя? В этом – главный сюжет книги.

Пастернак, друживший с Тихоновым в 20–30-е годы, не мог писать о нем в воспоминаниях 50-х, ему было тяжело видеть изменившегося

друга. А Луговской продолжал любить Тихонова; их роднила юношеская страсть к путешествиям и приключениям. «В эти страшные годы, что мы пережили, – говорил Б. Пастернак А. Тарасенкову в 1939-м, – я никого не хотел видеть, даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза»^[3].

Эти слова Пастернака отразили наступление новых времен, в которых уже не было места свободному выражению чувств и привязанностей.

Эта книга не могла получиться без усилий большого количества людей, каждый из которых помогал рассказами, документами, советами. Я признательна за рассказы и воспоминания – ушедшим Л. Б. Либединской и М. И. Белкиной, Е. Б. Пастернаку, М. В. Седовой (Луговской), за помощь, замечания и сочувствие к моей работе – Е. В. Пастернак, А. М. Туркову, Л. В. Голубкиной, С. Е. Фроловой, Ю. А. Лурье, Е. Б. Лурье (Бирюковой), Б. Е. Белкину, В. А. Передерию, Г. Ф. Комарову, обществу «Мемориал» (О. Блинкиной). За предоставленные документы – А. С. Коваленковой.

Орфография и синтаксис публикуемых архивных документов приведены к современным нормам русского языка, за исключением тех случаев, когда они представляют собой особенности стиля автора документа.

Часть I

Двадцатые годы: «...что в личностях таилось как набросок»

Московский быт: 1921-1926 годы. Приметы времени

*Сердце угрюмо стучит с утра,
Стучит, как лудильщик на черных дворах...*

В. Луговской

Москву той поры отличал плотный, неповторимый быт, из которого и возникали многие незабываемые тексты того времени. Его приметы как фрагменты огромной мозаики рассеяны по стихотворным строкам, рассказам, повестям и романам.

Столица шумела по-особому: с улицы то и дело слышались крики: «Чайники, самовары лудить, примуса починять!»; им вторили из дворов старьевщики-татары, тянущие свое: «Старье берьем! Старье берьем!», и точильщики: «Точить ножи, ножницы!»

На кухне царил примус. Именно на нем все готовилось: варилось, жарилось и парилось. Лавки по починке примусов были на каждом углу. Горелки примуса постоянно забивались, и их надо было прочищать тонкой проволоочкой, если же прочистить не удавалось, примус несли чинить в лавку. Образ булгаковского кота с примусом – карикатура на типичную фигуру тех лет. ««Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», – недружелюбно насупившись, проговорил кот», – это почти идиллическая картина жизни для советского обывателя периода нэпа.

В лавках не только чинили примусы, но и торговали керосином, которым примусы заправлялись. Булгаков в черновиках к «Мастеру» именует керосиновые лавки на более старинный лад – нефтелавками. Одна из них, в Сивцевом вражке, 22, появляется на страницах романа, где описан полет Маргариты над арбатскими переулками.

Она пронеслась по переулку и вылетела в другой, пересекавший первый. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружечками продают керосин и жидкость от клопов во флаконе...^[4]

Примусы и керосинки обычно выстраивались на кухне, на большой чугунной плите, которая в прежней жизни топилась дровами и углем, а в 20–30-е годы использовалась как кухонный стол.

В квартире на Староконюшенном, рассказывала Мария Владимировна Седова (Луговская), дочь поэта, жил рыжий, потрепанный кот Яшка, который очень любил котлеты. Когда на сковородке в шипящем масле жарились котлеты, а хозяева были далеко, он вставал на задние лапы и аккуратно, поддев когтем, скидывал котлету на пол. Потом некоторое время он валял ее по каменному кухонному полу, чтобы она остыла, и, урча, съедал. Соседка, ее звали Сысоиха, была убеждена, что котлеты воруют Луговские, и кричала об этом каждый раз на всю квартиру до тех пор, пока однажды преступный кот не был пойман с поличным. Про Сысоиху знали еще, что она пишет доносы. Из квартиры напротив исчезла семья поляков, которых она посадила, обвинив в том, что они из окна подают лампой сигналы шпионам. В действительности у семьи была лишь одна

настольная лампа, и каждый вечер на длинном шнуре ее переносили из одного угла комнаты в другой, отчего создавалось впечатление, что свет в окне мигает.

Переводчик Боккаччо и Пруста Н. Любимов так вспоминал Москву этих лет:

Еще существовали китайские прачечные. Китайцы торговали на Сухаревском толкучем рынке чаем, который в магазинах «выдавали» гомеопатическими дозами по карточкам. А на бульварах «ходи» торговали чертиками «уйди-уйди».

На углу Кузнецкого и Петровки играл слепой скрипач, в холода повязывавший голову платком. Его картуз лежал на тротуаре, и туда сердобольные прохожие бросали мелочь. В крытом проходе между Театральным проездом и Никольской, близ памятника Первопечатнику, просил милостыню бронзоволицый старик с седыми космами по плечам. На груди у него висела дощечка с надписью: «Герой Севастополя». По Кузнецкому мосту, по правой стороне, если идти от Тверской, важно шагал от Рождественки до Неглинки величественный еврей и убежденно картавил:

– Гарантированное срдство от мозолей, бородавок и пота ног!
Гарантированное срдство от мозолей, бородавок и пота ног!

Его перекрикивала разбитная бабенка – как видно, гроза своих соседей по квартире:

– Капсюли, капсюли для примусей! Капсюли, капсюли для примусей!

[5]

Чертики, пищавшие «уйди-уйди-у»,
Пузырились, высунув красные жала;
Цветными огнями их отражала
Асфальтированная земля.
Но по-над тучей Кремля,
Шахматную повторя ладью,
С галкой, устало прикрывшей веко,
Являла пейзаж X века.

И. Сельвинский. Пушторг

Зима и осень в Москве – время галош и ботишков, которые надевались прямо на туфли с каблуками. Особенно модными были фетровые ботинки.

Приход весны в город в стихотворении В. Луговского знаменует стук каблучков по асфальту:

Все женщины сняли галоши и боты.

Стучат каблуки. Продают тоску.

Самовар служил самым разным целям. Утром, растопив его щепочками и угольями (труба всегда выводилась в форточку), дожидались, пока он закипит, и опускали туда чистую наволочку с яйцами на две-три минуты. Так получались яйца всмятку.

Москва бурно разрасталась. После революции появилось множество новых учреждений. Прежняя Москва – низкая, с палисадниками и заборами, запущенными садами, возле которых в начале века выросли доходные дома, мало подходила на роль столицы огромного государства. В городе почти не было больших зданий и площадей, как в имперском Петрограде, где могли бы расселиться растущие день ото дня советские учреждения. Поэтому Москва трещала по швам. «Москва с размаху кувырнется наземь...» – писал в романе в стихах «Спекторский» Пастернак, и действительно, тот домашний город, который называли «большой деревней», уходил в прошлое.

Трехактное обозрение времени нэпа «Москва с точки зрения» на тему перенаселенности столицы открывало в 1924 году Московский театр сатиры. Авторами его были Н. Эрдман, В. Масс и В. Типот. Оно рассказывало о том, как в Москву приезжает семейство провинциалов, которое ищет квартиру, ходит на литературные диспуты, сдает экзамен по политграмоте. В комнате, которую они снимают, множество других жильцов, кто-то живет в умывальнике, кто-то в пианино, кто-то в шкафу, точнее, в каждом отделении шкафа: одежном, посудном и в нижнем ящике. Но гротескные сцены новой уплотненной Москвы выглядели абсолютно правдоподобно. Уплотненные квартиры, превращенные в многонаселенные коммуналки, стали на десятилетие одной из ведущих тем во всех областях искусства: от литературы до кинематографа.

Для того чтобы жители могли добираться от своих углов в коммуналках до места работы, по Москве протянули нити трамвайных путей. По городу задвигались переполненные трамваи, предупредительными звонками разгоняющие пешеходов. Трамвай надолго стал самым демократичным видом транспорта.

Семнадцатого ноября 1925 года в «Вечерней Москве» был опубликован очерк Веры Инбер «А.Б.В.» о трех трамвайных кольцах. В нем она делит москвичей на три части: одна – мечется по улицам, вторая – сидит дома, третья – стоит в трамваях (сидячих мест мало).

От Страстной площади «А», нагруженный как верблюд в пустыне, лезет к Трубе (Трубной площади), а оттуда медленно вползает к Сретенке. Его населяют портфели, кожаные кепи, куртки и иногда шубы. Население трамвая разное. Те, которые стоят в самом вагоне, и те, которые на площадке. Оба эти сословия ненавидят друг друга. Тем,

кто стоит на площадке, кажется, что вагон пуст, и они настойчиво требуют «продвинуться вперед». Стоящие внутри доказывают, что вагон не резиновый... До Покровских ворот трамвай «А» безумно переполнен. У Остоженки снова насядет народ... Кольцо «Б» проходит по рынкам... Здесь садятся армяки и тулупы, в руках корзины и кульки^[6].

На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки...

Н. Заболоцкий. Столбцы

Трамвайными петлями разрисована Москва в стихах Пастернака той поры и в «Двадцати строфах с предисловием (зачаток романа «Спекторский»)»:

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом.

«В переполненном трамвае, – пишет в дневнике молодой писатель Григорий Гаузнер, – кондуктор, нагнувшись и оперевшись руками в спину, задницей отталкивает теснящихся пассажиров. Так висят они большой гроздью, ухватившись кто за что в невероятных позах»^[7].

Несколько лет нэпа изменили Москву. Она избавлялась от следов военного коммунизма, город становился чище, начиналось бурное строительство. Из бывших комиссаров нарождался вид нового советского чиновника, что стало темой целого ряда литературных произведений.

В неопубликованном стихотворении «Коммунист» 1924 года В. Луговской писал:

Та же темная, скучная вера,
Речь тверда, как три года назад.
Только словно два камешка серых
Там, где раньше были глаза.
Так же крепко давит окурки
Рот не толще края ножа.
Только вместо кожаной куртки
Ловкий портфель и ладный пиджак,
А лицо как лицо – простое,

Не умно и не глупо: как все.
Но на лбу – бычачьи устои
И железных морщинок сеть.
Все несложно, машинно и ясно,
Жизнь – не спать, не мечтать и не петь.
Мир в 2 цвета: белый и черный,
Цель – холодный напор Р.К.П....

Москва. Кремль

Интересно, что это стихотворение будущего советского поэта, а пока – просто молодого человека, который служит в Управлении делами Кремля.

Новый советский чиновник «разлагался так же быстро, как возникал». Об этом в 1925 году пишет в своем дневнике М. Булгаков:

– Чем все это кончится? – спросил меня сегодня один приятель.

Вопросы эти задаются машинально, и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно. В его квартире, как раз в этот момент, в комнате через коридор, пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью, а один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный как свинья. Его пригласили, и он не мог отказаться. С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне и шепотом их ругает. *Да, чем-нибудь все это да кончится. Верую!*^[8]

Узлы и «узловцы»

В домашнем архиве Владимира Луговского хранится амбарная книга, в которой велись протоколы заседаний правления книгоиздательства «Узел». Там же находится и напечатанный на мягкой желтоватой бумаге устав, свидетельствующий о том, что в 1925 году и написание стихов, и изготовление гвоздей кустарями-артельщиками считались совершенно равнозначными производственными процессами. За основу «Устава Промыслового Кооперативного Товарищества поэтов под наименованием Книгоиздательство «Узел» был взят типовой «Устав Промысловой Трудовой Кооперативной Артели»». Внесенные в него изменения, сделанные от руки, коснулись лишь шапки этого документа. В результате в разделе «Общие положения», например, указывается, что

«промысловая кооперативная артель поэтов... имеет целью содействовать материальному и духовному благосостоянию своих членов», а также что «заготовка необходимых для производства артели материалов и сбыт ее изделий не ограничивается вышеуказанным районом».

Секретарем правления стал В. Луговской – аккуратным гимназическим почерком велись протоколы заседаний правления артели, поражающие сегодня числом как известных, так и забытых поэтов, побывавших здесь.

Слово «узел» как нельзя более подходило для названия наскоро и ненадолго связанных литературных судеб. Станным образом здесь сошлись известные и даже знаменитые – Б. Пастернак, С. Парнок, С. Федорченко, М. Зенкевич, Б. Лившиц, П. Антокольский и молодые – И. Сельвинский, В. Луговской, А. Чичерин и другие. Объединила их не общность творческих интересов, а необходимость издавать свои поэтические книги в новую эпоху.

Литераторам в эти годы было трудно прожить, не состоя на какой-нибудь службе.

М. Булгаков так же, как и Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров, работал в газете «Гудок», Б. Пастернак – составлял библиографию трудов Ленина, часть «узловцев» жила переводами, многие члены литературных кружков и объединений служили в ГАХНе (Государственной академии художественных наук).

Творчеству посвящалось свободное от службы время.

Одним из учредителей «Узла» был Петр Никанорович Зайцев, который в 1922 году основал газету «Московский понедельник». Она, хоть и просуществовала всего несколько месяцев, была весьма популярна. В 20-е годы – редактор ГИЗа, затем секретарь издательства «Недра», которое напечатало «Роковые яйца» М. А. Булгакова, Зайцев умел объединять писателей и поэтов между собой, собирая их то в редакции, то дома...

Мы неожиданно вновь оказались вместе в небольшом поэтическом кружке, – вспоминал Лев Горнунг, – который возглавил нескладный, нелепый, чудаковатый человек – поэт П. Н. Зайцев. Это был добрый человек, но малоталантливый поэт. Зайцев был до самозабвения предан Андрею Белому и в угоду ему считал себя тоже антропософом, хотя этой философии не знал и путался в ней... Его стихи были написаны довольно лево и очень далеки от всякой классики. Ему удалось напечатать небольшую книжечку своих стихов. Для нее он придумал название, весьма типичное для его мышления «Новое солнце». Мои стихи он считал слишком ясными и понятными для всех,

слишком близкими к классической поэзии и рекомендовал мне при писании стихов «становиться на голову»^[9].

Связи П. Зайцева помогали издательству выпускать поэтические книжки.

Теперь, работая в ВЦСПС и постоянно держа тесную связь с типографией, я смог обеспечить наш кружок полиграфической базой. «Узел» выпустил десять очень чистенько изданных больших книжек разных авторов в общем, картонном футляре^[10].

Марку издательства поручили сделать художнику-граверу Владимиру Андреевичу Фаворскому.

Всего книжек было выпущено не десять, а четырнадцать; в начале 1926 года Петр Никанорович перестал заниматься делами издательства, он фактически становится литературным секретарем Андрея Белого.

Близость к известному поэту принесла Зайцеву серьезные неприятности. Хотя сложности начались и раньше. ОГПУ держало писательские сообщества под контролем. Именно поэтому Зайцев регулярно оказывается на Лубянке.

На Лубянку попал я впервые летом 1924 года (не знаю – по случайному поводу или преднамеренно), – вспоминал он. – Обращение со мной было мягкое, деликатное. Я был тогда в переписке с Ангарским, который находился в Берлине. Через пять дней меня отпустили^[11].

С 1930 года начались гонения на антропософов, уничтожаются остатки московских религиозно-антропософских кружков. Зайцева арестовывают дважды – в мае 1931 года и в 1935-м. Ему инкриминировалось чтение и распространение произведений А. Белого. Но в 1938 году ему посчастливилось выйти на свободу.

В конце 20-х Зайцев жил в доме № 5 по Староконюшенному переулку, до революции принадлежавшем купцам Коровиным. По описаниям Л. Горнунга, это был подвальный этаж с окнами чуть выше тротуара, где у Зайцева было две комнаты, одна из которых – довольно большая и с высокими потолками. Во дворе дома стоял (и по сей день стоит) пятиэтажный дом № 15, где на первом этаже жила с 1922 года семья Луговских.

Близкое соседство домов Зайцева и Луговского делало возможным проведение некоторых заседаний в квартире последнего. Об этом

свидетельствует небольшое письмо Софьи Яковлевны Парнок, с середины 1926 года руководившей артелью:

Напоминаю Вам, милый Владимир Александрович, – писала она 4 апреля 1927 года Луговскому, – что в среду 6-го в 8 часов вечера у Вас будет заседание Правления «Узла», поэтому не забудьте, пожалуйста, вовремя быть дома. Прошу Вас, приготовьте рукописи стихов Зилова, Волошина и Липскерова и подумайте о дальнейших наших издательских планах: это будет обсуждение, и желательно было бы выслушать обдуманное предложение. Я приду в 8 часов, и со мной вместе придет к Вам Анна Ив. Ходасевич: у нее к Вам литературное дело.

С сердечным приветом С. Парнок^[12].

Соседство домов и улиц позволяло поэтам и писателям, населяющим в эти годы арбатские переулки, переходить из дома в дом, общаться накоротке. Неудивительно, что Петр Зайцев чувствовал сопряженность города и его сообществ, накладывая на карту московской местности карты литературной жизни:

Как будто ее кварталы, улицы, тупики, Поварские, Ордынки, Пречистенки, Козихинские переулки и все эти Собачьи Площадки породили бесчисленное множество направлений, течений, групп, и группировочек, и кружочков, от которых эти поэты выступают...

И несколькими абзацами ниже:

Традиций в Москве не ищите... Но неожиданно атавистически может возникнуть в ней идейный изгиб, соединяющий тайными нитями новое с дальним, прошедшим^[13].

Софья Парнок. Вполголоса

«Кажется, совсем забыта теперь Софья Яковлевна Парнок, – вспоминал А. Чичерин, известный филолог, а тогда один из членов артели, – тонкая, вдохновенная поэтесса со строгим обликом, всегда напоминавшая мне Гёте. Тихим голосом, со склоненною головою, отчетливо выделяя мелодию, читала она свои стихи:

И ныряют уточки в голубой воде,
А на тихом озере – тихо, как нигде»^[14].

Софья Яковлевна Парнок относилась к «Узлу» очень серьезно и прагматично; два с лишним года она вела дела издательства. Собрания часто проходили у нее в комнате, в доме в 1-м Неопалимовском переулке, где она жила со своей подругой математиком Ольгой Николаевной Цубербиллер. «Мой утешный, мой последний, / Мой благословенный друг», – так Софья Яковлевна называла ее в стихах. Через несколько лет именно Ольга Николаевна и похоронила поэтессу на Введенском кладбище.

Первый Неопалимовский переулок находится недалеко от арбатского Староконюшенного переуллка, надо только пересечь Садовое кольцо. По воспоминаниям дружившего с ней в эти годы Льва Горнунга, Парнок жила в красном кирпичном доме на четвертом этаже. Из окна открывался «зимний пейзаж – снежные крыши и купол Неопалимой Купины»^[15], – писала сама С. Парнок.

Коленями – в жесткий подоконник,
И в форточку – раскрытый рыбий рот!
Вздохнуть... вздохнуть...
Так тянет кислород,
Из серого мешка, еще живой покойник...
Светает. В сумраки оголены
И так задумчивы дома. И скупое
Над крышами поблескивает купол
И крест Неопалимой Купины...

Эти годы ее тяжело мучила базедова болезнь. Она недавно вернулась из Крыма, где в Судаче у сестер Е. и А. Герцык спасалась то от красных, то от белых. Ее стихи этого времени говорят о готовности к смерти, но при этом она очень деятельна. Вот картинка одного из заседаний «Узла» в ее стихотворении, посвященном Вере Звягинцевой: Папироса за папиросой.

Засаедаем, решаем, судим.
Целый вечер рыжеволосая,
Вся в дыму я мерещусь людям.

Восемь открыток и писем, сохранившихся в архиве Луговского, свидетельствуют о постоянных, упорных попытках Софьи Яковлевны выстроить издательство. Только однажды она напишет, что устала, что у нее больше нет сил бороться.

Она всегда была верна дружбе. Несмотря на свое предрасположение к женщинам, по отношению к друзьям-мужчинам сохраняла верность и преданность. После голодных крымских лет в Судаче в Москве делала все возможное, чтобы помочь другу – М. Волошину, которого в то время почти не печатали. Заочно включила его

в члены артели. Пыталась выпустить его сборник, который никак не мог пройти цензуру; он должен был называться «Семь поэм».

Девятого февраля 1927 года Парнок пишет Луговскому: «Ходят слухи, что Волошин приезжает 9-го, т. е. сегодня. Надо устроить, чтобы он читал в «Узле» в будущую среду. Он остановится у Шервинского...»^[16]

А Луговской помечает в своем ежедневнике: «8 марта, вторник – Волошинский вечер. 9 марта, среда – доклад Шервинского».

Когда умерла ее любимая подруга А. Герцык, Парнок хотела поместить в альманахе «Узла» некролог и подборку ее стихов, но не смогла этого сделать: устав запрещал публиковать стихи не членов артели. А кроме того, стихи ушедшей поэтессы не прошли бы цензуру, в них слишком часто звучало слово «Бог».

В «Узле» Софья Парнок подружилась с Софьей Федорченко, детской поэтессой, автором документального эпоса «Народ на войне», который беззастенчиво использовали многие, писавшие о Гражданской войне, в том числе и Алексей Толстой.

Главные неприятности артели были связаны с цензурой: не допущен к печати сборник М. Кузмина, сокращена в два раза книга Б. Лившица, рассыпают набор сборника «Вереск» Е. Васильевой (Черубины де Габриак) – в 1926 году была запрещена деятельность антропософского кружка, куда она входила, а затем последовала ссылка в Ташкент и скорая смерть – в 1928-м.

Безнадежность звучит в стихотворении С. Парнок, интонационно и содержательно близком к мандельштамовскому «Жил Александр Герцович»:

Налей, мне, друг, искристого
Морозного вина,
Смотри, как гнется истово
Лакейская спина.

Пред той ли, этой сволочью, –
Не все ли ей равно?..
Играй, пускай иголки,
Морозное вино!

.....

Но что ж, богатство отняли,
Сослали в Соловки,
А все на той же отмели
Сидим мы у реки.

Не смоешь едкой щелочью
Родимое пятно...
Играй, пускай иголки,

Морозное вино!

«...Перевожу я такие ужасы, – писала Софья Парнок Вере Звягинцевой 22 февраля 1928 года, – что даже ночью они мне снятся: пытки, расстрелы, еврейские погромы, крушение поездов (рассказы Барбюса). Вероятно, и это нужно в общем плане моей судьбы...»^[17]

Перспектива жизни отдельного человека была столь же туманна, как и направление движения государства и общества в целом. После смерти Ленина каждый спрашивал себя: «Что же теперь будет?» Писатели тоже старались угадать будущее.

Но иногда смерть это будущее опережала. С последней фотографии, которую сделал ее друг Лев Горнунг, смотрит нездоровая женщина с горькой улыбкой, в то время ей было всего сорок семь лет.

Софья Парнок умерла 26 августа 1933 года в селе Каринском под Москвой. Везли ее в город на телеге в деревянном ящике. На панихиде было довольно много людей – среди прочих Б. Л. Пастернак, Л. Я. Гуревич, Г. Г. Шпет, похоронили ее на немецком кладбище в Лефортове.

Александр Ромм: из рассыпанного поколения

Ал. Ил. Ромм, старший брат Михаила Ильича, кинорежиссера, был чудесным тонким поэтом. А между тем его книга «Ночной смотр», вышедшая в красивой черной обложке, затерялась среди множества других книг...»^[18] – отметим, что переводчик и лингвист Александр Ильич Ромм, о котором так тепло отзывался А. Чичерин, издал в «Узле» свой единственный поэтический сборник и вскоре полностью скупил его тираж. 12 июля 1927 года Софья Парнок рассказала об этом факте Софье Федорченко:

...Сообщаю Вам интересную новость: Ромм, увидев свой сборник напечатанным, загрустил, всполошился, отчаялся и, как я его ни уговаривала, решил скупить у «Узла» все издание, чтобы забрать его к себе и не пускать в продажу. По этому поводу он долго терзался и мучил также и меня. Я бранила его Подколесиным, а теперь думаю, что он правильно поступил. Благодаря «Узлу» у меня накопился любопытный опыт: вспомните одержимого Чичерина, который, рассудку вопреки, наперекор стихиям все-таки издал свой слабый сборник и пребывает в самодовольстве, а теперь другая крайность – Ромм, который до того опечалился и разочаровался своим первым сборником, что от горя скупил весь тираж «Узла». Это очень любопытно^[19].

Я стою в лесу и расту сосной,
И ветер лесной
Играет со мной.
Я шишки роняю наземь свои,
И глухо в хвою ложатся они,
Пока смерть далека, пока лень ей.

Я семенем тонким в шишке лежал,
Я всех соседей по имени знал,
Мы жили в своем колене.

Та шишка сгнила сто лет назад,
Кругом соседи мои стоят,
И кто мне чужой? И кто мне брат?
Рассыпалось поколение.

Такой своеобразной эпитафией Ромм уже в 20-е годы определил отсутствие места для своего культурного слоя в новой литературной и исторической реальности.

Александр Ромм родился в Петербурге в семье врача. В Москве он окончил гимназию в 1916 году и поступил сначала в медицинский МГУ, а оттуда перевелся на историко-филологический факультет. Поэт, переводчик, участник Московского лингвистического кружка. В тридцать лет он назначил себе переломить свою судьбу. В биографическом очерке, посвященном поэту, М. Л. Гаспаров приводит его «письмо о судьбе», в котором накануне 1928 года Ромм пишет:

«Интеллигент вспоминает о судьбе, только когда большое горе пригибает его к земле... Земля, из которой мы растем, есть народ... Если в системе есть тяжелое и злое, оно неизбежно выпадет на чью-то долю: почему же не на твою? От сумы и тюрьмы не отказывайся».

Он оставляет филологию, перестает писать такие стихи, как здесь публикуемые, пишет о Ленине и Сталине, о стройках, об армии и флоте, газетные агитки и большие поэмы, пишет не за страх, а за совесть, в дневнике корит себя за интеллигентскую мягкотелость, но в печать пробивается нечасто: у системы было чуткое ухо, и она слышала, что голос его недостаточно чист. Сума и тюрьма его миновали, он умер иначе: в октябре 1943 г. застрелился на фронте^[20].

Но тут следует добавить еще, что в начале войны А. И. Ромм был мобилизован в Дунайскую военную флотилию в качестве писателя в звании интенданта II ранга. Служил на Черноморском флоте, писал пьесы, очерки, стихи. Причины его самоубийства по сей день неясны.

Судя по открыткам его брата М. И. Ромма, он просил сестру не искать правды и смириться с этой смертью. По воспоминаниям современников, М. И. никогда публично не вспоминал о брате, хотя достоверно известно, что очень любил его и считал его влияние на себя огромным.

Из одного «Узла». Пастернак

Сборник «Избранные стихи» Б. Пастернака вышел в «Узле» в 1926 году. На книге, подаренной Луговскому, оставлен автограф загадочного содержания: «Хаотическому человеку в хаотической комнате в знак нежной моей любви к нему Луговскому. Б. Пастернак». Может быть, эта надпись была сделана в Староконюшенном на одном из собраний «Узла», проходившем в захламленной комнате молодого поэта.

Разница в возрасте между ними для того времени была огромна – одиннадцать лет. Они принадлежали не просто к разным поколениям – в то время годы рождения – 1890-й и 1901-й – часто указывали на исторический разрыв; Борис Пастернак родился в 1890 году и прожил часть жизни до революции, а Владимир Луговской родился 1901-м и на момент революции был шестнадцатилетним юношей, не успевшим еще сформироваться.

Но их жизненные маршруты пересекались постоянно, начиная с имения Оболенского, где семья Пастернаков снимала в 1903 году дачу, где по соседству с ними жил А. Н. Скрябин, а юный Пастернак «сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн»^[21].

Об этом имении Татьяна Луговская вспоминала: «...В Оболенское мы приезжали как к себе домой. Все нас здесь знали. Раиса Михайловна Оболенская (владелица имения) высылала за нами линейку и подводу для багажа»^[22].

Семья Пастернака в 10-х годах поселилась на Волхонке в доме Художественного общества, а в соседнем Знаменском переулке располагалась Первая мужская гимназия, где преподавателем литературы и инспектором старших классов служил А. Ф. Луговской, отец В. Луговского. В гимназии учились Н. Бухарин, И. Эренбург, будущий лингвист А. Яковлев, затем В. Ардов, Д. Благой.

Позже, когда Пастернак ушел из родительского дома, он снимал комнаты то в Нащокинском, то в Лебяжьем, то в Сивцевом Вражке, петляя переулками возле родительской Волхонки.

После отъезда родителей в 1921 году в Берлин Борис Леонидович вместе с молодой женой Евгенией Владимировной вернулся на Волхонку, где в соседней комнате жил его брат Александр со своей женой Ириной Вильям.

Письмо Пастернака родным за границу в 1924 году почти полностью посвящено городу, в котором он родился, который всегда любил, а теперь говорил о нем с нескрываемым раздражением:

Странно попадать в Москву после Петербурга. Дикий, бесцветный, бестолковый, роковой город. Чудовищные цены. <...> Чудовищные неудобства. <...> Чудовищные мостовые. <...> Я сидел, взлетал на воздух, падал и взлетал при перескоках через круглые канализационные покрышки и, глядя на эту топчущуюся в сухой извешке толпу, понял, что Москва навязана мне рождением, что это мое пассивное приданое, что это город моих воспоминаний о вас и вашей жизни...^[23]

В этом же письме он рассказывает родителям, как искал в Оружейном переулке дом, где родился, о котором они вспоминали. Как плутал по переулкам и наконец обнаружил дом, где отец начинал свою карьеру, из которого «повел свой корабль через Мясницкую, Волхонку, за границу, семью, жизнь в шести душах».

Пастернак ищет их следы в родном городе и остро чувствует свою бесприютность, поэтому ему так важно заселить Москву близкими людьми.

Тем более что в это время круг общения поэта стал сжиматься, дружба с Маяковским и Асеевым переживала трудности. Зато возникла напряженная глубинная связь через письма и стихи с Мариной Цветаевой.

В те дни, когда Пастернак еще был связан с «Узлом», Цветаева написала ему двусмысленное письмо-просьбу о помощи своей подруге – С. Парнок. Цветаева к письму приложила стихотворение «Подруга» и не скрывала, что в 1915 году их связывали близкие отношения. Хотя Цветаева, которой издаека мерещились жуткие картины российской жизни, не в первый раз просила за знакомых, письмо вызвало ревность Пастернака. Он отвечал очень резко:

...не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда каши мы с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла», отчасти из-за нее^[24].

Весной 1926 года отношения между Пастернаком и Цветаевой переживали высшую степень напряжения, он послал ей сборник «Узла» с надписью: «Марине, в день, с которого все принадлежит ей. Вместо открытки. В день наводнения в Москве. 1926 г.»^[25].

Потом Цветаева объяснит их с Пастернаком так и не случившуюся жизнь – ведь грезилась именно жизнь – в письме их общей знакомой Р.

Ломоносовой, уже в 1931 году, когда женой Пастернака будет не Евгения, а Зинаида:

- С Борисом у нас вот уже (1923 г. – 1931 г.) – восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но Катастрофа встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка – перекаты грома, и опять ничего – живешь.

Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему. Вот *мое* отношение. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья – он, его семья, моя *жалость*, его совесть)^[26].

В 1925–1930 годах Пастернак писал роман в стихах «Спекторский». Как замечено в книге В. Альфонсова о поэтике Пастернака, в этом романе сразу же заявлен принцип случайности. Связи, потери, обретения. Автор говорит, что и роман задуман им случайно.

Сергей Спекторский – герой, близкий автору, потерял любимую женщину. Она внезапно исчезла, ускользнула из жизни героя после революции.

В начале романа автор, собирающий библиографию трудов Ленина, находит ее стихи на страницах западных журналов. И похоже, что та беглянка писалась с Марины Цветаевой, с неслучившейся их любви в начале 20-х годов. Любви на фоне хаоса, ломки быта. Спекторский – не уверенный в себе интеллигент, вечно выбирающий между двумя женщинами, зажатый между прошлым и настоящим, не определившийся по отношению к власти. И в то же время горько оплакивающий свое поколение, разорванное на тех, кто здесь – в России и кто – вне ее. Любовь героя к Марии Ильиной – еще и метафора любви ко всем, кого нет рядом.

В поэме оживает Москва – черных лестниц, разрушенных домов и квартир, брошенного и национализируемого имущества.

Кругом фураж, не дожранный морозом.

Застряв в бурана бледных челюстях,

Чернеют крупы палых паровозов

И лошадей, шарахнутых врасяг.

Пастернак спустя три года объяснял в письме своему издателю П. Н. Медведеву, что когда он писал свой роман в стихах, надеялся на изменение действительности, думал, что разрыв между миром тем и миром этим сотрется.

Для него состояние вечной разлученности с близкими – невыносимо тяжело: «...точно разлука не является названием того, что переживается в наше время большим, слишком большим количеством людей». И через несколько слов горестно прерывает себя:

Скажу только, что в моих словах нет ничего противозаконного, и если здоровейшей пятилетке служит человек со сломанной ногой,

нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его укорочена и что ему бывает больно в ненастье^[27].

В этих словах, сказанных в 1929 году, печально отзовутся бывшие надежды на так и не преодоленную разлуку с Цветаевой.

В московский ближний круг, который в письме к жене Пастернак определяет как «наша семья», в середине 20-х годов входит и поэт Дмитрий Петровский.

Петровские (Дмитрий с женой Марикой Гонтой) приехали в Москву с Украины и некоторое время жили у Пастернака на Волхонке в комнате Александра, пока он в 1925 году ездил к родителям в Германию.

Марика Гонта вспоминала о тех днях:

Некоторое время мы жили в комнате брата Бориса, Александра Леонидовича, пока не получили ордер на жилье, и каждый день то явно, то прислонясь к косяку больших дверей в гостиной, которую занимал Борис, я не отрываясь слушала его игру. Я ждала этих концертов каждый вечер, то наяву в упор, то исподволь, получая на них неожиданный абонемент.

Думаю, что в этот месяц я научилась слушать Бориса и эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Я никого так не слушала: в разговоре, в стихах, в языке, в молчании концерта или оркестра^[28].

За месяц до выхода из «Узла», о котором Пастернак писал Цветаевой, а именно в апреле 1926-го он отправил П. Н. Зайцеву письмо со словами заступничества за Дмитрия Петровского:

19 марта 1926, Москва

Дорогой Петр Никанорович! Горячее мое желание и, соответственно этому, просьба к Вам, чтобы книжка Петровского была издана в весенней серии. <...>

С Петровским надо было обойтись как с ребенком в этом вопросе, как мы с Вами об этом условились. Простите, Вам, верно, это все надоело, Вы вправе мне сказать, что я от всех трудностей отстранился и не мне бы приступать с советами. Но это именно не *совет*, а горячая настойчивая просьба с моей стороны, и меня огорчит, если Вы обойдете ее вниманием...^[29]

Трогательная строчка из письма Бориса Леонидовича: «С Петровским надо было обойтись как с ребенком...» – многое объясняет в самом Пастернаке и отсылает к началу их дружбы в 1914 году.

Дмитрий Васильевич Петровский – фигура эксцентричная и одиозная. Поэт, анархист, партизан, воевавший вместе со Щорсом (у кого еще, кроме земляка Петровского – Нарбута, была столь экзотическая биография!). Его воспоминания о Хлебникове специалисты считают не вполне точными (они не переиздавались с

1926 года). Стихи Петровского почти забыты, и только в воспоминаниях о Пастернаке его имя нет-нет да и мелькнет.

Встреча с письмами Петровского была тоже странной. Из вороха бумаг Луговского вдруг стали возникать огромные бумажные простыни, исписанные синим или простым карандашом и испещренные восклицательными знаками, междометиями и даже, как показалось, выкриками...

Петровский. «Наследник традиции поэтического безумия»

После революции были еще прочными прежние поэтические знакомства. Принадлежность к тому или иному поэтическому объединению превращала жизнь его членов в служение некоему рыцарскому братству. Не случайно Петровский в своих воспоминаниях о Хлебникове приводит документ, сочиненный ими в послереволюционные дни и отправленный наркомом А. Луначарскому:

Все творцы: поэты, художники, изобретатели должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им, на основании особо выданных документов, должно быть предоставлено право беспрепятственного и бесплатного переезда по железным дорогам, выезд за пределы Республики во все государства всего мира. Поэты должны бродить и петь.

При всей причудливости замысла он отражал вполне понятное желание закрепить особый общественный статус свободного художника, исторически сложившийся. Существовали, разумеется, и неписанные правила поведения художников, их взаимоотношений с миром и друг с другом. Для многих важно было не только искусство, но и поведение в быту, поэзия поступка. Согласно этим правилам Петровский и творил свою биографию. Вот два сюжета. О первом – чрезвычайно показательном – в письме Пастернака С. Боброву:

Заявился ко мне в Москве Дм. Петровский. С сияющим лицом оповестил меня о том, что ЦФГа (Центрифуга. – Н. Г.) ему ненавистна, что тебе он будет мстить за Петникова (или Божидача), а Вермелю за Хлебникова. Если в немедленном спуске его с лестницы произошла задержка, то только потому, что на мои слова, что я его просто-

напросто знать не желаю, чудака этот ответил: «Но ведь как к человеку вы можете ко мне иначе отнестись»^[30].

И Бобров, и Вермель – это издатели, которым Петровский считал необходимым мстить за унижение поэтов, которых не издали. И с Пастернаком он говорит сначала театрально – как собрат поэтов, а затем как обыкновенный человек. На демонстрации такого поведения он будет десятилетиями строить свою судьбу. Это отчасти и обеспечивало ему расположение Маяковского, Тынянова, Шкловского, Тихонова и других известных современников.

Вторая история почти гротескная, ее описывает Елизавета Черняк (жена Я. Черняка) в своих воспоминаниях о Пастернаке:

Помню забавный случай. Я лежала дома, болела. Вдруг утром является Петровский и объясняет: «Я на минутку – оставить галоши. Мне надо тут поблизости пойти бить одного человека. Так неудобно бить в галошах». Оставил галоши и ушел. Через 15 минут вернулся: того человека не оказалось дома. Петровский разделся, подставил голову под кран в кухне (рядом с которой была наша комната), отфыркался, зашел в комнату и попросил бумагу и перо. Наверное, час сидел за столом, писал и перечеркивал стихи.

Потом встал, сказал: «Уф! Теперь мне легче», – скомкал все написанное, бросил в корзину и ушел^[31].

Дружба Пастернака и Петровского началась при странных обстоятельствах. Об этом пишет сам Пастернак в альбоме А. Крученых:

Ловец на слове А. Крученых заставляет записать случайные воспоминания. В 1915 году летом одному моему другу, тогда меня не знавшему и замышлявшему самоубийство поэту, встретив его в покойницей у тела худ. Макса и разгадав в нем кандидата в самоубийцы, сестры Синяковы сказали: «Бросьте эти штучки! Принимайте ежедневно по пять капель Пастернака». Так П<етровский> познакомился со мной и с Синяковыми. 27.3.1926^[32].

Однако сам Петровский датировал знакомство не 1915-м, а 1914 годом. На форзаце книги, подаренной им в апреле 1919 года Пастернаку, он пишет: «Дорогому Борису в память 14-го года (весна), когда он читал мне на моем чердаке в Зачатьевском переулке Бодлера и Верлена. Дм. Петровский»^[33].

Правильность сведений Петровского подтверждает А. Парнис. Он сообщил Е. Б. Пастернаку, что 27 апреля 1914 года в «Вечерней газете» было напечатано объявление о том, что 23 апреля 1914 года земляк и знакомый Петровского полтавский художник Макс (В. Н. Максимович) покончил с собой в Москве после неудачной выставки его картин.

В биографии поэта Е. Б. Пастернак пишет:

Из сопоставления разных воспоминаний и обмолвок следует, что Петровского увидела в покойницкой старшая из Синяковых, певица Зинаида Мамонова, и привела его в Замоскворечье, где на Малой Полянке, в квартире, снятой пианисткой Надеждой Михайловной (по мужу Пичета), жила Мария Уречина и две младшие незамужние сестры Ксения (Оксана) и Вера^[34].

Это место как колдовское оживет в стихотворении Пастернака «Метель»:

В посадe, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, –

.....

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Синяковых пять сестер, – писала Лиля Брик. – Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой, безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю – Пастернак, в Марию – Бурлюк, на Оксане женился Асеев^[35].

Ей же он посвятил свой лучший цикл лирических стихотворений – «Оксана».

Асеев как-то рассказал Марии Белкиной странную историю о сестрах. Когда он женился на Оксане, спустя некоторое время умерла их мать, которую сестры очень любили. В гробу они ее раскрасили под молодую женщину, а сами с распущенными длинными волосами стояли вокруг, играли на музыкальных инструментах, пели и читали стихи. Асеев был обескуражен.

Оксана Асеева (она же Синякова) утверждала, что именно сестры положили начало обществу «Долой стыд!».

М. Булгаков 12 сентября 1924 года записал в дневнике:

Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась^[36].

Петровский всегда был внимателен к датам и юбилеям дружбы: в своей речи на Первом съезде писателей в 1934 году он счел необходимым открыть делегатам съезда поворотное событие в своей биографии – знакомство с Борисом Пастернаком:

В день самоубийства одного художника – в странной, хоть и нелепой связи с этой смертью, никак прямо меня не задевавшей, – я встретил человека, невольно ставшего вестником моего будущего, Бориса Пастернака... Это было моим первым рождением^[37].

И через двадцать лет, в 1937 году, Петровский не забыл обстоятельств знакомства с Б. Пастернаком, но высказался о них уже несколько иначе...

Хлебников и Петровский

Вскоре после своего «первого рождения» Петровский познакомился и с В. Хлебниковым, это случилось в январе 1916 года.

Встретился я с Велимиром Хлебниковым неожиданно, хотя знал и любил его уже года два до этого... <...> Это случилось у Вермеля, издателя «Московских Мастеров»...^[38]

Прямо перед их встречей, вскоре после Нового года, в петроградской квартире Бриков Хлебников был провозглашен «королем поэтов». Петровский привязался к Хлебникову сразу же и на следующий день приехал к нему в гости во флигель Петровского парка, где тот жил со своим братом.

Петровский рассказывал об их совместных занятиях с некими языковыми шумами, о разработке планов государства Пространства и государства Времени, о совместных поездках к духовно близким Хлебникову людям – Павлу Флоренскому и Вячеславу Иванову.

Немаловажно и то, что Петровский брал у Хлебникова своеобразные уроки мистического житнетворчества, не столько подражая ему поэтически, сколько перенимая присущие тому особенности в поведении и восприятии жизни.

Когда обокрали магазин издателя Вермеля, Хлебников, возмущенный тем, что тот не выплатил в тяжелые для поэта дни полагающийся ему гонорар, видел в этом случае проявление закона фатальности («сердцебиение случая»). Петровский писал, что «судьба мстила за него, помнила о нем».

Хлебникова неожиданно призвали в армию и определили в Царицынский полк, Петровский приехал его навестить. На улице он случайно встретил Татлина, с которым был знаком по Харькову. Они решили совместно провести вечер футуристов, чтобы заработать Петровскому на обратный проезд. Нарисовали плакат, выступили с докладом, который из-за занавеса нашептывал Хлебников. Ему выступать было нельзя – он был солдатом.

Петровский около года ощущал себя апостолом Хлебникова: собирал разбросанные бумажки со стихами и вычислениями, записывал необычные высказывания.

Все, что в Хлебникове находили уродливым (некоторые его знакомые), проистекало от невнимательности их самих к чрезвычайно сосредоточенному в своем мире и потому рассеянному в своем мире и по отношению ко всему остальному Хлебникову, – писал Петровский впоследствии в своей автобиографии^[39]. Всем известен апокриф о том, что «степь отпоет», пересказанный Ю. Олешей в книге «Ни дня без строчки»:

Однажды, когда Дмитрий Петровский заболел в каком-то странствии, которое они совершали вдвоем, Хлебников вдруг встал, чтобы продолжить путь.

– Постой, а я? – спросил Петровский. – Я ведь могу тут умереть.

– Ну что ж, степь отпоет, – ответил Хлебников.

А вот версия самого Д. Петровского:

Мы слезли на Черепаше, пересекли несколько калмыцких поселков, рыбацких промыслов и вышли в степь. У нас фляга с водой и немного хлеба. Шли верст 70. Здесь же в степи Велимир сочинил своего «Льва», на одной из стоянок он записал его на лоскуточке. В степи же была изобретена «Труба марсиан», взлетевшая через месяц в Харькове в издательстве «Лирень». Степь, солончаки. Даже воды не стало. Я заболел. Начался жар. Была ли это малярия или меня укусило какое-либо насекомое, не знаю. Я лег на траву с распухшим горлом и потерял сознание. Когда я очнулся, ночь была на исходе. Было свежо. Я помнил смутно прошлое утро и фигуру склонившегося надо мной Хлебникова. Голое пустое место. Мне стало жутко. Я собрался с силами, огромным напряжением воли встал и пошел на запад. На пароходе добрался до Астрахани и до Демидовской.

Хлебников сидел и писал, когда я вошел к нему.

– А, вы не умерли? – обрадованно-удивленно сказал он.

– Нет.

В моем голосе и виде не было и тени упрека, я догадался, в чем дело.

– Сострадание, по-вашему, да и по-моему, ненужная вещь. Я думал, что вы умерли, – сказал Велимир, несколько, впрочем, смущенный. – Я нашел, что степь отпоет лучше, чем люди.

Я не спорил. Наши добрые отношения не поколебались^[40].

Сложно сказать, насколько правдив и точен в своих воспоминаниях Петровский, но даже если это вымысел, то он талантлив.

Интересно, что и Хлебников тоже выступает своеобразным мемуаристом, представляя довольно-таки зловещий образ Петровского в очерке «Малиновая шашка» о Гражданской войне на Украине:

Как П<етровский>?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папаше, белый как смерть и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили писать его голого. А теперь воин в жупане цвета крови – молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкесской. Его все знали и, пожалуй, боялись – опасный человек. Его зовут «кузнечик» – за большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос. В свитке, перешитой из бурки, черной папаше... он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в ладу.

Некогда подражал пророкам (вот мысль – занести пророка в большой город с метелями, что будет делать?).

Он худой, белый как свеча, питался только черным хлебом и золотистым медом, да английский табак, большой чудака, в ссоре с обществом, искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого в те годы, когда он был красив.

Хромой друг, который звался чертом, три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П<етровский> удавливается, Ч* снимает.

Известно, что он трижды обежал золоченый, с тучами каменных духов храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городовым за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.

Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу^[41].

Читая этот отрывок Хлебникова, нельзя отделаться от ощущения, будто сквозь текст проглядывают фантасмагорические фигуры героев «Страшной мести» Гоголя.

История с вырванными оттисками имела для Петровского продолжение. 30 марта 1916 года в окружном суде состоялся процесс по обвинению его в краже гравюр.

На суде Петровский заявил, что он – бывший футурист. Питая искренний интерес к истории живописи, но не имея возможности ввиду отсутствия средств поехать за границу, он решил пополнить свое художественное образование «домашним», так сказать, способом. Способ заключается в вырезывании гравюр из художественных изданий в различных библиотеках Москвы.

– Теперь, – заявил Петровский, – я от футуризма отказался и хочу стать честным человеком.

– Кроме того, – добавил он, – я готовлю к печати ценный труд, который должен произвести переворот в литературе по вопросам искусства.

Присяжные заседатели Петровского оправдали^[42].

Правдой в словах Петровского было только то, что он не мог учиться дальше живописи. В автобиографии он писал:

За год до войны я был исключен из Школы Живописи, где я только что начал учиться после предварительно двухгодичных занятий в студии Юона (в Москве). Выехать за границу (в Париж), куда вели меня мои живописные склонности, не удалось из-за неполучения паспорта: – (я был «политически неблагонадежным») и из-за отсутствия денег^[43].

Петровский и шагнул в Гражданскую войну с ее вольницей, анархизмом, жестокостью. Сам же он писал в автобиографии, что на Гражданской войне был организатором красных партизан (большевиков), красноармейцев: (Богунцев, Таранцев, червонных казаков), и как командир своего собственного отряда («Братьев Петровских»), провел все годы Гражданской войны, создавая первые красные отряды на Украине (на Черниговщине) с самого Октябрьского переворота, точнее со дня разрыва Центральной Радой отношений с РСФСР – т. е. с 3 декабря 1917 года.

С сентября по декабрь 1918 года просидел в гетманской тюрьме в городе Чернигове, ожидая расстрела.

Только после замирения с Польшей – и разгрома Врангеля, – т. е. после окончательной нашей победы на фронтах, вернулся в Москву и занялся оборванной с 1916 года поэтической деятельностью.

Пастернак и Петровский

Дружба с Пастернаком выявила совершенно другой образ Петровского. В 1920 и 1921 годах Пастернак пишет ему письма. В этих письмах отражено все – голодные московские зимы (поэтому просьба выслать с Украины какие-нибудь продукты), уплотнение, воспоминание о детстве, беспокойство о брате Петровского, с которым он приходил к Пастернаку на квартиру в Сивцев Вражек. Письма полны нежной родственной расположенности, которую умел создавать Пастернак в отношениях с людьми. Из этой теплоты соучастия складывался и мир его поэзии:

...Отчего Вы не напишете ничего о себе? Как брат Ваш? – Опять события развертываются совсем под боком у Вас, и очень за Вас боюсь и тревожусь. Той зимой, Дмитрий, что я Вас узнал, стало близко Ваше дело мне, и Ваша жизнь^[44].

6 апреля 1920-го:

...А ужасная зима была здесь в Москве, Вы слышали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уважение к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились.

Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч. К., по соседству. Так постепенно с сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. – Видите, вот и я – советский стал.

Я к таким ужасам готовился, что год мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым.

<...> Чем живу? <...>

Обычно, когда жилось хорошо, все настоящее было сплошь будущим, и помните, по временам все волнение наше проистекало от такого затеканья, засасыванья времени^[45].

1 мая 1921 года:

...«Самый дорогой друг», – так называли Вы меня, Дмитрий; спасибо; Вы не ошиблись, – но на что я Вам, если в самый существенный момент Ваших страданий или незадач Вы ограничились кратким извещением, иероглифически темным, и не спросили меня – (Вам смешно это?) – но ведь этого не случилось – я крепко-крепко целую Вас и жду ответа немедленного и полного. Слышите, Дмитрий!

Ваш Б. Пастернак^[46].

В 1924 году (19 октября) Пастернак, только что вернувшись из Ленинграда, где виделся с Осипом Мандельштамом, обратится к нему с взволнованным письмом:

...Что-то тут сделалось в мое отсутствие с Дмитрием Петровским. Он пишет что-то громадное, мало с кем встречается и при первом же моем звонке объявил мне, что не желает меня видеть. Надо знать Дмитрия так, как знаю его я, а также степень, давность и глубину нашей дружбы. Я понял, что причины этой перемены лежат где-то глубоко, и не только не обиделся, но даже и не огорчился, а как-то порадовался за его болезненным усилием воли проводимое одиночество. Я не обиделся. Он виделся с женой, его объяснения ее удовлетворили и показались достаточными и благородными. <...> Но этот крупный духовный подъем у Петровского, заставляющий его сторониться меня, совпадает с внешней стороны, объективно по смыслу и по времени с некоторой атмосферой холода и отчуждения, которые я тут застал. Говоря безотносительно, – она заслужена мной, я давно уже ничего не писал и притязать на ровное и постоянное внимание не вправе^[47].

Странное поведение Петровского, грубо избегающего встреч с другом, рассматривается Пастернаком как знак общего охлаждения к нему жизненного пространства, которое не прощает поэту расчета, халтуры, отсутствия подлинного вдохновения. В грубости друга он ищет высокий метафизический смысл.

То горестное время описано Пастернаком в самом начале «Спекторского»:

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребятства пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны...

«Друг отзывчивый и рьяный» – это Я. З. Черняк, работавший в журнале «Печать и революция», большевик, обожающий его поэзию.

Пастернак с некоторым восхищением смотрит на Петровского, который, видимо, был увлечен в тот момент своей героической прозой – «Повстанья», где описывал опасные приключения в петлюровском плену.

В феврале 1926 года умерла от брюшного тифа Лариса Рейснер, Пастернак написал на ее смерть стихи. В них звучало преклонение перед гармоничностью ее судьбы и женской красотой.

Лариса Рейснер перед смертью, как писала Марика Гонта, устроила Пастернаку, Мандельштаму, Тихонову встречу с легендарным капитаном Кукелем, который прославился тем, что в 1918 году по приказу Ленина затопил Новороссийскую эскадру, чтобы она не досталась немцам.

В этот вечер она не могла прийти. Она страдала приступами афганской малярии, которая погубила ее, косвенно, как змея Олега, выползшая из скелета коня.

Накануне смерти мы видели ее, веселую и возбужденную, необычайно остроумную и ласковую: держа большую грелку у солнечного сплетения, она жаловалась на боли, это был брюшной тиф. И на другой день, попирая ногами свою мертвую копию – портрет, висевший над ее гробом, неправдоподобно живая и красивая, как никогда, она лежала в Доме журналиста, улыбаясь, – преодолевая и за гранью жизни самое понятие «смерть»! <...>

Капитан Кукель, подписавший приказ о потоплении флота согласно постановлению революционного комитета матросов, жил тогда в Москве, в Замоскворечье. Зимой 1925 года у Петровских в Мертвом переулке он делился своими воспоминаниями с несколькими собравшимися для этого поэтами. На этом вечере присутствовали Пастернак, Асеев, Шкловский, Тихонов, Мандельштам. Рассказ Кукеля был скромным и сдержанным. Он повторял канву революционных событий 1905 года, закончившуюся гибелью лейтенанта Шмидта^[48].

В сборнике «Черноморская тетрадь», вышедшем в 1928 году, Петровский напишет своего «лейтенанта» – стихотворение «Лейтенант Кукель» с явной отсылкой к пастернаковскому «Лейтенанту Шмидту»:

Закройте бухту на замок!..
На палубу, как на молитву,
Двух взрывов вывалил дымок:
Идет с машинами разбитыми
На зубоскалящее дно
Судов потопленных венوك...

Капитан Кукель будет расстрелян в 1937 году.

Марика Гонта. Мертвый переулок

*Все спит в молчаньи гулком.
За фонарем фонарь
Над Мертвым переулком
Колеблет свой янтарь.*

Андрей Белый

*Я любил эти детские губы,
Яркость речи и мягкость лица...*

Даниил Андреев. Янтари

Елена Владимировна Пастернак, расшифровавшая мемуары Марии Гонты, рассказывала, что перепечатывала их с разрозненных листов, где они были записаны широкими строчками, очень импульсивно и не всегда связно. Но в них жили атмосфера конца 20-30-х годов, дух собраний и встреч той поры.

Свою жену Марию Павловну Гонту Петровский привез в Москву, видимо, в 1924 году. Их двойной портрет той поры сохранился в воспоминаниях Елизаветы Черняк:

...я очень ясно помню наш первый визит к Б.Л. ранним летом 1922 года. Б.Л. <...> жил тогда на Волхонке, 14, на втором этаже, в бывшей квартире своих родителей.

<...>

Мы с Яшей (Черняком. – Н. Г.) пришли вместе с поэтом Дмитрием Петровским и его женой Марийкой (Мария Гонта). Они жили недалеко от нас в Мертвом переулке. Странная это была пара. Петровский – неистовый поэт и человек. В Гражданскую войну он примыкал к анархистам. Говорили – убил помещика, кажется, своего же дядю. Был долговяз, и создавалось такое впечатление, будто ноги и руки у него некрепко прикреплены к туловищу, как у деревянного паяца, которого дергают за веревочку. Стихи у него были иногда хорошие, но в некотором отношении он был графоман <...>.

Марийка была актриса (она снималась в эпизодической роли в «Путевке в жизнь»). Я редко видела такое изменчивое, всегда разное, очень привлекательное, хотя не сказать что красивое, лицо. Одевались

они с Петровским очень забавно в самодельные вещи (тогда еще трудно было что-нибудь достать), сшитые из портьер, скатертей и т. п., всегда неожиданные по фасону и цвету. Жили они очень дружно и были влюблены в друг друга, что не помешало Петровскому бросить Марийку. В те годы Петровский дружил с Б.Л., но спустя несколько лет резко с ним поссорился, как, впрочем, рано или поздно почти со всеми своими друзьями^[49].

Мария Гонта дружила с Пастернаком и считала его близким человеком до конца своих дней. Ее чрезвычайно эмоциональные воспоминания опубликованы лишь фрагментарно. В этом смысле судьба ее как мемуаристки сходна с судьбой бывшего мужа. По описаниям Марии Седовой (Луговской), она была небольшого роста, очень изящная, с тонкой талией, крутыми бедрами и высокой грудью. Разговаривая, она ходила взад и вперед, заглядывая в большое зеркало, висевшее на стене, и поглаживая себя то по груди, то по бедру.

Начало ее дружбе с Пастернаком положили его замечательная отзывчивость и гостеприимство:

Мы с Дмитрием вернулись в Москву, ограбленные по дороге. Усталые, грязные, мы появились у Бориса на Волхонке в тот момент, когда к Борису Пастернаку пришли Асеевы. Нарядная, кудрявая Оксана с ниткой искусственного жемчуга на шее и суетливый, рисующийся Николай Николаевич. Я чувствовала себя очень неловко. Дмитрий сразу попал в среду друзей и чувствовал себя как ни в чем не бывало. Я же сидела на стуле и готова была провалиться сквозь землю, так как я была не в тон общему разговору, и мне казалось, что своим видом я порчу общий праздник. Это не ускользнуло от внимательного взгляда Бориса, который казался всецело занятым гостями.

Он тихо спросил меня, не хочу ли я принять с дороги ванну.

– А это возможно? – Я не смела мечтать о таком счастье.

Он проводил меня в конец коридора, выдал мыло и мочалку.

Через некоторое время я вернулась в комнату другим человеком, отдохнувшей и забывшей скованность, так мучившую меня только что. Каким образом Борис мог понять то, что мне так было нужно, с каким тактом он догадался предложить мне это? Каким-то чудом, среди случайно уцелевших после ограбления вещей у меня нашлось золотое платье, сшитое мною из куска парчи.

По возвращении я сошла за новоприбывшую.

Борис встал мне навстречу.

– Вот Марина, – представил он меня вновь, – посмотрите, какая стала красивая, – притом самыми простыми средствами. Возникла из пены морской.

Для ободрения он произвел мое имя от слова «mare» – «море», «марево» – Мария Моревна. Но для этого надо было быть достойной ободрения.

Раз и навсегда между нами установилось ровное открытое доверие, как будто ни к чему не обязывающее, кроме этой ровности и непрерывности.

Великолепное настроение Бориса в этот вечер коснулось и меня.

Борис любил Асеева. Он слушал его стихи, отраженные сладким высоким фальцетом, как пение Лемешева, с нежной внимательностью и напряженностью в горячем взлете. Он любовался их красотой и счастьем.

Мне стихи не понравились своей претенциозностью и тем, что, расхваливая их, Борис вкладывал в них что-то свое, чего в них, собственно, не было^[50].

Через некоторое время Петровские поселились в Мертвом переулке на Арбате, который сейчас называется Пречистенским, а после смерти Николая Островского долго носил его имя: писатель жил там в начале 30-х годов.

Но в конце 20-х он еще назывался Мертвым переулком и входил в число арбатских – Староконюшенный, Чистый, Сивцев Вражек и близкая к ним Волхонка, где жили герои этого повествования; пройти от дома одного до дома другого можно было за 10–15 минут. Местность, находящаяся рядом с переулком, называлась Могильцы, а Успенская церковь – на Могильцах. По одному из преданий, после очередной эпидемии чумы здесь было чумное кладбище с церковью, а все соседние переулки стали называться Могильцевскими. По другой версии, название переулка произошло от фамилии владельцев самого крупного участка – дворян Мертваго. Любопытно в этой связи, как пестрота звучания имен московских переулков и фамилий их владельцев отзывается в имени любимого московского героя Пастернака – Живаго.

Комната Петровских, длинная, с двумя большими окнами, находилась в большом доходном доме.

Был июль. Было жарко, – писала Марика в воспоминаниях. – Даже вечером. Окна высокой комнаты в Мертвом переулке, обращенные во двор, раскрыты настежь, и в них врывается воскресный шум: где-то играют Шумана, внизу поют частушки, и дети гоняют мяч, в дворницкой голосит гортанная гармошка.

Мы ждем гостя, грузинского поэта Робакидзе. Представлялось: с тонкой талией, в черкеске с газырями – огненный Шамиль, – а пришел блестящий парижанин, изысканный европеец с безукоризненными манерами, в костюме от Ворта. Его встречали: Николай Тихонов, синеглазый и пастушеский, как Лель, еще «Серапионов брат», надевший первую толстовку – коричневую вельветовую в рубчик; Дмитрий Петровский в матросской робе, певец червонного казачества, соратник Щорса, о чем свидетельствовала дареная серебряная шашка,

висевшая на стене; Борис Пастернак, уже тогда широко известный автор «Поверх барьеров» и «Сестры моей жизни», стремительный, сосредоточенный и живой, как живая собака, единственный по-европейски одетый, непринужденный и элегантный в своем старом сером пиджачке и галстук «в морошинку». Были еще Черняки, Яков Захарович и Лиза, прелестные люди, друзья Бориса Пастернака. Кажется, был Яхонтов.

Гость предложил читать стихи по-русски и по-французски. Борис Пастернак просил гостя читать по-грузински.

Гость попросил разрешения у хозяйки.

– Читайте первый раз. Тимур мчит через горы на коне пленницу. Гроза. Погоня. Пропать над рекой.

И тут разверзлось жерло грома. Из горла Григория Робакидзе вырывались одни согласные, громокипящие, kloкочущие, короткие, но звучали они как гласные, не слыханные ни на одном языке, ни даже в рычании тигра.

Тимур гнал коня через горы, и тонко плакала пленница, лица слушателей напряжены, руки невольно перебирают поводья.

Мы все скакали в ритме дикого коня, пренебрегая безднами. Скакал конь, гремела гроза. Хозяйка дрожала поперек седла не только от страха (вот почему – разрешение!).

В переулке, полном праздничного гама, гармошки, песен, криков детворы, – все стихло, – захлопали ставни, заметили люди: что случилось?

Сквозь топот Тимурова коня хозяйке чудился топот милицейских лошаков.

Сыпались камни. Обваливалась дорога, скакал конь. Гроза гремела. Настигала погоня. Тимур летел через пропасть, роняя пленницу в грозный Дарьял.

Все долго молчали, как после бури или кораблекрушения...^[51]

Мария Седова (Луговская) рассказывала, что уже в тридцатые годы она из квартиры в Староконюшенном заходила к Марике почти каждый день; мама посылала ее по самым разным хозяйственным нуждам. В центре комнаты стояло большое массивное кресло, оно было из дома на Волхонке.

Мария Владимировна написала маленькую историю этого кресла:

С раннего возраста, бывая в доме подруги моих родителей – Марии Гонта, – я помню большое дубовое кресло с резной спинкой. Об этом кресле Мария Павловна рассказывала, что его принес в дар ей и ее мужу – поэту Дмитрию Васильевичу Петровскому – Борис Леонидович Пастернак.

Они переехали в пустую комнату в Мертвом переулке (пер. Островского), и какое-то время кресло было их единственной мебелью.

По словам М. П. Гонты, кресло принадлежало еще отцу Б. Л. Пастернака – художнику Л. Пастернаку. М. П. Гонты умерла в 1995 году. Она хотела, чтобы кресло вернулось в дом Пастернака.

Прямо напротив их дома стоял особняк М. Морозовой, известной меценатки, которая создала знаменитое философское общество памяти Вл. Соловьева. После революции этот великолепный дом стал обычной уплотненной коммуналкой.

В дом по соседству родители маленького Жени Пастернака водили его к учительнице иностранного языка. «Длинный коридор был уставлен шкафами, двери в комнаты при этом становились темными нишами»^[52], – вспоминал Е. Б. Пастернак. Потом дом купило Датское посольство. Из окон квартиры Марики можно было увидеть посольскую гостиную. Сама обладательница многих московских особняков, Маргарита Морозова, жила с сестрой в подвальном этаже с окнами на уровне тротуара. Ее сыном был Мика Морозов, портрет которого написал Валентин Серов. В будущем один из лучших знатоков Шекспира, профессор Михаил Михайлович Морозов в конце 20-х годов пригласивал с Булгаковым.

Марики была близкой подругой и Татьяны Луговской, хотя их разделяла разница в возрасте в десять лет; ее опекали, что видно из писем Петровского, Владимир Луговской и первая жена его Тамара Груберт.

Татьяна Луговская, рассказывала, как в середине 20-х годов, когда ей было около шестнадцати лет, она несколько раз просила Марику познакомить ее с Пастернаком, но случай никак не представлялся. Однажды зимним февральским днем они шли по Волхонке, мела метель, ни зги не видно. Татьяна привычно заканючила: «Ну, где, где твой Пастернак?» – и вдруг из белой мглы послышался голос: «Я здесь!» Так состоялось их знакомство.

Марику Гонтю Пастернак опекал, когда впоследствии ее бросил Дмитрий Петровский, он очень нежно относился к оставленным, брошенным мужьями женам. Его терзало чувство вины. Говорили, что у него была мысль на все свои деньги поставить дом оставленным женщинам или несчастным вдовам. Ее воспоминания написаны с огромной любовью. «Его отношение к женщине было нежным, даже женственным, – писала Марики, – основанным не столько на том, чтобы завоевать любимую женщину, сколько на том, что он не мог отказать женщине»^[53]. Но Марики не была одинокой.

На съемках фильма «Путевка в жизнь», в котором Марики исполняла сразу две роли, воровки и нэпманши (беспризорники вырезали клоч шубы у нее со спины), у нее случился роман с режиссером Н. Эком.

В ее доме на торшере всегда висело янтарное ожерелье. В память о романе с Даниилом Андреевым. В 1937 году они жили вместе в Крыму, в Судаче. Он посвятил ей цикл стихов «Янтари». Вывел ее в исчезнувшем на Лубянке романе «Странники ночи» в образе татарки Имар, в которую влюблен главный герой Олег Горбов. Он отказывается от духовного брака ради земного чувства. В оставшемся наброске романа есть портрет Имар, написанный с Марики: «...горячий полумрак сглаживал единым тоном ее смуглую кожу, яркие губы, косы, заложенные вокруг головы, и янтарное ожерелье...»

Исай Лежнев. Похождения главного редактора журнала «Россия»

В черновой рукописи «Театрального романа» Булгаков пишет:

...В Москве в доисторические времена (годы 1921–1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо, и руки), и отличался большим умом. Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922–1925!!) частный толстый журнал! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была неопишуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартире, он издавал^[54].

Итак, я отнес свою повесть туда, – словно продолжая «Театральный роман», вспоминал годы спустя его друг Сергей Ермолинский. – Редактор-издатель принимал авторов у себя дома, на Большой Полянке. Меня встретил рыжеватый человек с красными веснушками на лице. Он взял рукопись и предложил зайти к нему через две недели. Я пришел в назначенный срок и позвонил с замирающим сердцем. Дверь отворила дама. Она смотрела на меня испуганно. Она сказала: «Редактора нет, он уехал и неизвестно когда вернется».

Он не вернулся совсем, он исчез. Журнал перестал выходить. Моя рукопись пропала. Ходили слухи, что редактор «независимого» журнала «Россия» арестован, потом говорили, что он административно выслан за границу^[55].

«Я к Вам с двумя просьбами. Выслан за границу Лежнев, редактор незадолго перед тем закрытого журнала «Новая Россия»»^[56], – пишет

Пастернак Корнелию Зелинскому 1 июня 1926 года в Париж, где тот работает корреспондентом «Известий» под началом Х. Раковского.

Так кто же такой этот таинственный «замечательный человек» Исай Лежнев? Талантливый издатель, авантюрист или темная личность? Примечательно его появление на страницах «Театрального романа» Булгакова в образе рыжего Рудольфи – тот возникает на пороге комнаты уже совсем отчаявшегося писателя Максудова и предлагает контракт на печатание его романа.

В 1918 году Лежнев был членом делегации бюро печати на Украине. На юге России несколько лет он организовывал различные советские газеты, а затем стал спецкорром в советском постпредстве в Берлине.

В начале 20-х он становится главным редактором и издателем журнала «Россия». Журнал был сначала двухнедельником, выходившим на 32 страницах обычного формата, а затем стал толстым ежемесячником. В его подзаголовке значилось: «общественно-литературный журнал группы литераторов и ученых». В списке сотрудников были имена как молодых писателей – М. Зощенко, Вс. Иванова, Н. Никитина, Н. Тихонова, К. Федина, Б. Пильняка, так и уже известных – М. Пришвина, М. Шагинян, В. Лидина, О. Форш и ряда видных московских и петроградских ученых и публицистов.

Журнал <...> заигрывал с интеллигенцией, старался стать ее трибуной <...>. И он словно доказывал Западу, что в России, которую продолжают обвинять в полном бесправии, покончено с единомыслием, возрождается свободная литература. По-видимому, это была одна из главных, подпочвенных задач нового журнала. И, должно быть, это было своевременно. <...> Сменовеховцы заговорили о возвращении на родину, а затем ряд видных профессоров и писателей (в том числе Алексей Толстой) получили право вернуться домой.

Играя на настроениях колеблющихся эмигрантов, журнал всячески подчеркивал национальный характер нашей революции. Почитался Горький за то, что сказал, что «жестокость русского народа выходит из чтения жития святых» <...>. Рекламиривался Б. Пильняк, один из самых модных писателей того времени, он говорил сумбурной своей прозой об особенном, исконно-русском, кондово-национальном духе большевизма. <...> «Россия» была перекрестком разных путей и дорог, противоречивый, пестрый журнал, но его направляла умелая, ловкая редакторская рука...^[57]

Внедрение И. Лежнева в сменовеховскую среду и его работа в журнале «Россия» были, по всей видимости, частью какого-то большого плана.

В апреле 1926 года состоялся Российский зарубежный съезд (РЗС), где были представлены основные военные и гражданские силы русского зарубежья. Но Съезд напугал советские власти, и они решили расправиться со сменовеховцами. 16 апреля в «Правде» вышла резкая статья Михаила Кольцова, направленная против И. Лежнева. А в начале мая на заседании Политбюро появилось решение о закрытии журнала и высылке его редактора.

Однако вернемся к письму Пастернака.

Он со свойственным ему простодушием объясняет Зелинскому, незнакомому человеку, все, что думает о случившемся:

...Я исподволь участвовал (имеется в виду – в публикациях журнала. – *Н. Г.*), хотя журнал по духу дилетантизма, там царившего, казался мне всегда воплощением добродушной безвредности, стихии, к которой меня никогда не влекло. Было бы несправедливо сказать, что эта эманация исходила от Лежнева. Он умнее и существеннее своего журнала, как, может быть, и некоторые из сотрудников. Характер безотрадной порядочности создавался всем коллективом, и адрес редакции, благодаря этой особенности, находился если не в самой округе общих мест, то в угрожающей от него близости. В «Новой России» я участвовать не стал, заявив об этом редактору. Причины приведены выше. Этому человеку, слепо преданному союзу, месту союза в истории, идее союза и любой комбинацией слова «союз» с любым большим и энтузиастическим понятием, дали выпустить три номера, на четвертом закрыли и выслали^[58].

Интересно, что трехлетие журнала «Россия» отмечалось с большой помпой в Доме Союзов 6 апреля 1925 года. С речами на вечере выступали А. Белый, И. Лежнев, М. Булгаков, Б. Пастернак, Д. Петровский. О. Форш и другие. И здесь, в выступлениях, видимо, настойчиво звучало то, что потом отозвалось в письме Пастернака. «Трудно даже поверить, – писалось в газетном отчете «Вечерней Москвы», – чтобы в течение каких-нибудь трех часов можно было столько раз подряд повторять слово – Россия».

Интересно, что Пастернак в этом же письме к Зелинскому пронизательно и иронически оценивает Лежнева и его детище, но при этом выступает в качестве его заступника.

Женская стихия власти, – пишет Пастернак, – повела себя как женщина: проглотила три любовных письма, четвертого не распечатала и своего поклонника временно отправила к чертям <...> прекрасно зная, что слепая его любовь только удесятерится от превратностей, и в пятом письме он ей пришлет свое облитое кровью сердце. Правда и выслали-то его по поговорке: милые бранятся – только тешатся, т. е., только на срок, номинально трехлетний, но который обещали сохранить, с полным советским паспортом и

разрешением работать в заграничном советском учреждении. Незадолго до высылки Радек по моей просьбе должен был поговорить с Дзержинским о Лежневе. Позволительно думать, что по пересмотре дела, м. б., его даже не выслали бы. Но Дзержинского не было эти дни в Москве. Высылка же, т. е. самая посадка на поезд, произошла неожиданно, и я не успел попросить у Радека письма Раковскому, в котором бы он мне не отказал и о котором в самую последнюю минуту попросил меня высылать. На вокзале пришло мне в голову, написать Вам, Корнелий, о нем и попросить Вашего, и через Вас участия Хр<истиана> Августовича (Раковского. – Н. Г.). Я знаю, что в предоставлении работы Вы, конечно, решительных шагов не сделаете, не запросив центра. И с этой стороны, вероятно, препятствие не встретится. Но выслушайте его со вниманием и доверием. Это умный, честный, до ослепленья верный строю человек. Я настаиваю на слове, проскальзывающем в письме второй раз: мир заложен для Лежнева, как политического романтика – идеей союза, кроме которого он в мировом пространстве ничего не помнит, не знает и не ищет. Потому-то я в «Нов<ой> России» и не стал сотрудничать. Казенные журналы, временами, проводящие это отождествление механически и по инерции, т. е. бесстрастно, я предпочитаю журналу честному, отстаивающему этот антропоморфический миф со страстью. – Боюсь, что, разболтавшись с Вами, я затемнил для Вас существо первой просьбы и Вас рассеял. Я прошу, как принято это называть, о всемерном содействии Лежневу, который, верно, на днях зайдет в постпредство, если еще не зашел^[59].

Поэт заступает за человека абсолютно не близких ему политических взглядов, просит за него у тех, на кого тот честно работал и у кого, возможно, продолжает состоять на тайной службе, при этом Пастернак независим в своих взглядах на власть и страну и не скрывает их от адресата.

В тот же день, когда Пастернак пишет Зелинскому, злополучный издатель посылает свою просьбу в Париж:

Посоветовал мне обратиться к Вам Борис Леонидович Пастернак. Он, как и другие товарищи, как и всероссийский союз писателей, принимают живейшее участие в моей беде. Минут за десять до отхода поезда из Москвы он примчался на вокзал и, запыхавшись, сказал: «Еще вот что. В Париже, в нашем постпредстве, работает поэт Корнелий Зелинский, друг Сельвинского. Он там занимает должность, кажется, литературного секретаря Раковского. Обратитесь к нему. Ему о Вашем деле напишет Сельвинский, напишу и я»^[60].

Загадки в судьбе И. Лежнева продолжались и далее. Оказавшись за границей, он написал автобиографическую книгу «Записки современника», на основании которой, как сказано в Литературной энциклопедии, был принят в партию. Возвратившись в 1930 году в Советский Союз, он становится крупным литературным чиновником.

В книге, вышедшей в 1935-м, он саморазоблачается, т. е. описывает свое мелкобуржуазное детство и юность.

Тщеславная обезьянка и цепкий собственник, – пишет он о себе, – как все буржуазные дети, я был горд отцом и знал его как свою собственность. <...> Я не видел за столом сбора толстых самодовольных рож. Я был маленькой обезьянкой тенью своего рослого отца. Что нравилось ему, нравилось мне...^[61]

Далее он разоблачает интеллигентско-сменовеховскую среду, рассказывая о своей работе на должности редактора:

В первых строках передовой статьи первого номера «Новой России» я писал, захлебываясь от восторга: «После четырех лет гробового молчания ныне выходит в свет первый беспартийный публицистический орган».

А далее опять самоизбиение и избиение товарищей по цеху – оказывается, свобода торговли и свободная журналистика, по Лежневу, одно и то же:

Торговца этого мы все видели, но родства не признавали. <...> Своего классового родства с нэпманом мы все же не хотели видеть. А когда коммунистическая печать подчеркивала нашу родословную, то это только бесило, и я в сердцах огрызался. <...> Интеллигенции не нужен нэп. Он ей ничего не дает ни материально, ни тем более духовно. Как жили в нищете раньше, так и живем теперь. Нам не нужны порожденные нэпом продукты «культуры» вроде тотализаторов и бегов, кафе «Без стеснения» и кабаре «Нерыдай», «Журнал для женщин» и «Веселой простокваши»^[62].

Однако Лежнев помнит свою главную задачу – раскрыть собственное порочное нутро, поэтому пишет дальше: «Я был во власти все того же старого интеллигентского предрассудка, будто сознание независимо от бытия, отрешено от него и автономно управляется собственными имманентными законами...»^[63] И так далее. Можно сказать словами Ленина, что книга Исаи Лежнева и теперь «очень своевременная», так как в ней отражены близкие нам и сегодня повороты сознания. Но по-прежнему остается без ответа вопрос, кто же такой был на самом деле Исай Лежнев.

Почти все участники движения сменовеховцев, вернувшиеся в Россию, были арестованы и в конце 30-х сгинули в тюрьмах и лагерях. Играл ли он роль провокатора в литературной среде или же искренне заблуждался, не ясно. И все-таки, похоже, что ближе всех к истине был Булгаков.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и глубоких калошах, а под мышкою держит портфель.
<...>

– Рудольфи, – сказал злой дух тенором, а не басом.

Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина», Илья Иванович Рудольфи^[64].

Вернувшись в Россию, Исай Лежнев, кроме того что выпустил в «Новом мире» свое саморазоблачительное сочинение, которое не могло не развеселить Булгакова, отличился выступлением на съезде писателей со словами критики в адрес своего недавнего защитника – Пастернака, обвинив его (!) в симпатиях к сменовеховцам.

В ташкентской эвакуации И. Лежнев – секретарь узбекского Союза писателей, а на деле, согласно дневникам Вс. Иванова, один из цензоров, передающий произведения авторов, находящихся в эвакуации, на досмотр в НКВД.

Ирония судьбы состояла в том, что К. Зелинский и И. Лежнев наконец соединились в научном труде о Фадееве (каждый из них работал над своей монографией и ревниво относился к труду другого) – длинных скучных книжках, не нужных ни герою их повествования, ни им самим.

В библиотеке Луговского находилась книга И. Лежнева с пометами красным карандашом, и касались они вопроса, которому и были посвящены его «Записки современника» – технологии превращения интеллигента в советского человека.

Луговской. Первородный грех происхождения

«Новое» интеллигентское движение шло под флагом «приятя революции». Ложь! То было приятие воображаемой «нэповской эволюции», а не Октябрьской революции.

И. Лежнев. Записки современника

Наступает высшая точка развития нэпа. Меняется идеологический заказ власти. Тема революции, Гражданской войны, революционной романтики вытесняется темой глобального переустройства: общества, человека, страны, городов, заводов.

Лидия Яковлевна Гинзбург записала в дневнике о писателе Юрии Крымове, что дети из интеллигентской среды, такие как он, сразу же «безоговорочно шли в комсомол – замаливать первородный грех. У них не было ни двоемыслия, ни двуязычия». Но Крымов родился в 1910 году и с неизбежностью принадлежал уже советскому поколению. Иное дело – те, кто родились в самом начале века. Они закончили гимназии и еще застали прежние университеты.

Владимир Луговской первородный грех своего происхождения замаливал все 30-е.

На странице одной из его тетрадей 1926 года почти стершийся карандаш. Мелкий круглый почерк:

Мне нравится, что я начал писать то, что мне действительно хотелось высказать, пусть даже приблизительно и неточно.

Работать, работать и работать!

Едва ли мне сойтись с акмеистами.

Буданцев сказал правду – нужно преодолеть Пастернака – языком лирики, темы. Над этим следует задуматься всерьез.

Еще одна правда. Либо жизнь – биография, приключенчество, драма, острые <нрзб> либо поза, но точно выверенная, умело разработанная. Следует взять на зарубку.

Буду идти на ликвидацию личных моментов в стихах о Гражданской войне^[65].

Буданцев – это писатель, погибший в годы репрессий, приятель Пастернака; интересно, что именно он наставляет молодого поэта таким образом.

Луговскому уже 25 лет. Для многих поэтов это время зрелости. В одном из писем он говорит о своем кризисе:

Нужно сказать, что у меня за эти полтора месяца болезненно обострилось самолюбие в сторону, пожалуй, внешнюю. <...> Тянет меня к левому фронту. Страшно, страшновато переходить на роль «молодого» писателя. Это даже как-то погано звучит^[66].

«Узловцы», в большинстве своем тяготеющие к неоклассикам, для него все более остаются в прошлом, нужен мост в современность, в сегодняшний день. Но его интеллигентское происхождение очень мешает становиться современным.

Плохо то, что пока чистой жажды творчества нет, а получаются все какие-то подходы, приемы, темы, более или менее худосочные. Стихи моих приятелей тоже кажутся мне несуразными и никому не нужными. Чрезвычайно остро стоит вопрос: *на кого, для кого* пишешь.

Наше время дает огромный простор для дела. Я же сильно нахалтурился и шел по линии наименьшего сопротивления. Хвастовство и вранье были попытками фантастического преодоления (и легкого) трудных жизненных препятствий, ведущих к достижениям. Миросозерцание и вообще «я» были приобретены до 1923 года и с тех пор пополнялись лишь от случая к случаю. Теперь это устарело и никого не может интересовать. На старости лет приходится опять начинать с азов. Врожденная доля упрямства и мягкотелость, но стержневая жажда продвижения и не последних мест толкает на мастерское учение и терпеливость.

Я всегда был трусом. У меня всегда было непомерное самолюбие. Мною всегда владела лень. От времени до времени при столкновении этих факторов я шел на всякие опасности и трудности напролом, добиваясь кое-каких успехов. Не удавалось – врал и успокаивал себя. Необходимо пустить самолюбие (если ничего лучшего нет) плюс озлобленность на себя для планомерной работы <...>.

Самым первым качеством, первой добродетелью на поверку оказывается *простота*. Если она соединяется со смелостью (а для меня это особенно трудно) – получается уже правильная вещь^[67].

Он всегда желал производить впечатление сильного и мужественного человека, чему немало помогала его внешность: высокий рост, прямая спина, красивый низкий голос. За всем этим скрывался ранимый человек с вечно расстроенными нервами, с огромной неуверенностью в себе. Что, кстати, и роднило его с Маяковским.

Раздвоенность Луговского, как и всякого мальчика из интеллигентной семьи, шла из детства. В его юношеском дневнике слышатся интонации «русских мальчиков» Достоевского. С их внутренними муками и поисками смысла.

12 декабря 1913 года. До чего я бесхарактерен. Это, наверное, видно по всему. Нравственность моя теперь одно удивление. Господи! И это все плоды гимназического воспитания. Будь она проклята, гимназия! Она похитила у меня мои мысли и чувства, развратила и обленила меня! Дай-то Бог, чтобы все они исчезли под конец. «Школа свободного ребенка» – вот идеал. Учусь теперь лучше, прилежнее. Вот

насчет нашей религии у меня сомнения большие. По-моему, лютеранская гораздо лучше. Патриотизма у меня, сказать по правде, мало. Россию я не Бог весть как люблю, хотя сам, по характеру и чувствам, несомненно русский^[68].

Казенная квартира при гимназии занимала весь этаж, кроме отца – преподавателя, а затем инспектора гимназии – здесь жили: мать – певица и музыкантша, их дети: Володя, Нина и Таня.

Он, наверное, понимал, что у такого отца должен расти положительный, правильный сын, но себя таковым не ощущал. Его тяготила гимназическая жизнь, проникавшая за стены квартиры. Либеральный задор был свойствен просвещенному подростку, отсюда горделивые слова в юношеском дневнике: ««Школа свободного ребенка» – мой идеал!»

Мальчики из интеллигентных семей, читающие Джека Лондона и Киплинга, Пушкина, Некрасова и Блока, мечтали приблизительно об одном и том же – чтобы перевернулась вверх дном старая Россия. Их дяди и старшие братья участвовали в студенческих забастовках, и семья Луговского не исключение: брат отца, Павел, погиб на демонстрации в 1905 году.

Эпизоды революции в Москве проходят прямо перед окнами дома, который через два года придется навсегда оставить. Исчезнет кабинет отца, куда запросто приходили Ключевский, Тураев и Сакулин. Исчезнет аллея возле храма, где, прогуливаясь по набережной Москвы-реки, А. Ф. Луговской раскланивался с Л. Н. Толстым. Началась другая эра.

Сразу после революции, бросив Московский университет, В. Луговской уехал в Смоленск с полевым контролем Западного фронта, но, подхватив там тиф, вскоре вернулся. Несколько месяцев он работает следователем в угрозыске.

Легендарная Хитровка, облавы, притоны, проститутки, разгромы хитровского дна... Он живет рядом с Волхонкой, где родительская квартира при гимназии уплотнена до одного кабинета. Затем Военно-педагогический институт, чтение первых стихов Брюсову, Бальмонту. В начале 1921 года, наскоро его окончив, Луговской снова отправляется в Смоленск. Вся семья работает в расположенной недалеко от Сергиева Посада, в Розановке, детской колонии, которую возглавляет А. Ф. Луговской, живет крестьянской жизнью.

Рядом с колонией – туберкулезный госпиталь. Юная барышня Тамара Груберт, не окончившая Институт благородных девиц, помогала матери ухаживать за больными и одновременно ходила заниматься к А. Ф. Луговскому словесностью. Она и Владимир Луговской дают друг другу тайную клятву любви, решив не связывать себя брачными узами, нелепыми обязательствами. Они уважают свободу друг друга. Этот

эксперимент в духе нового времени запутает на десятилетие их жизнь, в конечном счете разлучит их, так и не сделав счастливыми. Но пока он пишет ей из Смоленска, где все еще полно отзвуков опустошительной Гражданской войны.

Потом он воспоет эти времена в стихах. Но тогда он, политпросветчик, все более испытывает тоску и усталость от серости и грязи, обступивших его. А главное – от безверия.

Его отец, Александр Федорович Луговской, после школы-колонии в Сергиеве возглавлял лесную школу в Сокольниках; в ней училось много будущих филологов и поэтов – Л. Тимофеев, А. Тарасенков, Н. Дементьев и другие.

В 1924 году в тетрадях Луговского появляются неожиданные строки, свидетельствующие о том, что он еще не понимает, что происходит с ним, со страной, куда все идет. Но это странно лишь в контексте его будущей судьбы. Видимо, тот путь, который он выберет после 1926 года, не позволит даже вспоминать о таких настроениях. «Год седьмой» – это очередная годовщина Октября...

Год седьмой в тяжелый грохот канул...

Год восьмой – упорство укреплю,

Но судьба змеящимся арканом

Мне на горло кинула петлю.

Вот иду я поступью неспешной

(Все равно далеко не уйдешь),

Все равно мной двигает как пешкой

Наших дней измученная ложь.

Каяться мне вовсе не пристало,

Прошное бесчестить – не хочу,

Сам я сапогом давил усталым,

Сам уподоблялся палачу.

А теперь оправдываться странно,

Жизнь ведь к обвиняемым строга.

Многие твердили мне пространно,

Что свалюсь я к черту на рога.

Поздно поворачивать обратно,

Мир на повороте отупел.

Нужно погружаться троекратно

В новую холодную купель.

20.11.1924. Ялта (?)

Здесь слышна переключка с есенинскими строками: «Не расстреливал несчастных по темницам...» Поэту важно было понимать, с кем он. С жертвами? С палачами? Или один.

Петровский и Луговской. «Поэты перешли на «ТЫ»»

Сблизились Луговской с Петровским на Крымском побережье, в Ялте. Это место постепенно возвращало себе вид курортной местности; царские дачи и особняки превратились в Дома отдыха.

Хожу,
 гляжу в окно ли я –
цветы
 да небо синее,
то в нос тебе
 магнолия,
то в глаз тебе
 глициния.

.....
Под страшной
 стражей
 волн-борцов
глубины вод гноят
 повыброшенных
 из дворцов
 тритонов и наяд.

Это Маяковский – о Крыме. Дворцы «вычистили» и поселили рабочих, чтобы «отремонтировать» их в крымской кузнице. Но глубины моря хранили не только от тритонов и наяд.

Под Севастополем, на кладбище судов,
Где мы с тобой ловили крабов. Жадно
Я для тебя нырял, летел в пучину
И видел мертвецов у миноносца,
Объединенных рыбешками, и шлюпку
С названием корабля,
 и никому
Я, возвратясь, не рассказал об этом.

В. Луговской. Эфемера

Только что в Крыму шли бои, власть переходила из рук в руки. В Севастополе местная Чека расстреляла и утопила в водах Черного моря тысячи солдат и офицеров. Эта чудовищная картина и открылась поэту.

Петровский оказался в Крыму сразу после того, как оттуда выгнали белых; в 1920 году у него обострился туберкулез – видимо, после ареста и тюрьмы, и он был отправлен в Ялту для лечения и на работу в комиссию Внешторга.

Дворцы и дачи Крыма национализируются сразу же после ухода из него врангелевской армии при помощи проверенных людей. Осенью 1921 года Петровский «участвует в ликвидации крымского бандитизма и спасении богатств крымских дворцов», а также занимается оценкой и распределением крымских дворцовых ценностей для музеев и для экспорта.

Луговской стал ездить в крымский санаторий с лета 1924 года (он работал политпросветчиком в Кремле).

Быт и нравы курортной крымской публики – в письме Тамаре Груберт:

Живем мы здесь небольшой (16 чел.), но тесной коммуной. Ведется умеренный флирт. Умеренность моих товарищей объясняется, по моему, решительным безобразием половины наших дам. Но четыре небезобразных уже имеют сотоварищей...^[69]

Внешне жизнь курорта напоминает показанную в фильме «Веселые ребята»: легкие разговоры, флирт, музыка, вино, белые костюмы.

Летом 1926 года Луговского, так он чувствовал сам, приняли в настоящее поэтическое братство, хотя писал стихи он целых восемь лет. 3 июля он пишет Тамаре Груберт:

Мы здесь существуем с Петровским. Он носится с какими-то сумасшедшими проектами о создании нового Лефа. Его поддерживают еще несколько лиц. Но это секрет. Я тебе расскажу все лично...^[70]

За этот месяц жизни на юге Луговской пережил внутренний кризис: Мне кажется, что я стал старше. Почему-то самый факт моего 25-летнего существования повлиял на меня в сторону серьезных размышлений о том, что я сделал и чего не сделал (последнего неизмеримо больше). <...> Последнюю ночь я физически чувствовал, как настоящее творчество, настоящая, подлинная жизнь, наполненная огромными и напряженными ветрами, проходит совсем мимо, бок о бок с пароходом. Я испытывал конечное удовлетворение и радость, и поэтому все мне немило (в поэзии). Конечно, на меня оказали влияние и длительное существование с Петровским и Петниковым в Ялте, разговоры, сумасбродства. Итак, это лето, особенно последние недели, были каким-то поворотным пунктом (вроде Смоленска). Это я знал и на это сознательно и неуклонно шел. Начавшееся состояние (началось оно

с приезда в Крым) должно было разрешиться до конца. Я ходил с собой под ручку и разговаривал о многих и плохих вещах^[71].

В стихотворении «Два поэта» он говорит с Петровским как с равным:

Валились тучи. Рокотал зюйд-вест.

Дома едва не покидали мест.

Мы собрались.

В одном поэте

Кипел портвейн.

В другом чертовский ветер.

.....

Тогда, поняв всю гордость нищеты,

Восторг сумбура и железо ритма,

Друг с другом перешли они

на «ты».

В память о крымском лете 1926 года сделана фотография, запечатлевшая небольшую компанию отдыхающих; троих из них легко узнать: на лавочку присели Григорий Петников в фуражке и Дмитрий Петровский в колониальной шляпе, рядом стоит Владимир Луговской с полотенцем через плечо.

Дмитрий Петровский, судя по дарственной надписи на книге о Велимире Хлебникове («Самым человечным львам и первому среди них Владимиру. Дмитрий Петровский. Твой старший брат. 21.11.1926»), назначил себя учителем и старшим братом Луговского. Они с Петниковым были людьми другого поколения. Можно себе только представить, как много Петровский мог рассказать в те прогулки вдоль моря – о Хлебникове, Елене Гуро, молодом Маяковском, Пастернаке, начале футуризма, о своем партизанском прошлом, о том, как сражался то на стороне анархистов, то у красных казаков – одна из его повестей была автобиографичной и называлась «Дмитрий Петровский».

Марика Гонта вспоминала, что для того, чтобы писать стихи, Дмитрию Петровскому нужны были внешние толчки, жизненные инсценировки. Такими инсценировками было его участие в партизанских отрядах Щорса. Богатый творческий улов от личного общения с событиями и двигателями революции – Боженко, Примаковым, Подвойским, Стецким, Раскольниковым, Ларисой Рейснер. Когда утихло все, искал морскую тему^[72].

Петровский пытался убедить Луговского в необходимости для поэта необычной судьбы.

Кино, театр, литература 30-х годов выводят на авансцену времени полярников, летчиков, пограничников, шахтеров и других героев – сражающихся со стихией, преодолевающих трудности.

Вскоре Луговской, усвоив наставления своего учителя, вместе с Тихоновым отправится в Туркмению на границу, где шли бои с

басмачами. Жар песков, азиатский колорит, настоящие опасности и приключения возвращали их к героям романов Купера и Киплинга.

Влияние Петровского сказалось и на других сторонах поведения ученика. У Луговского появится и более легкомысленное отношение к семье (в 1925 году он все-таки зарегистрировал брак с Тамарой Груберт). Хотя отношения с женой продолжают оставаться для него важными и необходимыми – она и друг, и советчик, и редактор, но измены становятся все более привычными.

Летом 1926 года Петровский оставляет Марику Гонту. Он встречается киноактрису Галину Галину, с которой живет в Ялте. Но уже года через два он попытается вернуться к Марике.

Оказавшийся вовлеченным в эту ситуацию Б. Пастернак жаловался жене (в письме от 26 июня 1928 года):

Недели 3 назад, в вечер твоего отъезда, мне позвонила Мариечка. <...> Вчера я был у нее, она была очень весела, я читал ей. Она рассказала, что Дмитрий помогает ей и даже предлагает, чтобы все было по-старому... Вдруг пришел Дмитрий, нагловатый по обыкновению. Достаточно было двух слов, чтобы я вспыхнул. И пошло. Как он безобразен^[73].

Знаменательно, что каждый из поэтов пройдет жесточайшее испытание, связанное с уходом-возвращением-разрывом с прежней женой, выбранной по духу и оставленной по обстоятельствам.

Пастернак и Тихонов

В нашу семью (Мясницкая, Петровский) вошел новый человек. Это Н. Тихонов...

Из письма Б. Пастернака

Е. Пастернак. 24.6.1924

Николай Тихонов вошел в московскую жизнь Пастернака в 1924 году. Хотя он был поэт преимущественно питерский, в Москву приезжающий наездами, но в те годы их пути надолго пересеклись. Около полутора десятка лет они будут на любом расстоянии ощущать друг друга, беспокоиться, передавать приветы, но в конце концов узел их отношений будет разрублен навсегда.

В самом начале пути Тихонов писал о себе много и по-разному. Например, в 1922 году мог сказать такие слова: «Сидел в Чека и с комиссарами разными ругался и буду ругаться, но знаю одно: та Россия, единственная, которая есть – она здесь. <...> Закваска у меня – анархистская, и за нее меня когда-нибудь повесят. Пока не повесили – пишу стихи»^[74]. Эти слова появились в журнале «Литературные записки», где печатались Серапионовы братья, в число которых он тоже входил. Напомним, что в этом братстве состояли М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, К. Федин и другие.

Известно, что в начале 20-х годов в бывшем доме миллионеров Елисеевых была устроена коммуна-общешитие литераторов, называемая Домом искусств. Поселился Тихонов в одной комнатке (в «обезьяннике») с Всеволодом Рождественским – «в довольно узком темноватом коридоре, примыкавшем к просторной елисеевской кухне». У них была буржуйка, а у А. Грина, обитавшего в соседней комнатке, печки не было, и он часто рвался к соседям погреться. Через Рождественского Тихонов перезнакомился со всеми литераторами Петербурга.

На одну из встреч Нового года Рождественский пригласил в Дом искусств – молоденькую приятельницу Марию Константиновну Неслуховскую, которой был увлечен. С этого времени Тихонов стал бывать в семье Марии Константиновны на Зверинской улице Петроградской стороны. Впоследствии этот дом стал для Николая Семеновича родным: он женился на Марии Константиновне^[75].

Мать Ларисы Рейснер в голодные 20-е годы пишет дочери в Афганистан о новых питерских героях:

Полюбила я очень Николеньку Т<ихонова> – у него лицо такое, точно он долго плыл, и вот скоро берег, и он доплывет, и на берег выйдет <...>. А женился он на девушке странной: она костюмерша кукольного театра, куколки ее величиной в 8 сантиметров, одеты по эпохам, с точной поразительной выдержкой, делает она их сама, одевает так тонко-художественно, что похоже на модели; а вечером Николинька и она садятся за большим гладким столом, у них сделано 50 групп куколок разных эпох и национальностей, и жена выбирает какую-нибудь эпоху, расставляет их на столе и начинает рассказывать про них роман. <...> Поэт сидит и слушает, слушает до утра, фигурки двигаются, а молодая жена творит фигурками жизнь, думаю, что жена Николеньки больше, чем он, поэт...^[76]

Неслуховские – старая петербургская дворянская семья, где было несколько веселых сестер, устраивавших вечеринки, маскарады, розыгрыши. Удивительно, что все, кто знали Тихонова, говорят, что он

сохранил привычку к открытому дому, веселью, гостям и розыгрышам до самого последнего часа. Наверное, это единственное, что тонкой нитью соединяло Николая Тихонова с его прошлым. В семье Неслуховских, по воспоминаниям Каверина, близко дружившего с поэтом в те годы, его приняли как родного.

Отец Тихонова был парикмахером, мать – портнихой, старший брат стал мастером по парикам. Путь юноши, казалось, был предопределен, но его страсть к чтению приключенческой литературы и невероятное умение рассказывать экзотические истории, подлинные и выдуманные, сделали его поэтом-романтиком. В 20-е годы он страстно увлекся Киплингом, Лоуренсом Аравийским, учил английский язык, мечтал о путешествии в Индию.

«Очень кратковременное личное знакомство с Н. С. Гумилевым заставляет его сильно сосредоточиться и задуматься над своей работой», – так пишет о себе Тихонов в третьем лице в автобиографии 1926 года. Всю жизнь он хранил запретную книгу с подписью Николая Степановича Гумилева: «Дорогому Николаю Семеновичу Тихонову, отличному поэту. Н. Гумилев».

Тихонов создает поэтические баллады, пользующиеся огромной популярностью. Получает высочайшие оценки самых жестких критиков. Но в 1923 году он еще оставался несоветским поэтом. Именно тогда он напишет трагические строки:

Да, чужда мне, чужда Нева,
И ветер чужой распахнул окно,
В наших книгах не те слова,
И у мельниц не то зерно.

Тело бросили в долгий гон,
Но нельзя же годами в бреду
Вместе с кожей срезать погон
Иль на лбу вырезать звезду.

Нет огня, и погнулся нож,
Стыд смотреть глазами в глаза,
Хоть и это может быть ложь,
Но закрыты пути назад.

То, что «пути закрыты назад», – так, видимо, думали многие. Можно ли развернуть историю, которая на их глазах была оплачена столькими жертвами? Гражданская война принесла смерть почти в каждую семью... Может быть, надо было просто это принять?

Пастернак и Тихонов в середине 20-х годов не раз говорили о приятии времени, о смирении перед ним. Они познакомились в кружке Осипа Брика в конце 1923 года, и к июню 1924-го Пастернак всецело принял его в свою «семью».

Радость видеть такого человека, – пишет Пастернак жене, уехавшей с сыном на дачу, – он единственный, с кем я говорил о тебе. Тогда он преобразился, полез в кармашек своей куртки военной, порылся, помычал, ничего не нашел, что-то пробормотал, ничего не сказавши. Это было в первое посещение. <...> Просил кланяться тебе, как давно мне это поручили Петровские, Брики, Асеевы и Маяковский...

[77]

Но если Пастернак по-детски воспринял нового друга, то К. И. Чуковский очень едко описывает Тихонова той поры:

Вчера был у меня самый говорливый человек в мире: поэт Николай Тихонов. У него хриплый бас, одет он теперь очень изящно, худощав, спокоен, крепок <...>. У него есть та связь с соврем. эпохой, что он тоже весь в вещах, в фактах, никак не связан с психологией, с духовной жизнью. Он бездушен, бездуховен, но любит жизнь – как тысяча греков...

[78]

Упоение стихией жизни свяжет Тихонова близкой дружбой с Луговским в их походах на Восток. Луговской писал, что любовь к самому процессу жизни (жизненная чувственность) мешает ему жить как нужно и писать как следует. А мешала ли она Тихонову? Вряд ли. В поэзии он редко грешил психологизмом, самоуглубленностью. Он – поэт-рассказчик, поэт-путешественник.

Впрочем, Чуковский не подметил в нем ничего такого, что и сам Тихонов не сказал бы о себе в стихах. Жесткие слова о его бездушии могут выглядеть лишь некоторым преувеличением.

Однако в 1926 году (12 августа) и Пастернак напишет о Тихонове жене в Берлин нечто похожее, но с дружеским расположением:

Так вот, бесконечные кавалерийские рассказы Тихонова, которые не прекращались с утра до вечера, и вообще соседство его юношеской и здоровой простоты (как у гимназиста) действовали на пульс и на все мое существо очень благотворно. Он около 7-ми лет был на фронте, в деле и имеет что порассказать. На его примере видишь, какую роль играет субъективное преломление мира. В его изображении от войны не остается ничего страшного, ничего грязного даже, точно и в действительности, десять лет назад, она целиком была приспособлена для детей среднего возраста

[79]

Пастернак в эту пору, когда он так тяжело сходится со временем, ищет в друзьях противоположное своей усложненности; ему, человеку не воевавшему, любопытен мужской мир войны. Этим же, кстати, ему интересен и Петровский.

Вернемся к прерванной цитате. Вот что пишет Чуковский дальше:

...Того любопытства к чужой человеческой личности, которая так отличала Толстого, Чехова, Брюсова, Блока, Гумилева, – у Тихонова> нет и следа. Каждый человек ему интересен постольку, поскольку он интересен, то есть постольку испытал и видал интересные *вещи*, побывал в интересных местах. А остальное для него не существует^[80].

Отстраненный взгляд сменяется на раздраженный. Чуковский обрушивает на Тихонова все свое неприятие нового поколения поэтов. И Тихонову достается за всех.

Но он не настолько «бездушен» и «бездуховен» – не случайно в его сердце находится место для Пастернака и его стихов. Близок ему и Мандельштам, о чем свидетельствуют тревожные стихи 1924 года, в которых звучит предчувствие его страшной участи:

Крутые деревянные колеса
Сродни гомеровскому петуху,
Как Аттики засушенные осы,
Звезда к звезде приколоты вверху.

Советской ночи бледный Ганимед,
Не над тобой ли крылья распростерла
Слепая птица песен и побед
С железным клювом и железным горлом?

Самоуверенности в Тихонове еще не видно. Он вполне самокритичен, о чем свидетельствует дружеское письмо к П. Н. Зайцеву в 1925 году:

Работаю над 3 книгой стихов. Дело в том, что у меня после Браги, исключая Юг, – полное барахло, а не стихи. Все они сейчас снова пошли в работу, и раньше как во второй половине мая новых стихов конченных – не будет. Я сижу над ними как собака и обгрызаю их до костей. Останутся одни кости – пожалуйста. Никакого жира не признаю на словесных мускулах. – Слова должны быть, как боксеры – выдержаны на диете борца.

Пастернака главу из поэмы читал. Написал ему – все свои восторги и все свои сомнения насчет поэмы.

Костя Вагинов свои стихи пришлет Вам обязательно. На Пасхе в Москве быть не удастся, а вернее, буду в конце мая или в начале июня, когда сирень зацветет у Вас на Арбате. Привет москвичам, которые меня помнят и всем Вашим друзьям. Пришлите мне какие-нибудь стихи кружка – скучаю здесь без стихов.

Нет стихов – нигде, ни у кого. Не ленитесь – напишите мне на праздниках. Будет же у Вас 10 минут свободного времени.

А я в долгу не останусь.

Я Вас люблю, Петр Никанорович, за то, что Вы – такой беспокойной, искренний человек, а все стали сухими, как воблы. Ну, всего, пишите же,

Н. Тихонов^[81].

Пастернак, так же как и с Петровским, пытается через Тихонова иначе смотреть на мир, не замыкаясь в собственном. Очень проникновенно он пишет об этом Марине Цветаевой 11 июля 1926 года:

У меня гостит сейчас Ник. Тихонов. Он 7 лет провел на войне. Он нарушил мое одиночество, и я прямо ему назвал, в чем он мне мешает и чем удобен. Он мешает моим настроеньям. Мне светлей и легче за его рассказами, чем в полной беспрепятственности с самим собой.

Вот мущина. В соседстве с ним мои особенности достигают силы девичества, превосходят даже степень того, что можно назвать женскостью. <...>

Жизни, как ее, верно, постоянно видят другие, хоть тот же Ник. Тихонов, я никогда не видал и не увижу^[82].

Эти слова про девичество (как отсутствие мужественности) и про непонимание жизни еще отзовутся и в судьбе Пастернака, и в судьбе Тихонова; их подлинный смысл проявится в конце 30-х в полную силу...

Горький 17 марта 1928 года пишет Федину: «Грустно, что Тихонов подчиняется Пастернаку, и получаем из него Марину Цветаеву, которая истерически переделывает в стихи сумасшедшую прозу Андрея Белого»^[83]. Интересно, что Горький, несмотря на презрительно-негативную характеристику Цветаевой, вдруг почувствовал некое внутреннее родство между поэтами на тот момент времени.

1927 год: макушка нэпа. Приметы времени

Москва еще прежняя – те же вывески, блестящие витрины, дорогие продукты.

Ахматова вспоминала, что нэповская Москва пыталась выглядеть как дореволюционная Россия, но это была имитация, жалкая подделка.

Молочницы, появляющиеся рано утром с бидонами парного молока, ходили по домам еще и в послевоенные годы.

Добирались молочницы до города где пешком, а где на попутных телегах летом или розвальнях зимой. Остановить их не могли ни дождь, ни жара, ни порог, вот и случалось, что зимой, – писала Лидия Либединская в своих воспоминаниях о московском детстве, – молоко подмерзало, и когда его переливали из бидона в кружку, мелкие

льдинки похрустывали и шуршали. Зато какое это было наслаждение – набрать в рот и посасывать молочные льдинки^[84].

Те же впечатления оживут в стихах Ярослава Смелякова:
Уже из бидонов молочниц льется
Хрустящее молоко...

В крохотной новелле о брате Татьяна Луговская вспоминала, как появилось его только что написанное стихотворение «Жестокое пробуждение». Он разбудил ее ночью, чтобы прочесть. «Заснула под утро, – заканчивает она рассказ, – когда уже скрипели за окном по снегу калоши идущих на службу людей и молочница уже ломилась в черный ход»^[85].

На кухне, рыча, разгорается примус,
И прачка приносит простынную одурь.
Ты снова приходишь необозримый,
Дух русского снега и русской природы.

Москва еще сохранила свои особнячки с палисадниками. Но буквально через два года они постепенно исчезнут с лица города. Начнется снос старых московских домов, монастырей и церквей.

Взлетела на воздух и наша церковь Старого Пимена, – писала Лидия Либединская, – и церковь на углу Благовещенского переулкa, и та, что в Палашах, где венчались Марина Цветаева и Сергей Эфрон. <...> Улицы напоминали траншеи – перекладывались новые трассы водопроводов, укладывались миллионы метров кабеля^[86].

Город превратился в огромную строительную площадку.
...Жизнь сейчас – не что иное, как болезнь. Так жить долго нельзя!
И я думаю, что нужно предпринять какие-то меры для того, чтобы дать трудящимся жить...

Аппетиты зарвавшихся нэпманов, партийцев и спецов нужно сократить, так как такая несправедливость в пролетарском государстве нетерпима, такого мнения большинство рабочих, которые в трудный момент для республики Советов не щадили своей головы.

Дайте работу! Дайте хлеба! Дайте справедливости!^[87]

Это отрывок из письма к Сталину рабочего Л. К. Хачатурова.

Подобные настроения на руку Сталину. Манипулируя ими, он сможет задавить последние очаги экономической свободы. В год десятилетия Октября партия «дарит» народу сворачивание нэпа и переход к коллективизации и индустриализации. В конце 1927-го XV

съезд ВКП(б) принимает решение «о вытеснении частного капитала из промышленности и торговли и о начале в ближайшее время перехода к коллективизации сельского хозяйства».

Поэты еще вовсю борются с нэпом, а его дни уже сочтены.

В 1927 году Маяковский, чутко воспринимающий настроения как снизу, так и сверху, выразил свой взгляд на расцвет нэпа в стихотворении «За что боролись?»:

Это –

очень плевое дело,

если б

революция захотела

со счетов особых отделов

эту мелочь

списать в расход.

Но рядясь

в любезность наносную,

мы –

взамен забытой Чеки

кормим дыней и ананасною,

ихних жен

одеваем в чулки.

и они

за все за это,

что чулки,

что плачено дорого,

строят нам

дома и клозеты

и бойцов

обучают торгу.

Мелочь – это нэпманы. То, что Чека, по мнению Маяковского, забыта – это, скорее, фигура речи. В 1928 году вовсю развернется шахтинский процесс. Срок натурального обмена с нэпманами (мы им – дыни и ананасы, они нам – дома и клозеты) заканчивался.

Но и деятелям культуры ничто человеческое не было чуждо. Их любимые развлечения вполне буржуазны – бега, бильярд в комсомольском клубе в Старопименовском переулке, где часто проводят вечера Булгаков, Маяковский, Катаев, и конечно же – карты.

Странное свойство многих литераторов – бороться с мещанством, разоблачать его на каждом шагу и в то же время почти неизбежно попадать во власть его проявлений. Надо сказать, что Маяковский, когда ему напоминали о привезенной из-за границы машине – в тот момент предмете роскоши, – страдал. При внешней резкости и грубости у него была ранимость подростка, и ему хотелось жить в согласии с

самим собой. 1927 год стал для него началом самых тяжелых поражений.

Когда мы шли по Петровке, – вспоминал Асеев, – Маяковский вдруг говорит: «Коля, а что если вдруг ЦК издаст такое предписание: писать ямбом?» Я говорю: «Володичка, что за дикая фантазия! ЦК будет декретировать форму стиха?» – «А представьте себе. А вдруг!»^[88]

Надвигается эпоха великого перелома – второй акт революции, о котором мало еще кто подозревает. Уничтожение крестьянства, начало огромных строек, где будет широко применяться рабский труд заключенных, создание военизированного государства.

Интеллигенция бьется как муха в паутине. Поэт Павел Васильев, позже расстрелянный, в 1927 году горделиво писал:

По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать,
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Седьмого ноября, в день десятилетия Октябрьской революции, московские и ленинградские троцкисты вышли на улицы. Оружием служили им листовки, швабры и луженые глотки.

В Москве с балкона гостиницы выступали Смилга и Преображенский. Муралов из окна Дома Советов шваброй отбивал попытку какого-то поборника «генеральной линии партии» поддеть крючком на проволоке и втащить в окно первого этажа полотнище с наклеенными на нем портретами Троцкого и Зиновьева. Раздавались крики: «Да здравствуют мировые вожди – Зиновьев и Троцкий!», «Ура Троцкому!»

21-23 октября Троцкий и Зиновьев исключены из ЦК.

В этом же году Троцкий на заседании исполкома Коминтерна заявил: «...опаснейшей из всех опасностей является партийный режим!» Троцкисты уже тогда называли Сталина «диктатором» и «лидером фашистов», что явствует из речи Рыкова на X съезде Коммунистической партии Украины 20 ноября 1927 года. Зиновьев закончил речь обращением к Сталину и к тем, кто за него распинался:

«Если сказать в двух словах, то весь «текущий момент» нашей внутрипартийной борьбы сводится к следующему: вам придется либо дать нам говорить в партии, либо арестовать нас всех. Другого выбора нет»^[89].

Известно, что Сталин выбрал последнее.

Девятого января 1928 года Петр Никанорович Зайцев заносит в дневник последнюю политическую новость, встревожившую Москву:

В субботу 7-го арестован у себя на квартире Л. Д. Троцкий. К нему пришли Янсон с группой сотрудников ГПУ.

Троцкому предложили одеться в доху и увезли.

Нечаянно узнал о циркулирующем среди читателей варианте, заканчивающем «Роковые яйца» Булгакова. Главное чудовище, пожрав московских жителей, забралось на колокольню Ивана Великого и зазвонило в большой колокол, давно уже не звонивший...

Я-то знаю, что такого нигде не было у Булгакова.

Далее он изумляется, что читатели проявляют такую странную самодеятельность, присочиняя к уже существующей повести свои концовки.

Четырнадцатого января он снова фиксирует: «Троцкий ссылается в Верный (Алма-Ату). Высылают Радека; Смилга в Нарым»^[90].

«Констры» и конструктивисты

*Мое поколение – мастеров и инженеров,
Костистых механиков, очкастых врачей,
Сухих лаборантов, выжженных нервов,
Веселых глаз в тысячу свечей.*

В. Луговской

*Й-йехали ды констры,
Й-йехали ды монстры,
Инберы, вынберы,
Губы по чубам.
Й-йехали ды констры
По Лугу по вскому*

А по-а-середке

*Батька Сельвинский.
Атаман Илья:
– Гей, вы де-хлопцы,
А куды Зелинский,
А куда да куд-куды
Вин загинае шляхт.
А. Архангельский.*

Пародия на «Улялаевщину»

И. Сельвинского

В конце 1927 года издательство «Узел» доживало последние дни: «Узлы – манная каша с подливой из тухлых яиц»^[91], – писал Луговской жене о своих недавних товарищах. Среди них были те, которые скорее продолжали классическую традицию в поэзии (С. Парнок, В. Звягинцева, А. Ромм, М. Зенкевич, К. Липскеров и другие), завершая Серебряный век. Называли их неоклассиками. Спустя несколько лет, те, кому посчастливилось выжить, стали поэтами-переводчиками.

Что же касается Луговского, искавшего себя среди тех, кому принадлежит будущее, то скрыть ему свое поэтическое происхождение было непросто. Критики, уловив раздвоенность поэтической натуры, окрестили его лефоакмеистом. Однако вскоре вхожий к «узлам» конструктивист Сельвинский увел подающего надежды поэта с собой.

Конструктивисты появились задолго до индустриализации. Их идеолог – критик К. Зелинский в 1925 году рисовал в журнале «ЛЕФ» картины грядущей жизни:

Будущий динамизм будет продуктом величайшей технической нагрузки, величайшей эксплуатации вещей. Он заменит трамвай более удобной системой движущихся тротуаров. Он сделает дома поворачивающимися к солнцу, разборными, комбинированными, подвижными^[92].

Технические чудеса лежат в основе коммунистических утопий того времени. Указывая в анкетах социальное происхождение, все как один писали – «из интеллигентов». Их мечтой был грандиозный прыжок из темной и забитой России в технически развитую Америку. Их произведения были рассчитаны на спецов, на техническую интеллигенцию. В ЛЦК (Литературный центр конструктивистов) входили И. Сельвинский, В. Инбер, Б. Агапов, Г. Гаузнер, К. Зелинский, Н. Адуев, Е. Габрилович. Луговской, а затем и Багрицкий, с которым они недавно сблизились, пришли туда вместе.

Вера Инбер, единственная дама в группе, наставляла Зелинского из Парижа 2 февраля 1927 года:

С удовольствием прочла среди подписей две новые фамилии. Луговского я не знаю, но Багрицкого я всячески приветствую. Во-первых, он очень талантлив <...> во-вторых, он мой земляк. Я очень довольна. Об одном прошу, не берите Кирсанова. Он очень приятен, когда в чужой группе^[93].

Шаламов, много раз посещавший вечера конструктивистов, писал о Вере Инбер:

Вера Михайловна Инбер появилась на московских литературных эстрадах не в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Париже в 1914 году.

Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи...

Место под солнцем Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.

Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:

У маленького Джонни
В улыбке, жесте, тоне
Так много острых чар,
И что б ни говорили
О баре Пикадилли,
Но это – славный бар.

Легкость, изящество, с какими В. М. излагала поэтические сюжеты, сделали ее известной по тому времени либреттисткой^[94].

Маяковский, очень ревниво относящийся к конструктивистам, вначале искал дружбы Сельвинского и Зелинского. Последний вспоминал, как в обычной для него манере он пытался объединить их усилия:

Послушайте, Зелинский, я вам объясню, что значит литературная группа. В каждой литературной группе должна существовать дама, которая разливает чай. У нас разливает чай Лиля Юрьевна Брик. У вас разливает чай Вера Михайловна Инбер. В конце концов, они это могут делать по очереди. Важно, кому разливать чай. Во всем остальном мы с вами договоримся^[95].

Это было еще время их мирного сосуществования; жестокие драки, которые кончатся гибелью всех групп, были впереди.

В братский союз конструктивистов попасть было не так просто. Молодежь, принятую в конструктивисты, называли «констромольцами». Каждая литературная партия искала себе поддержку во власти. РАПП и ЛЕФ опекался отдельными работниками ЦК и чекистами. Конструктивисты искали поддержку в оппозиции, не понимая еще, насколько это опасно.

Двадцать первого февраля 1926 года в письме в Париж, где Зелинский работал спецкором «Известий», его друг Агапов писал:

Илья был у Л.Д.Т. <Льва Давидовича Троцкого> вместе с Асеевым, которого взял с собой, Кирсановым, Пастернаком, Воронским и Полонским. Я человек маленький и туда не попал. Вопрос шел о том, чтобы печатать Илью. Провели они у Т<роцкого> 4 часа, и кажется, с триумфом. Т<роцкий> сказал, что вопрос о молодых поэтах надо поднять вместе с вопросом «о качестве продукции» стихов и (редакторском своеволии). В общем, как будто перспективы благоприятные...^[96]

В то время Троцкий оставался еще определенной силой, влиявшей на идеологию издательств и журналов. Ускорение индустриализации и дружба с интеллигенцией были частью его борьбы со Сталиным. Во время Великой Отечественной войны, когда все изменится, конструктивизм станет чем-то далеким, Сельвинского на самолете привезут в Кремль из Севастополя, из действующей армии, где его будут отчитывать члены Политбюро за стихотворение «Кого баюкала Россия». И в конце концов Сталин вкрадчиво резюмирует: «Берегите Сельвинского, его очень любил Троцкий!»^[97] Сталин умел очень долго ждать, Сельвинскому он нанес удар почти двадцать лет спустя.

А 19 января 1927 года Луговской по-детски хвастается жене:

Был у конструктивистов, у них выходит сборник, в котором я получаю 10 страниц. К конструктивистам поступил Эдик Багрицкий – с ним веселее. Он ночевал у меня. Сегодня был вечер «Узла», Эфрос говорил обо мне, остальные тоже. Смысл тот, что я талантливый поэт. Вступление мое в литературу было хорошее, но что у меня есть несобранность, риторика и двойственность, «То как зверь оно завоюет, то заплачет, как дитя» – как выразился Эфрос. Парнок поглядывает на меня очень мирно^[98].

Багрицкий иногда вынужден оставаться на ночь в городе – жил в небольшой квартирке в Кунцеве (по тем временам – дачном месте).

Когда мы с Багрицким ехали из Кунцева

В прославленном автобусе на вечер Вхутемаса,

Москва обливалась заревом пунцовым.

И пел кондуктор угнетенным басом:

«Не думали мы еще с вами вчера,

Что завтра умрем под волнами!..»

В. Луговской

Луговского все привечают, и прежние и новые друзья, но остро стоит проблема заработков. Отсюда постоянные разговоры в письмах о халтуре: постановках для рабочих клубов, политпросветовских разработках. Пока еще – стихи отдельно, а заработок – отдельно. Это дает независимость, которую еще до конца не отобрали. Жить литературным заработком могут газетчики и редкие литературные чиновники, все остальные – по-прежнему служат.

Луговской становится все более удачливым поэтом. В мае получает от Сельвинского в дар знаменитую «Улялаевщину» с характерной надписью: «Владимиру Александровичу Луговскому – помните, что на Вас делается ставка – «перекройте» эту поэму. Сельвинский. 18.5.1927».

Выходят рецензии на два его первых сборника. В одной из них лестное сравнение – «по широте и силе мелодийного размаха Луговской похож только на Пастернака»^[99]. Слова о Пастернаке не случайны. С. Парнок в начале 20-х годов писала, что Пастернак будет рождать эпигонов, которые будут стараться его «перепастерначить». Луговской всегда помнил, что ему надо преодолеть в себе Пастернака.

Партия конструктивистов. Драка на все фронты

То, что близкие друг к другу поэтические сообщества бились не на жизнь, а на смерть, не так удивительно, как то, что сами эти группы к концу 20-х годов все больше стали напоминать не творческие объединения, а скорее партийные. У конструктивистов сразу же определился свой вождь – Сельвинский, а главным идеологом стал Зелинский.

В начале 1924 года, когда два товарища только начинали строить сообщество, будущий вождь писал на огромной тонкой бумаге-простыне проект о совместной деятельности:

О тебе: Что же касается тебя, Корнелий, сердечно поздравляю тебя с тем, что пред тобой наконец открываются московские и питерские журналы; в России ни у кого нет, разве у Троцкого, такого блестящего стиля, острого определения и французской усмешки. Через год, другой я буду иметь право вслух гордиться твоей дружбой и ссылаться на твой авторитет, который несомненно встанет в полный рост. <...> *О себе:* Можешь меня поздравить в свою очередь: я стал гением. Понимаешь?

Как у Андерсена – был гадкий утенок, а вырос в лебедя. Ну так-таки просто напросто: гений, ей-Богу, вижу это в себе так, как свое отражение в зеркале. Дело в том, что я начал писать стихотворный роман «Улялаевщина» (вместо «Махновщины»), и вот, понимаешь, без всякого затруднения, как если бы я сидел и пил чай – оттискиваются такие главы, что мне жутко быть с собой наедине; мне все кажется, что это не я, что кто-то сейчас выскочит из меня и раскроют мистификацию^[100].

Его особая одаренность была замечена сразу же и Маяковским, и Пастернаком, и всем поэтическим сообществом; его лидерство было признано. Сельвинский был замечательным выдумщиком. Слово «конструктивист» подходило к самой сути его поэзии.

В воспоминаниях одного из рядовых «констров», будущего киносценариста Евгения Габриловича (Габри), тогда выступавшего с идеей «литературного скандала», Сельвинский – крепкий молодой человек с черточкой усиков над губой. «Я не скажу, чтобы он был скромненький, – иронизирует мемуарист. – Уже тогда, в те ранние годы, он наделял каждого из нас фамилиями поэтов пушкинского созвездия, не оставляя сомнений в том, с чьей фамилией он ассоциирует себя»^[101].

В 1929 году вышел один из последних сборников объединения. С обложки литературного альманаха конструктивистов «Бизнес» на читателей смотрел американский небоскреб с надетыми на него круглыми очками, очень похожими на очки И. Сельвинского. После выхода сборника Маяковский сказал ему: «Ну, что вы этими очками втираете очки рабочему классу?» Этот небоскреб Сельвинскому будут вспоминать все страшные 30-е годы.

Конструктивисты, прежде чем быть уничтоженными снаружи, разваливались изнутри тоже. Группа раскалывалась: по одну сторону – рядовые члены, по другую – вождь, Сельвинский, и его свита – Адуев с женой Софьей Касьяновной Вишневецкой. Зелинский в неотправленном письме к товарищу называет Адуева Лебядкиным, говорит, что он и его жена играют на дурных сторонах Сельвинского, раздувая в нем подозрительность к другим членам группы. Адуев после развала группы ушел в оперетту, стал сочинять шуточные куплеты, а его жена Софья Касьяновна Вишневецкая, козни которой тоже разоблачались Зелинским, вскоре покинула мужа и стала женой преуспевающего драматурга Вс. Вишневецкого. Софья Вишневецкая училась живописи вместе с Еленой Фрадкиной и Евгенией Пастернак, сохраняя с последней дружеские отношения в течение всей жизни.

Трещина в среде конструктивистов расползалась все сильнее. Летом 1929 года Зелинский пишет Луговскому, который ездит по Уралу и Сибири:

Мы тут тоже деремся на все фронты. Все, братцы, мало нас, голубчики, немножко. Все разъехались: Сильва пишет стихотворную комедию о Тирасполе. Верочка Инбер с Асмусами тихо «разлагается» на

берегу Ирпеня под Киевом и пишет рассказы. Профессор мил и дожевывает Фихте. Асмусиха тоже мила (но про себя) и дожевывает мужа. Габри идет вверх по шаткой лестнице славы. Гаузнер сейчас уехал на Кавказ. Вообще же он подписал с «Молодой гвардией» на очерки по соц<иалистическому> соревнованию. Парнишка дико и с энтузиазмом полевел. На всех нас он смотрит с презрением: «интеллигенты». Он человек XXI века и не знает наших слабостей. Габри он считает «предателем революции». Женя пугается, но, понятно, не верит. Димочка Туманный полощет «зеленый шарф» в Оке. Живет в деревенском домике и пишет авантюрно-гонорарный роман по секрету от ЛЦК^[102].

Информацию о семье Асмусов Зелинский черпает из переписки с Верой Инбер:

Очень мне вас не хватает, и никакие Асмусы мне Вас заменить не могут. Сам профессор очень мил, у него вместо крови течет Фихте, разбавленный страхом перед профессоршей. Что касается ее, то, не будучи сплетницей, все же должна сказать, что душа этой женщины и вся ее структура мне непонятна. Иногда у нее бывают плохие дни, и тогда я, сидя у себя в комнате, радуюсь тому, что я не муж ее и не дочь. <...> Что Луговской? Как его успехи в среде широких рабочих масс. Здесь в магазине видела его «Мускул», но сам он где?^[103]

Валентин Асмус приехал в Москву с Украины в 1927 году, там закончил Киевский университет, в котором он и преподавал до 1919 года. В Москву был приглашен в качестве профессора в Институт красной профессуры. Именно в эти годы состоялось его знакомство с Пастернаком, роковое для первой жены поэта. Асмус знакомит Пастернака со своими киевскими друзьями Нейгаузами и приглашает отдыхать на Ирпень под Киев. Там и случится роман Бориса Пастернака с Зинаидой Нейгауз.

Девятнадцатого декабря 1929 года Асмус выступил в Политехническом музее на вечере конструктивистов и внезапно обрушил на них целый поток критических замечаний. Он говорил, что в сборнике «Бизнес» не учитывается обострение классовой борьбы. Что главный общий враг – буржуазия и буржуазная литература, на которую они не обращают внимания. Хитроумная тактика Асмуса (оказалось, он выступал с подачи самих конструктивистов) успеха не принесла. Асмус пытался прикрыть товарищей слева как философ-марксист, привнеся в идеологию группы тезис Сталина о нарастании классовой борьбы. Спустя две недели Зелинский отправляет письмо, пытаясь предотвратить развал группы. Он объясняет своим товарищам Б. Агапову, В. Инбер, В. Луговскому, что им не удастся при помощи левой риторики Асмуса удержаться на плаву, и требует продолжения борьбы за группу.

Поразительно, что это пишет человек, который через несколько месяцев в 20-м номере журнала «На литературном посту» выступит с резкой критикой бывших соратников, отмежевываясь от прежних взглядов. Статья называлась «Конец конструктивизма».

В начале 1930 года из группы выйдут Луговской и Багрицкий и совершат, видимо, самый горький для бывших товарищей поступок – они вступят в РАПП.

Спустя годы, уже в 1973-м, Валентин Асмус в письме к вдове Луговского каялся:

Когда я в грешные дни моей молодости – находился в группе «конструктивистов» (было и такое!), я считал его самым талантливым и интересным во всем их кругу, и я очень сочувствовал Сельвинскому, когда В.А. их оставил. Для Ильи Львовича потеря Луговского была страшная невосполнимая потеря, несравнимая с потерей Багрицкого, и счастье Сельвинского, что вскоре после ухода В.А. все литературные объединения были распущены: сила удара на этот раз была ослаблена «административным» решением вопроса обо всех группах, включая РАПП.

А знаете ли вы, что В.А. нежно называл меня «Валичка»?^[104]

Корнелий Зелинский: менять «социальные маски»

К. И. Чуковский в дневнике от 3 декабря 1931 года рисует портрет Зелинского, сильно изменившегося за последние два года:

...В нем есть какая-то трещина, в этом выдержанном и спокойном джентльмене. «Ведь поймите, – говорил он откровенно, – пережить такой крах, как я: быть вождем конструктивистов, и вот... Этого мне <не> желают забыть, и теперь мне каждый раз приходится снова и снова доказывать свою лояльность, свой разрыв со своим прошлым (которое я все же очень люблю). Так что судить меня строго нельзя. Мы все не совсем ответственны за те «социальные маски», которые приходится носить. Обед был очень плох, в доме чувствуется бедность, но Елена Михайловна так влюблена в своего чопорного, стройного, изысканно величавого мужа, так смеется его шуткам, так откровенно ревнует его, а он так мило смеется над ее влюбленностью в красавца Завадского, что в доме атмосфера уюта и молодости. <...> О Зелинском какой-то рапповец сказал: «Вот идет наш пролетарский эстет».

З<елинский> пересказывал эту остроту с большим удовольствием^[105].

Зелинский был европейски образован, по-настоящему любил литературу. Будучи подростком, в доме гимназического приятеля Шуры Метнера он встречал Белого, Эллиса, Блока. Виделся с Бальмонтом, Есениным, Маяковским, с последним, как он считал сам, был в

дружеских отношениях. Правда, Маяковский, по собственному признанию Зелинского, несколько иронизировал над его манерами и внешностью, называя его мужчиной тонким и изящным, почти как Стива Облонский.

В своей биографии, несмотря на множество провалов и умолчаний, Зелинский на многое проливает свет:

Я родился в семье инженера в Киеве в 1895 году. Время и место рождения были впоследствии передвинуты. Место рождения на Москву (поскольку туда вскоре переехали мои родители), а дата рождения сдвинута на месяц позже. Таким образом, как рассуждали отец с матерью, выигрывался год для воинской повинности.

Мой отец, инженер Люциан Теофилович Зелинский, родом из города Любича на Волыни, принадлежал к старинному дворянскому роду. Корни нашего древа, которые как-то для геральдической забавы изобразил наш отец, – уходили к началу 18 века. Мать моего отца служившая гувернанткой в доме моего деда, гордого, но обедневшего польского шляхтича, была немкой. Моя мать Елизавета Александровна Киселева, дочь врача, преподавала в гимназии Н. Шпис на Лубянке русский язык и литературу. <...> Весной 1914 года я закончил 6-ю гимназию^[106].

В 60-е годы он гордится своим дворянским происхождением (если, конечно, это было правдой). С некоторым юмором пишет о том, что мать работала там, где теперь другое заведение (имеется в виду здание КГБ на Лубянке, где когда-то была гимназия); там же потом работала учительницей его сестра. Жуткая ирония! Сестра попадет туда уже в качестве заключенной в 1937 году.

Его отец – инженер и бывший дворянин – после фронта оказался в Кронштадте, где вступил в партию. Сын тоже «бросается в политику». Закончив историко-филологический факультет Московского университета, он работает военным журналистом где-то рядом с отцом в «Кронштадтских известиях», там Зелинский становится военным корреспондентом РОСТА. А оттуда попадает на место «редактора секретной информации при правительстве Украинской ССР». В автобиографии им делается интересное признание:

Тогдашний председатель ЧК Балицкий с некоторым изумлением рассматривал мои бумажные плоды быстрой ориентации в военной и политической работе.

– Пошел бы ты Зелинский к нам в ЧК работать. С нами не пропадешь и веселее будет.

Судя по извилистым дорогам его судьбы, предложение Балицкого не осталось втуне. Видимо, заведование секретным отделом и привело Зелинского на место корреспондента «Известий» в Париже и место секретаря Христиана Раковского. Старый большевик, руководивший Украинским правительством в 20-е годы, взял, или ему посоветовали взять, на службу способного молодого человека. Он прожил несколько лет в Париже, как признавался сам, встретил там своего бывшего преподавателя философии историко-филологического факультета МГУ – Ивана Ильина. Но тот холодно отнесся к бывшему студенту. Тогда-то Пастернак написал ему (еще незнакомому) несколько писем в Париж с просьбой встретиться с Цветаевой и взять у нее для него сборники ее стихов. Таким образом, и с Цветаевой, и с Пастернаком, и со сборником «Сестра моя жизнь», о котором Зелинский говорил как о самом дорогом, что у него было, он познакомился именно в те годы.

В начале 1926-го Зелинский еле спасся от неминуемой смерти. Дело в том, что по совету Маяковского в Париж он отправился вместе с дипкурьерами. Маяковский познакомил его с Теодором Нетте, «будущим пароходом и человеком», и тот взял его в свое купе. Поезд шел через Ригу. Зелинского спасло то, что напавшие на дипкурьеров белоэмигранты-мстители почему-то только наставили на него револьвер, но не тронули. Они убили Нетте и тяжело ранили его товарища. Корреспонденция Зелинского о том событии, вышедшая в «Известиях», и легла в основу знаменитого стихотворения Маяковского.

С 1932 года он участвует в ряде начинаний Горького, пишет большую статью о Ромене Роллане, удостоивается встречи с прославленным писателем.

В 1935 году увольняется из НКВД его отец, как написано в документе, с должности «инженера-теплотехника».

После смерти Горького Зелинский решил «лечь на дно». «Я почувствовал, что должен уединиться на время и изменить свою жизнь, отойти от суеты литературного общения и подумать». Он поселился в Быкове на даче актера Горюнова, в одиноком доме на окраине поселка. В автобиографии Зелинский, касаясь того исчезновения, делает поразительное признание, объясняя природу страха.

«Не следует, – пишет он, – строго судить людей, в которых громче заговорил инстинкт самосохранения»^[107]. Он вспоминает Горького и его рассуждение о том, что совесть – это сила, необходимая лишь слабым духом. И далее он с марксистской прямоотой говорит, что раз жизнь – существование белковых тел, выживает то тело, которое стремится выжить. Главная задача человека – выживание.

Тут много неясного. Близко общаясь с Горьким и его окружением, он, видимо, был связан с Ягодой и его ведомством. Но с началом зиновьевско-каменевского процесса дни Ягоды были сочтены. Однако и

прятаться в Быкове на дачном участке было как-то странно, так как его мог выдать и хозяин дачи, да и место было совсем рядом с Москвой.

В эти годы ему действительно, видимо, трудно было выжить, были арестованы его зять – М. Танин, секретарь Хрущева, а затем и его сестра.

В 1940 году он как-то очень «по-семейному» в Доме творчества Голицыно опекал Цветаеву и ее сына Мура, давал книжки, беседовал о литературе. А тем временем писал внутреннюю разгромную рецензию на сборник Цветаевой, готовящийся в Гослитиздате. «Сволочь Зелинский!» – напишет Цветаева в своем дневнике.

Согласно списку эвакуированных в Елабугу писателей следует, что там некоторое время был и Зелинский. Что он там делал? Почему остановился в Чистополе вместе с другими писателями? Дальнейшие приключения еще интереснее. Из Уфы он приехал в Ташкент в эвакуацию и тут же начал готовить сборник Ахматовой в печать. Выкинув оттуда большую часть стихов, пересоставив по-своему, пишет предисловие к нему: «Ужасающее по неграмотности и пошлости», – писала Л. К. Чуковская. А спустя несколько месяцев, 23 октября 1942 года, вернувшись из Москвы, «Зелинский привез разрешение на печатание книги, данное в очень высоких инстанциях»^[108], – с удивлением заключала Чуковская в своем ташкентском дневнике. Интересно, что книга выходит в конце мая 1943 года, а в июле Зелинский уже в Москве.

Зачем ему были нужны Пастернак, Цветаева, Ахматова? Конечно, как гурман он наслаждался хорошими стихами, но он вовсе не стремился их печатать. Мало того, он откровенно их избегал, но словно по чьему-то велению оказывался рядом в самые трудные для них моменты жизни.

Свое истинное назначение он видел в работе с «разрешенными» литераторами. Не случайно после эвакуации, в 1944 году, он становится официальным биографом Фадеева.

В своих очень странных и путаных дневниковых воспоминаниях о Фадееве в 1954 году, написанных не для современников, а для потомков, Зелинский приоткрывает из-под маски казенного биографа ехидное недоброе лицо человека, вынужденного писать о Фадееве, который после смерти Сталина медленно теряет свой вес во власти.

В извилистом рассказе Зелинского всплывает странный московский эпизод 1944 года, когда его вызывают на Лубянку, где от него требуют ответа, почему он не сообщает о разговорах среди писателей. Он пишет, что его отпустили лишь под утро и почему-то не арестовали.

Тем же утром он бежит жаловаться к Фадееву, а тот увещевает его, объясняя, что партия требует от них поддержки, а интеллигенция все делает в белых перчатках. Потом Фадеев открывается перед Зелинским, рассказывая страшную историю того, как его ненавидит

Берия и пытается уничтожить. Рассказ Зелинского настолько витиеват, что непросто отделить правду от лжи.

После войны он неоднократно присутствует на читках романа «Доктор Живаго», в его архиве есть рукопись романа.

В своих дневниках Зелинский описал подлинную жизнь литераторов. Но, понимая всю опасность этого, вел записи очень обрывочно. Он хранил материалы конструктивистов. У него оказались дневники Гаузнера – того самого, которого он называл человеком XXI века.

Григорий Гаузнер. «Вытравить из себя интеллигента»

О Григории Гаузнере известно немного. Он был самым младшим из конструктивистов – родился в 1907-м, стал зятем Веры Инбер, мужем ее дочери – будущей писательницы Жанны Гаузнер. Он прожил очень короткую жизнь, умер 4 сентября 1934 года. Последняя запись в дневнике датирована 24 августа.

Вера Инбер пыталась написать воспоминания о нем, когда уже не было в живых ни его, ни дочери:

Гриша Гаузнер всегда казался похожим на Кюхельбекера. <...> Он собирал книги о Японии: позднее я вернула их его матери. При всей его молодости Гаузнер был уже совершенно законченным писателем. <...>

Его поездка в Японию от театра Мейерхольда, тот любил таких юношей. Театр Кабуки^[109].

По дневникам видно, что Гаузнер был очень талантлив, обладал амбициями настоящего писателя, всерьез работал над большим романом с характерным названием – «Превращенный». В романе герой с фамилией Гаузнер проходит целый ряд испытаний.

Вот основные вехи романа: от грязи 20-х годов рывок к эlegantности, культуре...

Проник в интеллигенцию. Блатная романтика. Кинематограф. Театры. Пивные. Кафе. Эlegantность, изящество западных. Мальчик в клетчатой кепке с трубкой.

Журнальчики. «Вечерки», «Огонек», «Новый зритель», «Красная нива».

Он яростно тянется к культуре из своей грязной ямы 20-го года.

Нэпачи. Город. Живая церковь, черная биржа, вывески с составными фамилиями (приказчики и сухаревцы). Новые особнячки застройщиков. Рабочие клубы. Газеты... О чем говорят в инженерских

квартирах. Смешанный быт. Вытравить из себя интеллигента. Превращение.

Гаузнер в 2000 году. Если сразу попасть в коммунизм, то я буду там жалок. Идеальная организованность. Чудеса техники – они все хозяева в них, а я невежа. Развившиеся большевики. Освобождение от собственности^[110].

Он не сомневался, что в XXI веке – мир разовьется во что-то прекрасное, он думает, что не будет достоин этого времени. Однако в его жизни все запутанней и сложнее. Он проходит настоящий путь к утрате в себе интеллигента – не в метафорическом, а подлинном смысле слова.

*23 апреля 1927 года....*Насколько мой путь труднее пути Бабеля. Он умнее меня: приходя к низшим, он остался собой самим. А я, как наивный дурак, Агапов, из честности сам старался стать низшим. Я изо всех сил старался подавить в себе себя, подавить в себе мать и растить отца. Я тужился стать свиньей. Как трудно мне теперь становиться на две ноги – попрыгавши на четвереньках...^[111]

Проблема превращения, заявленная в жизни и романе, не только его частное дело.

19 февраля 1931. Расправа с интеллигентами в большой степени вызвана тем, что мы думаем и потому опасны правительству, полагающему себя обладающим последней истиной. Утверждение, что мы сейчас уничтожимся окончательно, совершенно ложно. Мы понадобится еще. Больше мужества.

После путешествий в Туркмению, где он встретится с Луговским, военных лагерей, Гаузнер вернется в Москву.

29 ноября 1932 года. Приезд. Изменившаяся Москва. Чище. Притихшая классовая борьба. Новые здания, широкие тротуары на Садовой. Длинные продовольственные очереди. Констры возвратились к жизни, но уже пониженные. Циничный Сельвинский, официальный Корнелий, добросовестно ограничивший себя Агапов. – С другой стороны – ребята у Усиевич, только живущие сегодняшним днем, газетным, лозунговым, действительные лирики стройки,

перемешивающие работу и вечеринки, поверхностные, плохо образованные, но уже нового качества. Жанна и вся история с ней. Вечера у Каганов, и этот еврейский американец, деловит, цинически трезво оценивает положение, рассматривающий ЦК как хозяев с причудами, которых приходится, вздыхая, уговаривать и стаскивать с облаков, – это компания, я вам доложу, – коллекция типов!

Интеллигентские метания разобьются в поездке по Беломорканалу. А пока – знакомство с чекистами, работа над книгой.

Тонкий, интеллигентный, красивый Григорий Гаузнер, знаток и любитель Японии и японского языка, член группы мейерхольдовского театра, после поездки на канал работает с Борисом Лапиным над книгой. Нечто иное он заносит в дневник:

27 августа 1933. Поездка на Беломорстрой, и впервые обстановка и круг верхов. Фирин с его необыкновенной биографией агента-заграничника. Скромный Горожанин. Выдержка и тренировка чекистов. Привыкшие ко всему и опытные женщины обслуги. Поездка на Волгу – Москву и необычайный слет. Ужин у Когана. Печальный Горький: «меня кормят всякими лекарствами, и тибетскими, и от каждого хуже». Рассказ Когана – как строили. «Я, кажется, хвастаюсь?» Горький уходит после краткой речи. Коган – это дело втягивает. «Я уже не мог бы не строить. Сначала, когда меня Ягода позвал, я сомневался, какой я строитель». И как он нам объяснял работу на трассе лучше всякого инженера <...>.

9 сентября. Фирин в Гулаге. Он рассказывает, как втягиваются в лагерную работу разные люди. «В основе, конечно, материальное». Обстановка «лагерной общественности», почетных наград и пр. Различие в пайках. Кулак – перерабатывает норму, получает лучшее снабжение. Попадает в обстановку налаженного хозяйства <...>.

Занятные новеллы, которые он рассказал о человеке, возвратившемся из лагерей, как его осторожно приняли и наступила серая жизнь и встретил он прежнего товарища и опять по той же дороге.

В сентябре Гаузнер работает над книгой, а в ноябре он – частый гость в доме Горького, где встречается с Ягодой. Все теснее его связь с Фириним (начальником Белбалтлага, а затем Дмитлага) и Берманом, одним из его заместителей. И вот еще одна характерная запись в дневнике.

4 ноября 1933 года. Встреча с Ягодой в доме Горького. Мягкий, женственный, лукавый человек, говорит тихо, спокойно, медленно, просто – и вместе с тем одержимый, со страшной силой воли. Сед. Утомлен. «Мы самое мягкосердечное учреждение. Суд связан с параграфами, а мы поступаем в связи с обстановкой, часто просто отпускаем людей, если они сейчас не опасны. Мы не мстим».

14 декабря 1933 года. Мы с Авербахом на даче. Идем через лес, где дачи Политбюро, к Агранову. Авербах рассказывает мне о своем отце, двоюродных братьях – Свердловых (Зиновии Пешкове и других). У Агранова разговор о сборнике, литературе, контрольных цифрах – «была заминка, но сейчас темпы опять пойдут вверх, автомобилей через год выпустим больше, чем вся Европа». Приходит скрипач Буся Гольдштейн – Агранов любит музыку. Приносят сверток газет – в них секретные сводки на листках <...>.

Изменения в душевном состоянии бывшего интеллигента – налицо. Его дневники показывают, как с 1927 года в молодого человека, очень талантливого, склонного к философии и литературе, с началом дружбы с чекистами словно вселяется кто-то другой.

Все последующее время – это дружба и общение с чекистами, которая подтачивает талант, характер и, видимо, жизнь. Роковая дата смерти приближается.

7 марта 1934. Еще раз: оставь всякую мораль. «Хороший», «плохой». Рассматривай людей по-хозяйски, практически.

Последний крик. До конца жизни осталось два месяца:

30 июня 1934. Я позорно потонул в мелкой суе и болтовне литературной среды. Дом писателей сказался. Больше так нельзя. Я мельчаю. Со всей яростью вырваться из этого. Перестать шлаться, перестать интересоваться сплетнями и злободневными затеями. Сосредоточиваться.

Вера Инбер пишет, что последний раз встретилась с зятем в Железноводске. Он направлялся в Гагры, там ждала его Жанна. Он прожил в Гаграх всего несколько дней. Сначала простой насморк, хворал четыре дня и тут же умер. Диагноз – менингит. Это отрывочные заметки Веры Инбер. Мгновенная смерть на курорте. Удивила ли она кого-нибудь? С ним была только Жанна Гаузнер, его жена. Инбер вспоминает, что Жанна приехала из больницы, узнав, что наступил конец, стала рвать и выбрасывать из окна Гришины вещи. Может быть,

боялась инфекции? Или еще чего-то? Она зачеркивает эту фразу и заключает записки соображением о том, что, наверное, Жанна делала это, чтобы освободиться от горя, так как у нее был нервный срыв.

Теснейшая связь писателя с Японией отразилась на его родственниках. Это видно по осторожным оговоркам Инбер: «Семья Гаузнера. Японские журналисты. Вообще – японцы. За это и пострадали потом»^[112].

Кризис глазами Луговского. «Возьми меня в переделку и брось, грохоча, вперед!»

В 1929 году личная жизнь у Луговского осложнилась. Тамара Груберт, с которой они были связаны с юности, от него ушла. Он настолько тяжело переживает разрыв, что оказывается на грани самоубийства.

Луговской отправляется по стране с бригадой поэтов и видит из окна поезда абсолютно новую страну, в котлованах строек, – и это ломает его столичный взгляд на вещи. К чему весь пафос конструктивистов? Страна и так знает, куда идти.

Луговской пишет Тамаре письмо за письмом, пытаясь вернуть ее, подробно рассказывая обо всем:

25 мая 1929.

Любимый мой Таракан!

Мы в Свердловске – т. е. в Азии. <...> Идут непрерывные огромные еловые леса. Скалы как замки, башенные и изглоданные временем. Закаты тревожные, азиатские. Представляешь себе пейзаж из шатра Грозного в рериховском этюде.

Свердловск американизируется как бешеный. Все изрыто: – от мостовых нельзя проехать – строят трамвай, проводят канализацию и водопровод в новые кварталы. Бесконечные стройки, цементная пыль, которая тучами несется по всему городу. Выстроены колоссальные здания среди домишек и пустырей. Новые пяти- и шестизэтажные здания среди домов в коробчатом стиле поднимаются всюду. Мы остановились в гостинице «Централь» (6 этажей, лифты), выстроенной в этом году. Она лучше московской. Ресторан, почта, телеграф, киоски, холл, бильярд, ванны и пр. Обстановка прекрасная. Но тротуаров около этого великолепного здания не имеется^[113].

Спустя три года Пастернак, путешествуя по Уралу, напишет сестре о том же месте:

Гостиница воздвигнута среди полуазиатских пустырей по последнему слову американской техники, при двухкомнатном номере

уборная и ванная, но они бездействуют, и ходить надо в общую уборную, против чего нечего было бы возразить, если бы только в американской этой 9-этажной гостинице это не понималось по-казарменному: в общих этих уборных нет крючков и несколько сидений, ничем не разгороженных: ты должен сидеть обязательно в чьем-нибудь обществе, и, когда открывают двери, тебя из коридора видят идущие мимо съемщики обоего пола^[114].

Луговской продолжает свой восторженный, хотя временами иронический, рассказ:

Со всех сторон – огромные заводы. Среди города озеро – пруд, красивый, но дико грязный. Тут же, черт знает почему, какое-то паровозное депо.

Был в Ипатьевском доме, где расстреляли Николая II. Дом белый, под горкой купеческой архитектуры. Теперь там – музей. Литературные дела средние, но ничего. Будет большой вечер в городском театре. Газеты дают литературные приложения. Настроение города – энтузиастическое строительство, гордятся Уралом, планируют, проводят... Все залито нефтью, которая забила в чусовских городках.

И спустя неделю:

Радость моя! Вот я и погрузился с головой в незнакомый мне мир доменных печей, вагранок, ремонтно-прокатных, литейных и механических цехов, газогенераторов, динамо, рабочих казарм, гари грохота. Конечно, когда в трех шагах от тебя из чудовищной утробы домны льются тысячи пудов белого, ослепительного чугуна, – это перевертывает всю психику наизнанку. Ты кричишь – и ничего не слышно, ты задыхаешься в сатанинской жаре, которая оседает на тело какими-то хлопьями, ты хочешь назвать брата своего – человека и видишь страшные лица <...> в проволочных масках и смертных асбестовых халатах. А чугун, сталь, железо в домнах, мартенах, Вильмановых печах свистит и воет, сквозь синие очки видно, как пляшут где-то глубоко и далеко в глазке печи языки и волны могучего расплавленного металла. <...> И на тебя летит колоссальная, легкая, пышущая невыносимым зноем змея – это будущие рельсы – это полоса, из которой скоро выйдет рельс. Она с ревом проносится у твоих ног, погибает, упруго подпрыгивая, и зубы, и ножи, тиски схватывают ее, огромные машины давят ее – тоньше, тоньше; еще, еще, режут, кидают куски, кладут на серое, разбегающееся синими огоньками поле стынущих рельс. Потом белая ночь, читать можно без лампы...^[115]

Сборник стихов, который появился после того, как Луговской вышел из конструктивистов, назывался «Страдания моих друзей». Оглавление в тетради выглядело так: «Страдания общественные. Страдания любовные. Страдания бытовые».

Видимо, слово «страдания» стоит в том же ряду, что и «Зависть» Олеши, что и «Самоубийца» Эрдмана, продолжая самоиронию интеллигента по отношению к своему месту в новой действительности.

Разоружиться, разоблачиться перед государством и партией становится жизненной потребностью интеллигентов. Отсюда покаянная, исповедальная интонация:

Прости меня за ошибки –
Судьба их назад берет.
Возьми меня, переделай
И вечно веди вперед.
Я плоть от твоей плоти
И кость от твоей кости
И если я много напутал –
Ты тоже меня прости.

Письмо к республике от моего друга

В автобиографии он писал:

В процессе работы над книгой «Страдания моих друзей» у меня произошел резкий конфликт с тем социальным окружением, которое воспринимало только культурную и технически прогрессивную сторону революции и нивелировало грозный, трудный и далеко не праздничный труд рабочего класса, стремящегося к уничтожению всех классов^[116].

Республика это знает,
Республика позовет, –
Возьмет меня переделает,
Двинет время вперед.

Еще нет особого страха, все слова идут от сердца. Это почти религиозный экстаз преклонения перед святыней государства.

В архиве Луговского сохранился лист бумаги (1929 год) – на нем почерком И. Сельвинского издевательский разбор стихов из последнего сборника, видимо, сделанный на выступлении поэта. Сверху написано: «Луговской должен съесть Асеева и Тихонова после книги + статья Зелинского. Революция на эстраде Политехнического музея». Страница разделена карандашом пополам, многие наблюдения – это ответ на стихотворные строчки.

Общественный раздел <...> Поза. Бутафория – мысль тускла. <...> Многогословие. Индивидуалистское мироощущение революции. Московские щи. <...> *Какиогословие*. Возьми же меня в переделку (без рифмы и стройка идет / и время идет / пойдет). Ведь это же пародия. Человек без юмора^[117].

Сельвинский в ужасе от упавшего уровня стихов Луговского; сравнивает их с поэмой Маяковского «Хорошо!», которую считает чистой агиткой. Он еще исполнен поэтического достоинства и уверенности. Сколько лет понадобится, чтобы выбить из Сельвинского воспоминание о творческой смелости. Вера Инбер спустя годы в мемуарных заметках горестно писала о выпаде бывшего товарища: «Луговской, описывая свой «путь к пролетарской литературе», даже восклицает:

Вы, очерив слова и сузив глаза,
Улыбались, как поросята в витринах...

Поросята – это были мы, конструктивисты. Дальше идет речь о «наибольшем враге», о «сусликах», «индивидуалистах» – приспособленцах и «мелкобуржуазных интеллигентах». Все это были мы!

Со всем этим, как выяснилось впоследствии, при вступлении в РАПП, Луговской вел борьбу. И становится ясно, что конструктивистская среда была губительна для поэта, если бы он вовремя не спасся. Но я, «суслик», очевидно, более выносливый, чем Луговской, не так остро ощущала вредоносность данной группировки^[118].

Вера Инбер продолжала спор с уже покойным поэтом (мемуары написаны спустя годы). Но и Луговской никогда больше не перепечатывал это стихотворение в своих сборниках.

О друзьях

Вы, очерив слова и сузив глаза,
Улыбались, как поросята в витринах,
Потом постепенно учась на азах,
Справлялись идейные октябрины.

А когда эпоха, челюсти разъяв,
Начала рычать о своих секретах,
Вы стали метаться, мои друзья –
Инженеры, хозяйственники и поэты.

1929

Асеев и Пастернак. Эхо ЛЕФа

Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность – интеллигент. Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое подвиг, совесть и т. п.

Моя мечта – перестать быть интеллигентом.

Ю. Олеша. Книга прощания

От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

Б. Пастернак. Охранная грамота

Пастернак – как дальнее эхо – слышит раскаты будущих разлук. Его сложные отношения с ЛЕФом и с Маяковским подходят к своему финалу.

Семнадцатого мая 1927 года в письме к Р. Н. Ломоносовой поэт делится предчувствиями:

Мне предстоит очень трудный, критически-трудный год. Трудности его надо взять на себя, оставаясь здесь. Разрыв с людьми, с которыми тебя все время ставили в связь, неосуществим из-за рубежа: в этой перспективе есть какая-то, трудно преодолимая неловкость. Вы наверное имеете представление о совершенно непроходимом лицемерии и раболепии, ставшем основной и обязательной нотой нашей «общественности» и словесности, в той ее части, где кончается беллетристический вымысел и начинается мысль. Есть журнал «Леф», который бы не заслуживал упоминания, если бы он не сгущал до физической нетерпимости эту раболепную ноту. <...> Вот из этого ложного круга, в оба полукружья которого я взят против моей воли, катастрофически и фатально, надо выйти на месте или, по крайней мере, попытаться.

С Маяковским и Асеевым меня связывает дружба, – продолжает он. – Лет уже пять как эта связь становится проблемой, дилеммой, задачей, временами непосильной. Ее безжизненность и двойственность не отпугивали нас и еще не делали врагами. <...>

Нам предстоит серьезный разговор и, может быть, последний. Гораздо трудней будет выступить с печатной аргументацией этого разрыва. Здесь придется говорить о том, о чем говорить не принято^[119].

Но как было соединить привязанность, дружество с невозможностью находиться на одном пути?

Четвертого апреля 1928 года он напишет письмо Маяковскому, где скажет уже со всей определенностью:

Вы все время делаете одну ошибку (и ее за вами повторяет Асеев), когда думаете, что мой выход – переход, и я кого-то кому-то предпочел. Точно это я выбирал и выбираю. А Вы не выбрали? Разве Вы молча не сказали мне всем этим годом (но как Вы это поймете!?), что в отношении родства, близости, перекрестно-молчаливого знания трудных, громадных, невеселых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом, Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно-убедительнее меня?

Здесь, прервав цитату, хотелось бы обратить внимание не только на то, что слова Пастернака очень задевали Маяковского – по сути, это предваряет тот обвал, который последует далее. Маяковский создаст РЕФ (в 1929 году) и буквально через год разрушит и его, уйдя в РАПП, чем вызовет протест самых преданных друзей.

Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли, – продолжал Пастернак. – Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полуобморочной роли вождя несуществующего отряда и приснившейся позиции^[120].

Сколько здесь подлинной любви к Маяковскому – попадание в ядро будущей трагедии. Оба поэта предчувствуют беду. Но словам Пастернака о спасении от самого себя, от своей роли суждено так и остаться словами, Маяковскому уже никто не может помочь. Пастернак медленно уходит от стремления быть «вместе с пятилеткой», он должен следовать каким-то своим собственным путем, не имеющим отношения ко всеобщему движению.

Рослый стрелок, осторожный охотник,

Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.
Дай мне подняться над смертью позорной.

.....
Целься, все кончено! Бей меня влёт.

Это одно из самых загадочных стихотворений 1928 года – предчувствие насильственного конца и необходимость сделать то, что должно.

Слово «перелом» найдено эпохой или Сталиным поразительно верно. В письме к Федину 6 декабря 1928 года, которое является ответом на понравившийся Пастернаку роман «Братья», Б.Л. пытается говорить с ним как с товарищем, единомышленником:

Мне казалось, что если Вы, как и все мы, или многие другие из нас, добровольно ограничивали свой живописующий дар, свою остроту и разность, свою частную судьбу в эпоху, стершую частности и заставившую нас жить не непреложными кругами и группами, а полуреальным хаосом однородной смеси, то подобно *очень немногим* из нас, и, может быть, лучше и выше всей этой небольшой горсти, Вы это (все равно вынужденное) самоограничение нравственно осмыслили и оправдали.

Когда я писал 905-й год, то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки со временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю, и линии историографической преемственности, если мне суждено остаться, и идолотворческим тенденциям современников и пр. и пр. Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи^[121].

Он ищет собеседника, надеется на общий взгляд на современность. Пастернак еще не готов к одиночеству, к монашеству поэта-отшельника, но уже понимает, что никакая «сделка» для него невозможна.

В этой же логике письмо Пастернака (13.5.1929) В. Познеру, который на Западе составляет антологию поэзии и не включает в нее стихи Асеева. Пастернак защищает раннюю лирику Асеева, но при этом строго оценивает его теперешнее душевное состояние:

А трагедия Асеева есть трагедия природного поэта, перелегкомысленничавшего несколько по-иному, нежели Бальмонт и Северянин, потому что тут не искусство, но *время* выкатило ту же, собственно говоря, дилемму: страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других^[122].

Асеев словно слышит его и отвечает Пастернаку в стихотворении «Сердце друга»:

Разве в том была твоя задача,
Чтоб, оставшись с виду простачком,
Все косноязыча и чуждача,
Всех пересчитав и пересудача, –
Будто бы не может быть иначе, –
Проходить в историю бочком?..

«Проходить в историю бочком» – этот обидный пассаж станет для дальнего и даже ближнего круга Пастернака выражением общего настроения.

Ветром рвало в стороны события,
Красный хутор, иволговый клен,
Я из сердца их не выгнал вон,
В эти всплески юности влюблен,
Их зажить не смог и позабыть я.

Асеев пытался напомнить Пастернаку об их молодости, когда они приезжали к сестрам Синяковым на хутор под Харьковом, заклиная его общим прошлым.

Этот разговор разнесен по времени на годы и десятилетия, но здесь не очень важны даты, понятно, что внутренне этот диалог начался с 1926–1927 годов и не прекращался до смерти поэтов.

Главный водораздел – смерть Маяковского.

Я с другим пошел к плечу плечом,
С тем, что в общей памяти хранится,
С ним, с земли восставшим трубачом,
А в твоей обиде – ни при чем.
В жизни – мне одним была ключом
Та – в пути плескавшая криница.

.....
Мне другие радости даны,
Я людей не увлекаю позой.
Мы с любым читателем равны,
Наши судьбы вместе сплетены,
Я живу – сочувствием страны,
Не ее капризом, не угрозой.

Заглавие стихотворения Асеева «Сердце друга» отсылает к строчкам из вступления к «Спекторскому» Пастернака:

Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой.

Асеев принял этот поэтический пассаж на свой счет. А к середине 1930 года под влиянием гибели Маяковского и окружающей действительности у Пастернака все чаще возникают мысли о смерти, о близком конце:

Итак, я почти прощаюсь, – пишет он Ольге Фрейденберг. – Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилён сдвинуть ее с мертвой точки, я не участвовал в создании настоящего, и живой любви у меня к нему нет^[123].

Открытое столкновение между Асеевым и Пастернаком произошло в декабре 1931 года на дискуссии в Московском отделении советских писателей; Асеев высказывал в выступлении приблизительно те же мысли, что и в написанном, видимо, по горячим следам стихотворения «Сердце друга».

Спустя время Пастернак сделает надпись на фотографии Асеева в альбоме Крученых:

Отчего эта вечная натянутость между мной и Колей? Он так много сделал для меня, что, может быть, даже меня и создал, – и теперь с основанием в этом раскаивается. Как же сожалею обо всем этом я сам! Но все это совершенные пустяки в наше время нескольких сытых (в том числе и меня) среди поголовного голода. Перед этим стыдом все бледнеет. Оттенков за этим контрастом я уже никаких не вижу, а Коля их различает.

Слова о «поголовном голоде» отсылают к страшным впечатлениям поэта от голода 1932 года, который он увидит во время поездки на Урал.

Петровский против Маяковского. Вариант пародийный

В 1927 году Д. Петровский присоединяется к хору хулителей Маяковского. Он посылает Луговскому статью и предлагает младшему другу, перепечатав ее, отнести в газету «Читатель и писатель» (приводим ее с некоторым сокращением):

Владимир!

Я посылаю тебе свою статью для ЧиПа о Маяковском на тот предмет, что, может быть, у тебя найдется 15 минут, чтоб ее перепечатать и сдать ее в перепечатанном виде Розенталю <...>.

Мне обязательно надо шлепнуть этого длинной резинкой – надоел.
«К Байрону такого Манфреда!»

«...» Кстати – еще о Маяковском (или вернее – Маяковскому): он взял на себя миссию быть совестью нашей общественности, но – не для очистки ли собственной совести? Оттого, что общественной совести никогда не удавалась поэзия от Некрасова до Демьяна Бедного. (Лермонтов и Пушкин не в счет.) Совесть любит ясность прозаических положений, хоть по своему состоянию и декларационна (лирична). «...» А то – и монумент с бронзовым голосом прет на монумент с пронзовым голосом (от слова пронзить, очевидно) и потом важно уходит (с эстрады), приспустив индейское крыло (от индейского петуха) своей тоги. И потому все итоги спрятаны в ночи «...»^[124].

Статья, скорее всего, напечатана не была. Петровский же в личных отношениях с Маяковским сохранял льстивый тон.

В конце 1926 года он написал на титульном листе своей книги: «Дорогому Маяковскому в знак особенного крайнего расположения к нему «...»»^[125].

В ныне опубликованных дневниках Тихона Чурилина рассказаны две истории, посвященные Петровскому, которого, как понятно из этих записей, с трудом выносили в доме Бриков. Там воспоминания о Хлебникове были восприняты с неприязнью, их сочли слишком, как пишет Чурилин, «самохвальными». Маяковский после обсуждения подошел к Чурилину и сказал презрительно о Петровском словами Хлебникова о Петровском: «Я сего пана достаточно знаю». Однако на открытый конфликт с ним не шел (это видно из тех же чурилинских дневников).

Но комичнее всего выглядит столкновение Чурилина и Петровского в доме Маяковского по какому-то нелепому поводу, где они по странности поведения вполне дополняли друг друга.

«...» Опять собрались в Гендриковом к концу лета, опять угощала великолепным нектаром крышона Лиля Юрьевна, – и опять впутался среди нас Митрий Петровский, хотя долгонько его не пускали сюда, – Брик сдержал слово. К счастью для Митрея – <NN> его противников не было – но был зато я, и я <наслаждался> отвел душу, каюсь. В числе своих был Пастернак, с которым у меня тогда очень ладилась приязнь и дружба. За крышоном было весело, звонко раскатывались смехунечки очень веселых тогда девушек лефовских, Лавинской и Семеновой, – веселиться не стеснялись. И дернул меня черт, подвыпив, поднять кружечку с крышоном за одну песенку казачью Митрея с припевом «вамбир-вамбир» и потянулся чокнуться с ним. Митрей, отстранясь, перекосясь, передернулся и изрек:

– Я – не хочу – пить с вами – я вас – не выношу –.

Минута – и я выплеснул бы ему свой крышон в личину, так я рассвирепел тогда. Я уже крикнул – скотина! Но тут Маяковский, круто повернувшись, подошел ко мне с кружкой и сказал только «давайте» и

чокнулся, и выпил. Я – остыл, и все кончилось ладно. Пред разездом В<ладимир> В<ладимирович> успел сказать мне: «не трожьте пана, так он и не воняет» и окончательно меня этим развеселил. Я окончил вечер, дурачась и веселясь, как редко веселился в Гендриковом. А Митрей исчез, как дым, как ладан после молебна в гостиной прежнего хорошего дома, попав туда – ничего не поделаешь как^[126].

Чурилин спустя годы в письме к Петникову называл Петровского «калликатурой» на Хлебникова, подчеркивая при этом, что он во всех обстоятельствах всплывает, что бы ни происходило. Так ли это, будет видно впереди.

Н. Асеев спустя годы с горечью писал в неопубликованном отрывке из поэмы «Маяковский начинается»:

Друзья?

Но что друзей кружок нехитрый,

Сникающий

При первой же грозе?

Какой, к примеру, друг,

Хитровский Митрий? –

Избави бог

От таких друзей!

Однако Петровский после смерти Маяковского сыграл роль защитника памяти «друга». Крученных со слов Петровского записал:

В декабре 1930 г. в здании Союза советских писателей состоялся вечер памяти Маяковского. Выступали Каменский, Шкловский и Дм. Петровский (совместно с Яхонтовым, иллюстрировавшим доклад чтением стихов Маяковского).

Доклад Петровского назывался «Происхождение трагедии».

Петровский прочел «Две плоскости взгляда на Маяковского. Раздел 1-й – Гамлет и раздел 2-й – Аянт Биченосец».

Петровский выступил с дуэльными пистолетами и наводил их на Авербаха, сидевшего в первом ряду. Конечно, лектору пришлось потом со многими «объясняться»^[127].

Эта история подтверждается заметкой в «Литературной газете», которая отметила хулиганское поведение Петровского. Однако поэт, несмотря на все свое «безумие», был очень разумен и устраивал скандалы только тогда, когда это было безопасно.

1929-й – год великого перелома. Приметы времени

*Мы в дикую стужу
в разгромленной мгле*

*Стоим на летящей куда-то земле –
Философ, солдат и калека.
Над нами восходит кровавой звездой,
И свастикой черной, и ночью седой
Средина
двадцатого века!*

В. Луговской. Кухня времени

Лидия Либединская писала о последних приметах уходящей Москвы:

По утрам меня будило петушиное пение – в дровяных сараях, где так вкусно пахло свежей древесиной, дворники держали кур. Переулки вымощены разноцветным булыжником, и так весело смотреть, как из-под лошадиных подков вырываются яркие искры. У ворот тумбы – из белого московского камня, а тротуары выложены большим квадратными плитами из такого же камня – на них так удобно играть в «классики»^[128].

Сумбур переулков, лавчонок, заборов,
Трущобная вонь требухи...
Ночная Москва – удивительный город:
В ней даже поют петухи.

В. Луговской

Патриархальный московский быт уходил в прошлое не сразу. Какие-то кварталы города еще жили по-старому, а прежний Охотный ряд стирался с лица города. Уничтожались улицы Москвы. Напротив храма Христа Спасителя, доживавшего последние дни, начиналось строительство мрачного, будущего Дома Правительства, остроумно сокращенного в ДоПр (Дом предварительного заключения), что мистически предвещало трагическую будущность большинства его обитателей.

1929 год по странному совпадению выпал на пятидесятилетие Сталина. В статье «Год великого перелома» в газете «Правда» от 7 ноября 1929 года он во всеуслышание заявил, что партии удалось добиться перелома в настроениях деревни, и в колхозы добровольно пошел середняк.

Примечательно, что именно в этот год повальной коллективизации в стране снова вводятся хлебные карточки.

В магазинах все по карточкам, – писал Н. Любимов. – Впрочем, «все» – это громко сказано. Глазам входящих в продмаги не от чего разбежаться. При нэпе качество продукции только достигло старорежимного уровня^[129].

Особо притягательным местом для москвичей станет торгсин (магазин торговли с иностранцами). Булгаков в одном из набросков к «Мастеру» писал:

В магазине торгсине было до того хорошо, что у всякого входящего замирало сердце. Чего только не было в сияющих залах с зеркальными стеклами, у самого входа налево за решетчатыми перегородками сидели неприветливые мужчины и женщины и взвешивали на весах и кислотой пробовали золотые вещи... А далее чуть не до потолка громоздились апельсины, груши, яблоки. Возведены были причудливые башни из плиток шоколаду, целые строения из разноцветных коробок^[130].

Недаром сюда приходят Бегемот с Коровьевым. Это вожаемое для москвичей место не могли не посетить гости столицы. Некоторое время в торгсины допускались только иностранцы. Потом, сообразив, что всех, у кого сохранились драгоценные вещи, у кого есть валюта, пересажать невозможно, власти распорядились открыть доступ в торгсины тем, у кого есть хоть один доллар и хоть одно колечко. Постоянных же покупателей выслеживали и приглашали на Лубянку.

Усиливалась цензура, уничтожался чужеродный элемент, так называемые «бывшие».

Приветствуются саморазоблачающие признания о прошлом. В эти годы все те, кто еще помнят о непролетарском происхождении, стараются уничтожить любые подозрительные документы. Но двуличие власти проявлялось и в этом – большая часть правительственной верхушки и, в частности, многие крупные чины НКВД были детьми лавочников.

Чистке подвергаются все – от служащих мелких учреждений до членов писательских организаций.

Спасались всевозможными способами. В частности, фиктивными браками. Именно такой брак благородно предлагает Луговской Ольге Алексеевне Шелконоговой, дочери крупного фабриканта, и даже венчается с ней в церкви. На какое-то время Ольгу оставляют в покое.

...С чисткой пока ничего не известно, – пишет она из Москвы на Урал Луговскому 24 мая 29 года. – Всех опросили о социальном положении, а меня не спрашивали. Лидия Каганская спросила у нашего секретаря: «Почему не опрашивали Ольгу Алексеевну?» – так ей на это ответили, что боятся, что я из буржуазной семьи, а она, говорят, по своей честности и прямоте об этом скажет, а уж очень жалко ее, если ее вычистят. И так меня не спрашивали до сих пор^[131].

Однако через некоторое время Ольга покинет дом Луговских на Староконышенном, и следы ее затеряются...

Большой перелом означал не только уничтожение еще сохранявшихся прежних классов и сословий. Главный удар пришелся по Церкви, которая, как считалось, была идейным прикрытием сопротивляющегося раскулачиванию крестьянства.

В начале апреля 1929 года директивные органы получают аналитическую справку НКВД, в которой подчеркивалась «возросшая антисоветская активность религиозников». И уже в июле 1929 года в Москве заседает Союз воинствующих безбожников. Журналы и газеты атеистического свойства наполняются сатирическими карикатурами.

Но поразительнее всего был слом повседневного времени. Еще в мае 1929 года было выдвинуто предложение о введении нового календаря (с отсчетом времени не от Рождества Христова, а от Октябрьской революции). Постановлением Совнаркома был начат переход на непрерывную рабочую неделю с аннулированием субботы и воскресенья. Отменялись названия дней недели. Были дни, обозначенные выходными, но ни суббот, ни воскресений не существовало. Дни недели назывались: первый, второй и т. д.

Восьмого сентября Маяковский выступил на радио со стихотворением «Голосуем за непрерывку»:

Всем пафосом стихотворного рыка
Я славлю вовсю,
трублю
и приветствую
тебя – производственная непрерывка.

«Комсомольская правда» 13 декабря 1929 года от имени «рабочего Верещагина» вещала: «Непрерывка – наш первый долг <...>. С ней мы и попов путаем. Когда им теперь звонить – в воскресенье, нет ли? Большая тут благодарность советскому правительству».

Православное Рождество 1929 года было объявлено «Днем индустриализации», вновь прошли «комсомольские карнавалы – похороны религии».

Восьмого января 1929 года воронежская «Коммуна» рассказывала об устроенном в центральном саду областного центра антирелигиозном карнавале на льду с участием свыше тысячи молодых горожан. Группа комсомольцев была наряжена в костюмы «чертей», «богов», «монахов» и т. д. На катке состоялось сожжение «тела Христова в гробу» и Рождественской елки^[132].

В дневнике от 31 декабря 1929 года Лиля Брик записала: «Боролись со старым бытом – не встречали Новый год»^[133].

Любовные лодки

Год великого перелома странным образом стал и годом многих личных драм и потрясений.

В 1929 году терпит крушение семейная жизнь Булгакова; он знакомится с Е. С. Шиловской, начинается роман, но они вынуждены расстаться на долгих два года. Маяковский бросается в неудачный роман с замужней Норой Полонской. Последний год доживает брак Пастернака. «Вторым рождением» назовет он встречу и новый брак с Зинаидой Нейгауз. В письме к О. Фрейденберг он пишет о предчувствии конца.

Луговской тоже терпит крах в личной жизни. Видимо, зимой 1929-го он предпринимает попытку самоубийства, к счастью, неудачную. С дороги он пишет домой с Урала:

Я здорово устал в Москве. Внутри меня все сломано и разрушено.
<...>

Милая сестричка, я опять удираю от судьбы, от всего на свете в стук поезда, в дорожный хохот товарищей, в ночевки, столовки, выступления, аплодисменты, к доменным печам, плавящейся стали и провинциальным бульварчикам^[134].

Луговскому нужна только бывшая жена, воплощающая для него все: цельность, которой нет у него самого, преданность и верность. Он представляет, что возвращение может произойти только через собственное перерождение. И ставит перед собой задачу – стать новым человеком. В самом что ни на есть буквальном смысле слова. Тут много схожего с тем, что было с Маяковским, когда он лишился Лили Брик, а затем написал об этом поэму «Про это».

Луговской в экзальтации формулирует закон новой жизни, который он должен выполнить:

Я, может быть, больше, чем когда-нибудь, смотрю широко и далеко, но я стал в тысячу раз человечнее и горячее, потому что сам испытал боль непередаваемую и страдания, без которых не смог бы стать человеком. Я не могу уже жить без фонаря, который мне «светит», без простой ласки, без твоей самой повседневной любви, без элементарной заботы о тебе и твоей заботы... Ты вернулась, отрезав жизнь. Я вернулся, поставив крест на всех своих страстях и бреднях, но, получив взаимы широкое, мужественное философское мировоззрение, внутреннюю свободу действий, желание сокрушительной работы вместе с женой для *ребенка* и для *русской литературы* и для всех людей, страдания которых я сейчас так ясно вижу и переживаю...^[135]

Растерянность, одиночество и страх преследовали в этот год многих литераторов, отсюда и возникала последняя надежда на

любовь как спасение, на женщину-друга, умеющую разделить одиночество...

Борис Пастернак, прочно связанный с женой духовными узами, тем не менее бессознательно ищет иную женщину. Земная Зинаида Нейгауз, увиденная им на даче за мытьем полов, становится для поэта иллюзией спасения, воплощением надежды на возможность диалога с реальностью.

Поиск Булгакова был направлен абсолютно в другую сторону. Он искал женщину-друга, единомышленницу, жену, подобную Эккерману.

Для Маяковского, видимо, никакая женщина уже не могла стать спасением. Лиля Брик осталась в прошлом. Обзавестись семьей, бытом, счастливым уголком, писать стихи за столом в домашнем халате и тапочках, с красавицей женой, подающей кофе, – это было за пределом образа, который он выковал для своих читателей и слушателей.

«Самоубийца»

Обычно впереди времени летит слово. «Самоубийца» – так называлась пьеса Николая Эрдмана, написанная им в 1928 году. Название было симптоматично. Суицидальные настроения широко бытовали в то время в кругу интеллигенции, которая утрачивала и в политике, и в творчестве всякую стабильность и опору. Революционное мировоззрение, питающее целый слой писателей и поэтов, доживало последние дни. Выстраивалась новая чиновничья модель, где живому человеку не находилось места.

«Самоубийца» начинается фарсом. Главный герой, безработный Подсекальников, охотится ночью в коммунальной квартире, где он живет, за куском ливерной колбасы и оказывается неожиданно застигнутым женой. Он чувствует себя униженным кражей колбасы и хочет наложить на себя руки. Жена и теща пытаются отвлечь его от этого шага. Тем временем известие о желании Подсекальникова покончить с собой достигает самых разных лиц. К нему устремляются нэпман, священник, интеллигент, брошенная любовница – все они предлагают ему совершить самоубийство от их имени, чтобы таким образом выразить протест, который они сами выразить не могут.

Вот что говорит Подсекальникову представитель интеллигенции:

Аристарх Доминикович. <...> Посмотрите вокруг.

Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать, гражданин Подсекальников. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников. Если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой,

может высказать только мертвый. Я пришел к вам, как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции.

Интонация этого монолога поразительно совпадает с интонацией письма Викентия Вересаева, направленного правительству против цензуры:

Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы. Мы не можем быть самими собою, нашу художественную совесть все время насилуют, наше творчество все больше становится двухэтажным; одно пишем для себя, другое – для печати. В этом – огромнейшая беда литературы и она может стать непоправимой: такое систематическое насилье художественной совести даром не проходит. Такое систематическое равнение писателей под один ранжир не проходит даром для литературы. Что же говорить о художниках, идеологически чуждых правящей партии. Несмотря на эту чуждость, нормально ли, чтобы они молчали? А молчат такие крупные художники слова, как Ф. Соллогуб, Макс. Волошин, А. Ахматова. Жутко сказать, но если бы сейчас у нас явился Достоевский <...> то и ему пришлось бы складывать в свой письменный стол одну за другой рукописи своих романов с запретительным штампом Главлита^[136].

Просители, пришедшие к главному герою пьесы, не очень симпатичны. Эрдман вслед за Олешей, Ильфом и Петровым смеется над жалкой, слабой, не уверенной в себе интеллигенцией. И соединяет в один тип интеллигентов и обывателей, интеллигентов и мещан, что придает пьесе весьма двусмысленное звучание.

Не случайно Н. Я. Мандельштам спустя годы напишет об Эрдмане как о человеке, незаметно соскочившем в своей сатире на карикатуру над «мягкотелыми», «ничтожными», как их называли тогда, интеллигентами, хотя, по сути, они были единственными, кто защищал гуманистические идеалы еще с народнических времен.

Многие современники увидели в этом фигу в кармане, что, похоже, разглядела и власть, поэтому пьесу не пропускают. Возможно, роковую роль сыграл и год написания пьесы. Если в 1927 или 1928 году сатира еще проскакивает, чему есть множество примеров, то в 1929-м такого рода произведения не только невозможны в печати, но уже и опасны для автора.

Однако пьеса не была только сатирой, она в своем развитии движется к той высшей точке, когда Подсекальников вдруг начинает говорить на языке трагедии. Трагедии маленького человека: Евгения из «Медного всадника», Акакия Акакиевича. Он говорит, о том, что смерть освободит его от страха. Что он не боится ни власти, ни Кремля, потому что смерть делает его неуязвимым.

Подсекальников. <...> Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка. <...> И томится в этой клетке душа. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает. Летит. Ну, конечно, летит и кричит: «Осанна! Осанна!» Ну, конечно, ее подзывает Бог. Спрашивает: «Ты чья?» – «Подсекальникова». – «Ты страдала?» – «Я страдала».

Пьесу хотел ставить Мейерхольд, за нее боролся Станиславский. В воспоминаниях о чтении «Самоубийцы» говорится, что на читке у Станиславского вся труппа хохотала, обливаясь слезами. Но страшно становится от этого хохота.

В 1929 году Эрдмана пригласили на квартиру Луначарского, где он читал пьесу. Присутствовали члены правительства: Пятаков, Радек, Ворошилов. Не смеялся никто. Все выслушали и, мрачно попрощавшись, ушли. Луначарский на прощанье сказал Эрдману, что он написал гениальную пьесу, но, пока он нарком культуры, ее не поставят никогда.

Чем же задел Эрдман власть? Тем, что показал: в Советской России остался единственный способ сопротивления – самоубийство.

Собственно, пьеса была и развитием одной из тем повести Олеши «Зависть», написанной в 1927 году.

– Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас под подъездом.

– Повесьтесь лучше под подъездом ВСНХ, на Варварской площади, ныне Ногина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно.

К несчастью, Эрдман увидел свое собственное будущее. Подсекальников так и не решается совершить самоубийство. А Эрдман после ареста в 1932 году и ссылки никогда больше не писал пьес. Он выбрал жизнь...

Смерть Маяковского

В автобиографическом очерке «Люди и положения», написанном в 1956 году, Пастернак размышлял о самоубийствах близких ему людей, тех, которые во многом определили движение его судьбы. Думал об этом не только с болью и состраданием, а с чувством причастности к жизненным положениям, которые настигали и его тоже.

Приходя к мысли о самоубийстве, – писал Пастернак, – ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. <...> Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может

быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие^[137].

Вопросы о причинах смерти Маяковского захватили в это время не только литературную, но всю более-менее читающую публику. Все помнили, как презрительно он отозвался на смерть Есенина, насколько это было невозможно для него, но он совершил невозможное. Кроме того, самоубийство было жестом, поступком поэта, которым он обращался с последним посланием к обществу; все чувствовали, что дело было вовсе не в «любовой лодке, разбившейся о быт», а в чем-то другом. Но в чем же?

Пастернак понимает этот знак, и не случайно, что главный герой его романа Юрий Живаго, альтер эго поэта, умирает в 1929 году. Он не может перейти через разлом времени и остается в мире прежних и понятных для себя правил.

Как ни странно, но и Маяковский – создатель советского «проекта», его вдохновенный автор и демиург – не смог перешагнуть в этот новый мир. И очень показательно, что никто из представителей партийной и государственной элиты на открытие выставки «20 лет работы» не явился. Нужно ли ему было их признание? Нет, но он не мог пережить, что эти ничтожные люди оттолкнули его. И слова Пастернака о том, что он застрелился из самолюбия, из гордости, были по-своему точны.

Ольга, жена поэта Владимира Силлова, вспоминала:

Протягиваю руку к трубке. Узнаю голос Бориса Пастернака. Задышавшись, он бросает в трубку: «Оля, сегодня утром застрелился Маяковский. Я жду вас у ворот дома в Лубянском проезде. Приезжайте!»

Я срываюсь с места. Обо всем забываю, кроме этого ужаса. Мчусь туда, где случилось непоправимое. Не помню, как добрались до указанного места. Пастернак у ворот. Бледный. Ссутулившийся. Лицо в слезах; сказал: «Ждите меня на лестнице. Я пойду наверх, узнаю, где он будет».

Я стояла на лестнице, вдавившись спиной в стену, когда мимо меня пронесли носилки, наглухо закрытые каким-то одеялом. Господи! Ведь это пронесли то, что еще сегодня утром было Володей Маяковским!.. Вслед за носилками шел понурый Пастернак. Подхватил меня, и мы выбежали из дома^[138].

Луговской с Тихоновым находились в момент смерти Маяковского в туркестанских степях, и весть эта была для них, как они вспоминали, ужасна.

Из Москвы Луговскому пришло письмо от поклонницы:

На меня со стенки смотрят глаза Маяковского.
Живые глаза.
А в клубе под черным щитом лежал другой и незнакомый.
Он лежал против эстрады.
С этой эстрады он читал свое последнее «Во весь голос».
Я долго не могла понять, что он в самом деле мертвый.
Я отчаянно редела 14-го вечером в комнате Маяковского в
Гендриковом переулке.
Ведь это совершенно невозможно – видеть мертвого Маяковского.
Но только в день похорон я поняла, что он в самом деле умер.
Я стояла в почетном карауле в ногах у гроба и смотрела ему в лицо.
Лицо было чужое и странное. Руки, розы – все это относилось не к
нему.
Это уже было мертвое.
Но на меня по-живому взглянули стальные подковки на носках
ботинок.
Они были потершиеся и старые.
Я думала – подковки никогда больше не прикоснутся к земле.
Никогда.
И в этом я увидела смерть.
Я ее почувствовала через эти подковки.
Неприятно, что после смерти так много ненужного говорят о
Маяковском^[139].

Прощание с поколением

Что-то происходит со временем. Художники отчетливо это понимают. Время словно завертелось на месте, засасывая туда все больше людей. Еще в 1925 году А. Белый в письме Иванову-Разумнику писал: «...со временем что-то неладное: летели, ускоряясь, времена: и вдруг – стоп: будто стало: будто нет движения. <...> Линейно – время оборвалось; началась какая-то другая временная циркуляция...»^[140]

Поколение, сформировавшееся до революции (С. Парнок, М. Волошин, А. Белый, М. Булгаков), видимо, надеялось на вменяемость власти, на ее очеловечивание, но этого не произошло, и в новом мире жестокого абсурда прижились немногие.

В начале 30-х годов не стало С. Парнок, М. Волошина, А. Белого. О смерти последнего поэт Бенедикт Лившиц написал поэту М. Зенкевичу пронзительные слова:

И тем не менее – ни одна из смертей последнего времени не впечатляла меня так сильно, как эта смерть. Оборвалась эпоха, с которой мы были – хотим ли мы это признать или нет, безразлично – тесно связаны. Обнажилась пропасть, куда ступить настает уже наш

черед. Пробовали Вы подсчитать, сколько людей из нашего с вами литературного и близкого к литературе окружения умерло за последнее десятилетие? Я произвел впервые этот подсчет. 20 человек, из них 9 – старшего поколения, 1 (Есенин) моложе нас, остальные – наши сверстники. Удручающая арифметика! Никчемная цифирь, скажете вы? Дело не в возрасте, а в гормонах, в воле к жизни, в физиологическом отборе? Быть может, быть может, а все-таки пропасть обнажена и огромный кусок, целый пласт нашего прошлого рухнул в эту бездну.

Дело не в самом факте смерти, если бы вы знали меня ближе, мне не пришлось бы оговариваться, как сейчас, и объяснять вам, что отнюдь не самая смерть навела меня на эти *réflexions funébres*^[141], а в чудовищном одиночестве поколения, к которому мы с вами принадлежим и которое гораздо крепче связано с предшествующим поколением, нежели со своей сменой...^[142]

Часть II

Тридцатые годы

Начало. Приметы времени

Начало 30-х годов было ознаменовано и началом огромного строительства, которое потребовало уничтожения крестьянских хозяйств и превращения миллионов людей в дешевую рабочую силу. Повсеместно как муравьи они возводили огромные заводы, рыли каналы, прокладывали железные дороги. От писателей власть потребовала полного соучастия в этом великом труде народа. От них потребовали документальности.

Документ должен был в каком-то смысле заменить литературу. И писательские бригады рванули в разные концы страны. То, что они увидели, их потрясло.

Повсюду одно. Развороченный муравейник, – записывает Григорий Гаузнер в дневнике. – Поезда с раскулаченными идут в Казахстан, вербовщики ищут новых рабочих, соблазняя парней хлебом и сахаром. <...> Вся внешность страны за этот год изменилась, но в смысле развороченного муравейника^[143].

В конце 1932 года Борис Агапов пишет другу Корнелию Зелинскому: Я был в Днепропетровске и видел этого Молоха – металлургический завод <...>. Горы шлака источают газ, от которого спирается дыхание и слезы текут по лицу <...> унылые и железные башни, оглушительно грохоча клепильными молотками, творят издевательство над способностью человека чувствовать цвет и слышать – звуки.

Призрак, самообман, «рабочая гипотеза» думать, будто это Днепрострой с его махиной машинного зала, с его пультом как храмом энергии есть освобождение^[144].

Из окон вагонов писатели и поэты увидели тысячи голодных, просящих милостыню людей. Поезда с раскулаченными крестьянами, а иногда и людей в кандалных цепях, идущих по улице в сопровождении конвоя.

Записки о подобных впечатлениях они оставляли для себя, или писали об этом в письмах близким, или делились в разговорах. Одни уже хорошо знали, что можно писать, а что нельзя. Другие же пытались сохранять верность себе и своему предназначению. Андрей Платонов в 1930 году заканчивает и пытается напечатать повесть «Котлован», которая точно и страшно выразила сущность происходящего нового строительства. Бездомная девочка Настя спит на стройке в гробу, потому что другого дома у нее нет и быть не может.

Михаил Булгаков начинает писать мистический роман «Консультант с копытом», построенный на сатире на писательское сообщество и антирелигиозный пафос этих лет. Но все эти тексты не дойдут до печати именно потому, что в них жестоко отражалась новая реальность «будней великих строек».

В 1930 году выходит пьеса А. Афиногенова «Страх». Как и в случае с пьесой Эрдмана «Самоубийца», в название вынесено главное слово, определяющее время. «Мы живем в эпоху большого страха», – говорит один из главных героев пьесы. Парадокс состоял в том, что автор дает эти слова человеку старой формации, которому уже нечего делать в современной советской жизни. Но именно этот персонаж выражает чувства, постепенно заполняющие души людей.

Так, Григорий Гаузнер сначала записывает в дневник язвительные картинки из жизни советских служащих: «Чиновники в учреждениях носят как вицмундир русскую рубашку и сапоги, а придя домой, с облегчением переодеваются в европейский костюм».

Но спустя только два года эти советские служащие уже выглядят у Гаузнера как подозрительные личности. Примечательно, что эта книга о Беломорканале называется «Страна и ее враги»:

Инженер носит русскую рубашку, его речь пестрит лозунгами, лицо открытое, честное. Но в его цехе учащаются непонятные аварии, если попасть к нему на квартиру, где он снимает русскую рубашку как

вицмундир и с облегчением повязывает галстук, то можно услышать разговор, ставший известным из показаний на процессе вредителей...^[145]

Мир арбатских переулков меняется. Скоро исчезнет Смоленский рынок с его ломовиками – огромными мужиками, которые гнули подковы. Трамвай «Б» уже не будет рассекать толпу торгующих и покупающих.

Нищие крестьяне на улицах в лаптях и домотканых поддевках стоят возле булочных и просят не денег, а хлеба.

Но интеллигенция еще плохо понимает, что происходит на самом деле. В 1930 году Чуковский записывает в дневнике:

Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Ст<алин>ым как историк. В историческом аспекте Сталин как автор колхозов – величайший из гениев, перестраивавших мир. <...> Но пожалуйста, не говорите об этом никому. – Почему? – Да, знаете, столько прохвостов хвалят его теперь для самозащиты, что если мы слишком громко начнем восхвалять его, и нас причислят к той же бессовестной группе. <...>

Я говорил ему, провожая его, как я люблю произведения Ленина.

– Тише, – говорит он. – Неравно кто услышит!^[146]

Для литературы наступали новые времена: РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), которая в годы нэпа выполняла роль надсмотрщика за неблагонадежными писателями, вела и погоняла писателей-попутчиков, вдруг потеряла все свое влияние и была уничтожена постановлением о роспуске РАППа в апреле 1932 года. Власть, уничтожая ненавистную для многих писателей организацию и подготавливая почву для создания Союза советских писателей, вырывала с корнем и все другие кружки и частные организации. Теперь уже были невозможны не только РАПП, но и конструктивисты, лефовцы и многие другие.

Сталин решает объединить и связать писателей под общей крышей, не только профессионально – в Союзе писателей, но и в бытовой жизни. Вот как вспоминает об этом критик К. Зелинский. На встрече у Горького в октябре 1932 года, после разгрома РАППа, Сталин говорит:

...писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую – все учреждения. Мы дадим на это средства». Главная мысль Сталина при этом была такой: «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы же производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар – души людей».

«Организовали РАПП, разогнали РАПП...»

Партийное управление литературой началось уже в 1922 году. Лев Троцкий писал в Госиздат:

Нам необходимо обратить больше внимания на вопросы литературной критики и поэзии, не только в смысле цензурном, но и в смысле издательском. Нужно выпускать в большем количестве и скорее те художественные произведения, которые проникнуты нашим духом^[147].

Определение «нашего духа» и разделило руководителей литературы на разные группировки.

Сама же Ассоциация пролетарских писателей возникла в 1925 году из Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП). Следуя традиции МАППа и разделяя идею о том, что литература должна идти от рабочего класса и следовать линии партии, РАПП с первых дней существования приобрела воинственный дух; всех писателей, не входящих в Ассоциацию, делила на врагов и союзников. Врагами были и так называемые «попутчики».

Не случайно главным объектом нападок РАППа стал журнал «Красная новь». Основной упор в журнале делался как раз на «попутчиков», то есть бывших известных литераторов, пишущих в русле еще прежних народнических ценностей. Возглавлял журнал старый большевик Воронский, и за его редакционной политикой многие видели линию Троцкого. Основным органом РАППа был журнал «На посту», претерпевший за несколько лет удивительные метаморфозы в духе времени.

Сначала, возглавляемый Вардиным, Родовым и Лелевичем, он был отчаянно воинственный в своей пролетарской непримиримости, но к 1926 году лозунг «пролетарской культуры» уже был заменен на лозунг «учебы у классиков». Правда, новая группа с новыми силами продолжала нападать на тех, кто не придерживался, как им казалось, партийной линии.

Соответственно сменилось и руководство Ассоциации, и название журнала. Теперь на его обложке значилось: «На литературном посту». В феврале 1926 года руководителем РАППа вместе с Ал. Селивановским, А. Зониным и Ю. Либединским стал Леопольд Авербах.

Всем казалось, что в окопной литературной войне победил РАПП. И спустя время часть поэтов все-таки решили сдаться на волю победителя; в начале 1930 года в РАПП пошли Маяковский, Багрицкий и Луговской.

Сельвинский пишет в воспоминаниях, что Маяковский надеялся на их совместный переход к пролетарским писателям.

Телефонный звонок.

- Читали сегодня «Правду»?

- Нет еще. А что?

- Выходите к Пушкину. Буду ждать.

Я жил тогда в Сытинском переулке и через три минуты был на Тверском бульваре. Маяковский протянул мне газету со статьей «За консолидацию коммунистических сил пролетарской литературы»...

- Все понятно? - спросил Маяковский очень взволнованно. - Обратите внимание на выражение «через нее».

- То есть?

- Это значит, что партия свою литературную политику намерена проводить через РАПП. Теперь придется мне закрыть мой ЛЕФ, а вам ваш конструктивизм.

- Почему вы так думаете?

- Но это же ясно! До сих пор наши драки с Безыменским и компанией были спорами одной литгруппы с другой, то теперь это будет ударом по партийной политике. А я с партией сражаться не намерен^[148].

Сельвинский с Маяковским не пошел. Из конструктивистов в РАПП отправились интеллигенты-романтики, пытающиеся быть в русле времени, - Луговской и Багрицкий.

При вступлении в эту полувоенную литературную организацию от каждого выступающего требовались публичная исповедь, саморазоблачения и заверения в лояльности. Луговским были написаны «Страдания моих друзей». Для Маяковского такой исповедью перед рапповцами была поэма «Во весь голос»: объяснение читателям своего выбора и перечисление жертв, принесенных на алтарь власти.

Так они вступили втроем в РАПП, - вспоминал Зелинский. - В один и тот же вечер, сочинив более или менее однотипные заявления. В президиуме сидел с бритой головой Леопольд Авербах, довольный, и посверкивал своим толстым пенсне. А Маяковский читал, постукивая пальцами по зеленому сукну, иногда заглядывал в записку (видно, еще не выучил поэму наизусть). Читал воодушевленно и зло, перекрывал своим голосом весь зал^[149].

С момента вступления в РАПП Луговской почти не сидел на месте, и это было похоже на бегство... По путевке РАППа он все время в разъездах, в начале года - Туркестан, затем, в октябре, - поход на крейсере «Червонная Украина», Севастополь - Стамбул - Афины - Неаполь - Сицилия, в 1931 году - к пограничникам на Памир, а затем с новообретенным другом Фадеевым он рванет в Уфу, там их и застанет постановление о роспуске РАППа.

Статья Луговского «Мой путь к пролетарской литературе» по иронии истории выйдет 23 апреля 1932 года в день гибели РАППа. Статья вышла одновременно в газете «Правда» и журнале «Красная новь», эта публикация свидетельствует о том, что никто из редакционного руководства не знал даже за день о том, что РАПП будет распущен.

Разгон РАППа стал обнадеживающим событием. Эта еще недавно всесильная организация могла сделать жизнь любого писателя или поэта невыносимой. Это от них пошло слово «проработать». О некоторых так и говорили: «инвалид литературной проработки».

Однако роспуск РАППа воспринимался писательским сообществом не только с восторгом, но и с тревожным ожиданием от власти каких-нибудь сюрпризов.

На тонких желтых листках бумаги слепая машинопись: «Отрывки из дневника» Корнелия Зелинского.

30 апреля 1932. Очень поздно. Уже затихают трамваи. Олеша стоит, прислонившись к воротам. Он пьян и слегка качается. Столкнувшись с Сельвинским, Уткиным и мною он хочет улизнуть. Но мы задерживаем. Ему неловко.

– Скажите прямо, где пили, – подступили мы к нему.

– Да, я пьян. Скажите всем, что Олеша был пьян. Имеет право писатель в пролетарской стране быть пьяным.

– Ну, теперь после постановления ЦК, наверное.

– Ерунда это постановление. <...> Ну, уничтожили РАПП. Кому какое дело? <...> РАПП – это организованная ложь. Понимаете, фальшь. Это муниципальные проблемы. Были керосиновые фонари, а теперь электрические. Были такие мостовые, а теперь асфальт. Писатель должен заниматься мировыми вещами... Вот любовь, жизнь. <...> Просто всем надо сказать: «Слава богу». Сейфуллина – слава богу. Сельвинский – слава богу. И Авербах тоже напишет – слава богу. И я – слава богу. Вот и все. <...> Организовали РАПП, разогнали РАПП... Я не хочу этим заниматься. И Луговской ваш раб. Его речь раба, подхалима^[150].

Зелинский всегда с удовольствием фиксирует слабости своих собратьев по перу. Видимо, это как-то утешает его собственную совесть.

«На следующий день, утром. – Слушайте, я, кажется, вчера разводил какую-то контрреволюцию, – продолжает записывать он за Олешей. – Я ничего не помню. Я решил теперь ничего не говорить...»^[151]

Удивляет, как все правильно всё понимали.

Рапповцы на страницах романа Бориса Левина «Юноша»

После роспуска РАППа начались метания его многочисленных членов. Фадеев, объявленный рапповцами классиком, почти сразу же признал ошибки и раскаялся перед ЦК, хотя его терзали и сомнения. Действительно, изнутри все выглядело просто непостижимо. РАПП управлялась из партии, все назначения в руководстве, все идеи сбрасывались сверху. Поэтому растерянный Фадеев еще успел написать в первые дни после разгрома Ассоциации в «Литгазете»: «Восемь лет РАПП существовала с согласия партии и на глазах всего рабочего класса, и «вдруг» выясняется, вся ее деятельность была «роковой ошибкой», не бывает таких чудес в Стране Советов».

В книге Г. Белой «Дон-Кихоты 20-х годов» приводится рассказ, записанный Л. Э. Разгоном, бывшего рапповца Сутырина:

Слышать, что РАПП находился в оппозиции к линии ЦК, – смешно. Линия РАППа и была линией Отдела печати ЦК, во главе которого стоял Борис Волин – сам видный литератор-рапповец, или же Мехлис, который мог скорее простить отцеубийство, нежели малейшее сопротивление его указаниям^[152].

Тем интереснее, что уже в конце 1933 года, почти по горячим следам, выходит роман Бориса Левина «Юноша». Среди героев романа многие современники узнали еще недавно действующих лиц РАППа – Авербаха, Фадеева и других. Роман был написан талантливо. Главный герой – 18-летний одаренный художник, приехавший из глубинки в Москву, знакомится с разными художниками, литераторами и функционерами от искусства. Миша Колче, наделенный и непомерным честолюбием, и самовлюбленностью. Написан он с беспощадной откровенностью, что удивительно, так как герой этот явно имел автобиографические черты.

По ходу романа он влюбляется в жену художника Владыкина Нину, она же предпочтет юноше его дядю – Александра Праскухина, партийца с академическими вкусами, на тот момент чиновника Центросоюза, с которым у Миши трудно налаживаются отношения. Тут явная перекличка с романом Олеши «Зависть». И там, и здесь яркому, неординарному герою-эгоцентрику противопоставляется уравновешенный положительный новый бюрократ, которого предлагается полюбить и читателю.

Как уже говорилось, за героями романа стояли реальные прототипы. Так, красавица коммунистка Нина – Валерия Герасимова, будущая жена Бориса Левина, а Владыкин, написанный с очевидной неприязнью, – ее первый муж Александр Фадеев.

И Герасимова и Фадеев – оба были членами РАППа. А его глава Леопольд Авербах выведен в романе под именем Бориса Фитингофа.

Рыжеволосый Борис Фитингоф до сих пор сохранял снисходительно-иронический тон со своими родственниками. Про отца он говорил «мой буржуй», мать называл «старосветская помещица».

– Как вам нравятся мои буржуи? Их надо ликвидировать как класс. <...> Когда он говорил, то казалось, что стрекочут машинки «ундервуд». Необычайный треск. Спешка. <...> Многие буквы совсем пропадали. <...> В крови Бориса, так же как и у отца, жили микробы конъюнктуры и политиканства. <...> Борис Фитингоф хотел вести в политике совершенно самостоятельную, независимую линию, но эта линия выразилась в ряде уклонов и крупных политических ошибок^[153].

Роман появился в печати сразу после постановления о роспуске РАППа, но его бывший лидер был еще вполне благополучен.

В начале крушения политической карьеры он думал, что все будет гораздо внушительнее и грандиозней. Он мысленно видел подвал в «Правде» – «Корни ошибок Бориса Фитингофа». Он даже мужественно заставлял себя додумывать до конца возможность отбытия в провинцию. Однако ничего этого не случилось. Свыше месяца на несколько сконфуженный вопрос знакомых, что он собирается делать, Борис отвечал со смятой улыбкой: «Я в опале».

Конечно же Борису Левину и в страшном сне не мог привидеться финал жизни Авербаха. Тот был расстрелян в 1937 году.

Леопольд Авербах, по воспоминаниям Каверина, был маленького роста, в очках, крепенький, лысый, уверенный, ежеминутно действующий, – трудно было представить его в неподвижности, в размышлениях, в покое <...> приехав в Ленинград, чтобы встретиться с писателями, которые существовали вне сферы его активности, он сразу же начал действовать, устраивать, убеждать. Но теперь к его неутомимости присоединился почти неуловимый оттенок повелительности – точно существование «вне сферы» настоятельно требовало его вмешательства, без которого наша жизнь в литературе не могла обойтись^[154].

Удивительны были и его родственные связи с верхушкой советских чиновников. Интересно, что завязался этот узел еще до революции. Вот как пишет об этом бежавший в эмиграцию секретарь Сталина Бажанов:

У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за Авербаха, у Авербахов были сын и дочь. Сын, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководителя русской литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах.

А опирался он при этом главным образом на родственную связь его сестры. Ида вышла замуж за Г. Ягоду, руководителя ГПУ^[155].

Леопольд Авербах был племянником Свердлова, а Генрих Ягода до революции служил у отца Свердлова в Нижнем Новгороде подмастерьем в граверной мастерской. Старший Свердлов хранил в доме нелегальную литературу, и подмастерье знал об этом, поэтому, когда юному Генриху Ягоде пришло время открывать дело, он украл инструменты у своего наставника и сбежал. Тот не мог ничего с ним сделать, потому что подмастерье выдал бы его полиции. Так возникали будущие переплетения судеб людей, которые будут вершить человеческие жизни.

Генрих Ягода и Леопольд Авербах будут часто встречаться в доме главного нижегородца – Максима Горького. Тот взращивал РАПП с великой любовью и надеждой на его будущее. В 1937 году на допросе Ягода скажет об Авербахе и его товарищах слова, возможно, имеющие отношение к реальности:

Это были мои люди, купленные денежными подачками <...> игравшие роль моих трубадуров не только у Горького, но и вообще в среде интеллигенции.

Они культивировали обо мне мнение как о крупном государственном муже, большом человеке и гуманисте^[156].

Несмотря на то, что сведения почерпнуты из протоколов допроса Ягоды, именно слова о «трубадурах» похожи на правду, этому огромное число примеров.

Леопольд Авербах был женат на дочери Бонч-Бруевича. А. Исбах, один из уцелевших рапповцев, вспоминал:

А в свое время, когда руководство РАПП было еще единым, мы не раз бывали у него в Кремле. Там, на квартире известного государственного деятеля Вл. Дм. Бонч-Бруевича, тестя Леопольда Авербаха, собирались, бывало, пролетарские писатели, читали новые произведения, спорили, слушали музыку, танцевали.

Авербах, Киршон и Либединский были в Кремле своими людьми^[157].

Революция в России во многом делалась публицистами и журналистами (начиная с Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каменева и т. д.), оттого такое внимание власти к журналистам, тем, кто через газеты, журналы и книги могли воздействовать на умы.

Борис Фитингоф неожиданно выплыл к берегам искусства, – писал Левин о литературном чиновнике. – Это было золотое дно для предприимчивого, защищенного кое-каким опытом политического

функционирования молодого человека. И вот Борис начал с большой ноты. Он «сигнализировал», «ликвидировал» и непрерывно «дрался».

– Сегодня у меня будет драчка!.. Предстоит небольшая драчка. <...>

Прочитав наедине книгу, о которой он ранее ничего не слышал, Борис не знал, куда ее определить. Он совершенно не знал, понравилась она ему или нет, хороша она или плоха, вредна или полезна. По существу, он был даже немного мучеником...

Прототипом другого героя романа – художника Владыкина – стал Фадеев:

Борис хвалил Владыкина. Умно учтя обстановку, он сделал Владыкина своим творческим знаменем. Но Нина говорила: «Я не радуюсь, когда он кого-нибудь хвалит, и не огорчаюсь, когда он что-нибудь ругает, – настолько он всегда идет мимо предмета».

Авербах действительно поднял Фадеева как знамя РАППа. Фадеева Борис Левин показал в романе жестко и, наверное, несправедливо. Это было скорее связано с ревностью к Валерии Герасимовой:

Годы совместной жизни убедили Нину, что Владыкин не тот тип сильного коммуниста, за которого она его принимала в начале знакомства. Она знала все его недостатки: мелкое тщеславие, трусость, беспринципность... Ему доставляли удовольствие неудачи других. Ложь... Нина случайно узнала, что где-то в Калуге живет бывшая жена Владыкина и ребенок.

В письме Луговскому Тихонов в конце 1933 года написал:

Читал я роман Левина «Юноша». Он человек талантливый, советский Вертер получился у него именно с грехом пополам. Но другая сторона романа – включение тебе и мне известных людей со скандальными показами и описаниями ужасно мешает восприятию целого. Какими он представил Фадеева и Валю, я уж не говорю об Авербахе и Динамове. Это ослабляет вещь сильно^[158].

Борис Левин пропал без вести на финской войне в 1940 году.

Мы навещаем Валю Герасимову, она лежит все время под наркозом: бром в лошадиных дозах, видно, она очень любила Борю, – писала Луговскому 4 февраля 1940 года Сусанна Чернова, ставшая его женой в 30-е годы. – Приходят к ней его товарищи фронтовые еще с Гражданской войны, всячески ее утешают. Слабая все-таки она^[159].

Фадеев, Ставский, Сурков и ряд других рапповцев, вовремя признавших ошибочность своих взглядов, разоружившихся перед партией, избегают гибели и даже получают высокие посты. «Упрямцев» же – Авербаха, Киршона, Ал. Селивановского и некоторых других, которые

не раскаялись сразу и затаились, Сталин заметил и после смерти их главного заступника – Горького убрал вместе с Ягодой; они проходили по общему делу об убийстве великого пролетарского писателя. Чем невероятнее были фантазии Сталина, тем убедительнее они выглядели в глазах общества.

Разрыв с Авербахом у Фадеева был неприятный. В рассказе В. Тендрякова «Охота» описан случай, когда на очередном собрании писателей в доме Горького Сталин попросил Авербаха и Фадеева пожать друг другу руки. Фадеев кинулся к Авербаху с протянутой рукой, но тот заложил свою за спину. Рука Фадеева повисла в воздухе. После чего Сталин заявил во всеуслышание, что у Фадеева нет характера, а у Авербаха есть и тот может постоять за себя. Считалось, что именно после этого случая Фадеев пошел резко в гору. Что же касается Авербаха, то сталинская похвала его принципиальности стоила ему жизни.

Фадеев и Луговской. «Жизнь улыбается эсквайрам»

Луговской и Фадеев подружились в начале 30-го года, видимо, после вступления Луговского в РАПП.

Милый старик! – радостно писал Фадеев. – Я очнулся сегодня от вчерашней пьянки, очнулся в залитой солнцем комнате и долго лежал, глядя в потолок, – одинокий и грустный, но с большой ясностью в мыслях. И с каким-то особым хорошим чувством подумал о тебе – о том, что ты существуешь на свете и что ты – мой друг^[160].

Еще большее их сближение произошло в Уфе, куда они были направлены для формирования башкирской писательской организации и подготовки к писательскому съезду.

В Уфу Фадеева и Луговского пригласил Матвей Погребинский – полпред ОГПУ в Башкирии, близкий друг Горького, которого все звали запросто Мотей. Он создавал специальные коммуны для бывших уголовников, в том числе знаменитую «Болшевскую коммуну» для беспризорников. Именно он стал прототипом главного героя фильма «Путевка в жизнь», которого играл Николай Баталов, пытавшийся воспроизвести образ Погребинского – в частности, тот без оружия появлялся в подвалах, на чердаках, где собирались беспризорники, не агитировал их, а разговаривал «за жизнь».

Я живу сейчас на даче под Уфой – много пишу (это дает хорошее настроение), катаюсь верхом и на лыжах, пью кумыс! Кругом дремучие снега и целыми днями – солнце. Пестует меня Мотя Погребинский – вы его знаете, – человек, которого я очень люблю. Несмотря на его внешнее «чужачество» (он любит прикидываться простаком, но это в нем бескорыстно, вроде игры), он человек незаурядный, талантливый и очень добрый^[161].

После смерти Горького Погребинский прожил недолго, он покончил с собой в конце 1936 года.

В Уфу Фадеев поехал со своей женой Валерией Герасимовой. Там же, фактически на глазах Владимира Луговского, произошел их семейный разрыв.

Их брак был трудным, они то сходились, то расходились, любили друг друга и мучили. Герасимова, узнав об измене мужа, отравилась, но ее успела спасти ее сестра – Марианна (Мураша), о чем Валерия впоследствии много раз жалела.

Марианна Герасимова работала в НКВД, в конце 1934 года ее уволили на пенсию по нетрудоспособности после мозговой болезни. Она страдала тяжелыми головными болями, но все-таки ей удалось выздороветь. В 1939 году Марианна была арестована, на допросах ее пытали. Вернувшись из лагеря после войны в дом Валерии, она почувствовала, что за ней возобновилась слежка. Она так боялась нового ареста, что в отчаянии в 1945 году повесилась в Лаврушинском, в квартире сестры. Для Валерии Герасимовой, да и для Фадеева, который дружил с Марианной, это стало настоящим ударом.

Во время войны, находясь в Ташкенте, Луговской снова возвращается к началу их дружбы с Фадеевым:

...Помнишь наш разговор в Уфе, когда мы сидели у придорожной канавы и отыскивали созвездья. Во многих людях я разочаровался. Вот лежали мы в Барвихе с Уткиным, ехали в одном купе, думал я, что подружусь с ним, а оказался он злым, самовлюбленным и страшно холодным человеком. Много раз доверчивость моя к людям летела к черту, и оставался горький черный осадок. Но ты через все испытания в нашей, в своей, моей жизни прошел как большой человек, большой, щедрый на чувства друг^[162].

А в Уфе они пишут, каждый свое. Фадеев – «Последнего из Удэге», а Луговской отрабатывает впечатления от пустыни и границы:

Вторую книгу «Пустыни и весны», – писал в автобиографии Луговской, – я написал в Уфе, где мы жили более полугода с дорогим мне другом А. А. Фадеевым. Жили мы анахоретами. Днем работали, вечером выходили на шоссе, выбритые и торжественные, и рассуждали о мироздании и походах Александра Македонского. Неподалеку всю

ночь вспыхивали огни электросварки. Осенней ночью по саду ходила огромная старая белая лошадь и со стуком падали яблоки...^[163]

Потом, в 50-е годы, он эту картину воспроизведет в стихотворении «Уфа»:

Бродит лошадь белая,
ступает
Тяжело и мерно,
как во сне.
Яблони холодными стопами
Медленно проходят при луне.

А в середине 30-х годов Фадеев с нежностью написал о Луговском в записной книжке:

Сильный красивый мужчина с седыми висками и могучими дикими бровями... Подходя к дому <...> он насвистывал какую-то солдатскую песенку в переулке... Он был полон счастья... Мы пили кофе и бежали на Москву-реку. Она еще – Москва-река – не была в граните. Мы плавали, как тюлени, ныряли, топили друг друга, смеялись до головной боли...^[164]

В архиве Луговского рассыпью лежали небольшие листочки из блокнота, исписанные фадеевским почерком, правда, с несколько пляшущими буквами. Возможно, они относятся к тому же периоду, когда они «плавали, как тюлени».

«...Жизнь улыбается эсквайрам, ибо открылись кабаки, но мелкопоместным эсквайрам не хватает чего? Денег!..»

В 1934–1935 годах Фадеев живет на Дальнем Востоке. Но теперь он в своеобразной опале. У него окончательно портятся отношения с Горьким, который не простил ему скорый разрыв с РАППом, с Авербахом. Нелюбовь Алексея Максимовича доходит до того, что в начале 1936-го он закажет недавно приехавшему в Союз Святополку-Мирскому ругательную статью на «Последнего из Удэге».

Фадеев зовет к себе друзей, и они приезжают. Но одиночество не оставляет его.

Планы у меня большие, – пишет он Луговскому. – Чувствую, что вошел уже в ту пору, когда ветрогонству – *конец*. Надо закончить роман, написать несколько рассказов для «Правды», засесть основательно за теорию и за науки и одолеть поначалу не менее двух языков – немецкий и английский. Засяду под Владивостоком, и года полтора-два в Москве меня пусть не ждут (сие пока в тайне держи, т. к. разрешения от ЦК я пока не имею, да и боюсь, что дойдет эта весть до родных и любовниц и начнут они меня мучить слезными письмами).

Чувствую я себя прекрасно – в здешней суровости, в здешних темпах и масштабах. Поначалу – «встречи с друзьями!» – кое-что мы попили (раза два я нарезался даже основательно), а сейчас уж и думать забыл – не до того (*очень хочется работать*).

Вспоминая последние два года, не могу подчас избавиться от чувства большой грусти – прожиты не так, как надо, с малыми успехами и – в сущности, без радостей. Хотелось бы иметь в предстоящей жизни подругу сердца, да, кажется, придется одному быть. За жизнь свою не менее, должно быть, тридцати «алмазов сих» подержал в руках – и от них настоящей любви ни от кого не нажил, да и сам никому не предался до конца – теперь уж, видно, и поздновато надеяться. Так-то, *mein Hertz!*^[165]

Сколько еще ждет его впереди событий и личных, и общественных...

Но пока в письме к Павленко он, рассуждая о своих предпочтениях в классической литературе, размышляет о том, понадобятся ли кому-нибудь их произведения в будущем или нет, и заключает письмо словами, что никакой ценности они как писатели с Павленко не представляют, потому горестно говорит он: «...мы не мастера, а полезные писатели. Утешимся, Петя, что мы писатели «полезные»»^[166].

Фадеев, по воспоминаниям Лидии Либединой, неоднократно рассказывал, что всякий раз, когда ощущал на себе взгляд Сталина, ему казалось, будто на нем висит десять пудов. «Его не трогали, – рассказывала она. – Сталин Фадеева любил, а в конце 1938 года его вдруг выбрали в ЦК. Жил Фадеев в Большом Комсомольском переулке – в доме НКВД»^[167].

«Я всегда верил ЦК», – повторял он растерянно после смерти Сталина.

И всю последующую жизнь он пытался уверовать в логику власти, которой служил как генеральный секретарь Союза писателей.

Зелинский записывает в дневнике в 1945 году рассказ Фадеева о том, как Сталин показал ему папку с допросами Кольцова – дело, видимо, происходило в начале 1939 года (Кольцов был арестован в декабре 1938-го). Фадеев объясняет своему биографу, что из допросов узнал о том, что Кольцов служил германской разведке.

Теперь я понимаю, – говорил он Зелинскому, – что он, видимо, был даже принят Гитлером самим. Но как человек умный, он усомнился в победе фашизма. И он для перестраховки связался с французской

разведкой. Решил, что быть шпионом в демократической стране лучше, всегда туда можно будет скрыться^[168].

Фадеев изо всех сил пытается вжиться в откровенный бред, который читал под сталинским присмотром, проникнуться логикой Кольцова – шпиона двух разведок. Кажется, что и сам-то он уже изъясняется как немного помешанный.

И вот Кольцов, Белов, – продолжал свой рассказ Фадеев, – в своих показаниях много писали о Мейерхольде как резиденте иностранной разведки тоже, как участнике их шпионской группы. <...> Потом приходит ко мне Сталин и говорит мне: «Ну как, прочли?» – «Лучше бы я, товарищ Сталин, этого не читал...» На что вождь спокойно ему отвечает, что им вот приходится в этой грязи копаться, а Фадееву, видишь ли, неприятно. «Вы же должны знать, – говорит ему Сталин, – кого вы поддерживали своими выступлениями. А мы вот Мейерхольда, с вашего позволения, намерены критиковать». Каково мне было все это слушать. Но каково мне было потом встречаться с Мейерхольдом. Его арестовали только через 5 месяцев после этого случая. Он приходил в Союз, здоровался со мной, лез целоваться, а я не мог уже смотреть на него^[169].

Валерия Герасимова писала в воспоминаниях, что когда стали возвращаться товарищи Фадеева из лагерей и один из них пришел в его почти министерскую квартиру, тот обнял его со слезами. Зашел разговор о Сталине.

– Знаешь, у меня такое чувство, что ты благоговел перед прекрасной девушкой, а в руках у тебя оказалась старая б-дь! – сказал Саша.

И еще: «...такое чувство, точно мы стояли на карауле по всей форме, с сознанием долга, а оказалось, что выстаиваем перед нужником». Он все искал метафоры, сравнения, связанные с юностью, любовью, верой...

Ужас того времени, – печально констатировала Герасимова, – был в том, что Сталин сумел сделать всех ответственными за все происшедшее. Ужасно, что смертельный страх смешивался во многих из нас с представлением о целесообразности этой охоты за людьми!^[170]

Сколько самоубийств видел Фадеев за жизнь! Борис Левин описал в романе одну из возлюбленных, покончивших с собой по вине Владыкина (Фадеева). Л. Б. Либединская говорила, что Фадеева часто обвиняют в

причастности к самоубийствам, в которых он был неповинен. Это касается, например, Ольги Ляшко, дочери писателя Н. Ляшко, у которой была очень короткая связь с Фадеевым. Потом она благополучно вышла замуж, а в конце 30-х вместе с мужем они покончили с собой.

Я знал молодого писателя Виктора Дмитриева и молодую писательницу Ольгу Ляшко (дочь известного писателя Николая Ляшко), – писал Юрий Олеся в дневнике, – которые совершили одновременный уход из жизни. Он застрелил ее – согласно тому, как было договорено, – и затем застрелил себя.

Они оба были молоды и красивы. У него была наружность здорового мальчика – румяные полные щеки, пухлые, налитые свежестью губы. Она тогда казалась мне похожей на цыганку. Теперь я помню только бирюзовое ожерелье на смуглой шее.

Их двойное самоубийство, происшедшее вскоре после смерти Маяковского, наделало шуму. Кажется, они оставили какие-то записи из общего дневника, объясняющие их поступок...^[171]

В середине 1937 года Фадеев оказался в Испании. Там на улице он случайно встретил свою бывшую близкую знакомую Инну Беленькую и радостно бросился к ней, не зная, что она разведчица. Через несколько дней ее вызвали в Союз, так как она была опознана на улице Мадрида. Ее участь была решена. Она приехала в Москву, отправилась в самый высокий на тот момент высотный дом на Тверской и выбросилась из окна.

Так складывался самоубийственный опыт той эпохи, подготовивший и собственный уход Фадеева.

Светлые люди РАППа: «Ложь» и «Страх» А. Афиногенова

Интересна судьба еще одного рапповца – А. Афиногенова. Если в начале пути он был одним из руководителей РАППа, то уже в конце 30-х годов жизнь близко сведет его с Пастернаком. Он был высоким и красивым человеком, его любил Горький. Когда ему было двадцать пять, его пьеса «Чудак» была поставлена во 2-м МХАТе и имела огромный успех. История их любви с американкой Дженни в несколько преобразенном виде легла в основу сценария фильма «Цирк» Г. Александрова. Американская танцовщица Дженни Марлинг, которая увлекалась танцами в духе Айседоры Дункан, приехала из Калифорнии со своим первым мужем на театральный фестиваль в Советскую

Россию. Гостей принимал Афиногенов, тогда между ним и Дженни возникла пылкая любовь, которая привела к тому, что американка осталась в СССР и спустя время вышла замуж за Афиногенова.

В 1930 году выйдет пьеса Афиногенов «Страх». Пожелтевшая обложка. На ней крупно, серыми мышинными буквами выведено «с т р а» – недописанное слово перечеркнуто крупной, кровавой буквой Х. Обложка работы художника и режиссера Н. Акимова.

Главный герой – профессор Бородин, руководитель Института физиологических стимулов. После многолетних опытов на кроликах (!) он приходит к выводу, что именно человеком руководят четыре стимула: страх, любовь, ненависть и голод. Профессор утверждает, что советская система управления работает только на страхе:

Молочница боится конфискации коровы, крестьянин – насильственной коллективизации, советский работник – непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник – обвинения в идеализме, работник техники – обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху большого страха.

Тут придется прерваться, чтобы объяснить: цитируется не текст диссидентской пьесы, вовсе нет! Все это говорил со сцены отрицательный герой, которого чуть не посадили. Но как точно он формулирует саму суть советской жизни. Итак, далее:

Страх заставляет талантливых интеллигентов отречься от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты... Да. Да. На высоком месте не так страшна опасность разоблачения.

«Уничтожьте страх, – провозглашает герой пьесы, профессор Бородин, – и вы увидите, какой богатой творческой жизнью расцветет страна...» В конце концов, под воздействием старой большевички Клары и следователя ОГПУ, профессор Бородин «исправляется» и проникается верой в Советскую власть. Пьеса была поставлена во МХАТе и в Ленинградском театре драмы, но спустя время ее сняли с репертуара.

Л. Троцкий в изгнании напишет, подводя итог этому времени: «Главной пружиной политики самого Сталина является ныне страх перед порожденным им страхом».

Афиногенов, похоже, действительно не ведал, что творил, он просто честно улавливал нечто разлитое в воздухе и переплавлял в текст.

Точно таким же выражением сути времени оказывается и слово, вынесенное в заголовок его следующей пьесы, – «Ложь». Афиногенов рассказывает о крупных начальниках и их женах, которые никак не могут разобраться в текущем моменте и оказываются в конце концов, по его версии, двурушниками. Думают одно, говорят другое, делают третье. Так, например, одному из героев выделяют некую ограниченную сумму на строительство цеха на заводе и дают сроки, с

которыми он не в силах справиться, что грозит обвинением во вредительстве или саботаже. Он начинает изворачиваться и лгать своим начальникам. Разумеется, все они – отрицательные герои. Вот слова одного из них: «Я не думаю, а цех строю. Думать должны вожди... Последний раз думал... дай бог памяти, когда нэп стали сворачивать, к колхозам переходить. Тут и задумался, а потом прошло».

Героиня по имени Нина объясняет своему знакомому, старому партийному работнику с характерной фамилией Рядовой:

На собраниях они и лозунгам аплодируют, а дома им оценку дают, другую. А мы себя успокаиваем – это и есть новая жизнь, нас хвалить надо и красивые слова писать, портреты, ордена – и все напоказ, для вывески... Есть ли теперь убеждения крепкие? Чуть кого тронь, сейчас за спину, отмежуются, промолчат, правду в песок зароят – лишь бы совсем усидеть. <...> Скажите тем, кто ведет нас, чтобы они не обольщались славословием...

Ложь в пьесе рассматривается как боевой прием, как «обман» на фронте, как прием военной стратегии. Отрицательный персонаж Накатов говорит: «Вся страна обманывает, ибо она сама обманута». Героиня разоблачает его.

Пьесу приняло к постановке 300 театров, но возмущенный Сталин исчеркал всю ее красным карандашом, после чего автор сам отказался от постановок.

Вот текст письма Сталина Афиногенову:

<Не ранее 2 апреля 1933 г.>.

Тов. Афиногенов! Идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое. Почему-то все партийцы у Вас уродами вышли, физическими, нравственными, политическими уродами (Горчакова, Виктор, Кулик, Сероштанов). Даже Рядовой выглядит местами каким-то незавершенным, почти недоноском. Единственный человек, который ведет последовательную и до конца продуманную линию (двурушничества) – это Накатов. Он наиболее «цельный».

Для чего понадобился выстрел Нины? Он только запутывает дело и портит всю музыку.

Кулику надо бы противопоставить другого *честного, беспорочного и беззаветно преданного делу* рабочего (откройте глаза и увидите, что в партии есть у нас такие рабочие).

Надо бы дать в пьесе собрание рабочих, где разоблачают Виктора, опрокидывают Горчакову и восстанавливают правду. Это тем более необходимо, что у Вас нет вообще в пьесе *действий*, есть только *разговоры* (если не считать выстрела Нины, бессмысленного и ненужного).

Удались Вам, по-моему, типы *отца, матери. Нины*. Но они не доработаны до конца, не вполне скульптурны.

Почти у каждого героя имеется свой стиль (разговорный). Но стили эти не доработаны, ходульны, неряшливо переданы. Видимо, торопились с окончанием пьесы.

Почему Сероштанов выведен физическим уродом? Не думаете ли, что только физические уроды могут быть преданными членами партии?

Выпускать пьесу в таком виде нельзя.

Давайте поговорим, если хотите.

Привет!

И. Сталин

Р.С. Зря распространяетесь о «вожде». Это не хорошо и, пожалуй, не прилично. Не в «вожде» дело, а в коллективном руководителе – в ЦК партии.

И. Ст<алин>^[172].

Горький, опекавший Афиногенова, был очень встревожен. Он написал из Италии драматургу огромное, нервное письмо:

Накатов – это оппозиционер – он заинтересует зрителя более, чем все другие герои... ибо зритель – в большинстве тоже «оппозиционер».

Я думаю, – продолжает он дальше, – что она (пьеса «Ложь». – Н. Г.) была бы вероятно, весьма полезна, если б можно было разыграть ее в каком-нибудь закрытом театре, перед тысячей хорошо грамотных ленинцев, непоколебимо уверенных в правильности генеральной линии... При этом требовалось, чтобы актеры тоже были бы социалистами искренно, а не потому, что быть социалистами выгодно^[173].

Тот же мотив необходимой лжи в дневнике Григория Гаузнера от 22 января 1933 года:

Агапов сегодня совершенно точно: да, завтрашний день будет коганизирован (по имени начальника строительства Беломорстроя. – Н. Г.), как сегодняшний троцкизирован, но об этом нельзя говорить, если считаешь себя ответственным перед сегодняшним днем, а не только собираешься сообщить истину в вечность: ведь сегодняшнему дню нужно преувеличенное представление о своей задаче, чтобы выполнить ее хотя бы нормально. А ты один из тех, кто дает представление. Потому, если ты хочешь быть не только наблюдателем, но и делателем истории, *то эта честная ложь тебе простительна, как и вождям* (курсив мой. – Н. Г.). Я согласен на это как журналист, но как писатель я не могу отказаться от точности истории. А сомкнуться то и другое сможет лишь тогда, когда уже не будет нужды в идеализировании^[174].

Сталин лично посылает Горькому в Неаполь в 30-м году материалы о «вредителях» и ждет «правильную» пьесу от него. Но на заказ откликается Н. Погодин и пишет комедию «Аристократы» о социально близких власти уголовниках, которые перековываются в лагере, и вредителях – бывших инженерах и врачах, не желающих перековываться. Вскоре погодинскую пьесу также запретят к показу.

Что же касается Афиногенова, то в роковом пасьянсе судеб рапповцев – жертв и счастливых – у него не худшая судьба. Он не был ни арестован, ни расстрелян, его просто изгнали из партии и из Союза писателей. Афиногенов пережил огромный душевный переворот, отразившийся в его дневнике 1937 года, где он запишет никогда не произнесенную речь:

Такое количество страшных слов опущено на мою голову, что если бы десятая их доля была правдивой – мне надо было бы стреляться. Ибо что может быть позорнее в наше время клички – троцкистский агент, авербаховский бандит, участник контрреволюционной группы, разложившийся литературный пройдоха, выжига и халтурщик, и что там еще... не запомнить всего.

Но видите, что я стою перед вами, – значит, я не застрелился и не бросился под поезд метро^[175].

Ставский, Фадеев, Ермилов и Сурков стали руководителями Союза писателей, Либединский был гоним и еле спасся, Леопольд Авербах, Киршон, Б. Ясенский – убиты. Рапповцы слишком близко подошли к власти, оказывая ей услуги.

Зинаида Нейгауз и Борис Пастернак

*И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,*

.....

*То весь я рад сойти на нет
В революционной воле.*

Б. Пастернак

Эпоха столь тесно переплела общественное и личное, что, как уже говорилось, разлом прошел по всей жизни людей. Может быть, отсюда такой судорожный поиск другой любви...

Г. Гаузнер пишет в дневнике, что браки и разводы в начале 30-х годов превратились в настоящую эпидемию:

Новое сумасшествие. Все женятся и разводятся с кинематографической быстротой. Моральная эпидемия, нравственный сыпняк. Каждый день новый развод^[176].

Однако это только внешняя сторона. Возвращаясь к булгаковскому «Мастеру», нельзя пройти мимо того факта, что ведущая линия романа – это история писателя, спасенного любимой женщиной, той, которая пойдет с ним до конца. Булгаков описал свой многострадальный роман с Еленой Сергеевной Шиловской, появившейся в его жизни в годы «великого перелома». Любовь становилась последней обителью свободы в тюремном государстве. И выстоять можно было только рядом с близкой по духу женщиной.

Состояние духа Пастернака в 1930 году было в чем-то схожим с состоянием Маяковского перед самоубийством. Расстреляли лефовца Владимира Силлова, знакомого Пастернака. Эмма Герштейн вспоминала, как, узнав о расстреле Силлова на премьере «Бани», Пастернак был поражен тем равнодушием, с которым ответил на его вопрос о Силлове Семен Кирсанов: ««Ты знал, что Володя расстрелян?» – «Давно-о-о», – протянул тот так, как будто речь шла о женитьбе или получении квартиры»^[177]. «Это случилось не рядом, а в моей собственной жизни. С действием этого события я не расстанусь никогда»^[178], – писал он Н. Чуковскому.

Пастернаку был запрещен (как накануне и Маяковскому) выезд за границу; он просил у властей разрешения, чтобы встретиться с родителями.

В отчаянии он пишет Горькому, просит посодействовать, чтобы его выпустили, и тут же делится тяжкими впечатлениями от коллективизации в деревне:

Мне туго работалось в последнее время, в особенности в эту зиму, когда город попал в положение такой дикой и ничем не оправдываемой привилегии против потерпевших и горожане приглашались ездить к потерпевшим и поздравлять их с потрясениями и бедствиями^[179].

Горький советует Пастернаку не просить о выезде, так как некоторые выехавшие писатели не вернулись и пишут антисоветские тексты за границей: «Всегда было так, что за поступки негодяев рассчитывались порядочные люди, вот и для вас наступила эта очередь»^[180], – заключает письмо Горький из Сорренто. Однако теперь известно, что именно Горький в письме к Ягоде говорит о том, что Пастернака выпускать нельзя, так как он может быть подвержен влиянию эмигрантов.

Последствия «великого перелома» не замедлили сказаться. В районах Южной Украины, Среднем Поволжье, на Северном Кавказе и в Казахстане царствует голод. Города постепенно возвращаются к карточной системе, от которой освободились в период нэпа.

Еще в начале 1930 года Пастернак пишет сестре Лидии:

Сейчас все живут под очень большим давлением, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия в сравнении с тем, что делается в деревне. Там проводятся меры широчайшего и векового значенья, и надо быть слепым, чтобы не видеть, к каким небывалым государственным перспективам это приводит, но, по-моему, надо быть и мужиком, чтобы сметь рассуждать об этом, то есть надо самому кровью испытать эти хирургические преобразования; со стороны же петь на эту тему еще безнравственнее, чем петь в тылу о войне. Вот этим и полон воздух^[181].

Все вместе действовало на Пастернака угнетающе. Так продолжалось до лета 1930 года.

Нейгаузы и Асмусы, будучи киевлянами, много лет снимали дачу на Ирпене под Киевом. Ирине Сергеевне, жене Асмуса, очарованной Пастернаком, удалось уговорить его и брата Александра провести с семьями вместе лето на Ирпене. Снимала дачи Зинаида Николаевна Нейгауз. Собрав деньги на задаток, она отправилась на место и нашла четыре дома неподалеку друг от друга. Четыре семьи, объединенные музыкой, философией и поэзией, общими разговорами, чувствовали себя счастливыми несмотря на то, что в соседних деревнях всюду шло раскулачивание и чувство тревоги нередко посещало их. «...Лето было восхитительное, – писал Пастернак сестре, – замечательные друзья, замечательная обстановка». Зинаида Николаевна стала той соломинкой, за которую ухватился поэт в драматическое для себя время.

Она была необыкновенно красива и одновременно по-земному проста. Легко мыла, убирала дом, справлялась с жизненными невзгодами. Зинаида Николаевна вспоминала, как в то лето на Ирпене Пастернак, глядя на нее, восхищался поэзией быта (а скорее всего, именно ею на фоне быта):

поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть... я это хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией^[182].

Пастернак о том же говорил в письме к сестре Жоне 30 июля 1931 года:

...десять раз на дню я поражаюсь тому, как хороша З.Н., как близка она мне работающим складом своего духа, работающего в музыке, в страсти, в гордости, в расходовании времени, в мытье полов...^[183]

Тут нельзя не отметить определенный парадокс. Как известно, большинство поэтов, да и писателей той поры, жестоко боролись с бытом и старались не замечать присущей ему поэзии. Однако часто в этой борьбе все-таки побеждал быт. Незаметно они становились заложниками не только квартир, но и очередей на мебель и прочее. Советский литератор оказался существом насквозь забытовленным, а Пастернак с его открытым восхищением поэзией кастрюль жил

достаточно просто, даже бедно. Его узенькая, как пенал, квартира в Лаврушинском поражала неуютом, след от которого чувствуется и поныне. «Квартира... производила впечатление нежилой: мебель в чехлах, никаких мелочей, пустые стены»^[184], – писала Елизавета Черняк.

В своих воспоминаниях Зинаида Нейгауз, сравнивая себя с Евгенией Пастернак, назвала ее «избалованной». Пастернак почувствовал в природе Зинаиды Николаевны определенную гармонию, в том числе и с советской жизнью.

Знаменитые слова Зинаиды Пастернак о том, что ее мальчики в первую очередь любят Сталина, а потом ее, никак не вяжутся с ролью жены гонимого поэта, которая была для нее невероятно тяжела. Она так и не привыкла к этой роли.

Но в то же время Пастернак в письмах к родным, анализируя характер Зинаиды, говорит о главном, что и определило их союз:

Я с ней церемонюсь гораздо меньше, чем было с Женей, не только потому, что, может быть, люблю ее сильнее, чем любил Женю (мне не хочется допускать этой мысли), но и оттого, что к Жене всегда относился почти как к дочери, и мне всегда ее было жалко. Между тем я не представляю себе положения, в котором бы я мог пожалеть Зину, так равна она мне каким-то эмоциональным опытом, возрастом крови, что ли.

Женя гораздо умнее и развитее ее, может быть, даже образованнее. Женя чище и слабее ее, и ребячливее, но зато тем вооруженнее шумовым оружием вспыльчивости, требовательного упрямства и невежественного теоретизма^[185].

Видимо, сама логика испытаний привела в жизнь Пастернака вместо ребячливой Жени «взрослую» женщину, способную смиренно выносить общие тяготы.

В начале сборника «Второе рождение» звучат три темы: бесконечность стихии природы, стихия любви и стихия переустройства общества; в итоге лирический герой, смиряясь перед глобальностью кавказских гор, моря, перед силой новой любви, можно сказать, жаждет, взывает к смирению перед лицом тех перемен, которые происходят в стране. Во «Втором рождении», пусть с сомнением в голосе, он просит революцию:

Ты рядом, даль социализма.

Ты скажешь – близь? Средь тесноты,

Во имя жизни, где сошлись мы, –

Переправляй, но только ты.

Его неуверенное желание было услышано. Можно сказать, что именно с этого года начинаются удушающие объятия власти. Яростным защитником Пастернака неожиданно станет Всеволод Вишневский, в 1931 году он будет с рычанием кидаться на недругов поэта, считая, что

«Волны» – очень большевистские по духу стихи, посвященные тяжелому труду матросов.

Я был в Кремле в 19 году, – страстно говорил Вишневский. – Я не знал, что матросы тех лет будут написаны Пастернаком. <...> Когда я читаю Пастернака «Матрос», я абсолютно погружаюсь в этот год, в эти ощущения и опять иду как матрос по Москве^[186].

Впереди еще одачи Первого съезда писателей, клятвы именем Пастернака.

Будет и знаменитый звонок Сталина в 1934 году, и выступление на съезде, и, наконец, ужас поэта перед ролью, уготованной ему властью, – стать советским поэтом номер один.

Сборник «Второе рождение» был для Пастернака дневником последних переживаний, разломов, разрывов в семье, восстанавливающим главные события двух лет.

Начало любви – «Ирпень – это память о людях и лете», трагедия, пережитая накануне, – «Смерть поэта», мучительные отношения с бывшей женой – «Не волнуйся, не плачь, не труди...», и тут же искренние восторги перед чудесным обретением З. Н. – «Любить иных тяжелый крест...», и в каждом следующем стихотворении – «любимая», «красавица». Мир их дома, их комнаты как вершины покоя и счастья. Но зеркально – тема опрокинутой, несчастной жизни – «Пока мы по Кавказу лазаем... / Ты думаешь, моя далекая, / Что чем-то мне не угодила...» Это почти текстуально точное воспроизведение строчек из письма к Евгении в Германию.

Осень и зима в Москве 1930–1931 годов в бытовом смысле очень тяжела для Пастернака. Он уходит из дома. Живет то у Асмусов, то на Ямском поле – на квартире Пильняка, уехавшего в Америку. Тот вернется в мае 1931-го. Тогда же Пастернак посвящает ему стихотворение «Другу».

Весной 1931 года Пастернак начинает выступать перед публикой с новыми стихами.

На листках из дневников юной Риты Алигер – хроника одного из тех выступлений:

11.4.1931. Дождалась!

Ой, дождалась.

Он немного похож на лошадь. Но глаза оживляют всю его неповторимость.

Какие горячие живые глаза! А как он читал! Замечательная поэма – Волны. – Прекрасные новые стихи. В голове целый хаос отдельных строчек, образов... И голос чуть пришепетывающий (из-за зубов), такой глубокий, певучий...^[187]

В мае 1931 года Е. Пастернак с сыном уезжала к родителям Пастернака в Германию.

Через час я пойду к Жене и проведу у нее часть дня <...>.

Этим начнется наше прощание с ней. Я не знал, что оно будет так легко (письмо Зинаиде Нейгауз от 30 апреля 1931 года).

На каждом шагу трогает порядок, заведенный тобой, – это уже Пастернак писал в Германию к Жене, – следы твоей заботливости <...>. Так легко поддаться особой, каждому известной, болезненной и полусумасшедшей печали: она бесплодна, она не обогащает, не разрывается творчеством; убить нас во славу близких – вот все, к чему она ведет и на что способна. Но эти жертвоприношения от слабости^[188].

Он думает, что уже все объяснил жене, что она уже все поняла и примирилась с потерей. А родители в Германии просят не писать ей, не мучить – в его объяснениях ей слышится надежда на то, что все изменится.

Каждая из сторон любовного четырехугольника представляла развитие истории по-своему. Евгения Владимировна Пастернак предполагала, что, оставив мужа без семьи, уехав за границу, даст ему почувствовать острую необходимость в себе и сыне, услышит от него, как это уже было прежде, мольбы о возвращении. Пастернак предполагал, что бывшая жена за границей перестанет тосковать о нем.

Зинаида уехала в Киев, чтобы понять, уходить ли ей от Нейгауза к Пастернаку. В ее случае, видимо, решал тот мужчина, который был более настойчив. Но в Киев приехал Нейгауз, и прежние отношения с женой на время возобновились. Спустя годы она рассказывала, что сила писем Пастернака, которые он отправлял ей каждый день, покоряла ее больше и больше...

Вера Смирнова, критик, приехавшая из Узбекистана, не имела в Москве никакого жилья. По Киеву она была хорошо знакома с Зинаидой и Генрихом Нейгауз. После ухода Зинаиды с детьми к Пастернаку она с девочкой поселилась в маленькой комнатке Стасика и Адика в квартире Нейгаузов в Трубниковском переулке.

Первые дни я даже не видела Генриха Густавовича, – вспоминала она, – который по вечерам не бывал дома. Комнатку нашу, на стенах которой были слишком явные следы пребывания мальчиков, я завесила моими ферганскими сюзанэ, на раскладушку постелила ковер, маленький столик покрыла пестрой узбекской тканью. «Никогда не думал, что эта комната может быть такой уютной», – сказал Густав Густавович, зайдя к нам. Он показался мне очень усталым, улыбнулся Иришке, которая с восторгом говорила ему, как ей тут нравится, сказал: «Ну, я рад, если вам тут будет хорошо». И ушел к себе. <...> Однажды, вернувшись немного раньше с работы, я зашла в кухню – большую закопченную полуподпольную кухню, где на разных столах и

табуретках шипели десятки примусов и керосинок, и увидела Нейгауза во фраке и белом галстуке, одетом к концерту, усердно накачивающим примус. «Что вы делаете, Густав Густавович?» – воскликнула я с изумлением. «Захотелось перед концертом выпить чашечку кофе», – объяснил он смущенно. «Уходите. Я сейчас вам приготовлю кофе», – сказала я и выпроводила его из кухни. Стоя, он выпил эту чашечку кофе, тряхнул волосами, словно отгоняя мрачные мысли, поцеловал мне руку и быстро ушел. Как-то вечером, зная, что он дома, я постучала к нему. «Ваша квартирантка принесла вам плату за квартиру», – сказала я шутливо. Он лежал на кровати, вид у него был совсем больной. «Зачем это? – проговорил тоскливо. – Вам ведь трудно живется...» – «Я договорилась с Зиной», – сказала я и положила деньги на столик у кровати. «Посидите со мной, – попросил он совсем по-детски. – Кажется, я болеваю... Нет ли у вас лекарства?» Мне показалось, что у него в самом деле был жар. Я принесла аспирин, дала ему. Он покорно проглотил таблетку, махнул рукой, сказал: «Тоска...»

Тут я поняла то, что он усиленно скрывал от всех: он тосковал по привычному семейному укладу жизни, по своим мальчикам, если не по Зине: наш Гарри – такой, казалось бы, равнодушный к быту, артист, легкомысленный, увлекающийся, был, в сущности, по воспитанию, по привычкам, по духу семьянином и теперь страдал без этой атмосферы семьи. И я пыталась утешать его.

Вскоре, сидя поздно вечером над какой-то рукописью, я услышала громкий голос Пастернака и поняла, что они с Зиной пришли навестить Генриха Густавовича. Хотя двери были закрыты, слышен был громкий разговор, даже словно бы спор, взволнованный и резкий, сердитое бормотание Зины, резкие реплики Генриха Густавовича, глуховатый, уговаривающий голос Пастернака. Это продолжалось довольно долго, я не могла разобрать и уже собралась было ложиться спать, как вдруг ко мне тихо постучали – и вошел Борис Леонидович. «Добрый вечер! – сказал он как-то растерян. – Простите за такое позднее вторжение... Но... мы умираем с голоду... Не найдется ли у вас чего-нибудь?» – «У меня есть черный хлеб и украинское сало, мне неожиданно прислали», – сказала я. «Чудесно! – обрадовался он и позвал: – Зина, Гарри, идите сюда! Здесь наше спасенье!» Я достала хлеб и сало, постелила бумагу, нарезала куски: «Пожалуйста!» Зина и я сели на раскладушке, Гарри – на единственный стул, а Борис Леонидович стал у двери, подымая высоко руку с куском хлеба и сала, и восклицал патетически: «Кажется, никогда не ел ничего вкуснее!» – «Тише! – остановила его Зина. – Ты видишь, Иришка спит». Мы стали говорить вполголоса, и видно было, как все трое отдыхали от тяжелого разговора, радовались возможности снова отвлечься, заняться едой, радовались присутствию четвертого – перед кем, однако, не надо было таиться и лицемерить. Наконец, когда все уже было съедено и постепенно улетучилось, немножко искусственно веселая Зина сказала: «Уже поздно. Пора!» – встала. «Не

хочется уходить...» – как-то жалобно проговорил Густав Густавович. Но Борис Леонидович обнял его, и все вышли в столовую. Я не пошла их провожать, хотела оставить их одних, но они быстро попрощались, и скоро в коридоре хлопнула входная дверь. <...>

А потом нахлынули другие события: вернулась из-за границы жена Пастернака, мальчиков вновь водворили в Трубниковский, а Зина с Борисом Леонидовичем перешли к его брату. И наконец однажды, придя с работы, я увидела, что Зина красит эмалевой краской стулья в столовой. Я поняла, что мы с Иришкой должны уходить. Впрочем, о нас позаботился Борис Леонидович. Он сказал: «Вы умеете жить самостоятельно. Может быть, вы поможете Евгении Владимировне...», и мы с Иришкой очутились в квартире Пастернаков; в длинной, узкой комнате, половина которой была занята сундуками, мольбертами, ящиками с картинами и рулонами бумаги в картонных трубках. Наследством художника Л. О. Пастернака. Но это было уже второе действие драмы – с другими героями и персонажами. <...>

Я получила наконец свою собственную комнату, ко мне приехала мать. У Иришки открылась неизлечимая болезнь, и она умерла в 1935 году. На ее похороны неожиданно пришел Борис Леонидович. Он сказал моей приятельнице: «Иришка – это целая эпоха в моей жизни», и рассказывал, как она читала наизусть:

Стихи мои, бегом, бегом!

С бульвара за углом есть дом...

Говорила с гордостью: «Я тут все-все понимаю, я все это сама видела и знала»^[189].

Метания Зинаиды Николаевны продолжались до 1932 года. Все очень осложняло отсутствие квартиры, но упорство Пастернака сломало преграды.

Разрывы в семье, видимо, не могут происходить справедливо. Жертва, которую Пастернак принес на алтарь, была и на его взгляд огромна. Отсюда – надрывные строки из «Второго рождения»:

С бульвара за угол есть дом,

Где дней порвалась череда,

Где пуст уют и брошен труд,

И плачут, думают и ждут.

Это цена воскрешения Пастернака, выход из того ужасного тупика, в котором он оказался в начале 30-х годов.

Я их люблю, – пишет поэт сестре в Германию об оставленной жене и сыне, – и мог бы к ним возвратиться, если бы мне можно было

совершать подвиги. Но еще большею любовью я люблю Зину и ни ей, ни кому еще я не могу объяснить отличья этих чувств и их несчастной совместимости. Так как кольцо этих страданий все суживается, то я прошу и завещаю тебе не оставить их своей сердечностью (ее у тебя с избытком), когда я не выдержу, и это меня съест без самоубийства, само собою^[190].

Спустя годы в черновиках к «Доктору Живаго», пытаюсь оживить память о тех днях, Пастернак напишет иные слова о своем «втором рождении»: «безумие, тоска и прельстительность страсти» и даже «глушение страстью». Глушилась боль от картин массового голода, непрерывного страха за близких – всего, что вело к смерти. Отсюда душевная маета и шатание в интонации писем.

Но стало ли «второе рождение» для Пастернака возможностью счастья и гармонии? Скорее всего, нет. В конце 1932 года в письме к родителям вдруг возникает страх за жизнь оставленной жены и ребенка:

Мне иногда мерещатся всякие ужасы в будущем, общие, всенародные. В такие минуты я боюсь за их жизнь, и совсем по-особенному: я боюсь, что за мои грехи вдруг отомстится как раз им, от меня пострадавшим, и эти дикие мысли внушает мне наблюденье, что если не везде, то в некоторых местах жизнь идет не только не по справедливости, а как раз наоборот наперекор логике^[191].

Зинаида Николаевна обеспечивает ему уют и комфорт:

Она мне устроила жизнь столь удобную для работы, – писал он, – как я этого никогда не знал, и только печально, что это все даром, пока, потому что по причинам, о которых была речь вначале, у меня дурное настроение сейчас, и мне не работается^[192].

Спустя два с небольшим года после описываемых событий Вера Звягинцева вспоминала, как он обескуражил ее:

Пастернак всегда рассказывал мне о своих личных делах. А в день митинга после убийства Кирова он вдруг вздумал перевести нашу дружбу на другое, но я в страшном перепуге (как это роман с таким великим??) отвела. Ночью обиженно звонил. Но это все пустяки^[193].

Известно, что в это же время он делал предложение Ахматовой. Надо запомнить эти почти вырвавшиеся воспоминания Звягинцевой; Пастернак обращается к ней в попытке начать роман в конце 1934 года, а в феврале 1935-го с ним случится душевный кризис.

Примирения с действительностью тоже не произошло: «Сейчас, верно, станет невозможно переписываться: подозрительность, верно, возрастет с обеих сторон», – тревожно пишет поэт родителям в Германию, где победил фашизм. Понимание близости режимов приходит к Пастернаку мгновенно: «Это движения парные, одного уровня, одно вызвано другим, и тем все это грустнее. Это правое и

левое крылья одной матерьялистической ночи»^[194], – так сказано им 5 марта 1933 года о безбожном лице новой цивилизации.

Сусанна Чернова и Владимир Луговской

Сборник «Второе рождение» или «Волны», как его называло большинство читателей тех лет, вызвал восторженный отклик у друзей и поклонников Пастернака.

Петровский из Харькова, куда он вернулся после окончательного разрыва с Марикой Гонтой, пишет Луговскому в июне 1932 года, сравнивая впечатления от его стихов и от последнего сборника Пастернака.

...Ты не можешь себе представить, с каким огромным уважением я сегодня прочел твои стихи из книги «Избранное» (Федерация, 1932 г.) <...>. О «Волнах» я не ошибся: это лучшая вещь Бориса за последние годы. В ней существо не затемнено его щедрой изобразительностью, подчас совершенно затемняющей смысл или делающей его ненужно громоздким. Кроме того, знакомые пейзажи Кавказа освобождают или наполняют ассоциации – это – пейзаж – наш общий – есть вещи, которые немислимо выразить иначе, чем кавказским пейзажем^[195].

Здесь надо прерваться, чтобы отметить – последние стихи Пастернака Луговской с Петровским не раз читали друг другу и разбирали. И Петровский, много лет приближенный к Пастернаку, стихи которого для него были определенной вершиной (во всяком случае, в эти годы), показывает Луговскому, чего он достиг, сравнивая его с Пастернаком. Сколько бы ни жил Луговской в поэтическом сообществе – Пастернак так и будет тем «золотым метром», которым меряют окружающие совершенство поэзии.

Что же касается тебя, то вот что я скажу, что твоя лирическая воля подчас совпадает с волей реальной – биографической в такой же степени, как она совпадала у Маяковского, но голос еще не абсолютно развился... Я уважаю тебя и твою биографию. Жму тебе руку.

Дмитрий^[196].

У Пастернака тоже произошел рывок в биографии, на это намекает Петровский.

В жизни Луговского произойдет такой же переворот, как и у Пастернака. Только драматизм будет нарастать постепенно. В конце 1931 года он расстался с женой и маленьким ребенком. Надо отдать ему должное, он неплохо разбирался в себе и умел ставить себе диагноз. Еще за полтора года до окончательного разрыва он писал Тамаре Груберт.

12-15.10.29

Думаю, что меня раздирают две крови. Одна высокая, хорошая, другая бешеная, мелочная, но глубоко страстная, плебейская, мучительная...

Ты, моя единственная, одна звала меня к хорошему, другие женщины только потакали моему тщеславию. Ты фанатически верила в меня и потому, всякий раз как благородное желание в моей душе брало верх, я обращался к тебе... Ты для меня всегда была и есть и будешь той красивой, нежной и чистой женщиной, какую я избрал себе в жены, несмотря на крысиную возню моей второй души. <...> Я изломал много лучших твоих черт, но сделал это Я, я за них и отвечаю^[197].

Поездка в Туркмению в 1930 году была переломным моментом их совместной жизни. Понимая, что все движется к окончательной развязке, Т. Груберт писала Луговскому в Азию:

Недоговоренный разговор. Несправедливость положения вещей. Иногда маленькие реальные факты делают непоправимое. Чувство большой потери <...> у меня еще никогда не было в сумме такого гадкого осадка, как в этом году. Разговор не оконченный, но ясный. Буду ждать тебя с настоящим мужским словом^[198].

И слово было сказано. Разрыв с бывшей женой дался, видимо, легко. Он тяготился бытом, часто уезжал. Жизнь с маленьким ребенком, в небольшой комнате, обязательства перед семьей его утомляли.

В 1931 году в его жизни появилась артистичная, молодая женщина Сусанна Михайловна Чернова – композитор и пианистка. Характер у нее был импульсивный и гордый. Родилась и выросла она в Баку. Дружила с женой поэта Сергея Городецкого Нимфой, которая вместе с ним жила там в 20-е годы. Интересно, что Сусанна училась у Нейгауза, и в письмах к Луговскому она неоднократно упоминает об его уроках. Сусанна дружит и с Асмусами.

Все только начиналось, и Луговской еще не знал, куда качнется маятник. Его вполне устраивала бы жизнь на два дома, но отношения с Сусанной становились все более глубокими. Разлука и переписка усиливали натяжение.

Мне хотелось какой-нибудь связи с тобой, – писала Сусанна ему на Восток, – и я поехала к твоему отцу (имеется в виду могила на Алексеевском кладбище. – Н. Г.). Я его любила, может быть, так же, как и ты. Ведь каждый комочек земли, травинки, все-все, что там есть, для тебя дорого. Я знаю, что каждую радость, каждое горе – ты нес к отцу. Я тебя чувствовала, как никогда^[199].

Она очень точно нащупала главные болевые точки его души и стала ему необходима. Будучи с Фадеевым под Уфой, Луговской уговаривает

ее: «М. б., ты выберешь время, чтобы приехать? <...> Я был бы несказанно рад!»

Сусанна приехала к нему в Уфу и подружилась с Валерией Герасимовой.

Она быстро сумела очаровать друзей Луговского. В марте 1932 года Тихонов пишет после очередного посещения Москвы:

Я хочу познакомиться ближе с Сусанной. Она у тебя умная и хорошая. Правда, я предстал перед ней в виде допотопного дикаря – извинись за меня, пожалуйста. Уж следующий раз буду аккуратен и гладок, как скала. Мы с тобой чудно проведем время^[200].

Но в 1934 году между ними возникает жесткий разрыв. У них нет общего дома – Луговской живет с матерью на Тверской, а Сусанна у себя в комнате в Палашевском переулке. Стиль жизни поэта сильно не изменился, он так же легко сходится и расходится с женщинами, что не мешает, как ему кажется, искренне любить Сусанну.

17 апреля 1934 года она пишет ему:

Я тебе всегда говорила – я не лгала, – что с ложью уживаться мне очень тяжело. Со свойственным тебе порханием ты мне доказывал, что ты мне не врешь, говоришь одну правду – и за спиной моей меня не предаешь <...>. Вся наша совместная жизнь была сплошной руганью – я всегда тебе объясняла, что тебе хочется поклонения, рабского отношения и вечного восхищения твоими поступками, движениями и т. д. <...>. Сейчас я честно говорю – жить с тобою я не буду^[201].

Но в стихах он был предельно честен по отношению к себе. «Так опускаться, как падал я, – не пожелаю врагу», – сказал он в стихотворении, знаменитом в 30-е годы, «Сивым дождем на мои виски падает седина».

Именно разрыв с Сусанной рождает лирический цикл под названием «Каспийское море».

«Этот год был для меня очень тяжелым и трудным. Я мало писал и много мучился. Я недоволен собой. Жизнь моя стала трудна. А ведь раньше я был беспечен и жил как жилось, не раздумывая»^[202], – жаловался он близкой знакомой.

Именем песни предсмертным стихом, которого не обойти,
Я заклинаю ее стоять всегда на моем пути.
О, никогда, никогда не забыть мне этих колючих ресниц,
Глаз расширенных и косых, как у летящих птиц.

К нему постепенно приходит понимание необходимости их совместной жизни. Он дорожит их трудным союзом, но она охладевает, не веря в его постоянство. В Баку оставался ее маленький сын от первого брака. Луговской привез его в Москву, чтобы они жили все вместе, одной семьей.

Баку навсегда соединился для Луговского с ее именем. В его поэме «Баку, Баку!» из книги «Середина века», написанной в эвакуации в

Ташкенте, когда они уже расстались, живет образ девочки, играющей Рахманинова, бегущей с нотной тетрадью на занятия по музыке.

И бронза на дверях, и близорукой
Беспечной девушки ребячий профиль.

Огни залива. Я имею право
Стоять над телефоном до утра,
Звонить тебе в Москву. Ты улетила
Отсюда много лет тому назад...

Они снова помирились в начале 1935 года и заключили шуточное соглашение о взаимной любви и уступках. В нем одиннадцать пунктов. Бумага со штампом издательства «Советская литература». Тверской бульвар, 25.

...Не обращать внимания на плохие стороны; чаще гладить по голове и оказывать различные виды женского внимания <...> не принимать искренние движения за актерство и верить человеку...

Еще у них будет небольшой период, когда Луговской с товарищами поедет за границу. Они будут писать друг другу нежные письма, а затем любовь уйдет.

Ты меня очень огорчила своим письмом, – отвечал он раздраженно на упреки уже в 1936 году. – Предположим, что я, с одной стороны, человек сентиментальный, с другой – грубый и не очень хороший. Но у каждого, даже самого дурного, человека есть свое святая святых, то, что и словом не передашь. Этим – за все пять лет была та сердцевина моей любви к тебе, которая горела, горит и будет гореть во мне, несмотря на все горе, которое ты мне когда-либо причиняла. Это очень большое чувство, из-за которого я могу пойти и на глупость, и на самопожертвование. И это соединилось во мне с моей старой «внутренней сказкой» о синем жуке – в которой живет все правильное, природное, благородное и важное для меня. Я не для шуток и не ради сентиментов писал тебе отсюда письма о том, что дарю тебе *навсегда* этот внутренний символ моей жизни. <...>

Я холодные ноздри, как волк, к облакам поднимаю.

Не за жалость твою – никогда я ее не знавал, –

Не за ласку ночную – я ласки забыл поневоле, –

Полюбил я тебя, потому что скитался и звал,

Точно чудо, одну синеокую волю.

И придумал я сказку об огненно-синем жуке.

<...> Ты сама ведь человек творческий, тонкий, очень хороший, много в жизни переживший и от жизни мужа и жены требующий не

только культурной и корректной договоренности и обыденщины. Разве ты этого не можешь понять? Я знаю, тебе сейчас тяжело и плохо, не работая, не развлекаясь, не двигаясь, быть оторванной от своих дел и занятий. Я всеми помыслами с тобой и каждую мелочь, касающуюся тебя, переживаю теперь острее и больнее, чем то, что ко мне лично относится. Значит ли это что-либо для тебя? Не знаю. Не знаю, но все равно жизнь моя посвящена тебе <...>. А я сделаю так, чтобы тебе было действительно хорошо. Клянусь тебе своим *человеческим так, чтобы те*, жизнь нашу я поверну на правильный и верный путь ^[203].

В 1937 году они получили общую квартиру в Лаврушинском, а в 1938-м стали жить отдельно. Луговской будет проводить большую часть времени в Ялте. Вслед Сусанне он бросит горькие строки:

Ты давно уж разлюбила.

Я недавно разлюбил.

Вот мы ходим, дорогая,

Возле маленьких могил.

Что схоронено глубоко,

Знаем только ты и я.

Все окончено до срока –

И любовь, и скорбь моя.

В записных книжках Фадеева есть страничка, помеченная 11 апреля 1940 года. На первый взгляд она похожа на заготовку к повести или роману, а на самом деле это картинка жизни Луговского и Сусанны:

Он поэт. Она – композитор и чудная пианистка. Он – сильный красивый мужчина с седыми висками и могучими дикими бровями. Она – белокура, стройна, инфантильна. Прекрасная квартира, всегда солнце. Книги, шкуры, ружье, сабли. Рояль. Много денег.

А жизнь отвратительна. Он пьет. Опустошен водкой и бабами. Бездомен как собака. Она одинока, изолгалась, ненавидит его старуху мать, часто более несчастна.

В доме мрак и нежиль. Он встает поздно, вечно с перепоя. Он дома, ее нет, и наоборот. А я помню начало их любви. Она жила в маленькой-маленькой комнатенке на Палашевском переулке и целыми вечерами играла ему свои и чужие вещи на пианино, взятом напрокат. Всю комнату занимали пианино и тахта. Подходя к дому (она жила на втором этаже), он насвистывал какую-то солдатскую песню в переулке. Часто мы приходили вместе, потому что он был полон счастья, а я бездомен, но весел и полон любви к их счастью и дружбы к нему. Она варила нам глинтвейн. Иногда я приходил ранним солнечным утром и будил их смехом и рассказами о людях, встреченных вчера или приснившихся во сне. <...>

Как ужасно, нелепо складывается иногда жизнь у людей! Мучение, бред, душевное обеднение. А ведь она могла бы и сейчас играть ему что-то очень хорошее, а он слушать, любить ее и любить жизнь и людей. Жизнь их могла быть полна такой душевной красоты! Как ужасно люди губят друг друга – сами люди и обстоятельства^[204].

Дом Герцена. Тверской бульвар, 25

Когда количество писателей в Союзе, неуклонно возрастая из года в год, наконец выразилось в угрожающей цифре 5011 человек, из коих 5004 проживало в Москве, а 7 человек в Ленинграде, соответствующее ведомство, озабоченное судьбой служителей муз, отвело им дом^[205], – издеваясь над собратьями-литераторами, записал в черновике романа «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков.

И Пастернак, и Луговской в результате изменения своей личной судьбы получили квартиры в Доме Герцена. В черновых набросках к «Мастеру» Булгаков описывает этот дом, окрестив его «Шалашом Грибоедова».

Дом сей помещался в глубине двора, за садом и, по словам беллетриста Поплавкова, принадлежал некогда не то тетке Грибоедова, не то в доме проживала племянница автора знаменитой комедии.

Ироническое отношение к этому дому сложилось за те несколько лет, на которые он стал пристанищем множества литературных организаций. В главном доме помещалось представительство РАППа, здесь же обитал их кровожадный журнал «На посту» или, как он стал называться позже, – «На литературном посту». Здесь также размещались издательство «Советский писатель» и журнал «Знамя», «Литературная газета» и другие разнообразные объединения советских писателей (ВОКСы, ФОСПы и прочее).

Заимев славный двухэтажный дом с колоннами, – писал Булгаков в черновой рукописи, – писательские организации разместились в нем как надо. Все комнаты верхнего этажа отошли под канцелярии и редакции журналов, зал, где тетка якобы слушала отрывки из «Горя от ума», пошел под публичные заседания, а в подвале открылся ресторан^[206].

В газете «Читатель и писатель» в 1928 году можно было прочесть следующее:

Дом Герцена увлекся гала-концертами, балами и т. п. Видное место здесь занимает ресторан (с винами, закуской и проч.). Минуя высокие цены, начиная от очередного ужина и кончая платой за гардероб, мы хотим лишь указать, что и публика в Доме Герцена подбирается в общем – ресторанная, развлекающаяся; вот почему литвечера различных организаций, от «Звена» до «Крестьянских писателей» включительно, не проходят так, как следовало бы. Те же крестьянские писатели одними из первых отметили, что «читки посещает наряду с занимающимися учебной членами общества публика, с литературой ничего общего не имеющая, приходящая просто побалаганничать, посмотреть на того или иного «известного писателя», пофлиртовать с девицами и проч. <...> публика развлекается частыми ссорами и нетактичными выходками различных лиц. Засядет где-нибудь в углу группа гостей и начинает во время читки грубые остроты, реплики, заставляющие подчас того или иного автора бросать чтение...

Мандельштам, живший с Надеждой Яковлевной в Доме Герцена с 1922 по 1923 год, относился к нему с отвращением и неприятием. В «Четвертой прозе» он с яростью библейского пророка проклинает нарождающуюся писательскую братию: «Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена...»^[207]

Однако Мандельштамы все-таки вернулись в Дом Герцена в начале 1932 года и оставались здесь до конца 1933-го. Н. Я. Мандельштам вспоминала о том, как встретила Николая Тихонова в компании со зловещим для них соседом Петром Павленко:

Он остановился в Доме Герцена, где мы тогда жили, но на «барской половине», у Павленко. Это произошло в день падения РАППа, 23 апреля 1932 года, – мы узнали об этом событии утром, развернув газеты. Оно было неожиданно для всех. Я застала Тихонова и Павленко за столом, перед бутылочкой вина. Они чокались и праздновали победу. «Долой РАППство», – кричал находчивый Тихонов, а Павленко, человек гораздо более умный и страшный, только помалкивал...^[208]

А. Исбах вспоминал о бурной жизни двора на Тверском бульваре:

Во дворе, на нынешней волейбольной площадке, был врыт в землю столб. Вокруг столба на цепи ходила большая рыжая лиса, принадлежавшая Илье Кремлеву (Свену) <...>. Помню, как совершали десятки кругов по саду черноволосый, стройный, худощавый, в длинной черной косоворотке с десятками мелких пуговиц (так называемой у нас не без ехидства «фадеевке») Саша Фадеев и гостивший у нас высокий, статный, бритоголовый Джон Дос-Пассос. Фадеев почти не говорил по-английски, Дос-Пассос не владел русским. Однако они разговаривали без переводчика, спорили, часто останавливаясь, помогали себе оживленными, выразительными жестами^[209].

Пастернак получил две комнаты в Доме Герцена.

Когда в 1925 году я писал Спекторского, – делился воспоминаниями он в письме к сестре, – я задумал вторую часть повести в виде записок героя. Он должен был вести их летом в городе, в мыслях я поселил его в нижнем этаже одного двухэтажного особняка на Тверском бульваре <...>.

Сейчас лето и я пишу тебе из этого самого помещения. Жизнь обернула все так, что пришло время, когда в полувоображаемое место полувоображаемого действия попал я сам.

Я переехал сюда позавчера, это две комнаты с еще недоделанной ванной и непроверенным электричеством, временная квартирка, предоставленная мне и Зине и ее детям Всесоюзным Союзом писателей^[210].

Вскоре, обменявшись с бывшей женой, поэт вернулся с Зинаидой Николаевной в отцовскую квартиру на Волхонке. Но он часто приходил сюда навещать сына.

Во дворе я подружился с племянником давнего папиного друга, – вспоминал Евгений Борисович Пастернак, – Константина Аристарховича Большакова Димой, который жил в заднем крыле нашего дома. Их соседями были Андрей Платонович Платонов с сыном Тошей. Рядом с нами были квартиры Ивана Катаева с женой Машенькой^[211].

Луговской жил в том же крыле дома, где и Пастернак (в этом флигеле теперь помещаются Высшие литературные курсы).

Комната, где он меня принял, – вспоминал поэт Александр Коваленков, – была похожа на отборное зальце для экспонатов музея. Возле странного вида этажерки стояло несколько старинных шпаг <...>. Книги на полках были в необыкновенных переплетах. Кожаные и сафьяновые корешки перемежались с модными суперобложками. Над тахтой громоздился сделанный, видимо по заказу, нестандартный радиоприемник с черными рубчатыми эбонитовыми ручками, с медными переключателями. Приемник работал^[212].

Так что все новые друзья Луговского были поблизости.

Те писатели, которые не смогли поселиться на Тверской, обитали в общежитии на Покровке, 3, на углу Девяткина переулка. Жили в нем в 20-е годы Артем Веселый, Михаил Светлов, Юрий Либединский, Марк

Колосов, Валерия Герасимова, Николай Кузнецов – в основном комсомольские писатели. Жили бедно. Ходили по издательствам и редакциям в надежде пристроить свои сочинения, выпрашивали авансы. Чай и хоть какой-нибудь обед за весь день позволял себе не каждый, а уж о домашнем уюте многие и мечтать не могли.

О бытовом разложении

В это время в жизнь входит понятие «бытовое разложение». 14 июня 1934 года в «Правде» и других центральных газетах была опубликована статья Горького «Литературные забавы», в которой, в частности, говорилось о порче литературных нравов, об отравлении молодежи хулиганством и о том, что это не вызывает никакого отпора в обществе. «Хотя от хулиганства до фашизма, – утверждал в статье Горький, – расстояние «короче воробьиного носа»». Поводом к написанию статьи было поведение талантливого, яркого и скандально известного в литературной среде поэта Павла Васильева.

Еще в 1933 году Н. Тихонов писал Луговскому:

Читал стихи Васильева в Нов. Море – это буслаевщина, да и плохая. Литературно подделанная народность. Какая там, к черту, черноземная, там просто неглупый расчет, а строки умеет он нагонять не хуже Кирсанова. Боюсь, что путь Васильева лежит не через литературные бои, а через «персон» и женщин. Не этим боком в наше время – мы – старики, входили в литературу, да еще в какую, в первую в мире – в пролетарскую. Ну, черт с ним и т. д. В Ленинграде поэты строже, пуританистей, что ли. Ты их видел в Москве – напиши, ошибаюсь ли я^[213].

Пастернак же после вечера 3 апреля 1933 года в «Новом мире» пишет в Ленинград С. Спасскому, что слышал на вечере Павла Васильева и считает, что это талантливый поэт с большим будущим.

В 30-х годах Павел Васильев гремел по Москве своими выходками, в чем-то следуя традиции, положенной Сергеем Есениным. Известно, что Васильев в пьяном виде впадал в тяжкое буйство. Что, разумеется, вовсе не умаляет его поэтического дара. В одном интервью киевский поэт Л. Вышеславский откровенно рассказывал о скандалах, свидетелями которых был:

Восемнадцатилетним юношей в самом начале 30-х годов я приехал в Москву, познакомился с уже знаменитым молодым Павлом Васильевым. Летними вечерами мы часто сидели в ресторане «Прага», на крыше, уставленной столиками. Павел – яркий, бурный сибиряк, которого по дару сравнивали с Есениным, рассказывает о литературных событиях в Москве. И тут в ресторане появляется другой известный поэт, Сергей Васильев. А Павел и Сергей давно «на ножах».

У Павла раздуваются ноздри. Он подзывает официанта и заказывает яичницу на десять желтков. Затем незаметно подходит сзади к Сергею и со словами: «Не позорь фамилию Васильевых!» – опрокидывает содержимое сковородки тому на голову. Скандал, драка, посуда вдребезги. Появляется милиция и забирает Павла, Сергея и меня – как свидетеля и соучастника.

Нас втиснули в темную камеру. А там уже сидел Ярослав Смеляков, надебоширивший в другом месте. Надо сказать, что песни молодого Смелякова, например, о Любке Фейгельман, тогда, в 30-х годах, распевала вся Москва. И что же делали три поэта, запертые в камеру в милицейском участке? Конечно, всю ночь читали стихи. Сергей и Павел забыли о своих распрях. Никто из них уже не позорил фамилию Васильевых. А Смеляков еще и пел свои знаменитые песни. Я, восемнадцатилетний, был потрясен этим шквалом поэзии^[214].

Павел читал стихи, посвященные своей музе, Наталье Кончаловской. Потом она вышла замуж за детского поэта Сергея Михалкова и стала матерью двух кинорежиссеров.

И еще прошеньем прибалую –
Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.

Статья Горького в газете «Правда» была непомерно резкой. По версии Вышеславского, отзыв Горького был связан с неприятным эпизодом в его доме:

Он пригласил его <П. Васильева> к себе в особняк, там появилась жена сына Горького, красавица, в темном, глухом, под горло, платье. Павел подошел к ней, спросил: «Почему платье застегнуто? Где декольте?» – и разорвал его до самого пояса^[215].

Горький, по-видимому, был настолько потрясен и унижен разыгравшейся перед ним безобразной сценой, что счел возможным воспользоваться всем весом своего авторитета, чтобы расправиться с обидчиком. Позже Васильев напишет ему из ссылки покаянное письмо с обещаниями исправиться, но классик будет хранить суровое молчание.

Горького поддержали и собратья-поэты.

В течение трех последних лет, – писали они в газете «Правда» от 24 мая 1935 года (письмо было составлено Безыменским и находится в его личном фонде. – Н. Г.), – в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморальных, божемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем Павла Васильева. Опираясь на странную и неизвестно откуда идущую поддержку, этот человек совершенно безнаказанно делает все для

того, чтобы своим поведением бросить вызов писательской общественности^[216].

Что касается «странной» поддержки, то намек этот был недвусмысленно направлен против всемогущего на тот момент Гронского, возглавлявшего газету «Известия», имевшего постоянный контакт со Сталиным и бывшего родственником Васильева. Павел Васильев и Гронский были женаты на родных сестрах и жили в одной квартире.

Несмотря на высокое покровительство, через некоторое время, в январе 1935 года, Павел Васильев был исключен из Союза писателей, арестован и осужден за «злостное хулиганство».

Этому предшествовало очередное групповое письмо советских поэтов:

Павел Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош антисемитскими и антисоветскими высказываниями и угрозами расправы по адресу Асеева и других поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма. <...> Васильев окружил себя определенной группой «лит<ературных> молодчиков», носителей самых богемских навыков <...>. С именем Павла Васильева, кроме всего прочего, связано такое явление в нашей литературной жизни, как возникновение всяких «салонов» и «салончиков», фабрикующих всяких непризнанных гениев и создающих искусственные имена^[217].

Подписались: Прокофьев, Асеев, Безыменский, Сурков, Б. Корнилов (один из посетителей «салончика» Васильева – подпись не спасла его от последующего ареста и расстрела. – Н. Г.), Иллеш, Голодный, Алтаузен, Зелинский, Браун, Кирсанов, Агапов, Гидаш, Саянов, Решетов, Уткин, Луговской, Гусев. Была еще подпись Светлова, но он ее снял.

Летом 1935 года из Ленинграда летит легкомысленное письмо Тихонова Луговскому: «Вы законопатили Пашу Васильева в тартарары на 1,5 года. Он теперь будет разыгрывать Уайльда в Рединге, с портянкой в петлице»^[218].

Слова о «бытовом разложении» начинают приобретать зловещий характер. В феврале 1937 года Павла Васильева арестовывают в третий раз, а 15 июля приговаривают к расстрелу.

Иван Гронский был арестован в 1938 году, 16 лет провел в лагерях, а вернувшись, работал в ИМЛИ (Институте мировой литературы). Он умер в 1985-м.

К «бытовому разложению» причислялось и пьянство. Но к этой слабости по традиции относились с большим пониманием: пьянство в советской системе особым грехом не считалось. А по сути, оно оказывалось единственной формой свободы, избавляющей от страха и любой ответственности.

«Литература окончилась в 1931 году. Я пристрастился к алкоголю», – написал в дневнике Юрий Олеша. Поразительно, что в протоколах допросов писателей по так называемому «ленинградскому писательскому делу» допрашиваемые рассказывали, будто Юрий Олеша в пьяном виде говорил, что хочет убить Сталина. Может быть, это был обычный на допросах оговор, но власть Олешу не трогала, видимо, просто списав его со всех счетов.

Пил и Луговской. Его вдова Майя Луговская вспоминала, что его несколько раз вызывали в НКВД – то ли для разговора, то ли для вербовки. Поэт нашел остроумный выход – выпивал дома бутылку водки, а в кабинете просил сделать глоток пива, после чего падал лицом на стол.

Надолго загуливал Фадеев, получал взыскание в Политбюро, но всякий раз был прощаем; тяжело пили Шолохов, Твардовский, Погодин и многие другие.

«Полезные писатели»: Павленко

В том письме Фадеева Петру Павленко середины 30-х годов, где он размышлял о нужности кому-нибудь в будущем их произведений, он с горечью заключает, что никакой ценности они с Павленко как писатели не представляют, потому что «...мы не мастера, а полезные писатели. Утешимся, Петя, что мы писатели «полезные»».

И действительно, как показала дальнейшая история, без Петра Павленко колеса советской литературы просто не смогли бы вращаться, он был ее негласным создателем.

Будущий секретарь Союза писателей, автор наиболее одиозных произведений, посвященных Сталину, четырежды лауреат Сталинской премии был фигурой таинственной и зловещей.

Кем же был Петр Андреевич Павленко? Писателем, функционером или внедренным в ряды литераторов чекистом с хорошим пером?

Прошлого его было мутно и неясно даже для ближнего круга. С Тихоновым он познакомился в приемной секретаря Закавказской парторганизации в Тифлисе в 1924 году. Начало его жизни прошло именно здесь. Однако если жизнь Луговского и Тихонова – как на ладони, то про Павленко известно не так много.

В одном из писем 1929 года Николаю Тихонову, своему будущему товарищу по путешествиям, Павленко признавался с явным желанием понравиться:

Моя анкета такова: конец 24, 25, 26, 27 года – Турция, Сирия, кусок Курдистана, Греция, Италия, Египет с моря. Декабрь 27 года – Москва. Риск первого рассказа. <...> В мае я редактор в Одессе. <...> Потом уговорились с Пильняком и Шкловским ехать на Турксиб – социализм в виде железной дороги. Потом охота съездить на Урал в качестве избранника ВЦСПС и на его харчах. <...> За границей я ходил в высоких чинах – был коммерческим директором Аркоса в Турции и даже – никому не рассказывай – заменял торгпреда, а полный мой титул едва умещался на визитной карточке биржевого – в папиросную коробку – образца^[219].

Известно, что Павленко в 1926 году водил Эренбурга по Стамбулу, показывая ему город. Павленко был замечательным рассказчиком. Его отличали безудержная фантазия, любовь к приключениям и невероятным историям.

Жизнь за границей, коммерция, до этого партийные посты – все это странно совмещается с его последующей биографией. Дело в том, что, придя из абсолютно другого мира, он был не уверен в себе именно как литератор. Непонятно, была ли литература его собственным выбором или он был внедрен в писательскую среду. Хотя литературный дар у него, безусловно, был.

Первая повесть была написана совместно с Пильняком. В архиве Павленко сохранилось небольшое, на половинке бумаги, письмо Пильняка к Тихонову от 2 сентября 1928 года:

Брат Николай <...>. Пишу не за себя, а за друга моего Петра Павленку, с коим крещу я последнее время совместно щенят. При сем имею его рассказ «Изображение вещей», время действия которого относится ко времени Моголита завоевателя <...>. Рассказ, я понимаю, очень хорош^[220].

Но Илья Ильф в своих записных книжках, как всегда остроумно, заметит: «Если бы Толстой писал так туманно, как Павленко, никогда бы мы не узнали, за кого вышла замуж Наташа Ростова»^[221].

В 1930 году в Туркмению была направлена группа писателей. По дороге спутники развлекали друг друга невероятными историями; победителем среди рассказчиков всегда выходил Павленко. Об одной из них, истории о Соловках, вспоминал Тихонов:

Час за часом Петр Андреевич негромко, то усмехаясь в несуществующие усы, то остро поблескивая глазами сквозь очки, то подражая говору тех, о ком рассказывал, развертывал перед нами

подробности своей поездки на популярные тогда Соловки, о которых много слышали, но ничего толком не знали^[222].

Тут, прервавшись, хотелось бы отметить, что столь раннее посещение Соловков (1929–1930 годы), вне общих писательских поездок, видимо, стало возможным, потому что у Петра Андреевича существовали свои отношения с ОГПУ.

Это было мрачно, – продолжал Тихонов, – увлекательно, порой страшно, порой необычайно, как, например, остров склочников, куда уединяли всех, кто имел неистребимую страсть к склоке^[223].

История путешествия на Соловки упомянута лишь косвенно, нам только говорят о существовании некоего свифтовского острова склочников, остальные подробности – за кадром. Но уже из этого фрагмента видно, что появилась новая порода литераторов, очень любопытных, циничных, которые холодным умом оценивают сюжетные повороты жизни и напрочь лишены какого-то бы ни было сочувствия. В эту категорию попадают как талантливые писатели – будущие жертвы, – так и циничные созерцатели – возможные осведомители.

Павленко взлетает на высокие посты уже к 1933 году. Входит в организационные структуры создающегося Союза. В ноябре 1934-го в письме к Тихонову с Дальнего Востока, где он был с группой литераторов, он продолжал осуществлять функции надзирающего: «Не нравится мне Лапин... Решил писать о шпионах и гадах, а пишет душевные рассказы о каких-то фокусниках и кривляках»^[224].

В 1935 году в письме Павленко к Михаилу Слонимскому, который хотел написать роман о вредителях и нуждался в знакомстве с чекистами, появляются два имени: сначала небезызвестный Агранов, а затем и второй следователь, Шиваров, только что допрашивавший на Лубянке Осипа Мандельштама.

Седьмого марта 1936 года Павленко рассказывал Слонимскому:

Шиваров переболел всеми детскими болезнями и вид у него такой, что он способен на простейшие чудеса, что-то вроде претворения воды в вино. Ходит от греха сизый и лысый^[225].

В 1936 году над Павленко, незаметно для окружающих, сгущаются тучи – на очередной чистке выясняется, что у него «липовый» партстаж. Возникает подозрение, что он служил у белых, так как писательница Арбужинская заявила, будто видела его на фотографии с Георгиевским крестом.

В донесении НКВД от 23 июля 1936 года говорится, что Павленко предписано выехать в Баку и добыть там документальные доказательства, которые подтвердят его партстаж с 1919 года.

В связи с этим, – указано в бумаге, – Павленко находится в угнетенном состоянии. В Баку он едет крайне неохотно и пытался уклониться от поездки, ссылаясь на запутанность своих литературных

и семейных дел. <...> В его разговорах проскальзывает мысль о самоубийстве^[226].

Связь Павленко с Баку шла с юности, хотя он родился 26 июня (11 июля) 1899 года в Петербурге в семье мелкого чиновника и учительницы. Из-за болезни матери туберкулезом семья перебралась в Тифлис, где они поселились в беднейшем районе. Окончив в 1917-м Тифлисское реальное училище, Павленко поступил в Бакинский политехнический институт, где и связался с большевиками. В мае 1920-го добровольцем вступил в части Красной армии, устанавливавшие советскую власть в Азербайджане; в том же году принят в РКП(б). Но так как в Баку, где в те годы разворачивалась и тайная деятельность Лаврентия Бери, власть несколько раз переходила из рук в руки, доказать свою принадлежность к большевикам было не так просто.

В Баку за доказательствами Павленко так и не поехал. Он заболел. Его состояние было видно всем. В письме к Сусанне Черновой в октябре 1936 года Луговской пишет: «Петя Павленко – просто не «жилец на белом свете». У него началось расстройство динамики мозгового кровообращения. Был у него 2 раза. Отправляем его, наверное, тоже в *Барвиху*»^[227].

В личной жизни его тоже ждет удар – после родов умирает жена. Но уже спустя несколько месяцев он женится на дочке советского драматурга-классика К. Тренева, Наталье.

Неизвестно, что сделал или пообещал сделать Павленко, но преследования более не возобновлялись. В 1937 году вышел его роман «На Востоке», где описывался захват Советским Союзом Японии. По сюжету японцы сначала наступают на мощное Советское государство. Но выступление Сталина мгновенно меняет ход войны:

Заговорил Сталин. Слова его вошли в пограничный бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов, будя еще не проснувшиеся колхозы на Севере и заставляя плакать от радости мужества дехкан в оазисах на Аму-Дарье... Голос Сталина был в самом пекле боя. Сталин говорил с бойцами в подземных казематах и с летчиками в вышине. Раненые на перевязочных пунктах приходили в сознание под негромкий и душевный голос этот...

Под голос вождя красная авиация уничтожила главный штаб японцев в Токио. После чего в Китае, Корее и Японии вспыхнули народные восстания в поддержку СССР, переросшие в пролетарские революции.

Война в романе Павленко кончается победой революции в Японии, где пленные строят интернациональный город Сэн Катаяма, перевоплощаясь из самураев в «строителей новой жизни» и «пропагандистов новой, социалистической эры человечества».

Уже в январе 1937-го во время процесса по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» Павленко ведет репортажи из зала суда. Вместе с А. А. Фадеевым, А. Н. Толстым и другими подписывает письмо, где говорилось: «Требуем беспощадного наказания для торгующих родиной изменников, шпионов и убийц». О его рецензии-доносе на Осипа Мандельштама общеизвестно, приведем лишь цитату:

Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор – холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. <...> Нет темперамента, нет веры в свою страну. Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком^[228].

И если многие друзья молодости еще находились под обаянием Павленко – рассказчика и путешественника, то со временем этот образ рассеивается. Даже друг по походам Луговской с горечью пожалуется жене в послевоенные годы, что Петя, живущий в роскошном особняке в Ялте, не пускает туда старого товарища, которому не могли найти койки в санатории Дома писателей.

А Ю. Олеша в дневнике в 1951 году, узнав о его скоропостижной смерти, дает ему жесткую и презрительную характеристику:

Я его никогда не любил. Дергающий веком глаз, неартистическая душа, внешность. <...> Умер в роскошной квартире писателя-чиновника – почти одиноко, на руках районного врача, забывшего захватить с собой нитроглицерин, умер как самый обыкновенный советский служащий – он, который мог бы умереть, созвав всех врачей Ялты и Москвы! Причем умер не от чахотки, от которой лечился, а от сердца – скоропостижно! <...>

Скороспелая карьера, опиравшаяся, с одной стороны, на то, что было схвачено у Пильняка, с другой – на наивность Горького. Колоссальное материальное благополучие, позорно колоссальное при очень маленьком даровании^[229].

1933 год. Дагестан. Тихонов, Луговской, Павленко. Предчувствие 1937-го

Я думаю, что в этот год как наваждение овладел нами Дагестан.

Из письма Н. Тихонова

В. Луговскому, 1933 г.

*Из пропасти, как из колодца,
Реки холодный голос шел:*

*- Не всем вернуться вам придется,
Не всем вам будет хорошо...*

Н. Тихонов. Гуниб

...Дагестан – маленькая страна. Сверху, с самолета, она представляется застывшим каменным морем, огромные валы которого разошлись в тяжелом шторме. Где-то в пучине ущелий ютятся люди. Не виден Дагестан и из окон поезда, и только пешеходные и вьючные тропы достигают самых дальних его уголков, как бы соединяя не только аул с аулом, но и давно прожитую историю с сегодняшним днем...»^[230]

– писал Павленко.

В марте 1933 года три товарища – Павленко, Тихонов и Луговской – отправились в Дагестан. После короткого отдыха в Кисловодске они снова вернутся туда. В августе Луговской отправляет восторженное письмо жене:

Мы сейчас в Гунибе. <...> Живем мы в доме отдыха Совнаркома – прекрасный дом, очень чистый и культурный. Гуниб поразил меня. Это горная гряда длиной до 10–12 километров, шириной в 4–5 и вышиной от 1600 метров – (наш дом) до 2400(!). Здесь был взят в плен Шамиль и окончились кавказские войны в 1859 году. Дом отдыха висит над пропастью более километра глубиной. Сидишь и видишь на много десятков верст кругом, как в орлином гнезде. Ночью при луне вид потрясающий, мрачный, ущелья полные мглой, где-то бесконечно глубоко горят огоньки одиночки и стайки огоньков – аулы. Воздух альпийских лугов^[231].

Пройдет всего четыре года, и почти все обитатели этого дома будут отправлены в застенки местного НКВД. Каждый год теперь чреват тридцать седьмым. Главные герои этого повествования в застенки не попадут, но коридор, по которому они будут идти, становится все ó же, все больше среди их новых и старых друзей и знакомых – будущих жертв.

Почему-то именно этот дом отдыха Совнаркома в Дагестане станет для Луговского страшной метафорой 1937 года. Во время войны в ташкентской эвакуации он начнет писать хронику века, своего прохода по жизни, и поэма, которую он поставит первой в книге, будет называться «Верх и низ. 1937».

В записных книжках Луговского есть мысль о неготовности человека к смерти. Он постоянно думает об этом. Сюжет поэмы прост. Есть верх и низ. Наверху, в горах, живут наркомы, начальники, коммунисты – они играют в бильярд, любуются из окон дома на горы и ущелья. Вид, который поразил поэта, «тысячью огоньков аулов по ущельям». Внизу живет девушка Вера. Больше всего ей хочется наверх,

в тот прекрасный дом, где чистые комнаты, красивая жизнь. Но как-то ночью за теми, кто живет наверху, придут, стуча сапогами, и увезут туда, откуда не возвращаются. И тогда – они все рухнут вниз.

А вот и мы. Двухъярусный коттедж,
Неудержимый запах бильярдных
И запах спален и шашлычной. Вот –
Вот это то, о чем мечтала Вера!
Гостиная и маленький рояль.
Наигрывание медленное ночью
Или подыгрывание, и сидят
Как вороны. И все враги, а впрочем,
Полудрузья. Какой, однако, случай!
Все преданы и проданы сейчас. А кто
Кем продан или предан – я не знаю,
Уж слишком честны, откровенны лица.
Судьба не в счет. На этих лицах кровь
И исполнение желаний и подавно
Все исполнение крови.

Как для Пастернака любовь к Грузии навсегда соединится с ужасом потери близких людей, так для Луговского Дагестан – место утраты иллюзий.

В записных книжках времен войны он вспоминает свои чувства 37-го года:

Шум прибоя. Худенькие деревья на бульваре. Могила Сулеймана Стальского – милого ашуга, старого подхалима. Свобода разума! «Свобода от страха?» Все ждут, о, все ждут конца! Какие мужественные люди. Они не радуются, не печалются – они мертвецы.

И хотя Луговского не было рядом с ними в том роковом году, но до него доходили вести из Махачкалы.

Все проданные, преданные ночью, утром
К ним присоседится веселый ангел,
Он скажет: «Встаньте, именем закона,
Оденьтесь, граждане». Тогда тоскливо
Они захватят белые подушки
И сапогами простучат в передней,
И сразу их посадят в грузовик.

Картина тех дней – только в воображении, никаких подушек никто с собой не брал. Но настроение показано предельно точно – «все ждут конца».

Но еще пока 1933 год. И Луговской пишет в письме домой:

Нас совсем мало – Павленко, Ирина, я, шофер. <...> 8-го соединимся с Колей Тихоновым и Шовкринским, которые идут на Кумух с юга, на соединение с нами, и потом с нами же возвращаются в Гуниб^[232].

Когда друзья воссоединятся, сопровождать их будет человек, которого каждый из них после путешествия определит в близкие друзья, – Юсуф Шовкринский. Он возглавлял в местном ЦК культурный отдел, и в его обязанности входило возить столичных знаменитостей по горам, рассказывать об истории и быте народов так, чтобы писатели прониклись любовью к Кавказу. Удавалось это ему блестяще, и не случайно каждый из путешествующих посвящал ему какое-либо из своих сочинений.

Павленко – первоначальный вариант книги «Кавказская повесть», которая называлась «Шамиль». И в этом были признательность и благодарность: многие факты и события, о которых рассказывается в повести, автор впервые услышал именно из уст Ю. Шовкринского. Удивительно, что этот главный роман Павленко, которому он отдал всю жизнь, так и не был напечатан.

Одновременно с Павленко десятилетиями, вплоть до своей гибели, материалы о Шамиле собирал Тициан Табидзе. Куда они делись? Неизвестно.

Николай Тихонов, вспоминая Шовкринского в книге «Двойная радуга», создал образ умного горца:

...Я смотрел на Юсупа, который был таким добрым спутником и товарищем. Я начал уважать его за самую сложность его натуры. Он мог быть самым обыкновенным горцем, который понимает толк в лошадях, любит покутить с друзьями, любит женщин, ничего не боится в горах, – и вдруг он начинает говорить об истории, о нравах, обычаях, о природе, и я вижу, как сквозь все это сквозит какое-то поэтическое ощущение жизни. Вдруг он почти жесток, вдруг у него появляется какая-то детская наивность и доброта, которая выражается в поступках, иногда и вовсе неожиданных. Я знаю, что он литератор, пишет статьи по истории Гражданской войны, по истории лакского народа, он публицист и критик. Бывалый горец – это прозвище ему нравится. В моем представлении он действительно по-народному хитрый, умный, ученый Юсуп^[233].

В самом конце 1933 года Тихонов спрашивал Луговского:

Имеешь ли ты вести из Дагестана? Писал ли ты Юсуфу, писал ли он тебе? Он, что ли, все-таки остался в Махач-Кала – этот карманный Гаргантюа Лакистана? Я вспоминаю его часто и от души^[234].

Совсем скоро Ю. Шовкринский, после того как будет обвинен на собрании в том, что сопровождал по Дагестану бывших рапповцев, исчезнет...

Арестовали его в начале 1937 года. Заявление Ю. Шовкринского председателю КПК при ЦК ВКП(б) А. Андрееву, написанное кровью в застенках тюремной камеры, было напечатано в «Дагестанской правде» уже в наши дни. В нем говорится:

Тов. Председатель, 28 месяцев я нахожусь под арестом и следствием... Ломоносов и его охвостье, продержав меня без допросов

9 месяцев, взяли в такой оборот, чего и во сне не мог представить себе... Я был брошен в уборную или, как ее называли, в спецкамеру, без одежды, постели, на голый пол. А затем поставлен для пыток на стойку в стальных ручных кандалах. В первую же ночь в своем кабинете меня избил до потери сознания нарком Ломоносов, затем перевели в кабинет моего следователя Страхова, где систематически били и истязали несколько суток, топтали до тех пор, пока я окончательно не потерял волю и рассудок и не подписал сфабрикованный ими на тридцати страницах протокол... Какой я буржуазный националист и как я боролся против буржуазно-националистических тенденций в дагестанской исторической литературе, могли бы рассказать писатели П. Павленко, Н. Тихонов, Луговской... Но Ломоносов и его охвостье интересуются не выявлением истины, а голыми признаниями, выбиваемыми в результате жесточайших пыток... 27 мая Савин (один из наркомов) и Камфорин (оба сидят) начали новый тур экзекуций и избиений. 2 июня того же года (1938), убедившись в том, что не поддаюсь их угрозам и не подтверждаю свои показания от 27–30 ноября 1937 года, меня спустили в баню тюрьмы НКВД и голое мое тело пороли до тех пор, пока я не потерял сознание. Потом подняли в кабинет Савина, били там, а затем бросили опять в спецкамеру, и только 10 июля 1938 года Савин заставил меня написать заявление, что я «поддерживаю» свои показания и готов дать дополнительно. Вот как здесь фабрикует «предателей» и «изменников».

P.S. Извините, что пишу на куске своей рубашки, ибо бумаги получить арестованным здесь почти невозможно.

Подпись – Ю. Шовкринский^[235].

Конечно же ответа на это письмо не последовало. Юсуфа отправили на восемь лет на строительство железной дороги в Воркуту, где он погиб в 1943 году. Как раз в то время, когда Луговской пишет дагестанскую поэму. Ему было неизвестно, что происходило в застенках, он только пытался передать ужасный, нечеловеческий страх, терзавший всех.

Видимо, Павленко по своим каналам искал Юсуфа Шовкринского, из своих источников он знал, что тот отбывает срок. «Видел Кара-Караева. Разузнавал об Юсуфе. Ничего не узнал»^[236], – писал он 13 августа 1943 года Тихонову.

Тихонов поддерживал семью Юсуфа, писал его сыну трогательные письма. «С тех дней я не был в Дагестане, потому что больно было быть в тех местах, которые так связаны с памятью многих знакомых и с памятью друзей, таких как наш друг Юсуп...»^[237]

1933 год. Грузия. Пастернак и Тихонов

Такое же чувство боли от потери близких друзей в 1937 году было у Пастернака связано с Грузией.

Впервые он приехал туда летом 1931-го вместе с Зинаидой Нейгауз, он почти бежал туда – от бездомности и общей неопределенности совместного будущего. Но неожиданно обрел там духовный кров, давший ему силы и вдохновение для последующих стихов. Любовь к Зинаиде Николаевне навсегда соединилась в нем с влюбленностью в Грузию и грузинских поэтов – и в первую очередь в Паоло Яшвили и Тициана Табидзе.

Грузия привязала к себе не только Пастернака, но и Бенедикта Лившица, Николая Заболоцкого, Павла Антокольского, Николая Тихонова. Объединял всех Виктор Гольцев – переводчик, издатель, будущий главный редактор альманаха «Дружба народов».

О Грузии мечтали многие поэты. Родина вождя в распределении вотчин для переводов была доверена в первую очередь Павленко.

20 сентября 1933 года, после совместной поездки в Дагестан, Павленко делился с Тихоновым:

Мне пожалована Грузия, и в сей грузинской бригаде я узрел дорогое твое имя <...>. О нагрузках по Грузии не бойся. Все сделает Гольцев. <...> Тебе, на худой конец, придется перевести три-четыре стихотворения. Кстати, с бешеной активностью проявил себя Пастернак. Он <...> рвется в Грузию и уже перевел три стихотворения из Тициана Табидзе и обещает пяток еще^[238].

Табидзе и Яшвили когда-то считались грузинскими декадентами, принадлежали к поэтической группе «Голубые роги», возможно, именно поэтому они стали близки Пастернаку.

В тридцатые годы иссякли источники поэзии в России, по собственному его, Пастернака, замечанию, – писала Мария Гонта, – оставались двое: Цветаева (отсутствующая) и Асеев, скорее названный из вежливости. В Грузии же выросла «могучая кучка» поэтов сильных и своеобразных. Значение Грузии в своей жизни Борис Пастернак сравнил с Марбургом – первой любовью и первыми стихами^[239].

Грузинские поэты надеялись на московских и ленинградских друзей, которые своими переводами поднимали грузинскую поэзию на новую высоту, делали ее доступной всему Союзу.

Пастернак мечтает о Грузии, надеется на поездку со старым другом Тихоновым. В письме к Г. Сорокину, редактору Ленинградского отделения Гослита, от 5 ноября 1933 года он умоляет его:

Если у вас есть возможность увидеть Николая Семеновича и есть возможность на него повлиять, склоните его к поездке с грузинской бригадой. Я только оттого в нее включился, что мне обещан Тихонов, и перспектива трехдневного общения с ним в вагоне была для меня главной приманкой путешествия^[240].

Поездка началась в ноябре. Все грузинские друзья живы и вряд ли представляют, что их ждет. Путешествие проходило невероятно весело, с огромным количеством выпитого.

Пастернак отчитывается перед Зинаидой Николаевной:

Я пишу на Колином блокноте, говорю это, чтобы ты не удивлялась. <...> Вчера на обеде в Кутаиси нами было выпито 116 литров!!! Все почти больны от этого времяпрепровождения^[241].

Однако, несмотря на общую радость и веселье, появляется тень, которая нависает над участниками пиршества. В предпоследнем письме к Зинаиде Николаевне 23 ноября 1933 года Пастернак уже с раздражением пишет:

...билеты должен достать Павленко, а он не отпускает раньше 26-го. <...>. меня еще есть местные причины чувствовать себя неважно: параллельно с нарастающим моим убеждением в общем превосходстве Паоло и Тициана я встречаюсь с фактом их насильственного исключения из списков авторов, рекомендованных к распространению и обеспеченных официальной поддержкой. Я бы тут преуспел, если бы от них отказался. Тем живее будет моя верность им^[242].

Так проверяется дружба. Он ехал общаться, работать с подстрочниками... Оказалось, что он опять в оппозиции.

Уезжая из Грузии, с дороги Пастернак послал Тициану признание в своей привязанности, стесняясь, он называет ее «не мужской». В 1926 году в письмах к Цветаевой он говорил о том, что в нем «пропасть женских черт». А Николай Тихонов, гостивший у него, – настоящий мужчина. «В соседстве с ним, – подчеркивал он, – мои особенности достигают силы девичества, превосходят даже степень того, что можно назвать женскостью». Тогда он как бы «сквозь» мужественность Цветаевой осознавал свою немужскую чувствительность.

И вот теперь – любовь к Тициану.

Ах, Тициан, – пишет он, едва они расстались, – как хотел бы я знать, но во всей действительности, кто я и что я, чтобы прийти на судебный процесс со своей судьбой во всеоружье вещественных доказательств! У Зины есть ответ на этот вопрос, она со всей заинтересованностью большого друга полагает, что я бездельник, и ставит под сомнение нашу дальнейшую совместность, если наконец я снова не примусь за работу^[243].

Однако ему давно ясно, что основа его творчества – острейшая влюбленность в людей и природу. Может, она и не так прочна, как хотелось бы, но в ярком свете этих вспышек ему становятся видны лучшие стороны человеческих душ. Этой любовью он старается

оправдать вины, которые он несет на себе. Он продолжает этот разговор:

Но не совсем права она, потому что черта привязчивости, которую я за собой знаю как единственную определенность, так велика во мне, что заменяет мне дело и кажется профессией.

Привязываться к местам и некоторым часам дня, к деревьям, к людям, к историям душ, в пересказе которых я не нуждаюсь <...> так готов я бываю пересказать их за них самих, – привязываться как-то не по-мужски и по-дурацки, вот единственное, что я умею без всякой радости для кого бы то ни было, знаю и умею.

Здесь дело не только в том, что расхождения во взглядах и отголоски их споров попадают на страницы писем; Пастернак и раньше подключал в свой эпистолярный диалог разные голоса. Он всегда в поле различных суждений о себе, о мире.

Разговор о привязанности и любви Пастернак выплескивает на страницы писем самым различным адресатам. В конце 1935 года он пишет издателю Г. Бебутову:

Вы знаете, как я люблю Паоло <Яшвили> (жена иногда в раздражении говорит мне, что я никого на свете не люблю, а если и люблю, делится эта слабость в отношении двух: Тихонова и Яшвили, то только оттого, что оба далеко, один в Ленинграде, а другой в Тифлисе)

[244]

В письме начала 1934 года к Тихонову Пастернак не упоминает их общих близких друзей Тициана и Паоло. Он пишет так, словно они с Тихоновым – разудалые студенты, вспоминающие бывшие попойки, выполняющие заказы богатых господ, а о главном – ни слова. Он задорно кидается на него: «Как твоя работа? Не заставят ли нас делать одно и то же? <...> Помнишь ли ты вообще что-нибудь? Да жив ли ты, черт побери, если уж на то пошло, и что с тобой, наконец?!» [245]

Тихонов жив и все слышит. Он признается Луговскому:

...Уже иные русские (в прошлом столетии) писатели поумирали в мои годы, так что и о том, что на могилку положат, – думать приходится. А понаписано дряни разнообразной – препорядочно, хочется чего-нибудь посерьезней наработать. А для работы усидчивой и вьедливой, уединенной и значимой, времени и опыта не хватает. Приходится и жар юношеский воскрешать, чтоб температура печки не падала, а то обжига-то у прозы и стихов не получится, а без обжига – они только глина, да и подозрительно мягковатая [246].

Про то, что нужно «жар юношеский воскрешать», – важное признание. Душа остывает, «глина мягковатая». Пастернак, словно слыша это горестное признание Тихонова, делится мыслями о нем и его переводах 26 июля 1934 года с Гольцевым:

То, что ты пишешь о Тихонове, надо, вероятно, вывести в квадрат. Не потому, что ты был придирчив или чрезмерно взыскателен, а потому, что Николай еще полон жизни во всем беспорядке этого

понятия. Он еще не засклеротизировался, не заавторитетничал, не стыдится свободных разговоров и неполных рифм и, следовательно, – я хочу сказать, у него может получиться либо плохо, либо если уж хорошо, то совершенно превосходно. А я переводил, как учитель в гимназии. Хотя и способный, но – в мундире^[247].

Тихонова он считает более вдохновенным и живым. Он любил строки друга из стихотворения «Цинандали»:

Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Как бы предчувствуя то, что недолго ему оставаться внутренне свободным, Тихонов почти всем друзьям повторяет одну и ту же мысль, которая еще в мае прозвучала в письме к Гольцеву:

26 мая 1933 года. <...> Какой-то я неприкаянный человек, Виктор Викторович, в литературе. Хвала еще, что «чиновником» и «сановником» не стал – мое крепкое нутро не позволило. И вещами не оброс – живу налегке^[248].

Тихонов и Пастернак продолжали переводить грузин – один из Ленинграда, другой – из Москвы.

Итогом поездки 1933 года станет сборник поэзии под названием «Поэты Грузии». Он был оценен положительно, но совершенно неожиданно на грузинскую бригаду стали сыпаться нападки со стороны официальных кругов и прессы. Не исключено, что одной из причин этой критики стали похвалы и поддержка, исходящие от полуопального Бухарина...

Поездка писателей на Беломорско-Балтийский канал

Тов. Ягоде

*От поэта, с гордостью носящего присвоенное ему враждебной нам
прессой всех стран имя литературного чекиста*

Донесение

Я сообщаю героической Чека,

Что грандиозность Беломорского канала

И мысль вождя, что жизнь ему давала,

Войдут невиданной поэмою в века...

22. VIII.1933 г. Безыменский

Идея чекиста Н. Френкеля о соединении даровой рабочей силы с идеей переделки человека в результате активного труда пришлась как нельзя кстати. Требовалось показать миру, что Советский Союз может собственными силами осуществить индустриализацию, не прибегая к импорту с Запада, причем в рекордные сроки.

Главная картина могущества государства складывалась не в городах и в деревнях, а на стройках века – таких как Беломорско-Балтийский канал. Размах увиденного потряс воображение Максима Горького. Именно после поездки на его строительство в 1933 году он окончательно сформулировал свое отношение к представителям ГПУ, людям «поразительной душевной сложности», которым изо дня в день приходится, общаясь с врагами, оставаться «душевно чистыми».

Торжественное открытие Беломорканала состоялось 2 августа 1933 года – через полгода после досрочного завершения первого пятилетнего плана и в преддверии XVII партийного съезда, «съезда победителей». Канал назывался «Беломорско-Балтийский канал имени тов. Сталина».

Вместе с чекистами было принято решение создать книгу-памятник руководителям строительства канала и перековавшимся каналоармейцам.

Подтвердить подлинность «перековки» уголовников в советских людей должны были 120 писателей, отправленных на шесть дней на экскурсию на Беломорско-Балтийский канал 17 августа 1933 года. Первый прошедший по маршруту пароход назывался «Чекист».

Путешествие стало переломным этапом в отношениях государства и интеллигенции. Писатели должны были уверовать в то, что им показывало ОГПУ, как результат «перековки» уголовников. Декорации Беломорканала были выстроены с не меньшей тщательностью, чем декорации в театре. Кроме того, поездка писателей состоялась лишь после открытия канала – то есть во время, когда масса заключенных уже была переброшена с Беломорканала на строительство канала Москва – Волга.

Об успешном «втирании очков» экскурсантам много позже напишет актриса Тамара Иванова, сопровождавшая своего мужа Всеволода Иванова во время путешествия по Беломорканалу:

Показывали для меня лично и тогда явные «потемкинские деревни». Я не могла удержаться и спрашивала и Всеволода, и Михала Михалыча Зощенко: неужели вы не видите, что выступления перед вами «перековавшихся» уголовников – театральное представление, а коттеджи в палисадниках с посыпанными чистым песком дорожками, с цветами на клумбах – лишь театральные декорации? Они мне искренне отвечали (оба верили в возможность так называемой «перековки»), что для перевоспитания человека его прежде всего надо поместить в очень хорошую обстановку, совсем не похожую на ту, из которой он попал в преступный мир. – А среди уголовников были, несомненно,

талантливейшие актеры. Они такие пламенные речи перед нами произносили, такими настоящими, по системе Станиславского, слезами заливались! И пусть это покажется невероятным, но и Всеволод, и Михал Михалыч им верили. А самое главное – хотели верить!^[249]

Целью путешествия была работа по подготовке книги, авторами которой стали Л. Авербах, Б. Агапов, С. Буданцев, Е. Габрилович, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Инбер, В. Катаев, М. Козаков, А. Толстой, В. Шкловский и другие. Главы в книге назывались соответственно увиденному и услышанному: «ГПУ, инженеры, проект». «Заключенные». «Чекисты»... Главу о чекистах написал отпущенный на волю С. Алымов совместно с Катаевым, Шкловским и Вс. Ивановым. Григорий Гаузнер – автор главы «Страна и ее враги».

А. Авдеенко – «ударник, призванный в литературу», парень с Магнитки, по ночам писавший роман из жизни рабочего класса, был вызван в Москву для публикации повести в журнале, а затем ему было предложено поехать на Беломорканал. Спустя десятилетия он написал повесть о 30-х годах, о поездке на строительство Беломорканала.

Вечером, – вспоминал Авдеенко в повести «Отлучение» (вышедшей только в годы перестройки), – колонна автобусов увозит нас на Ленинградский вокзал. К перрону подан специальный состав из мягких вагонов, сверкающих лаком, красками и зеркальными окнами. Рассаживаемся, где кто хочет.

С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался полный коммунизм. Едим и пьем по потребностям, ни за что не платим. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк. И это в голодный год!

Ем, пью и с горечью вспоминаю Магнитогорск – Москва. Одна за другой мелькали платформы, станции, полустанки, разъезды. И всюду вдоль полотна стояли оборванные, босоногие, истощенные дети, старики. Кожа да кости, живые мощи^[250].

В банкетном зале гостиницы «Астория» происходит огромный прием, который тоже готовят для писателей чекисты. Хрустальные люстры, бронза. Мраморные колонны. Зеркала. «Официанты величественны, как лорды: черные костюмы, твердые белые воротнички, галстуки-бабочки. Даже Алексей Толстой, тамада застолья, выглядит скромнее, чем они».

Авдеенко смотрит на эту роскошь почти бессознательно – царский обед, двадцатипятиразовая смена блюд, картины на стенах, знаменитости за столом. И наконец начало экскурсии – Медвежья гора. Перед ними – аккуратно выбеленные бараки, дорожки посыпаны белым песком, на газонах цветы. Всюду раскрашенные скамейки, на них сидят веселые, довольные люди, которые без запинки отвечают на вопросы. Рассказывают, что воровали, грабили, теперь осуждены. Главное слово – «перековка». Все аккуратно записывают в блокноты исповеди каналармейцев.

И вдруг писатели встречают поэта Сергея Алымова, написавшего знаменитую песню времен Гражданской войны «По долинам и по взгорьям...». Авдеенко пишет, что все обступили его и стали спрашивать, что с ним случилось.

Саша Безыменский не удержался, чтобы не схохмить:

– Сережу прислали таскать тачку по долинам и по взгорьям.

Все засмеялись, в том числе и Фирин.

Алымов даже не улыбнулся. Глаза его потемнели, как туча, набухшая дождем.

Пользуясь веселым и явно дружелюбным настроением Фирина, Безыменский сказал:

– Семен Григорьевич, не могу удержаться, чтобы не порадеть за собрата, попросить скосить ему срок.

– Уже скостили. Скоро Алымов вернется в Москву.

Сказал и удалился, сославшись на дела.

– Сережа, как же ты все-таки попал сюда? – без дураков, серьезно спросил Безыменский Каналоармеец Алымов махнул рукой, заплакал и залез на верхние нары.

В это же самое время в палатках, а не в раскрашенных бараках, неподалеку на Медвежьей горе обретались историк и краевед Н. Анциферов, философ А. Ф. Лосев и его жена, математик и астроном В. Лосева, и много других известных профессоров – геологии, истории, искусствознания. Не исключено, что многие литераторы учились в университете именно у этих профессоров, которые теперь махали киркой, а после работы лезли на нары.

На пароходе писатели выпускали стенгазету, вечерами читали стихи и пели песни, слушали рассказы чекистов. В каждой каюте стоял ящик с вином, коньяком, копченой колбасой, вспоминал Авдеенко.

С Авдеенко, который, к счастью, дожил до старости, произошла после поездки на Беломорканал удивительная история. В 1935 году главный редактор газеты «Правда» Мехлис вызвал его в редакцию и предложил поехать самому на строительство канала Москва – Волга и, разобравшись со всем на месте, написать о перековке бывших врагов. Авдеенко это предложение крупного начальника не обрадовало, он писал роман о Магнитке, и воспоминания о поездке на канал тревожили его совесть, но его посадили в машину и повезли на Лубянку прямо в кабинет к Ягоде. Разговор у них случился странный. Писателю было предложено внедриться в ряды каналоармейцев, чтобы изнутри понять их жизнь. Но Авдеенко смекнул, что на него просто наденут арестантскую робу, и стал мягко упираться. Ягоду это не смутило, он зашел с другого конца, Авдеенко принесли форму сотрудника НКВД и сказали, что с этого момента он будет представлен на канале как работник органов. Изумленный возможностью необычного превращения, Авдеенко обещал оправдать доверие, на что ему Ягода жестко сказал:

– Не люблю хвастунов. Зачем надуваетесь? Вы же не Киршон, не Луговской. На канале вас ждет немало трудностей <...>. Нелегкая будет жизнь. Но, как бы ни было трудно, всегда будьте правдивым. Все пойму, кроме неправды. В наших органах, в нашей работе неправда преследуется законом.

Удивительная речь товарища Ягоды. После всех чистеньких домиков, газонов с цветами да таких слов могло показаться, что ОГПУ действительно строит рай на земле. И Авдеенко согласился. Он прошелся по Москве в малиновых петлицах, не отказав себе в удовольствии показаться в новом облачении своим товарищам, а затем отправился на канал. К заданию он отнесся со всей ответственностью, честно пытался вступать в разговоры с заключенными, чтобы узнать истории их жизни, а затем написать об их перековке. Но заключенные или избегали его, или пытались отвечать односложно. Когда же ему удалось двух-трех каналоармейцев разговорить (как выяснилось, они догадались, что он не чекист), начинающий писатель Авдеенко пришел в ужас. Он понял, что они такие же «враги», как и он сам. Авдеенко со своими открытиями отправился к «добрейшему» чекисту Фирину и тут же был изгнан им с канала.

Дальнейшая судьба Авдеенко не менее интересна. Еще недавно поднятый из рабочих низов, объявленный писателем и осыпанный наградами, спустя всего несколько лет он будет низвергнут и отовсюду изгнан. В конце концов он бежал на родную шахту и там остался, забытый властями и оттого выживший.

Молодые люди – Авдеенко и Гаузнер – принадлежали к различным социальным слоям, но каждый из них, попав в железные объятия чекистов, так или иначе заплатил жизнью или искалеченной судьбой за эту близость.

Памятная книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» была издана в конце 1934 года. Завершала книгу утопия в гидротехническом духе. Конец 30-х годов. Москва принимает корабли пяти морей. Весь город прорезан каналами, на площадях бьют фонтаны, цветут сады. Царство прохлады, влаги, свежести! Оно должно было возникнуть в столице после постройки канала Москва – Волга и нескольких водных коммуникаций в черте города.

Опыт с Беломорканалом власть уже не повторит никогда. Все начальники строительства канала будут уничтожены, а вместе с ними и некоторые из тех, кто писал книгу о нем. Писатели и сами превратятся в заключенных, а некоторые из них будут расстреляны в тюрьмах. Ужасная судьба выпадет большей части каналоармейцев: многих из них наградят за ударный труд орденами, прославят в газетах как героев, а после окончания строительства подвергнут новым арестам и в 1937 году расстреляют на Бутовском полигоне.

Близкие отношения писателей с чекистами достигнут своего апогея в том самом кровавом 1937 году, а затем медленно начнут сходиться на нет.

1934 год. Съезд писателей

Тринадцатого июля 1934 года произошло событие, которое Пастернак не мог забыть всю свою жизнь. В тот день Сталин позвонил ему по поводу судьбы сосланного Мандельштама. Об этом вождь узнал из письма Бухарина, который хлопотал за Мандельштама по просьбе Пастернака^[251].

Сталин очень много ждал от придуманного им съезда писателей. И люди, которые должны были создавать атмосферу съезда и притягивать к нему внимание, были для него необходимы. По всей видимости, Сталину надо было узнать у Пастернака, представляет ли что-то важное Мандельштам, «нужный» он поэт или нет.

Разговор не получился.

Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг-поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь...»

Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали...»

Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела.

Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело не в этом...» – «А в чем же» – спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» – «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню – никаких секретов из этого разговора делать не надо... Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются^[252].

Но о том, что звонил Сталин, знала вся Москва.

Дата открытия съезда все время переносилась. Тихонов пишет нервное письмо Павленко: «Съезд отменили до 15-го августа. Что это значит? <...> Статья Алексея Максимовича вся полна угроз – неясных, но внушительных. <...> Писатели бродят, боясь Москву, а вдруг она зарежет. Без билета, без издательств, без пайка, что с ними будет?»^[253]

Наконец Первый всесоюзный съезд писателей открылся в Москве – 17 августа 1934 года. Горького, открывшего съезд, многие уже видели без прежнего нимба.

Я. З. Черняк, приятель Пастернака 20-х годов, занес в записную книжку свои впечатления:

Колонный зал, полторы тысячи человек... овации Горькому и Сталину. Юпитеры, фотографы, музыканты, забывающие о существовании каких-либо звуков, кроме туша...

Конечно, в этом съезде показная сторона играет слишком большую роль. Но, может быть, иначе нельзя? Ведь в первый раз в истории литературы! Даже жутко. Речи Жданова, приветствующего съезд от правительства. Речь Горького – и приветствие Никиты Щорса. Горького в зале было не слышно. Он читал – все слушали его у рупоров, вне зала. В 9.30 заседание закончилось – странное отношение вызывает к себе старик. Он, конечно, великолепной породы – к его словам льнут все новые и новые тысячи людей. Он, чувствуя это, прячет свое тщеславие. <...>

Так вкусно брал в рот чужой мундштук с папироской, так легко улыбался Марии Ильиничне и Кольцову, Жданову и Бубнову, которые сидели рядом с ним в президиуме^[254].

Главная интрига съезда содержалась в докладе Бухарина. Бухарин выделил Блока, Есенина, Маяковского, превознося последнего в самых превосходных выражениях, однако на первый план он все же выдвинул Пастернака и Сельвинского.

С нескрываемым удовольствием он сказал о специфике поэтической речи Пастернака, о метафорах и ведущих темах. Бухарин видел в его поэзии необходимое сочетание интеллигентности и чувства современности.

Тихонов с не меньшим удовольствием развивает эту же тему:

Труднейшая скороговорка Бориса Пастернака – это обвал слов, сдержанных только тончайшим чувством меры, этот на первый взгляд темный напор, ошеломляющий читателей и отпугивающий их чудесной силой мастерства...^[255]

Ему вообще легко говорить, когда он правдив и искренен. Тогда в его речи появляются живые и свежие слова. Не мог он удержаться и чтобы не подмигнуть с трибуны своему собрату-путешественнику: «Целые области ждут поэта – например, его ждет путешествие. Прав Луговской, когда он поехал путешествовать. Он видел высочайшие скалы Таджикистана, раскаленные пески Кара-Кум, узкие дагестанские тропы...» И так далее.

Выступил на съезде и Петровский. Он построил речь как историю двух своих поэтических рождений. Первое – ознаменовала встреча с Пастернаком. Слово в слово он повторяет знаменательный сюжет, записанный Пастернаком в альбоме Крученых.

В день самоубийства одного художника, – рассказывает Петровский съезду, – в странной, хоть и нелепой связи с этой смертью, никак прямо меня не задевавшей, – я встретил человека, невольно ставшего вестником моего будущего, – Бориса Пастернака. Выбор для меня был решен^[256].

Выступление Петровского содержало подробности из его личной жизни. Он напомнил аудитории, как упрекнул уже «покойного» Маяковского в том, что поэт-боец должен был не убивать себя, а использовать пулю для некоего противника. Делегаты остались в недоумении.

Луговской воспринял съезд писателей как некий высший суд и выступил вслед за Олешей и Петровским с исповедальными признаниями:

Я жил всегда тревожной жизнью, я много мучился и трудно думал. <...> С юности в ночные часы охватывал меня извечный ужас бессмысленной смерти, неразумной и случайной жизни, трагического разлада между человеком и обществом, отчаяние любви, страх перед ложью и стыд за свою ложь. Это личный ночной мир, и я боролся против него...^[257]

На съезде не вспомнили о ссыльных поэтах – Мандельштаме и Клюеве. В так называемом спецсообщении НКВД говорилось:

Поэт Николай Асеев получил адресованное через президиум письмо от брата адм<инистративно> ссыльного поэта Николая Клюева Петра Клюева, в котором тот просит оказать помощь для облегчения положения Николая Клюева. Судя по содержанию письма, Асеев – не единственный адресат^[258].

Секретно-политический отдел НКВД шлет раздраженные сообщения наверх:

По данным <...> непосредственно после съезда писатели занялись устройством своих личных дел: покупкой машин, строительством дач, многие до окончания или непосредственно после окончания съезда уехали в творческие командировки или отпуск^[259].

Писатели, как пишет осведомитель, почти ничего не говорят о съезде, собираются группами, но никто не вспоминает о только что прошедшем писательском форуме.

На создание Литфонда и проведение съезда правительством было выделено 2 миллиона 350 тысяч рублей. Из этой суммы предполагалось, в частности, выделить 1,2 млн. рублей на Литфонд, на бесплатное 15-дневное питание (завтрак, обед и ужин) делегатов –

262,5 тыс. рублей, аренду и художественное оформление Колонного зала Дома Союзов – 67.500 рублей и т. д. Однако они недооценили усилия власти. Наверное, поэтому Сталин больше не вкладывал денег в это бессмысленное мероприятие.

Но на Первом съезде была создана организация, которая окончательно их закрепила и сделала полностью подчиненными государственной машине. Эта организация называлась Союз советских писателей.

Появился он на свет в 34 году и вначале представлялся дружественным после загадочного и все время раскладывающего пасьянс из писателей РАППа, – писал Шварц в своей «Телефонной книге». – То ты попадал в ряд попутчиков левых, то в ряд правых, – как разложится. Во всяком случае, так представлялось непосвященным. <...> Но вот РАПП был распущен. Тогда мы еще не слишком понимали, что вошел он в качестве некоей силы в ССП, а вовсе не погиб. И года через три стал весь наш Союз раппоподобен и страшен, как апокалипсический зверь. Все прошедшие годы прожиты под скалой «Пронеси, господи». Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная молодость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать.

Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее^[260].

Путешествие на Парижский конгресс, или Пастернак как Гамлет

И вы знаете, что он сам Гамлет, ему надо играть, а я буду ставить.

Из разговора 1939 года Л. Леонидова с В. Виленкиным о Б. Пастернаке.

Место, которое уготовила Пастернаку власть, приводило его в отчаяние. Он не только не хотел быть «первым поэтом» Советской

республики, но все время мучился тем, как ему выйти из этого заколдованного круга, где он является игрушкой в чьих-то руках.

Я ни капельки не изменился, но положение мое, морально, переменялось к худшему, – писал он Ольге Петровской-Силловой в начале 1935 года. – Где-то до съезда или на съезде была попытка, взамен того точного, чем я был и остался, сделать из меня фигуру, арифметически ограниченную в ее выдуманной и бездарной громадности, километрической и пудовой. Уже и тогда я попал в положение, нестерпимо для меня ложное. Оно стало теперь еще глупее. Кандидатура проваливается: фигура не собирается, не хочет и не может быть фигурой. Скоро все обернется к лучшему. Меня со скандалом разоблачат и проработают. Я опять вернусь к равенству с собою...^[261]

Депрессия вдруг проявляется совсем уже неожиданно, на время Пастернак становится словно «безумен».

Все началось с грузинского вечера в Ленинграде. Чуковский в дневниках пишет, что тот вечер проходил 12 февраля 1935 года. Там были все: Яшвили, Табидзе, Пастернак, Гольцев, Тихонов, Слонимский, Зоценко, Тынянов. Луговской выступил с речью. Пастернак читал стихи. Все аплодировали.

В Ленинград Пастернак взял с собой Зинаиду Николаевну. Она не видела города с 1917 года, была взволнована, показывала его грузинским друзьям. Вспомнился роман с кузенком (он был вдвое старше ее).

Как странно, что судьба забросила меня в ту самую гостиницу, – делилась она с Ниной Табидзе, своей близкой подругой, – куда я, пятнадцатилетняя девочка, приходила в институтском платье, под вуалью на свидание с Милитинским.

История потрясла подругу, и вскоре Зинаида Николаевна с изумлением узнала, что Нина Табидзе рассказала ее Пастернаку. С этого момента что-то словно ломается в его душе.

По приезде в Москву он заболел нервным расстройством – перестал спать, нормально жить, часто плакал и говорил о смерти. <...> Я не могла понять, – писала Зинаида Николаевна, – как может человек так мучиться из-за моего прошлого^[262].

Парадокс в том, что он узнал о том романе от самой Зинаиды, когда они возвращались из Ирпеня, стояли в тамбуре, курили, и она, не предполагающая с ним связывать жизнь, как дальнему знакомому вдруг рассказала о тех свиданиях под вуалью. Потом он написал об этом к сестре в письме от 24 мая 1932 года:

Я тебе скажу, кто она <...> Если бы... ты в 15 лет полюбила бы Н. Скрябина и отдалась ему, и он был бы твоим двоюродным братом, 45 лет и женатым, с детьми; и он с тобой, институткой, сначала встречался бы в отдельных кабинетах, а потом снял тайную квартиру

для свиданий и ты полуребенком три года была бы его любовницей, три эти года деля между этою тайной и приготовленьем уроков^[263].

Далее он объяснял сестре, что Зина близка ему тем, что оплатила право суждения о жизни и о страданиях полной мерой.

Отчего же случился этот болезненный надрыв у Пастернака?

То, что Пастернак когда-то видел в Зинаиде Нейгауз как несомненное достоинство – «Так же чиста и свята при совершенной испорченности, так же радостна и мрачна», – ее зрелость, опытность, оборачивается вдруг своей противоположностью. Недаром даже в описании Зинаиды сестре, предлагая ей представить себя на ее месте, есть какой-то болезненный момент («ты полуребенком была бы его любовницей»); он и тогда мучился этим.

Возможно, его не оставляло чувство, что Зинаида Николаевна как женщина сгорела до срока. Власть прошлого всегда занимала Пастернака; в ленинградских рассказах жены подруге чувствовалось присутствие бывшего возлюбленного. Но он не упрекал ее.

Личные терзания Пастернака переплелись с неприятием того общественного места, которое ему уготовила власть. Его пытались сделать первым поэтом страны, зал на съезде встречал его появление овациями.

Он перестал нормально спать, есть. Врачи называли его болезнь психической астенией. Пребывание в санатории ему не помогало. И вдруг спустя год вновь звонок Поскребышева из приемной Сталина: его просят, от него требуют ехать в Париж на антифашистский конгресс. Пастернак сказал, что болен, ехать не может. Поскребышев настаивал: «А если бы была война и вас призвали – вы пошли бы» – «Да, пошел бы. – «Считайте, что вас призвали». Ночью пришла машина, его повезли в ателье и сшили новый костюм.

Оскорбительно было еще то, что он столько раз просил отпустить его к родителям за границу, чтобы увидиться с ними. Но его не пускали. Он писал наверх, искал заступничества у Горького, но тот специально написал Ягоде, чтобы Пастернака не выпускали, потому что такие, как он, обязательно эмигрируют.

На антифашистский конгресс в Париже собрались не только немецкие эмигранты и французские литераторы, но и творческая интеллигенция из многих стран Европы. Приехала и советская делегация, но среди ее членов не было тех, кого знали, кого ждали.

Не довольствуясь присланными «декоративными» писателями, участники конгресса настаивали на приезде Бориса Пастернака и Исаака Бабеля. Прошел слух, что оба они арестованы, и антифашистский Конгресс грозил стать еще и антисталинским. Тогда-то наверху было принято срочное решение об их немедленном откомандировании за границу.

Пастернак всю дорогу мучил Бабеля жалобами, рассказывал, что болен, что не хотел ехать, что не верит в то, что вопросы мира и культуры можно решать на конгрессах...

Они ехали туда через нацистский Берлин. За день до выезда он телеграфировал родителям, что остановится в Берлине на несколько часов и хотел бы с ними повидаться. Но родители никак не могли приехать из Мюнхена, где жили в доме сестры, и он встретился на станции в Берлине с сестрой Жоней и ее мужем.

«Можно мне бросить это на пол?» – Борис держал в руке билет, нерешительно глядя на меня. «Ну конечно, почему же нет?» – «Здесь так чисто всюду... и на улице. Так опрятно. Я подумал, я думаю, должно быть, это воспрещено...» Мы стояли с ним в большом холле одной из станций берлинской подземной дороги.

Они разговаривали, и вдруг он сказал ей:

«Знаешь, это мой долг перед Зиной – я должен написать о ней. <...> Прекрасной, дурно направленной. Красавица под вуалью в отдельных кабинетах ночных ресторанов. Кузен ее, гвардейский офицер, водит ее туда. Она, конечно, не в силах тому противиться. Она так была юна, так несказанно притягательна...»^[264]

Жоня вспоминала, что ее это абсолютно потрясло: они столько лет не виделись, он не может ехать к родителям и вот теперь рассказывает ей сюжет какого-то бульварного романа. И только потом она поняла, что это было начало огромного замысла, который станет его главным романом.

При расставании муж сестры, банкир, объяснил Пастернаку, что будет с ними и с родителями-евреями в фашистской Германии, если тот позволит себе какие-либо резкие антифашистские высказывания на конгрессе. Они оставались здесь заложниками. Правда, у них были советские паспорта. Но они были евреи. Немцы внимательно слушали все речи выступавших на конгрессе. От того, что будет сказано Пастернаком, зависела жизнь его близких.

С этим напутствием Пастернак и оказался в Париже. На конгрессе он появился в предпоследний день его работы, 24 июня, на вечернем заседании, войдя в зал во время речи Тихонова. «Восторженные аплодисменты раздались не только после, но и до его речи, едва он открыл рот, прогудев нечто невнятное, я знал этот глухой звук, которым он прерывал себя, находясь в затруднении», – вспоминал Эренбург. Андре Мальро представил его: «Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени» – и прочел пастернаковское «Так начинают».

Что же сказал Пастернак?

Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда

останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником^[265].

Позже Пастернак перескажет английскому дипломату Исайе Берлину несколько иной текст:

Я выступил. Я сказал: «Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас – не организовывайтесь!»

Мне показалось, что они страшно удивились. Но что еще мог я сказать? Я думал, что у меня будут неприятности дома после этого, но никто никогда не упомянул об этом – ни тогда, ни теперь^[266].

Потом он напишет родителям про все, что происходило с ним: «... жизнь стала, без вины моей, театром...»

Он не видит ни Парижа, ни обступивших его людей. В письме Зинаиде он говорит, как пугает его непонятная слава, что он в ужасе оттого, что его рисуют и фотографируют.

Я... этого письма не могу кончить никак. Все время то приступы слабости (головокружение), то – люди. И сейчас, например, в моей комнате сидят дочь Мар. Цветаевой и ее отец, и они сами предложили мне продолжать писать письмо, за которым меня застали. <...>

Здесь я часто встречался с Замятиным и его женой, с художником Ларионовым и Натальей Гончаровой, с Ю. Анненковым, с Цветаевой, с Эренбургом и Савичами, еще больше мытарили и теребили меня французы^[267].

Он пишет в присутствии Ариадны и Сергея Эфронов Зинаиде Николаевне нечто невероятное:

Если для чего-либо я сел писать тебе, то только с одной целью: чтобы сказать несколько слов о тебе. Ты единственно живое и дорогое для меня на всем свете. Все мне тут безразлично. Более того: я даже не видал родителей. Они были в Мюнхене, когда я проезжал через Берлин, и для встречи со мной приехала одна старшая сестра с мужем, а со стариками я говорил по телефону. Я обещал им, что на обратном пути заеду в Мюнхен и там остановлюсь на неделю, и вот видишь, как легко изменяю своему слову, несколько об этом не думая. Зато ты все. Ты жизнь. Ты именно все правдивое, хорошее и действительное (невыдуманное), что я знал на свете^[268].

Это не свойственная для Пастернака подмена – попытка покрыть страдания близких волнами того, второго рождения.

Тихонов, напротив, ощущает себя в Париже в приподнятом, счастливом настроении. Он писал Луговскому о Пастернаке:

Борис прибыл в Париж как осатанелый дервиш. Речь его на Конгрессе состояла из 4 строк и бесконечного молчания. Произвел он потрясающее впечатление. Все его страшно зауважали за это молчание, размноженное и усиленное микрофоном^[269].

Тихонов спустя годы в радиопередаче, делясь воспоминаниями о той поездке, говорил, что Зал Взаимности, где шли заседания конгресса, находился под охраной, которую возглавлял Сергей Эфрон.

Тогда же Пастернак познакомил Цветаеву с советской делегацией. Тихонов ей очень понравился, показался мужественным и решительным. Цветаева называет Тихонова в письме «мостом». Он и старается им быть. Старается соединять и соединяться. Она спрашивает его с нескрываемым волнением о Пастернаке:

6-го года же Пг., суббота

Милый Тихонов,

Мне страшно жаль, что не удалось с Вами проститься. У меня от нашей короткой встречи осталось чудное чувство. Я уже писала Борису: Вы мне предстали идущим навстречу – как мост, и – как мост заставляющим идти в своем направлении. (Ибо другого – нет. На то и мост.) <...>А плакала я потому, – далее пишет Цветаева, – что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и все в себе – болезнью. (Пусть – «высокой». Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья...)^[270]

На конгрессе Пастернак не станет анализировать состояние поэзии, говорить о развитии советской литературы, он попросит писателей быть подальше от власти, от сановников: «Не жертвуйте лицом ради положения...» Он словно молит, чтобы и его оставили в покое. Но не тут-то было. Сталин явно благоволит Пастернаку, и тот чувствует себя под пристальным взглядом вождя.

Тихонов, по воспоминаниям Е. Б. Пастернака, рассказывал, что вместе с Мариной Цветаевой они составили из отдельных отрывков стенограммы текст, который был напечатан в отчете как выступление Пастернака. С Мариной они виделись мало, отсюда ощущение «невстречи», о котором потом так часто упоминала она в письмах.

Через несколько месяцев Пастернак писал Цветаевой из Москвы:

Дорогая Марина! Я жив еще, хочу жить и – надо. Ты не можешь себе представить, как тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около 5-ти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков 12 лет, я проехал, не повидав их <...>^[271]

Он ставил «невстречу» с ней и невстречу с близкими на одну доску, пытаясь объяснить ей весь ужас своего тогдашнего состояния. А в ответ летит, может быть, самое жесткое письмо к нему:

О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека. <...> Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, *обратное* тебе: я *на* себе поезд повезу, чтобы повидаться...^[272]

Цветаева видела причину болезни в другой женщине – той, что по масштабам никак не соответствует ее Борису. Он услышал ее; отсюда такое горестное письмо Тициану Табидзе от 6 сентября 1935 года, где он пытается опять и опять объяснить себе и лучшему другу, что с ним произошло:

Когда-нибудь я подробно расскажу Вам, что я вынес за эти 4 месяца, а пока ограничусь тем, что надо знать Вам, Вам одному, лично Вам.

В течение этих мучений я не перестал любить своих близких и стариков, не забыл Паоло и Генриха Густавовича, не отвернулся от лучших своих друзей. В Париже я виделся с Мариной Ц<ветаевой> <...> я неизменно возил с собой, как талисманы: постоянную мысль о Зинаиде Николаевне, одно письмо Райнера Марии Рильке и одно Ваше, весеннее, – помните? Я часто клал его себе на ночь под подушку, в суеверной надежде, что, может быть, оно мне принесет сон, от недостатка которого я страдал все лето^[273].

Советская делегация, в состав которой входил Пастернак, во избежание фашистских провокаций 4 июля возвращалась из Парижа в объезд Германии – на пароходе через Лондон. Родителям Пастернак написал: «На этот раз мы не увидимся». К несчастью, в этой жизни они не увидятся никогда. Никогда его больше не выпустят за границу. Родители умрут в Англии в доме дочери Лидии, куда они убегут от немцев в 1938 году. Сестра Жозефина не успеет на похороны брата и придет навестить только его могилу в Переделкине.

Пароход, на котором они плыли, назывался «Ян Рудзутак». В 1938 году, когда расстреляют Рудзутака, пароход сменит название на «Мария Ульянова». Именно на этом пароходе приплывут в СССР Марина Цветаева и ее сын в 1939 году. Приплывут навстречу своей гибели, наперекор пастернаковским уговорам – не возвращаться.

Пастернака разместили в одной каюте с Александром Сергеевичем Щербаковым, который тогда был секретарем Союза писателей, фактически надсмотрщиком над писателями от лица Сталина. Спустя годы Пастернак рассказывал Исае Берлину о той поездке:

Я говорил без умолку – день и ночь. Он умолял меня перестать и дать ему поспать. Но я говорил как заведенный. Париж и Лондон разбудили во мне что-то, и я не мог остановиться. Он умолял пощадить его, но я был безжалостен. Наверное, он думал, что я сошел с ума. Беседа, в которой я «вдруг разоткровенничался, размяк, разговорился,

говорил и говорил без конца», – так что наутро прошиб холодный пот. Может быть, я многим обязан его диагнозу моего состояния^[274].

Опять Ленинград, с которого началась болезнь. Пастернак остановился в доме у своей двоюродной сестры Ольги Фрейденберг. Кажется, он выздоравливал. Но он никого не хотел видеть, даже жену.

Когда Зинаида Пастернак пришла встречать мужа на Ленинградский вокзал, к ней подошел Щербаков «и сказал, что Борис Леонидович остался в Ленинграде, потому что он психически заболел. Щербаков считал, что она должна немедленно выехать за ним в Ленинград»^[275]. Не исключено, что Щербаков рассказал Сталину о пастернаковском «безумье».

Получалось так же, как в трагедии, – безумный Гамлет, за которым следит Полоний.

Сталин не любил «Гамлета». По воспоминаниям актера Бориса Ливанова, который мечтал сыграть Гамлета в переводе Пастернака: Сталин сказал ему: «Гамлет – упадочная пьеса, и ее не надо ставить вообще».

Фраза Пастернака о Щербакове, который рассказал о его безумии Сталину: «Может быть, я многим обязан его диагнозу моего состояния» – приобретает особый смысл. Его всегда мучил вопрос, почему его оставили в живых. И в конце жизни он получил ответ.

А по Ленинграду Пастернак гулял с Анной Ахматовой. Спустя годы Ахматова рассказывала Чуковской:

Мне он делал предложение трижды <...> но с особой настойчивостью, когда вернулся из-за границы после антифашистского съезда. Я тогда была замужем за Пуниным, но это Бориса нисколько не смущало^[276].

Но у него тоже была жена. Он ее так любил. Любил?

Зинаида приехала за ним в Ленинград и забрала его домой в Москву. Там Пастернак постепенно вернулся в свое привычное состояние. Так, по крайней мере, казалось всем и стало казаться ему. Но понимание нелепости произошедшего не оставляло его и в 50-е годы, о чем он со стыдом признавался в письме В. Асмусу:

Тогда я был на 18 лет моложе, Маяковский не был еще обожествлен, со мной носились, посылали за границу, не было чепухи и гадости, которую я бы не сказал или не написал и которой бы не напечатали, у меня в действительности не было никакой болезни, а я был тогда непоправимо несчастен и погибал, как заколдованный злым духом в сказке. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мирволило мне, что-нибудь такое, что выполнимо только путем подлога. Задача была неразрешима, это была квадратура круга, я бился о неразрешимость намерения, которое застилало мне все горизонты и загораживало все пути, я сходил с ума и погибал. <...> А теперь у меня сердечная болезнь, не считающаяся

вымыслом, я за флагом, не в чести, все знаки переменились, все плюсы стали минусами, но я счастлив и свободен, здоров, весел и бодр^[277].

К концу жизни стала ясна цель, ради которой он жил и ради которой просил пронести мимо жертвенную чашу. Это был роман «Доктор Живаго». «Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Ветхого Завета, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах, которые доносились до меня во время прогулок, я не отвечал на эти крики и не шел в ту сторону, но и не поворачивал назад...»^[278] – писал он Жаклин де Пруаяр 28 ноября 1958 года, в те дни, когда эта возбужденная чернь приезжала к его даче и бросала в нее камни.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим – кончать Голгофой».

В письме советскому чиновнику Поликарпову 21 августа 1957 года Пастернак написал: «Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое». Поликарпов разорвал письмо на мелкие кусочки в присутствии автора.

В самом конце 1935 года Пастернак выразит благодарность Сталину «за молниеносное освобождение родных Ахматовой». За то, что его больше не будут ставить на первое место, и он «с легким сердцем» может «жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями». Это случилось, потому что Сталин вывел на послании Лили Брик в качестве резолюции слова, которые вскоре получат широчайшую известность: «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Разумеется, письмо Пастернака со словами о неожиданностях и таинственностях могло только прибавить уверенности в том, что поэт не вполне нормален.

В конце этого 1935 года покончил с собой Николай Дементьев. И Пастернак, под впечатлением от его похорон, написал стихотворение «Безвременно умершему», напечатанное в 1936-м в «Знамени». Самоубийство поэта вновь рифмуется с собственными размышлениями на эту тему.

А в конце 30-х он начинает переводить «Гамлета»...

Истинно верующие: комсомольский поэт Николай Дементьев

Молодой, красивый поэт-комсомолец Николай Дементьев, 1907 года рождения, застал Гражданскую войну и революцию ребенком. Поэтому

время Великого перелома, которое в 1929 году власть назначила своему народу, чтобы перепрыгнуть из крестьянской России в индустриальную державу, время первой советской пятилетки, он по праву считал своим. В анкете Дементьев писал, что происходит из интеллигентов, чем, безусловно, тяготился, учась на Брюсовских курсах, а затем в МГУ.

В известном стихотворении Багрицкого «Разговор с комсомольцем Николаем Дементьевым» старший друг рисует перед младшим романтическую фантазию – широкие просторы, по которым они с эскадроном скачут воевать куда-то на Запад, в Польшу. Багрицкий – военспец. Дементьев – военком. Все очень красиво.

А в походной сумке –

Спички и табак,

Тихонов,

Сельвинский,

Пастернак...

Багрицкий, иронизируя над собой, признает, что картины военных походов уже чужды молодым. Но он все-таки хочет завоевать их сердца.

В той вымышленной истории их с Николаем Дементьевым конечно же убивают. Смерть, как всегда у Багрицкого, ярче и прекраснее, чем жизнь. Истлевающие кости двух поэтов накрывает воронье. Из сумки выпадают любимые книги, в которых «Буквы муравьями / Тлеют на листах...»

Хлопают крылами

Книжные листы;

На враждебный Запад

Рвутся по стерням:

Тихонов,

Сельвинский,

Пастернак...

Двадцатилетний Дементьев ответил тридцатилетнему Багрицкому, который по-стариковски описал дух военной вольницы, многословным и нервным стихотворением «Ответ Эдуарду».

Болезни, расстрелы, смерть – остались в прошлом, утверждал Дементьев.

Обугленный мир малярией горел,

Прибалтики снежный покров

Оттаивал кровью, когда на расстрел

Пошел террорист Гумилев.

А теперь они – комсомольцы времени первых советских пятилеток – другие люди.

Разруха повеет крылом вороным,
В траве погребальные звоны:
Багрицкий! Романтика против войны:
Регалии старые отменены
И проданы с аукциона.

Теперь веселее! Взбегаем на плот,
Охотимся бором и гаем,
Взрываем пласты торфяных болот,
Работаем, спорим, играем.

Романтика возненавидела смерть.
Бессонная, не отдыхая,
Умеет по-прежнему жить и гореть
В такт нашим сердцам и дыханью.

Запомним, строчки – «Романтика возненавидела смерть». Так мыслилось, так хотелось, так декларировалось, но было ли на самом деле?

Николай Дементьев порвал с прошлым, стараясь быть рядом с эпохой. В годы первой пятилетки, окончив курсы при ЦИТ (Центральном институте труда), он работал слесарем на строительстве Бобриковского химкомбината под Москвой.

Его юная жена Надежда Адольф (потом она была вынуждена поменять свою латышскую фамилию на псевдоним – Надеждина) вспоминала:

Но нам мало было слушать, как крестьянская Россия превращается в индустриальную державу, мы хотели в этом участвовать сами. Моими позывными стали утренние гудки электрозавода. На весенний сезон ему дополнительно были нужны рабочие руки – делать для тракторов провода. Нас обучала мастерица со щербатыми зубами. Техника была очень примитивной. Торопясь выполнить задание, работники зубами перегрызали тоненькую проволоку^[279].

Николай Дементьев так и не смог стать слесарем-лекальщиком. Он писал для местной газеты очерки о рабочих и инженерах. Правда, любовь к настоящей поэзии не оставляла его, близость к поэзии Пастернака оживала в его пейзажных стихах, в темах дождя и ливня, воды. Но эпоха требовала иного. Дементьев работал над книгами о химиках, сочинял стихи об индустриализации. В Бобриках, где он писал для газеты комбината, было много иностранцев, которые запустили и обслуживали этот завод. Николай Дементьев жил вместе с ними в гостинице, учил знакомого американца русскому языку, а сам практиковался в английском. Все было понятно и хорошо.

Шла осень 1934 года. Надежда Надеждина приезжала к мужу на завод каждые выходные. Но вот настал день, когда, оказавшись в Бобриках, она нигде не могла его найти. На все расспросы о муже его товарищи прятали глаза, молчали, и наконец кто-то предложил ей обратиться в местное ОГПУ. Там ей сообщили, что муж вскрыл себе вену на руке и перерезал горло. Но он жив и отправлен в Москву, а ей не следует разглашать эту историю.

Однако она продолжала его искать, в чем ей очень помог Исаак Бабель. Благодаря его связям с Лубянкой она смогла встретиться со следователем, который сказал, что ее муж находился в институте Сербского, а теперь переведен в психиатрическую больницу Кащенко.

Почему вдруг Николай Дементьев, до этого вполне психически вменяемый человек, решил перерезать себе горло, Надежда Надеждина никак не могла понять. Получив от ОГПУ разрешение на свидание, она встретила мужа, который ничем не напоминал прежнего, близкого ей человека, у него был отсутствующий взгляд, он ничего ей не сказал о своем неудавшемся самоубийстве.

Однажды она приехала к нему вместе с Бабелем, – вспоминала Надеждина. – Прощаясь, Бабель сказал:

– Николай Иванович, не торопитесь в Москву. Теперешняя Москва хуже сумасшедшего дома. Здесь спокойней.

Мне запомнился разговор с Бабелем на обратном пути домой о том, знает ли человек, что он может и чего не может? Бабель сказал, что он жалеет, что он не может почувствовать, хотя бы и хотел, что испытывает при родах женщина, и не может попасть в тюрьму, потому что половина сотрудников Лубянки его знакомые.

На что я ответила:

– Вы правы насчет родов. А вот насчет тюрьмы есть, Исаак Эммануилович, народная поговорка: «От суммы и от тюрьмы не зарекайся!»^[280]

Вскоре Дементьева выпустили из сумасшедшего дома, он стал спокойнее, но иногда у него случались припадки; ему казалось, что его окружают со всех сторон фашисты, нападают, хотят убить. Потом успокаивался и снова писал. В последних стихах были строчки о птице, отправляющейся в полет. «Ничего не поделаешь. Тянет и тянет / Улетать, улетать обязательно!» В конце октября 1935 года он выбросился с балкона шестого этажа и погиб.

По Москве потянулись слухи, что Дементьева вербовали работники ОГПУ, так как он общался с иностранцами; готовилось большое дело о «вредительстве» на химкомбинате. Но Дементьев «ушел» от следователей, решив покончить с собой. Эти слухи подтверждаются публикациями «прослушек» его товарищей В. Нарбута, И. Поступальского, арестованных спустя год. В секретной разработке на комсомольского поэта М. Светлова тоже были отсылки на то, что он близко общался «с скрытым троцкистом» Николаем Дементьевым. Его

жена почти сразу после похорон мужа на Новодевичьем кладбище была вынуждена скрываться, начались аресты, и она поняла, что скоро придут за ней. Она сумела избежать тюрьмы лишь до 1950 года, ее нашли и отправили в лагерь в Потьму на десять лет. Вернувшись в 1956-м, она стала писать для детей рассказы и повести.

Когда Николая Дементьева не стало, его друга Багрицкого уже два года как не было на свете, в 1933 году он умер от затяжного туберкулеза. Смерть как старшего, так и младшего поэта оказалась не романтической, а бытовой и страшной.

Стихотворный некролог неожиданно для всех написал на смерть Дементьева его любимый поэт Борис Пастернак:

Немые индивиды,
И небо, как в степи,
Не кайся, не завидуй, –
Покойся с миром, спи.

Немые индивиды? Кто это? Комсомольская молодежь того времени, которая как будто вышла из формовочного станка? Или что-то иное имел в виду поэт?

Как прусской пушке Берте
Не по зубам Париж,
Ты не узнаешь смерти,
Хоть через час сгоришь.

Эпохи революций
Возобновляют жизнь
Народа, где стрясутся
В громах других отчизн.

Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Живой курсивный шрифт.
Затем-то мы и тянем,
Что до скончанья дней
Идем вторым изданием,
Душой и телом в ней.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветвь,
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет.

Так вот – в самоубийстве ль
Спасенье и исход?

В то же время эти «немые индивиды» для Пастернака, в книге их общей эпохи, – «живой курсивный шрифт», потому что они вслед за другими народами «вторым изданием» попытались что-то изменить на «страницах века».

Вопрос к умершему поэту, которым заканчивается стихотворение, для Пастернака был не праздный. Его самоубийство было звеном в цепи самоубийств, отсчитывающихся от Маяковского. Был ли в тех условиях выбор Николая Дементьева единственно возможным «спасеньем и исходом»? Во всяком случае, мы знаем, что Пастернак в то время не исключал для себя такую возможность.

До эпохи Большого террора оставалось около года.

1936 год. Путешествие по Европе. Сельвинский, Луговской, Безыменский, Кирсанов

Ты вообще, чудак, не понимаешь одного: что ты удачнейший в мире человек. Удача идет впереди и сзади тебя. Удача идет к тебе, как военная форма, простая и все же изумительная.

А. Фадеев – Вл. Луговскому

В письме Луговскому Тихонов рассказывает о своих тайных маршрутах, которые совершал без разрешения властей:

Париж понравился мне в Европе больше всего. Его трудно будет в будущей войне защищать – это, несомненно.

Весна хороша, но умирает на глазах, и как пышно, по-хорошему умирает.

Лондон – я не понял его. Это Апокалипсис. Его надо читать и думать. И он не пускает к себе пришельцев. И люди ходят в цилиндрах, и Чемберлен не прославленный и окарикатуренный – оказывается сапожник по происхождению, ничего не понимаю, и королевские овцы жрут газон в парках посреди города, и 160 кораблей в Скотланде (?) собраны и не знают, что с ними делать и на что им плыть.

Я заказал в Париже тебе морской справочник за 100 дукатов. А сейчас одна девушка пишет из Парижа, что ей вместо этого боевого томика принесли полный состав личный всего французского флота.

На кой дьявол этот список личного состава?

Я тайком был в Бельгии, был всюду, старик... Видел своими глазами много очень страшного и нам не понятного.

Я был в Вердене. Двадцать лет прошло. Вырос лесок. До сих пор это пустыня. Мертвецы лежат перед небом. Нет больше суетливых туристов и торговцев мертвыми, пусто и здорово. В Вердене тишина, зной, пустота.

Ходил я по той вселенной, что именуется Британским музеем. Тут такое, что наши музеи кажутся мальчишескими играми. Идол с острова Пасхи с лицом Муссолини. Черт-те что!

Английская девушка из Оксфорда таскала меня на своем авто по городу и за ним. Тебя здесь просто не хватало. Ты бы здесь жил, как Самсон, истребляющий филистимлян. И ты бы хорошо прощупал Лондон. Это, конечно, Левиафан. Но теплоты парижской и человеческой у него нет. Он холоден и местами тепел, не более^[281].

Луговской окажется в Лондоне через несколько месяцев. Тихонов пишет Гольцеву 10 декабря 1935 года:

Пастернака, если увидишь, приветствуй от меня. Жду его стихов. Поэму буду писать снова. Давно не писал. Поэтов так мало, что он не должен влезать в молчание, слишком долгое. Наши друзья гуляют по Европе, и СССР будет завален новыми европейскими стихами^[282].

Имеется в виду поездка Луговского, Сельвинского, Кирсанова и Безыменского по Европе, последовавшая вслед за антифашистским конгрессом.

Для Луговского поездка за границу стала тоже в каком-то смысле рубежом, метафорой судьбы. Он увидел Европу, о которой столько грезил, увидел эмигрировавших знакомых, пережил автомобильную аварию. Путешествие станет основой его книги «Середина века» – книги о случайности жизни и смерти.

Но пока группа в составе С. Кирсанова, И. Сельвинского, А. Безыменского и В. Луговского в сентябре отправляется в длительную заграничную поездку в целях пропаганды советской поэзии. Знаменательный вояж был продолжением парижского конгресса. Поэты были подобраны хотя и лояльные к власти, но очень разные. Бывший лефовец Кирсанов, бывший рапповец Безыменский, бывший конструктивист И. Сельвинский и застрявший между направлениями Луговской.

Старшим назначен Безыменский, он будет писать отчеты о поведении товарищей в Москву – Щербакову и Суркову.

Долгие годы Луговской хранил журнальчики, открытки, билеты, гостиничные проспекты, салфетки т. п. Прихватывалось все, что могло стать иллюстрацией к рассказам о путешествии. Он знал, что его возвращения напряженно ждут друзья и ученики.

На 4 января было назначено выступление поэтов перед французской аудиторией. Вечер было поручено вести Эренбургу, а читать перевод на французский – Арагону.

Но 11 декабря Луговской попал в автокатастрофу. Безыменский строчит нервное письмо в Москву:

Последний факт, взволновавший нас, – это катастрофа с Луговским, его треснутое ребро. Он лежит в больнице, все для него сделано, ничего серьезного нет, через 3–4 дня выйдет. Он ехал с неким Борисом Яффе, с корреспондентом «Комсомольской» правды» Савичем и редактором «Лю». Автобус наскочил на их авто. Всех помяли, но все невредимы. Луговской клянется, что пьяны они не были, – это я проверю^[283].

Последняя оговорка очень характерна: проверит и доложит куда следует.

Про больницу и катастрофу Луговской напишет страшноватую поэму в книге «Середина века», в первом варианте она называлась «Когда я шел в Париже со смертью».

На Монпарнасе в мерзостной больнице,
С поломанными ребрами, хрипящий
От сгустков крови, жалостно небритый
На трех подушках задышался я.

.....
Здесь умирали просто, как попало,
И запах ледяной врачебной кухни
Входил в десятиместную палату,
Как белый призрак сна и пустоты.
Сюда вносили только тех уродов,

Кто жизнь свою перевернул случайно
В свинячей сутолоке желтых улиц.
«Палатою случайностей» звалась
Та смертная палата, и случайность
Была богиней десяти кроватей...

В поэме – история путешествия героя по Парижу; экскурсию по городу проводит его двойник – смерть с домашним именем Гнилушка. Он был не только потрясен аварией, пережитой в прекрасном городе; с этого времени у Луговского пошел внутренний счет случайностям, которые чреваты личными и общественными катастрофами.

В письме к Сусанне он мрачно описал происшествие:

Сегодня я с трепетом душевным первый раз выхожу на прогулку. Стукнуло меня 10-го вечером (10 часов), а сегодня 22-е. Сейчас, конечно, дело прошлое и можно сказать, что у меня было сломано 3 ребра пополам (слева) и проч. И проч. Пришлось слегка помучиться, покашлять кровью в приемном покое – это нечто вроде Склифософского, но хуже в 10 раз, а затем был переведен в роскошную клинику в Neuilly, где и срастался со своими ребрами. Конечно, в первом письме и в письме Яффе к тебе писано было с «облегчением» против объективной действительности. Но теперь кашель давно

прошел, более неполагающихся нет, можно с осторожностью и бережением высовывать нос в мир^[284].

В больницу летят записки от Кирсанова и Эльзы Триоле.

Милый Володичка! – нежно пишет Кирсанов. – Простите, что я не заехал, причины неуважительные, но серьезные. Надеюсь, что Ваше ребро хоть и сломано, но аккорд еще рыдает.

Хочется Вас увидеть бодрым и здоровым, завидую Сельвинскому, который увидит Вас еще унылым и немощным. Мужайтесь, мы еще проживем. Ребер хватит. <...> Ваш Семен^[285].

Шутки на тему переломанных ребер не прекращались еще долгое время.

Милый Луговской, остальные бизоны пьют мою кровь, – несколько натужно шутила приставленная к поэтам Эльза Триоле, – и мне совсем некогда Вас навестить, но жаль Вас и вспоминаю. Если ребра (прим. издателя – Устанавливаем счет на реброчасы и человекоребра (см. Трудодень)) действительно идут по такой расценке, то, может, надо не жалеть, а завидовать! До скорой встречи!! Эльза Триоле^[286].

Безыменский теперь следит за Сельвинским и Кирсановым. Так как последний был другом Маяковского, в семье Арагона к нему особое отношение, что ужасно злит Безыменского, и он жалуется на Кирсанова Москве: «В семье Арагона он делает все, чтобы дискредитировать меня».

Группу сопровождает переводчица-француженка Этьенетта, с которой у Луговского начинается легкий флирт. Он обходит с ней парижские кабачки, едет в Белькомб (курортное местечко в горах). Там они катаются на лыжах, и их чуть не сметает лавина, прошедшая совсем близко. Потом будет общая короткая поездка в Берлин. Забегая вперед, скажем, что во время войны Этьенетта станет участницей Сопротивления и погибнет. Всю жизнь Луговской хранил ее красный шелковый платок и просил захоронить вместе с собой.

А тогда, зимой 1936 года, Луговской отправился в Лондон, куда ему не удалось съездить с товарищами из-за аварии, а Этьенетта, оставшись в Париже с Сельвинским, Безыменским и Кирсановым, напишет Луговскому нежное послание по-английски:

9.1.1936

Волк! <...> Вы больны. Это очень грустно. Ваши друзья на два цента не ценят ваше здоровье. И вы сами очень горды, чтобы заботиться об этом. Грустно... После того, как мы расстались, я отправилась к Эльзе на полчаса, я не говорила о вас, но... пусть люди говорят о вас и ваших друзьях... Забавную картину они нарисовали о Безыменском... Я расскажу вам, когда вы возвратитесь... Передайте привет Лондонскому мосту, который я так люблю. И не забывайте, что жизнь прекрасна^[287].

В письме проскальзывают намеки на стучавшего Безыменского.

Главное событие, ради которого и устраивалось путешествие, произошло 4 января: в зале Парижской консерватории состоялся необычный литературный концерт – четыре советских и шестнадцать французских поэтов читали свои стихи. Председательствовал Илья Эренбург. Из известных поэтов с французской стороны были Луи Арагон, Жак Одиберти, Робер Деснос, Леон-Поль Фарг, Леон Муссинак, Тристан Тцара, Пьер Юник, Шарль Вильдрак.

Спустя годы Безыменский в пышной статье под названием «Триумф советской поэзии» презрительно отзовется о французах: «Их пребывание на сцене являло собой, честью заявляю, очень унылое зрелище. Они робели, как малыши, читали стихи по бумажке, дрожавшей в их руках, читали тихо».

Конечно, за границей такого опыта поэтических вечеров, как в СССР, не было. Про товарищей Безыменский в мемуарах пишет, что после тихих французов Луговской «так грохнул начальные строки своего стихотворения – аж люстры задрожали», а Кирсанов, читая «Поэму о Роботе», запел («музыкальный ритм фокстрота полностью слился с топочущим стихотворным ритмом поэмы»), Сельвинский исполнил три итальянские песни из стихотворения «Охота на нерпу», и все они, как отмечали парижские газеты, произвели на публику благоприятное впечатление.

Однако Луговской в письме к Сусанне на следующий день после выступления жалуется:

5 января 1936. Париж.

Здравствуй, милая Сузи, Сузи сан!

<...> Я пришел с вечера. Наш вечер удался, зал был переполнен, успех большой, но меня, как всегда в Париже, подвел Арагон – читал первый, «разогревал» публику, что-то перепутали с переводами, и я не мог полностью дать то, что хотелось.

Читал я вещи негромкие, без свиста и плясок и пения и, несмотря на успех и всякие знаки внимания – остался недоволен...^[288]

В Англии он застаёт смерть любимого Киплинга. Поэта, которым он с юности увлечен, как и Гумилевым.

Открылась сразу на балконе дверь,
И вышла дама с белыми кудрями,
В седом воротничке и черном платье,
С ней господин, такой же черно-белый,
Надменный и прозрачный.
Стало тихо, хотя и до сих пор всё было тихо.
И дама оперлась концами пальцев
На балюстраду и легко сказала: –
Скончался Киплинг Редиард. Писатель. –
И повернулась и ушла легко.
И проповедник закричал: – Ребята!
Пожертвуйте хоть шиллинг или пенни

За упокой великого британца! –
Но проходили все, не глядя, мимо.
Какой-то темный, словно обожженный,
Я уходил оттуда тихим шагом,
Поднявши голову, засунув руки
В широкие карманы...

Так как поэты находились за границей несколько месяцев, они явно выпали из советской реальности, путешествуя где захочется, общаясь с эмигрантами, покупая вещи. Тревожное письмо Сусанны тому яркое подтверждение:

<Начало> 1936 года. <...> Посоветуй Сене вести себя лучше, а то как в театре, все все смотрят, видят и болтают много. *Помните!!!* Вы уехали очень быстро, только после опубликования поднялась шумиха со всех концов. Пленум, как ты знаешь, когда будет? Вот и все! <...> Помни заветы старой Багиры.

Не попадай «под стеклышко».

Держи фасон – граммофон. Ты советский поэт! Тебя ничем не удивишь. И все тебе не ново. У нас все лучше, не по Бороному Паст<ернака>. Из гостей всегда едут домой. Старайся *меньше* ошибаться. С Новым тебя годом!^[289]

Из письма понятно, что в Москве много говорят о них, о Кирсанове. Глухо доносятся разговоры, споры, суждения, сплетни о прежней поездке Пастернака. Сусанна явно тревожится, не слишком ли «привязался» ее муж к загранице. Где-то поблизости ходит «Христофорович», которому – напоминает она Луговскому – непременно надо из Парижа привезти галстук.

1936 год. Битва с формализмом

...Приятно сознавать, что есть такой Пастернак, который может еще говорить вслух то, о чем мы думаем потихоньку.

Из разговоров в кулуарах дискуссии о формализме 1936 года

Сначала в печати была развязана травля Шостаковича, начавшаяся 28 января 1936 года в газете «Правда» редакционной статьей «Сумбур вместо музыки», а вслед за этим была объявлена так называемая дискуссия о формализме. Дискуссии предшествовала разносная статья, напечатанная 10 марта, посвященная пьесе Булгакова «Мольер», – «Внешний блеск и фальшивое содержание». Генеральный секретарь Союза Ставский обвинил в формализме целый ряд писателей, в том

числе Федина, Пильняка, Вс. Иванова. К формалистам причислили и Дмитрия Петровского.

Пастернак после колебаний решил выступить. В письме к Тициану Табидзе он спустя месяц рассказывал, что сам ввязался в эту дискуссию.

Меня никто не собирался трогать, – пишет он, – я имел глупость заступиться за других, за Пильняка и Леонова. И позволил себе просто по-домашнему сказать, что газетные статьи мне не нравятся и я их не понимаю. Что тут было!^[290]

Удивительнее всего, что напряженный писательский зал, где каждый за последние годы привык к окрику или травле, во время выступления Пастернака хохотал, а в кулуарах писатели вдруг заговорили, поддерживая его высказывания. Все это зафиксировали агенты НКВД.

Пастернак говорил:

...Ведь мы тут в Союзе писателей. <...> Тут говорят о витиеватости и т. д., куда же мы тогда Гоголя денем? Ясно, что, если какая-то намеренная усложненность, усложненность без прока, то она отвратительна, она отмирает и безусловно отомрет. (С места: Об этом и идет разговор, ты просто не понял.) Тогда я беру назад все сказанное, почти все сказанное. Я хочу только предостеречь вас от произвола. Пусть не превышают свои полномочия авторы статей. Французская пословица говорит, что судить гораздо легче, чем быть судимым.

(Кирпотин: А Оскар Уайльд писал, что судить труднее.)

Тогда напрасно вы его не пригласили на дискуссию. (Смех.) <...> Месяца три назад я был преисполнен каких-то лучших надежд, я глядел с какой-то радостью вперед. Но судьба тех, как она на моих глазах протекает, глубочайшим образом меня дезориентирует...^[291]

Агенты фиксируют: получается так, что центральным событием стало выступление Пастернака. Подготовленная дискуссия дала сбой. Они отряжают в партийных кабинетах коммунистов и комсомольцев для того, чтобы дать отпор Пастернаку. Высказывают знаменательное суждение, что Пастернак пришел к антисоветским выводам.

Из донесений видно, как агенты нервно оглядываются на смеющихся, на хлопающих, как ищут группу поддержки поэта, выделяя Пильняка и Стенича, которые «поддержали Пастернака частыми репликами, возгласами и аплодисментами».

Главный вопрос, который мучает осведомителей: как он посмел? Они высказывают разные предположения. Им кажется, что Пастернаку придает силы встреча с французским писателем Мальро; или вот еще, может быть, Горькому не нравится дискуссия, а как-то хитростью Пастернак узнал об этом накануне и оттого так осмелел...

Представить, что человек может просто так думать, работникам НКВД не приходит в голову. Они ищут скрытый смысл.

Писатели заговорили свободно и раскованно. Словно сорвало резьбу, и все задвигалось, зашелестело: «А ведь он прав!» Отзывы, которые приводятся, принадлежат литераторам, связанным какими-то обязательствами с властью. Евг. Петров – работает в «Правде», Олеша – обвинил любимого Шостаковича в сумбуре и формализме и т. д. Пастернак, хотя бы на некоторое время, вернул всем чувство свободы.

Евгений Петров. Это первый человек, который говорит об искусстве на языке искусства. Исключительный человек по искренности. Говорит то, что думает. Так и нужно говорить об искусстве. Пастернак – это настоящая совесть нашего искусства...

Ю. Олеша. Я в общем очень доволен дискуссией. Аудитория хорошо себя ведет. И не похожа на побитых собак. Все веселы, все ржут. <...> Как я думаю – будет ли уничтожен теперь Пастернак, признают ли его выступление антисоветским? Я скорее склонен думать, что в официальном отчете будет сказано: «Пастернак в своей речи проводил обычные для него сумбурные взгляды».

Н. Асеев. О дезориентированности Пастернак говорил правильно: у меня самого все яснее определяется такое желание – перестать совсем писать на пару лет. Старое – не годится, как писать по-новому – не знаю.

Н. Зарудин. Пастернак сказал то, что должен был сказать Ставский, если бы он был честен. Писатель боится, не знает, что с ним завтра сделают. Кроме 3–4 человек – все не уверены в завтрашнем дне. Красноречивым примером является Мариэтта Шагинян. Она была вроде как знамя, а что с ней сделали? Теперь начнут прорабатывать Пастернака...

Б. Губер. Что же, можно только радоваться, что нашелся хоть один смелый человек, который сказал открыто то, что думает большинство об этих лакеях из «Правды». Важно то, что Пастернак хотя не назвал «Правду», но всем было ясно, что он говорит именно об этом. Его в длинной и нудной речи пытался опровергнуть Кирпотин, но ни на кого не действовали его пресные истины.

А. Гатов. Пастернак сказал еще не все. Ему тяжело, хотя его печатают всюду и восхваляют. А всем нам, над которыми издевается любая сволочь, <...> всем нам приходится халтурить, чтобы существовать как-нибудь, и то, что напишешь настоящее, – приходится держать в письменном столе. Мне горько сознавать, что меня на собрании ругать не будут. Я хотел бы, чтобы меня ругали <...> обвиняли в чем угодно. Я буду еще принадлежать не этим милиционерам и стражникам, а другим читателям, и они иначе отнесутся и оценят нас.

А. Барто (детская писательница). Пастернак говорил правильные вещи, но не в правильной форме. Речь его потрясающая. Он единственный сказал то, что у него на душе. Но он не учел обстановки, аудитории. Если бы то же самое он сказал в кабинете ЦК – это было бы и нужно, и уместно. А тут аудитория начала ему аплодировать, и получилось нехорошо. Боюсь, что у него будут теперь неприятности...

Лев Никулин. Отвратительное впечатление производит манера Пастернака ссылаться на то, что он якобы не умеет говорить, что он якобы «чего-то не понял». Все отлично понимает и учитывает. Поэтому его речь надо квалифицировать как контрреволюционную...

Иосиф Уткин. Он притворяется, что не умеет говорить. Это лучший оратор, которого я слышал. Все его заикания и экивоки придуманы заранее. Вся его ораторская беспомощность – кажущаяся^[292].

Как видно из стенограммы, выступление Пастернака вызвало и отдельные злобные отзывы тех, кого втайне раздражало, что при такой свободной манере разговора власть Пастернака почему-то не трогала, а они должны были трястись после каждого сказанного или написанного слова.

Пастернака заставили через несколько дней выступить снова, признав ошибки, однако, произнеся несколько малозначащих, хотя и примиряющих фраз, он тут же свернул и стал говорить по сути то же самое, что и на том памятном заседании. Объяснив слушателям, как важна для него партия и что она не раз выручала его в драматические минуты жизни, поэт снова заговорил по-прежнему – требовать от него саморазоблачений и унылых покаянных речей невозможно, этот жанр ему не удастся.

Мы уподобляемся тем фотографам, – утверждал он, – которым самое важное, чтобы хорошенькое личико получилось. Я говорю не о лакировке, не о приукрашивании фактов, это давно названо, с этим

борются и т. д. – я говорю о внутренней сути, о внутренней закваске искусства. Не торопитесь, подождите, вы увидите, что это очень спокойная мысль и может быть допустима. По-моему, из искусства напрасно упустили дух трагизма. Я считаю, что без духа трагизма все-таки искусство неосмысленно^[293].

Отзвуки дискуссий о формализме слышны в очерке популярного в Европе французского левого писателя Андре Жида «Возвращение из СССР»:

Как бы прекрасно ни было произведение, в СССР оно осуждается, если не соответствует общей линии. Красота рассматривается как буржуазная ценность. <...> Я думаю, многие молодые люди в СССР были бы удивлены, стали бы протестовать, если бы им сказали, что они несвободно мыслят. Обычно мы не ценим то, что имеем, к чему привыкли. Достаточно однажды побывать в СССР (или в Германии, само собой разумеется), чтобы осознать, сколь бесценна свобода мысли, которой мы еще наслаждаемся во Франции и которой иногда злоупотребляем. С того момента, когда революция провозглашена, победила и утверждается, искусство оказывается в опасности почти такой же, как при фашизме: оно подвергается опасности ортодоксии. Искусство, которое ставит себя в зависимость от ортодоксии, даже и при самой передовой доктрине, такое искусство обречено на гибель. Победившая революция может и должна предложить художнику прежде всего свободу. Без нее искусство теряет смысл и значение...^[294]

Сюжеты 1936 года. Путешествие Андре Жида в СССР

Горячка собраний. Бурные возлияния, дружеские пирушки в гостиницах, разговоры в кулуарах – «банкетно-писательская практика», как назовет ее Пастернак, захлестывала литературный мир. А на самом деле они были верным источником информации для НКВД.

Только что – в феврале 1936 года – прошел пленум по поэзии в Минске. Павел Антокольский – Виктору Гольцеву:

Витя, мой ангел, пишу тебе из этого дымного бардака, где все стоит дыбом, где огромное количество взрослых и иногда пожилых и престарелых мужчин являют собой, с одной стороны, советскую поэзию и литературу, с другой – зрелище жрущего, пьющего, орущего, неунывающего, развесистого калибана. Изредка являемся на заседания пленума. Это не ахти как увлекательно. <...> Очень много друзей,

близких людей, товарищей или просто приятных и занятных фигур. Ядро основной компании постоянно цементируется ужасным оборотом – воспаленным Петровским. Он облюбовал нечто вроде отдельного кабинета, где все мы, т. е. он, Пастернак, Тихонов, Спасский, грузины, Мирский – так сказать, столуемся. Он пытается быть тамадой, но в общем дело кончается какой-то путаницей, которая сегодня дошла до апогея, когда компания внезапно расширилась. В ней появились Заболоцкий, Мустангова, Асеев, еще кто-то, и особенно было дико – в дым пьяный Пильняк. Между ним и Петровским началась дурацкая пикировка, и мы никак не могли из нее вылезти, но смешили они оба нас здорово. В общем – образ жизни предельно ненормальный. Основное, интересное ожидается на докладе Суркова, а главное – после доклада. Чем это интересно, я, собственно, не знаю.

Пастернак абсолютно здоров, очень мил, весел, внимателен. К нему многие тянутся, и это естественно и приятно. Живу я в номере с Тихоновым, который мне еще милее. Он неутомим, массу делает (так в тексте. – *Н. Г.*), выскакивает все время в президиуме...^[295]

Тихонов и Пастернак эти годы проводят почти рядом. Но у Тихонова все более меняется рисунок жизни. Он активно выступает, читает доклады, сидит в президиуме. Это состояние, хотя и с некоторым ворчанием, что видно из его дружеских писем тому же Луговскому, он все более и более принимает.

Напротив, у Пастернака, который будет вынужден весь 1936 год проводить на виду, возникнет глухое сопротивление публичной жизни.

Тихонов перед Первым съездом писателей еще метался между докладами и творчеством. Судьба на прощанье, прежде чем его окончательно снесет во властную рутину, подарила ему последний достойный цикл любовной лирики, дружеское расположение Марины Цветаевой. Несколько лет он еще балансирует между поэзией, привязанностью к друзьям и требованиями политического момента.

Сразу после Минского пленума власть приготовила писателям и поэтам жестокое испытание, которое более всего коснулось Пастернака. Началось все с того, что по просьбе заместителя главного редактора журнала «Знамя» Тарасенкова Пастернак переводит стихи Андре Жида, с которым за год до того он познакомился на конгрессе в Париже. А 18 июня 1936 года Андре Жид прилетает самолетом Берлин – Москва. Во вместительном автомобиле писатель отправляется в гостиницу «Метрополь». В машине вместе с ним еще один французский писатель левых взглядов, приехавший раньше, – Пьер Эрбар, там же присматривающий за ними – Михаил Кольцов.

В гостинице Андре Жид встретился с Пастернаком. «Он невероятно привлекателен, – отмечает Андре Жид, – взгляд, улыбка, все его существо дышат простодушием, непосредственностью наилучшего свойства»^[296].

Утром А. Жид узнает о смерти Горького. Газеты, только что начавшие печатать фотографии писателя и радостные лица встречающих его советских людей, сменяются траурными полосами: гроб Горького в Колонном зале, траурная процессия, почетный караул членов правительства. Через два дня Андре Жид принял участие в его пышных похоронах, выступил с речью, постоял на Мавзолее рядом со Сталиным, который, впрочем, отказался от личной встречи с писателем.

25 июня в 4 часа Андре Жид вместе с Эрбаром отправились к Пастернаку на обед в Переделкино.

26 июня Андре Жид обедает у Бабеля, где был Эйзенштейн, с которым Бабель был связан дружбой и совместной работой над фильмом «Бежин луг». На обеде была и жена Бабеля Антонина Пирожкова, которая по наивности, или еще почему, пересказывала то, что происходило дома, некоему лицу под кличкой «Эманнуэль» (скорее всего, под этим именем скрывался литературовед Эльсберг, который мог вызывать доверие у Бабеля и его жены, так как работал вместе с арестованным Каменевым в издательстве «Academia»). Ему она подробно сообщит обо всем, что говорил гость за обедом.

Заметим, что Андре Жид находится под постоянным надзором. Но при этом почти каждый день его фотографии украшают «Литературную газету», соперничая даже со Сталиным, или же там печатаются отчеты о том, что он посетил или с кем встретился. Он восхищен и потрясен жизнью в СССР. Он выступает и произносит много возвышенных речей. Он поражен увиденным во время своей поездки.

Андре Жид едет в Грузию, оттуда через Крым – в Одессу, оттуда – в Абхазию и, не возвращаясь в Москву, – домой, во Францию. Из Грузии он пишет полное высокопарных слов открытое письмо Лаврентию Берию, проникновенно назвав свое послание «Прощание с Грузией». В письме были такие слова:

Должен добавить, что нигде в СССР я не чувствовал более верной, более влюбленной преданности великому делу восторжествовавшей революции, чем в прекрасной орденоносной Грузии, которая благодаря труду своих руководителей сумела сохранить, восстановить или вновь завоевать основные особенности своей истинной традиции...^[297]

Как удалось свободному французскому литератору так быстро обучиться повадкам наших писателей?

Заметка была напечатана в газете «Заря Востока» 1 августа 1936 года.

И вот во Франции появляется очерк Андре Жида «Возвращение из СССР». Он по-прежнему восхищен людьми и их делами, и молодежью, и детьми, но его пугает «унификация душ», «нивелировка личности». В СССР не существует свободы слова, все сводится к тому, насколько то или иное произведение совпадает с «генеральной линией, но никому не дозволено критиковать самую эту «генеральную линию». А тот, кто критикует, – уклонист, троцкист, буржуазный идеолог и садится на

скамью подсудимых. А истинный писатель, как представляет себе Андре Жид, всегда находится в оппозиции к режиму, он идет впереди, он движет прогресс...

Конечно же Сталин был в ярости. Столько усилий, и все напрасно.

В частности, Андре Жид делился такими впечатлениями:

В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот конформизм им не в тягость, он для них естествен, они его не ощущают, и не думаю, что к этому могло бы примешиваться лицемерие. Действительно ли это те самые люди, которые делали революцию? Нет, это те, кто ею воспользовался. Каждое утро «Правда» им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может. Надо иметь в виду также, что подобное сознание начинает формироваться с самого раннего детства... Отсюда странное поведение, которое тебя, иностранца, иногда удивляет, отсюда способность находить радости, которые удивляют тебя еще больше. Тебе жаль тех, кто часами стоит в очереди, – они же считают это нормальным. Хлеб, овощи, фрукты кажутся тебе плохими – но другого ничего нет. Ткани, вещи, которые ты видишь, кажутся тебе безобразными – но выбирать не из чего. Поскольку сравнивать совершенно не с чем – разве что с проклятым прошлым, – ты с радостью берешь то, что тебе дают. Самое главное при этом – убедить людей, что они счастливы настолько, насколько можно быть счастливым в ожидании лучшего, убедить людей, что другие повсюду менее счастливы, чем они. Этого можно достигнуть, только надежно перекрыв любую связь с внешним миром (я имею в виду – с границей). Потому-то при равных условиях жизни, или даже гораздо более худших, русский рабочий считает себя счастливым, он и на самом деле более счастлив, намного более счастлив, чем французский рабочий. Его счастье – в его надежде, в его вере, в его неведении^[298].

В «Правде» 3 декабря выходит статья «Смех и слезы Андре Жида». Естественно, печать обрушилась на книгу и на автора – был, ел, пил, жил и не благодарен!..

Тогда же, на банкете в Союзе писателей в честь принятия новой Конституции, у Тарасенкова и Пастернака происходит разговор, окончившийся их полным разрывом. Поводом послужил очерк Андре Жида. В агентурном донесении от 9 января 1937 года приводится пересказ Пастернаком того разговора:

Б. Пастернак (рассказывая об этом кулуарном разговоре с критиком Тарасенковым): «...Это просто смешно. Подходит ко мне Тарасенков и

спрашивает: «Не правда ли, мол, какой Жид негодяй». А я говорю: «Что мы с вами будем говорить о Жиде. О нем есть официальное мнение «Правды». И потом, что это все прицепились к нему – он писал, что думал, и имел на это полное право, мы его не купили». А Тарасенков набросился: «Ах, так, а нас, значит, купили. Мы с вами купленные».

Я говорю: «Мы – другое дело, мы живем в стране, имеем перед ней обязательства»»^[299].

16 декабря 1936 года в «Литературной газете» была напечатана речь Ставского, произнесенная им на собрании членов ССП, где, в частности, были и такие слова: «Борис Пастернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с явной подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь»^[300].

Все это было невероятно опасно для поэта. Со всех сторон на него сыпались удары критики, которые могли закончиться арестом. Кроме того, растущее напряжение в обществе было связано с широкоидущими арестами, а затем и с августовским процессом и расстрелом участников так называемого троцкистско-зиновьевского центра.

Петровский. Дни заката

Незадолго до дискуссий о формализме состоялся творческий вечер Петровского в Союзе писателей.

Стихи Д. Петровского Б.Л. слушал очень внимательно и с удовольствием. Когда Петровский говорил, что его стихи и он сам, может быть, недостойны внимания собравшихся, то Б.Л. широко заулыбался, начал хлопать и кричать: «Достоин, достоин!..»

Во время чтения Б.Л. много и не раз аплодировал. Когда начались прения – ушел^[301].

Святополк-Мирский писал о поэзии Петровского:

Поэзия его непосредственна, стихийна, необузданна. Но непосредственность и стихийность Петровского очень далеки от того, что может казаться непосредственностью и стихийностью в Есенине <...> он соединяет величайшую непосредственность с органической усложненностью и изощренностью поэтического мышления^[302].

Словно не при советской власти писаны статьи критика, этого князя по рождению, который, купившись на уговоры Горького, приехал из эмиграции помогать укреплять позиции классической критики после разгрома РАППа. Святополк-Мирский пишет об анархизме и

стихийничестве Петровского, не понимая, что в СССР это теперь ругательные слова.

И словно в подтверждение этому в июле 1936-го уже рассматривается персональное дело Петровского, которое было вызвано статьей Усиевич в «Правде» «Формалистические выкрутасы», где она заявила, что последняя книга Петровского полна «формалистических извращений» и «высокопарного эпигонства».

На этом собрании 4 июля 1936 года присутствовали: Голодный, Чичановский, Петровский, Казин, Митрофанов, Мирский, Зенкевич, Асеев, Сурков, Луговской. Петровский, защищаясь, говорит о своей оторванности от Москвы, об отсутствии квартиры, апеллирует к дружеским чувствам собравшихся. Он знает, что за ним укрепилась репутация скандалиста, и понимает, что теперь игра в «поэтическое безумие» вполне может привести в лагерь, на нары, вслед за Ключевым, Васильевым, Смеляковым.

Испуганный Петровский пытается то вызвать жалость, то нападать. Наиболее ненавистен ему среди присутствующих Михаил Голодный, во внутренней рецензии написавший, что творчество Петровского – хаос, с которым он намерен бороться. Возможно, Голодный и был в чем-то прав, но драма состояла в том, что политика так тесно переплелась с творчеством, что никто, по сути, не мог понять, за что именно ругают поэта. За то, что творческий анархист, за то, что близок к Пастернаку, или его собираются, сделав троцкистом, отдать НКВД? Каждый из присутствовавших на собрании, пытаясь определиться со своим отношением к Петровскому, в первую очередь решал именно эту задачу.

А Петровский, понимая, что имеется в виду в подтексте, «простодушно» рассказывает, что болел и не мог выступить на дискуссии о формализме. Он говорит, что был партизаном и теперь в тяжелое для страны время ощущает себя военным, что он нуждается в дружбе товарищей по поэтическому цеху и что столкновение с ними происходит вовсе не из-за его грубости. Но также, что на самом деле никакой собственно поэзии сейчас нет и ориентироваться не на кого. «Кроме переводов Пастернака и Тихонова, я не видел крупной лирики. <...> Я анархистовал, но это чисто поэтический анархизм...»^[303]

Луговской пытается его защищать. Не успокоенный итогами своего обсуждения, Петровский не оставляет попыток оправдаться, а также объяснить, как получилось, что бывший красный партизан Петровский до сих пор не вступил в партию большевиков. 13 сентября он высылает из Харькова в Союз писателей текст автобиографии:

Прозываясь «анархистом», я мог присутствовать как равный, а часто и как старший, на всех партийных собраниях (не говоря уже об оперативных военных) в течение всей моей деятельности во время Гражданской войны. И это мое право оговаривалось в особом мандате, где указывалось, что я, хоть и именую себя анархистом, являюсь верным партии человеком, которому просят доверять, вполне как большевику. Хотя мандаты мои утеряны, но живы свидетели этого «странного» случая и этой организаторской моей роли «непартийного большевика» в армии и мирном строительстве^[304].

В архиве Луговского хранился экземпляр этого документа, набранного плотным шрифтом на машинке и занимающего около восьми страниц.

В феврале 1937 года, в преддверии столетия гибели Пушкина, которое будет широко отмечаться по стране, писатели собираются на Пушкинский пленум. Обсуждались вопросы: о творчестве Пушкина (докладчик А. Бубнов), Пушкин и советская поэзия (докладчик Н. Тихонов), проза Пушкина (Ю. Тынянов), драматургия Пушкина (И. Альтман).

Тихонов в своем докладе посетовал Пастернаку на его не пушкинское прямодушие в некоторых стихотворных циклах, неожиданно тему подхватили и обратили ее в понятное для тех дней русло Джек Алтаузен и Александр Безыменский. Но более всего удивило выступление Дмитрия Петровского.

Для Алтаузена и Безыменского поношение Пастернака было повседневностью, они так делали всегда. Для Петровского подобное выступление стало, по сути, развилкой в судьбе. Конечно, тут сыграло роль то, что в этот самый день на пленуме ЦК ВКП(б) из партии исключили Бухарина и Рыкова.

Все помнили, что именно Бухарин защищал Пастернака, и теперь с падением партийного лидера ожидалось скорое падение поэта. Что же сказал в тот день Петровский?

Пусть мне не говорят о сумбурности стихов Пастернака, – сурово изобличал друга Петровский. – Это – шифр, адресованный кому-то совершенно недвусмысленной апелляцией. Это – двурушничество. Таким же двурушничеством богаты последнее время и общественные поступки Пастернака. Никакой даровитостью не оправдать его антигражданских поступков (я еще не решаюсь сказать сильнее). Дело не в сложности форм, а в том, что Пастернак решил использовать эту сложность для чуждых и враждебных нам целей^[305].

Вспоминая о Пастернаке, драматург Гладков, присутствовавший на пленуме, недоумевал:

...Почему он сам (Петровский. – Н. Г.), подлинный тонкий поэт, присоединился к грубым, демагогическим нападкам на Пастернака? Понять это можно только, если представить психологию времени, насыщенного страхом и вошедшей в норму человеческого обихода подлостью^[306].

Главный упор на «антигражданские» поступки Пастернака делается Петровским не случайно. Так, рассказывая о событиях на собрании-митинге писателей, организованном в связи с расстрелами троцкистско-зиновьевской оппозиции, осведомитель обращал особое внимание на выступление Олеши, в котором тот «защищал Пастернака, фактически не подписавшего требования о расстреле контрреволюционных террористов, говоря, что Пастернак является вполне советским человеком, но что подписать смертный приговор своей рукой он не может»^[307].

Петровский несомненно знал об этом и был напуган тем, что его имя так часто упоминается рядом с именем Пастернака. Из всех сил он старался попасть в ряды своих. «Смерть гадам!» – так называлось его стихотворение, звучащее в унисон с заголовком обращения писателей «Гады растоптаны!», напечатанное 24 августа 1936 года в «Литературной газете».

Квартиры и дачи

*Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.*

Б. Пастернак

По-прежнему нам нет новой квартиры, и первую, освободившуюся в Нащокинском, которую все лето обещали мне, захватил Жаров»^[308], – писал Спасскому еще в сентябре 1934 года Пастернак.

Но квартира в Лаврушинском пришла одновременно с дачей, их надо было оплатить, что было непросто, тем более что Пастернак мало работал в эти годы. Дача была приобретена в расчете на возвращение родителей из Германии, откуда им необходимо было бежать, так как к власти пришли нацисты. Пастернак разрывался между страхом за их жизнь в Германии и пониманием того, что и здесь родителям жить опасно. Он и вовсе хотел отказаться от квартиры, считая, что им вполне

хватит одной дачи, но Зинаида Николаевна настояла на своем. Квартира им досталась от конференсье Гаркави, который похолостячки выстроил над двумя небольшими комнатами на восьмом этаже, кабинет и ванну на девятом, соединив оба этажа внутренней лестницей, что казалось некоторой роскошью, но на самом деле это были крохотные комнатки с маленькой кухней. Зато дача была очень большой, состояла из шести комнат и трех террас. Распределением дач занимался М. Горький.

Из Москвы в Переделкино поезд шел около часа.

«Дачи строились на широкую ногу, по пять-шесть комнат, – вспоминала З. Н. Пастернак, – и все они стояли в сосновом бору». Участок Зинаиде Николаевне не понравился, он был сырой и темный из-за леса, и поэтому, когда в 1939 году, после смерти писателя Малышкина, освободилась его дача, они переехали в небольшой и светлый дом.

Однако Пастернак терзался утяжеляющимся бытом, который все более закрепощал его.

Из Волхонской тесноты я попал в двухэтажный, наполовину мне не нужный дом, не только учетверяющий ежемесячное орудование тысячами и прочее, но, что посущественнее, требующий столь же широкой радости в душе и каких-то перспектив в будущем, похожих на прилегающий лесной участок, – писал он родителям в сентябре 1936 года. – Хотя напрасно я поэтизирую нравы поселка: при существующей кругом жизни они далеко не так безобидно невинны: может быть, и с радостью в душе меня бы так же оскорбляла нота жадности и мещанства, в нем сказавшаяся^[309].

Пастернак пишет близким о своей тоске по бедности, по прежней жизни с Женей и Женечкой. «Мне бы страшно хотелось остаться одному», – признается он. Дача становится на годы его убежищем.

Агенты НКВД докладывали, что писатели все чаще собираются не на пленумах и собраниях, а на дачах. Там они читают (!) друг другу еще не опубликованные произведения, обмениваются различными соображениями.

...видные писатели становятся центром особой писательской общественности, пытающейся быть независимой от Союза советских писателей. Несколько дней тому назад на даче Сельвинского собрались: Всеволод Иванов, Вера Инбер, Борис Пильняк, Борис Пастернак, – и он (Сельвинский. – Н. Г.) им прочел 4000 строк своей поэмы «Челюскиана». <...>

В беседе после читки почти все говорили об усталости от «общественной суматохи», идущей от общественной линии. Многие обижены, раздражены, абсолютно не верят в искренность руководства Союза советских писателей, ухватились за переделкинскую дружбу как за подлинную жизнь писателей в кругу своих интересов^[310]. Седьмого августа 1936 года Гольцев пишет из Тбилиси жене:

5-го я решил проводить Пастернака в Переделкине. Машина, которая должна привезти оттуда Беспалова, утром заехала за мной. Через 27 минут я был на месте (это за Кунцевом). Дома для писателей построены в лесу и на опушке в местности очень привлекательной. Это именно дома, а не дачи: солидные, двухэтажные, оштукатуренные; внутри с электричеством, террасами и балконами, но все разные. У Пастернаков участок похуже, чем у Леонова, Ясенского, Федина и Павленко, но все-таки очень хорош. У них 6 комнат и огромная кухня, в которой можно танцевать. Особенно хорошо наверху. Чудные окна – большие, вытянутые в ширину.

Смотрел я на все это с одобрением, но никакой зависти не испытывал. Ведь, в сущности, на черта нам была бы нужна такая махина?^[311]

Хотелось бы обратить внимание на чрезвычайно странное обстоятельство, мимоходом описанное в одном из писем Луговского. Почему-то на участке дачи Павленко оказались могилы (!), к которым ходили родственники покойных. Письмо было отправлено 27 октября 1936 года:

Позавчера я, Коля и Саша Ф. ездили на машине навещать Петю Павленко. Ну и насмотрелись мы сказочного жития «переделкинцев». Петин дворец стоит на кладбище – т. е. не в фигуральном, а в буквальном смысле слова. В его ограде находится 40 с чем-то могил с памятниками, живыми цветами и мертвыми гирляндами, которые навещают живые родственники. Живущий рядом Федин имеет в своем ведении 6 памятников. Дачи красивые, но какие-то неуютные, печи потрескались. Осень, грустное поле, элегические кресты и т. д. Дачи выстроились как солдатики. Издали блещет голубое палаццо Вс. Иванова.

Пробыли у Пети до вечера, слушая нечеловеческий вой младенцев. Петр живет наверху в гигантской комнате, где стоит 1 диван, 1 столик, 1 бюро и 3 стула. Щели в полу такие, что в них свободно проскочут карманные часы. Заходили и на дачу Федина. В ней 6 комнат. Приехав в

Москву, пошли в «Националь», но не «загуливали», тихо-тихо беседовали^[312].

Что же касается Луговского, то для него в эти годы квартирный вопрос выходит на первое место. Уже несколько лет, как они с Сусанной живут раздельно, общей крыши нет. В 1935-1936 годы напряжение в отношениях нарастает, и кажется, что все ссоры закончатся, когда будет общий дом.

Двадцать седьмого сентября 1936 года он пишет о Лаврушинском переулке (из всех своих поездок, с курортов, он пишет о будущей квартире):

Неприменно постарайся увидеть Петю Павленко в смысле квартирном – он многое может сделать. Ходят слухи, что его посадят в Союз на работу. Я много думаю о квартире – потому что это новая и человеческая жизнь для нас с тобой. Я буду о тебе заботиться, буду рядом с тобой, у нас будет общая жизнь – как это славно!^[313]
Какой ты была, я теперь не припомню,
Я даже не знаю, что случилось с тобою.
Остались жилищные площади комнат
И общее небо, для всех голубое, –

напишет он после расставания с Сусанной. Татьяна Луговская рассказывала в письме драматургу Леониду Малюгину летом 1938 года, как была вынуждена поселиться с Луговским, когда от него ушла Сусанна:

И вот я перебралась к брату – дабы окружать свою мать и своего черта-брата уютом и заботами. Не люблю я эту квартиру. Вообще я, как кошка, привыкаю к своему месту, а этот дом как-то особенно мне не подходит. И вот слоняюсь я по пустым комнатам и никак не могу отыскать себе место для работы – слишком уж его много.

Работать очень неохота, а работы много, и вся она срочная.

Когда ночью в пустой квартире поэт Луговской ловит по радио из-за границы тягучие, заунывные, выматывающие душу – до того грустные – фокстроты, с этого дела можно повеситься, а уж выболтать что-то лишнее – наверное. Поэтому сейчас пойду, накричу на него для порядку (я сейчас за главную у них) и велю писать стихи^[314].

Квартирный вопрос для части писателей был решен. Из обитателей дач и квартир складывался новый класс советской аристократии, отделенной от всех остальных жителей страны. Союз писателей становится распорядителем не только квартир и дач, но и званий, орденов, изданий, машин, путевок в Дома творчества и других благ. Путь к этой касте людей лежал через Литинститут, а иногда через многотиражки заводов и фабрик, откуда пришли «ударники, призванные в литературу».

Поэты: первое советское поколение

В Москве весна. Проходят парады и демонстрации. Из черных тарелок репродуктора во всех коммуналках доносятся речи из зала Дома Союзов, где один процесс сменяет другой. Звучит пение Лемешева и Козловского, и снова голос Вышинского.

А молодые люди полны счастья и своих личных горестей. Юная ученица Луговского по Литинституту поэтесса Маргарита Алигер пишет ему в мае 1936 года о демонстрации, Сталине, о дружбах и недружбах, о Женьке Долматовском, самом близком друге:

У нас в связи с новым районированием Москвы (теперь-то ведь 23 района) здорово затянулась демонстрация. Собрались нормально, в 10 утра, а на площадь попали ровно в 6 вечера. Это с Кудринской-то. Ну, всю дорогу было весело, пели, прыгали, Толя Тарасенков дразнился (то есть не «ся» он дразнил, а «мя»).

А у Никитских ворот, туда мы попали часов в 5, начался ветер, тучи, дождь, ливень, темнота.

Тогда лишь началось веселье: дождь льет, а мы кричим: «Нет дождя!», поем песни, идем не спотыкаясь, только Володя Замятин закрывает прическу газетой, а у Левы Шапиро прическа промокла, и выяснилось, что он лысый. А на Красной площади было чудно. Дождик стал тихим, а у Мавзолея совсем прошел, незаметно для нас. Сталин стоит страшно свой и хороший. Из дому ему принесли полинявший, выгоревший серый плащ, мы несли несколько больших портретов Сталина, Ленина, Горького и Пушкина. Пушкина за 19 лет впервые вынесли на демонстрацию. Мы шли близко, во второй колонне. Сталин заметил, начал всех толкать, показывать, и все они улыбались и радовались. Чудно было. <...>

29-го мне было очень плохо. Меня и всех нас, всех моих товарищей, очень обидел один поганец, одно ничтожество. <...>

Владимир Александрович, мне все-таки плохо. Очень одиноко. У меня нет настоящих друзей, настоящей дружбы, такой как хочется, и тогда, когда хочется. <...>

Как-то я сразу попала в эту литературную среду, не дружную, злобную, обидную. И никак не найду выхода, не найду себе других хороших товарищей.

Вот теперь уже серьезно завидую, что Вы там с чекистами. Ведь вот, наверное, чудные люди. Я их очень люблю, даже понаслышке.

Мы с Женькой (Долматовским. – Н. Г.) всегда мечтали иметь таких друзей, и вот нет и нет...^[315]

Девушке всего двадцать лет, и она принадлежит к первому советскому поколению, не знающему никакой иной жизни, кроме той,

которая их окружает. Долматовский познакомит Маргариту со школьным другом Даниилом Даниным, а потом их компания пополнится и Ярославом Смеляковым, с которым у Маргариты будет недолгий роман. Смеляков исчезнет – его три раза будут отправлять в лагеря, но он будет возвращаться.

Смеляков относился к такому новообретению советской власти, которое называлось «ударники труда, призванные в литературу».

Мария Иосифовна Белкина рассказывала:

Это было на катке. Ко мне пристал парень, на вид – рабочий. Когда я несколько раз упала, он поднял меня и сказал:

– Слушай, ты мне нравишься, давай с тобой поженимся. Мне дадут комнату в общежитии, карточку. Я ударник, призванный в литературу, меня выбрали на собрании, мой роман ведет сам Ставский. Ты грамотная?

Я сказала, что закончила десять классов, он ужасно обрадовался и сказал, что я ему буду помогать исправлять ошибки. А уже в 1937 году, в Литинстуте, я сидела на собрании, за мной стоял парень, ногу он поставил на стул, прижав коленкой мою толстую косу. Я недовольно повернулась, что-то ему сказала и выдернула косу. Лицо у парня было похоже на того ударника, призванного в литературу. Он сказал мне:

– Ишь ты, какие мы нежные.

А кто-то сказал ему:

– Эй, Смеляков, убери ногу со стула!

Я удивилась, что это Смеляков. Мне очень нравилось его стихотворение про Любку Фейгельман. Спустя время я или прочла, или мне рассказала Маргарита Алигер, что его действительно «призвали в литературу», однако он был очень талантлив. Поэтому все равно бы рано или поздно туда попал^[316].

Это поколение выросло в углах коммуналок. Им выпало воевать и пережить настоящие тяготы войны. Их неприхотливость, стойкость оказались незаменимыми в военные годы.

И при этом многие из них преклонялись перед поэзией Пастернака. Чувствовали, что он открывает для них неизвестный мир. Их общим другом стал Павел Антокольский, ровесник и товарищ Пастернака; они называли его просто Павлик. Доброта и душевная щедрость Антокольского сдружила несколько поколений поэтов; все находили приют в его небольшой квартирке в Большом Левшинском переулке на Арбате.

В конце 1936 года шла бурная подготовка к Пушкинским торжествам. Улицы, дома, магазины, стены – везде портреты поэта. Словами Пушкина, иллюстрациями к произведениям открывались газеты и журналы.

Бедный Пушкин! – писала Екатерина Старикова в своих воспоминаниях о тех днях. – Мы так любили его, по-домашнему, по-детски любили. И вот его выволокли на площадное торжище, и он пошел в ход разменной монетой. И мы участвуем в этом нечистом карнавале, входим в него с восторгом, а выходим с отвращением. К середине тридцать седьмого года я уже не могла слышать имени Пушкина и надолго перестала его читать^[317].

Хроника 1937 года

В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет.

Б. Пастернак. Из разговора с А. Тарасенковым в 1939 году

Я являюсь барометром в литературе и с каждым новым забранным врагом моя стрелка приближается к «ясно».

Из выступления на собрании Харьковской писательской организации

По этому году можно продвигаться, пожалуй, так же, как Данте по кругам ада. Страна в 1937 году, кроме столетия со дня смерти Пушкина, праздновала 20 лет Октябрьской революции и юбилей ЧК – ГПУ – НКВД. Созываются съезды и пленумы, одни банкеты сменяют другие, а тем временем ночами идут аресты, следователи выбивают показания, разворачиваются процессы, за ними следуют расстрелы.

16 января. Луговской выступает на вечере в Днепропетровске. «Шесть столиц. Встречи и впечатления» – так написано на маленькой желтой программке. «Новые стихи из новых книг, ответы на записки». С 12 января он объехал с выступлениями Харьков и еще несколько городов Украины. Записки Луговской сохранил, но, к сожалению, нельзя узнать, что поэт отвечал своим слушателям на вечере. Некоторые вопросы удивительны: помимо пожеланий прочесть то или иное стихотворение, признаний в любви, есть и такие: «Чувствуется ли еще в советской поэзии, хотя бы в какой-либо степени, – влияние Есенина?», «Ваше мнение о А. Жиде и ваше отношение к нему». Публика знает про антисоветскую книгу, было постановление в «Правде», но настойчиво спрашивает: «Как вы расцениваете книгу, написанную Андре Жидом о СССР, которую он написал после поездки в СССР?» Слушатели упорствуют, хотя знают, что это опасно. «Не встречались ли вы с Андре Жидом, и каково его самочувствие? Не

собирается ли он во второе путешествие по СССР?» Или же: «Почему Вы ничего не сказали о литературных направлениях Запада?» «Почему Вы рассказываете только отрицательное, смешное и нелепое о Европе? А культурного и красивого Вам не удалось увидеть?» Интересно, что отвечал поэт на такой вопрос. Вот записка от товарища Петрикова, он подписывается, демонстрируя этим определенную смелость: «Из газет мы знаем, что на Западе есть кое-какой прогресс, у Вас же сплошная жуть и разорение. Не перегиб ли это в приливе благодарности за поездку?» Конечно, товарищ Петриков был абсолютно прав, однако таковы были правила игры. Луговской не мог не услышать голос людей, которые не только любили его стихи, но и видели его слабости.

И еще записка: «Как вы относитесь к поэзии Пастернака?»

24 января. В день, когда начался процесс над Пятаковым, Радеком, Серебряковым, в дневнике Афиногенова сделана следующая запись:

Разговор с Пастернаком: «Я буду говорить откровенно. Мне трудно выступать. Что сказать? Можно сказать так, что опять начнется плохое. Меня будут ругать. Не поймут. И опять на долгое время я перестану работать. Жена упрекает меня в мягкотелости. Но что мне делать?»^[318]

Пастернак страдает не только морально, но и эстетически – от стилового уродства власти. В письме к Тихонову от 1937 года он презрительно иронизирует: «...кругом такой блеск, эпоху так бурно слабит жидким мрамором...»^[319]

Процесс «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и чествование Пушкина месяц спустя развернутся в одном месте – в Колонном зале Дома союзов. В эти дни «Литературная газета» вышла с заголовком: «Никакой пощады троцкистским выродкам, кровавым собакам фашизма!» Потоки брани, которые лились на головы бывших вождей и крупных деятелей государства, продолжались и на пленуме, посвященном Пушкину, но уже применительно к писателям-врагам.

10 февраля. В этот день должен был открыться Пушкинский пленум. Но случилось событие, нарушившее весь распорядок. «Умер Орджоникидзе, – записано в дневнике Афиногенова. – Вчера ночью вдруг позвонили – таинственный голос сообщил – несчастье, о том звонили телефоны и голоса говорили шепотом, хотя он умер в половине шестого утра»^[320].

Теперь уже известно, что после поголовных арестов руководителей верхнего и среднего эшелона наркомата тяжелой промышленности, после ареста брата и его семьи, последней каплей был расстрел Пятакова, который, по сути, и вел все дела наркомата (Орджоникидзе до последней минуты верил, что процесс будет просто показательный и Пятакова отпустят), и вот после всего – «не выдержало сердце пламенного Серго», как писали газеты. Афиногенов записал подробности того дня:

Ночью – напротив гостиницы – у Дома Союзов копошились люди. Еще смерть его была секретом, а они уже кричали и деловито примеряли деревянные каркасы, на которых надо было растянуть портрет и траурные знамена с цифрами 1886–1937. <...> А наутро огромный портрет и знамена колыхались над домом <...>. Но вот особенно забегали чекисты, строже стала милицейская цепь... Подъехала большая черная машина, обтекаемая длинная красавица; открылась дверь, вышел человек, стройный в солдатской шинели, правая рука – в кармане, прошел кто-то... Потом начали подъезжать машины и из них выходили вожди^[321].

С нескрываемым восхищением, изгнанный и проклятый драматург наблюдает за тем, как вожди выносят гроб с телом, как садятся в автобус... И среди них Он – в солдатской шинели, которого, как Бога, страшно называть даже по имени...

В этом же зале, завешенном траурными лентами и флагами, на следующий день должны открыться торжества по поводу смерти Пушкина.

От всего веет смертью.

Угадывание знаков власти

За эти годы сложилась система особого распознавания сигналов власти. Если Сталин утверждал, что вредители есть, то они появлялись. Разумеется, не было ни постановлений, ни решений, происходило массовое гадание о том, что хочет вождь.

...Но приходит час, и злая свора
В тишине притонов и квартир
Предает изменнику и вору
Наш прекрасный, исполинский мир...
Мерзостью несет, могильным тленьем:
Разговор зверей в тифозном сне.
А за ними – кровожадной тенью
Троцкий в докторском пенсне.
Делит он долины и заливы,
Воробьем снует у наших карт.
Будь ты проклят, выродок блудливый,
Осло-мексиканский Бонапарт! –

написал Луговской в те дни.

Мейерхольд каялся, чувствуя, что и ему подан знак. И даже Булгаков угадал, что к 60-летию вождя нужно написать пьесу.

Чудилось же ему и Елене Сергеевне, что исключения, аресты Литовского, Киршона, Авербаха, Афиногенова и других – это возмездие Сталина и за его, Булгакова, унижение. Они тайно верили, как верил Мастер, что Воланд отомстил за него.

Но ведь многие, кому казалось, что они угадали властную волю и бросились ассистировать верховному постановщику, впоследствии были сметены и перемолоты.

Пастернак отказался от угадывания. Не потому, что был смел, а потому, что не умел играть чужую роль. История с дискуссией о формализме яркое тому подтверждение.

Е. К. Дейч рассказывала, как после войны к ее мужу А. И. Дейчу, возглавлявшему в Гослите секцию национальных литератур, пришел Пастернак; все вместе они вышли на улицу. И вдруг поэт громко заговорил о том, что невозможно мириться с тем, что множество людей сажают, отправляют в лагеря. «Мы его стали останавливать, – вспоминала Е. К. Дейч: «Борис Леонидович, говорите тише, это же опасно». Он ответил: «Я не боюсь, пусть сажают, в тюрьме тоже люди живут, помните, как на картине Ярошенко»».

В те же дни начинала подниматься над горизонтом номенклатурная звезда Тихонова. И хотя в многочисленных документах, связанных с процессами «ленинградских писателей», он фигурировал как организатор «террористической группы» и на него было накоплено огромное число выбитых под следствием показаний, арестован он не был.

Считается, что спасла его Пушкинская речь, произнесенная на пленуме. Современники вспоминали, что Сталину понравился Тихонов: он воспевал Пушкина так, что всем было ясно – речь идет о вожде. Тогда, видимо, и случился у Тихонова некий внутренний обмен: жизнь на талант. Он угадал.

Плотность событий тех дней показывает общую обреченность всех и вся. В конвейере лиц, их падений и гибели – нить держал в руках один-единственный человек.

На Пушкинском пленуме Луговской выступил против Сельвинского.

А вот возьмите «Челюскиану» Сельвинского, – говорил он, – не понимаю все-таки, если говорить серьезно и глубоко, почему формальный изыск здесь, в этой поэме, сводится к тому, чтобы без конца менять ритмы, менять размеры, вводить прозу и т. д. Ведь умение людей писать всеми размерами еще не вводит нас в подлинную поэзию^[322].

В апреле, спустя месяц после этого выступления, вышла статья Луговского в журнале «Молодая гвардия», где он изобличает не только Сельвинского и Пастернака, но и... себя:

...Темнота Пастернака – это очень часто зашифрованная мысль, которую поэт нарочито не хочет прояснять. Для нас всегда останутся по-нехорошему загадочны странные строки Пастернака о японском землетрясении. <...> В нашей поэзии имеется очень много неоправданно-темных мест, отпугивающих читателя. Смотрите, например, у Луговского...^[323]

Спустя несколько лет, в эвакуации, в Ташкенте – на Алайском рынке, Луговской будет сидеть как нищий и просить милостыню. В поэме «Алайский рынок» поэт скажет о себе:

Я видел гордости уже немало,
Я самолюбием как черт кичился,
Падения боялся, рвал постромки,
Разбрасывал и предавал друзей...

Поэтов, против которых были обращены речи выступающих, на пленуме не было. Об этом напомнил Тихонов. Сельвинский и Пастернак появились на трибуне пленума только 26 февраля.

Незадолго до описываемых событий, 5 февраля 1937 года, Сельвинский написал письмо старому другу Зелинскому – «Корнюшону»:

Дорогой мой, любимый Корнелий! Когда я читал твое письмо, вернее – твою работу, я плакал как маленький. На меня нахлынуло то настоящее, что было когда-то в нашей дружбе. Давным-давно никто не говорил со мной с такой человеческой теплотой и заинтересованностью в моей поэтической судьбе! Ты все-таки очень хороший, чудесный человек. Жаль мне тебя больше, чем себя, потому что жизнь твоя удалась еще меньше моей, а себя я считаю совершенно явным неудачником. <...> Я не знаю, где Пушкин брал силы для работы в эпоху Николая. М. б., они накапливались от ненависти. Пушкин слишком ясно видел, что Николаевская Россия это то, что нужно свалить. А мне – много труднее! Я знаю, что нет на свете страны лучше, величавее и справедливее, чем наша. После поездки по Европе – я глубоко это понял. <...> А между тем в партии меня не любят, голоса моего не слышат, в силу мою не верят – и от этого я дряхлею, как силач, живущий без женщины. Я знаю, что если бы мне дали хоть немного теплоты – я мог бы создать какие-нибудь аховые вещи. Но я глубоко убежден, что партия совершенно выключила меня из своих пятилеток. С этим я примириться не могу, потому что чувствую себя целым Кузбассом, требующим планирования и роста^[324].

Кажется, будто письмо это писалось в расчете, что прочтет его не только друг Корнелий, но и кто-нибудь сверху. Поймут, прочувствуют его готовность творить на благо страны. Однако Сельвинский услышан не был: в апреле того же года выходит постановление Политбюро о снятии его пьесы как «антихудожественной и политически недостойной советского театра».

25 января. Состоялся банкет в ЦДК, связанный с Пушкинскими торжествами. Подробности того, что там происходило, описаны в документе, который по жанру нельзя рассматривать иначе как донос. Петровский пишет секретарю партийной организации Гослита П. Е. Безруких, человеку с темной биографией. И хотя написано письмо 12 августа 1937 года, касается оно достопамятных событий 25 февраля:

Я вижу, кто *падает*, и сам помогаю им падать (Кулику), о котором я тебе говорил еще в феврале (об инциденте на банкете в ЦДЛ 25/II). Верно, помнишь? Я тогда же сигнализировал. Ты, кажется, не досидел на банкете нацменов и Госиздата 28 февраля в Союзе, ушел раньше, чем я *выступил*? Я тогда же *сигналил*. При встрече расскажу подробнее, если ты не помнишь. Ты знаешь, что я на Украине кое-что смыслю, и эта теперешняя чистка меня радует очень сильно. Наконец-то чистая метла метет эту «с одного поля ягоду». Верю, что дометет до конца всю нечисть^[325].

Петровский, гонимый все прежние месяцы, приходит к спасительной, как ему кажется, мысли, что бежать впереди стаи безопаснее. Он «сигнализирует» о своих украинских товарищах. Одним из них был Иван Кулик, секретарь украинской делегации, к августу 1937 года уже осужденный. Петровский возвращается к тому банкету именно в августе, хотя прошло уже полгода:

P.S. Впрочем, лучше всего мне самому рассказать тебе весь комплекс моих наблюдений, приводящий меня к подозрительности, а не отсылать тебя к расспросам: 25 февр<аля> группа писателей, преимуществ<енно> оборонных, была приглашена с Пушкинского пленума в ЦДК для отчетной встречи. Я был там тоже. После доклада, во время банкета, Паоло Яшвили произнес речь (тост в честь тов. Сталина), в которой сказал, что Грузия вправе гордиться такими сынами, как тов. Сталин, как покойный Серго. За столом президиума вспрыгнул Ив. Кулик (представленный неделю назад как враг народа) и закричал (завопил истошным голосом): «Мы Вам *не завидуем!*...» и... упал в обморок, так что вся речь его в этом истошном возгласе и заключалась. Все были неприятно поражены этой сценой. Тягостную паузу прекратил т. Вс. Вишневский, заявивший, что он «продолжит речь Кулика, которому стало дурно». Он сказал о том, что и Украинская, как и др<угие> республики, имеет своих героев, и ей, как и другим, принадлежит тов. Сталин. В общем, он вывел всех из неловкости. Что он сам и президиум подумал о Кулике, я не знаю, но Кулик через день опять появился на пленуме. Я был этим выступлением возмущен, будучи уверен в провокационном умысле этого выступления и падения после первой возмутительной фразы. Я был уверен, что этот обморок – шантаж. Мое мнение разделяли и Луговской, и Н. Тихонов, с которыми я возвращался с вечера. Я считал необходимым потребовать от Союза (т.

Ставского) привлечения Кулика к ответу за эту провокацию, но Луговской и Тихонов меня отговорили, убедив меня, что и без меня было кому это намотать на ус. Я успокоился. Однако 28 февр[аля] (т. е. через 3 дня) на банкете Госиздата в Союзе, где был и ты, я просил тебя сесть со мной рядом, но тебя куда-то уволокли, и я сидел рядом с П. Яшвили. Паоло опять произнес свой тост о Сталине, и немедленно вслед за его речью вспрыгнул на стол (прямо на стол) поэт Первомайский (ближайший друг Ив. Кулика) и начал свою речь опять с противопоставления Грузии и Украины. Меня передернуло, и я не удержался и крикнул с места: «Ты хоть не падай!..» Он стоял на столе, на что он ответил: «Вы, Петровский, *тоже* украинец, но я *стою на ногах крепче, чем Вы*». После чего (предупрежденный уже моей гневной репликой) закончил речь лояльно. Я тем временем подумал, что, м. б., я своей открытой фразой (бросавшей мост к тому случаю с Куликом) нарушил необходимую для дальнейших наблюдений конспирацию и что необходимо отвлечь эту ассоциацию. Я поднялся и (после речи Первомайского) сказал в объяснение брошенной реплики, что я имел в виду тенденцию прежней националистической генерации украинских писателей, которые, изображая *в символе* революцию, начинали былью «тій успив же віи з коня» (это цитата из Тычины – ярого националиста, имени его я не назвал). «А я говорил этим поэтам, – продолжил я, – что надо писать «тай *сівто наін* на коня». Вот в этом смысле я и бросил реплику, тем более что некоторые украинцы забывают, что Климент Ефремович Ворошилов – *украинец* (из Луганска). Вот за него я и предлагаю выпить...» Никто не поддержал моего тоста, и я вынужден был выпить один. Ты, верно, к тому времени уже ушел с банкета и этой сцены не видел. Украинцы набросились на меня тут же с ругательствами (чуть не с кулаками): «бездарность!» и «зридник», «позорное явище» (явление)! и т. д. Особенно усердствовал сидевший против меня поэт Рыльский и вот этот самый Турчинов. Я спросил Турчинова, чего это он так ратует? При чем тут он? Видел бы ты его морду при этом, тогда бы ты не сомневался, как не сомневаюсь я, что это контрреволюционер. И, по-моему, он под предлогом переводческой работы связан с украинцами совсем для других целей и заданий.

Трагикомичность этого текста очевидна. Калейдоскоп драматических поз, выкриков, ненависти, перемешанной со страхом. Писатели, переходя с собрания на собрание, с пленума на пленум, напиваясь на банкетах, вынуждены постоянно быть друг у друга на виду, боясь и ненавидя друг друга. Собственно, это тоже входило в замысел постановщика. Но любопытен и конец этого документа:

...В особенности это становится ясно сейчас, когда вскрыт не только Ив. Кулик, но и Первомайский (сжегший свою переписку с Куликом после его ареста и за это исключенный из президиума Союза писателей Украины, и только!!!). Шайки эти далеко не все разоблачены. И на Украине, как всегда, стараются сейчас умыть руки, сбросивши за борт

(покой) Кулика. Дескать – «довольно одной *очистительной* жертвы». Где же тут логика? Тем более что у друга Кулика под носом, когда он был секретарем Оргкомитета пис<ателей> в самый ответственный период (после раскрытия украинской контры в 1932–<19>33 гг.), были взяты писатели-фаш<исты>. <...> После чего с их ведома и поощрения рекомендован был и избран (уже после этого гнусного выпада против Сталина) в члены ЦК КПБу – сей Ив. Кулик??? Что все это значит? Маска одного и того же лица передвигается по очереди. Вот и все. В этом я глубоко убежден. Да и наивностью было бы думать иначе. Я тебе это рассказываю как настоящему большевику, имеющему прямое отношение к нашей писательской организации и достаточно авторитетному и ответственному, чтобы заняться этим и поговорить обо всем этом где следует.

Я, правда, писал на днях Ставскому, но несколько сдержаннее. Я просто напомнил ему о том случае, которому он был свидетель. Был он, как помнишь, и на том банкете Госиздата, где я бросил *свой сигнал*. Он ушел скоро после моего выступления. Но у него сейчас личное горе и работа над <читинскими> выступлениями. Он может не восчувствовать этого сигнала. Поэтому неплохо заняться этим и тебе.

Голодный же – прямой друг этого самого Первомайского, и я уверен, что неспроста, если вспомнить, что он бывш<ий> троцкист.

Я сначала не хотел тебе все писать по почте, но потом решил, что все же нужно, так как ехать в Москву мне некогда.

Разберешь ли ты мои каракули? Постарайся. Дм.

P.S. Обо всем этом я говорил 11 августа здесь в Харькове на общ<ем> собр<ании> писателей Харьковск<ой> организации, да и не один я говорил, говорили все. Но в резолюции этого всего не записали. Почему? Неизвестно (видно – своя рубашка ближе к телу).

Дм. П. ^[326].

Про Голодного Петровский пишет не случайно, мы помним, как тот выступал против него на собрании, говорил, что его «поэзия – хаос». Заключительный банкет после Пушкинских торжеств происходит на фоне длящегося февральско-мартовского пленума партии, итогом которого станет арест Бухарина и Рыкова. Партийный пленум рифмуется с литературным.

На пленуме измученный Бухарин пытается объяснить ревущему залу, почему он объявлял голодовку, отчего хотел, но не смог покончить с собой.

Бухарин. <...> Я не могу выстрелить в себя из револьвера, потому что тогда скажут, что я-де самоубился, чтобы навредить партии; а если я умру, как от болезни, то, что вы теряете?

Смех. Голоса с мест: Шантаж!

Ворошилов. Подлость! Типун тебе на язык. Подло. Ты подумай, что ты говоришь.

Бухарин. Но поймите, что мне тяжело жить.

Сталин. А нам легко?^[327]

27 февраля 1937 года Николая Бухарина арестовали. К этому все и шло. Пастернак успел послать Бухарину телеграмму, которую тот получил накануне ареста. В ней поэт писал: «...никакие силы меня не заставят поверить в ваше предательство». Телеграмма пришла в Кремль, и Бухарин, как вспоминала его жена А. Ларина, плакал, говоря: «Ведь это он против себя написал». Над Пастернаком был уже занесен меч НКВД.

28 февраля. Тарасенкова и Д. П. Святополка-Мирского в передовице «Правды» обвинят в неумеренном восхвалении Пастернака. С этого момента Тарасенков отходит от Пастернака, а в № 6 «Знамени» напишет покаянное письмо о том, что он неправильно понимал его поэзию.

Святополк-Мирский будет арестован 5 июня 1937 года, но уже с 1934-го Гронский стал «приглядывать» за ним. Правда, в 60-е годы он с гордостью вспоминал, как делился своими сомнениями по поводу Мирского со Сталиным и как тот распорядился дать задание Ягоде, «чтобы он этим персонажем занялся».

Бесконечно длящийся пленум перекинется теперь уже на ленинградскую землю. Он начнется 17 марта.

18 марта. Тициан Табидзе в Ленинграде. На 21 марта у него назначен вечер. 18 марта поэт и переводчик Бенедикт Лившиц, как и Пастернак, Тихонов, Заболоцкий, все эти годы близко связанный переводами с Грузией, пишет Гольцеву: «Ваше письмо я только что показал Тициану. Он просит сообщить Вам, что Москвы он не минет и конечно же встретится с Вами. Его вечер назначен на 21. Думаю, что у нас ему успех обеспечен»^[328].

А сам Тициан тоже пишет Гольцеву:

Все время хотел выехать в Москву, но Н. С. Тихонов не пускает. Дело в том, что пленум тут начался только 17 марта, думали, продолжится два дня, но сегодня записалось 52 человека, вечер же мой назначен на 21 марта. На вечере выступят Тихонов, Тынянов, Чуковский, Федин, Зощенко и другие, вообще я в Ленинграде не имею ни часа отдыха, приходится днем и вечером бывать в гостях. Оказывается, весь Ленинград состоит из моих друзей. <...> Вчера на пленуме встретил с Вл. Ставским, при всех сказал, что московский вечер был исключительный. Вообще на пленуме здесь горячие денечки – кроют безбожно друг друга, самокритика в разгаре, но Николай Семенович всегда в прекрасном настроении, ему меньше всех достаётся...^[329]

Бенедикта Лившица арестуют 26 октября 1937 года по ленинградскому «писательскому делу», в тот же день в Тбилиси будет взят и Табидзе. Перед арестом им, как и Мандельштаму, дадут возможность съездить в Дом отдыха.

Картина тех мартовских дней всплывает в материалах дела Бенедикта Лившица.

В 1937 году у меня дома собрались Тихонов, Табидзе, Стенич, Юркун, Л. Эренбург и я. За столом заговорили об арестах, о высылках из Ленинграда. Тициан Табидзе сообщил об аресте Петра Агнияшвили, зам. пред. ЦИК Грузии, близко связанного с Табидзе. Далее разговор перешел к аресту Мандельштама, которого Табидзе хорошо знал. Тихонов сообщил, что Мандельштам скоро должен вернуться из ссылки, так как заканчивается срок, на который он был осужден. В связи с этим зашел разговор об арестах среди интеллигенции^[330], –

записано в протоколе допроса Лившица в начале 1938 года. Несмотря на заведомо неправдоподобный характер показаний, полученных под моральным и физическим давлением, некоторые упоминаемые факты вполне могли иметь место, абсурдные и надуманные сведения иногда переплетаются с реальными событиями. По этим документам видно, что в писательской среде разговоры о текущих арестах не прекращались.

2 апреля. В те же дни Табидзе, видимо, оказавшись в Москве, встречался с Пастернаком. Луговскому он дарит книгу с надписью: «Дорогому другу и мужественному поэту Владимиру Луговскому с надеждой договорить все о любви в Грузии. Тициан Табидзе». Когда Луговской приедет туда в декабре 1937 года на празднования в честь Руставели, Табидзе в городе уже не будет. Луговской поселится в номере с Гольцевым и Антокольским. Темы их бесед наверняка касались погибших друзей.

3 апреля. Симон Чиковани пишет Гольцеву из Грузии о том, что происходит в Тбилиси после того, как они все вернулись домой:

После нашего приезда у нас было общее собрание об итогах пленума, которое длилось три дня, я был вынужден выступать и защищать Пастернака от этих неблагодарных свиней. Я сказал, что Пастернак сделал большое политическое дело, переводя грузинских поэтов, и что он вообще лучший поэт союза. Своим выступлением я пристыдил некоторых близких здешних друзей Пастернака, которые выступали против него. Мое выступление было для них неожиданностью. Они не думали, что я громко скажу истину^[331].

2–4 апреля. Везде проходят заседания и митинги по итогам февральско-мартовского партийного пленума.

4 апреля. Отрешен от должности Ягода. Арестован и Леопольд Авербах. «Отрадно, что есть Немезида и для таких людей», – записала в этот день в дневнике Е. С. Булгакова.

5 апреля. Афиногенов заносит в дневник мрачные мысли:

Ведь все уже думали, что я арестован и препровожден в тюрьму, говорят, в немецких газетах писали об этом, да и на собрании поговаривали – что-то не ходит Афиногенов, наверное, он там же, где Авербах...^[332]

21 апреля Антокольский и Луговской выезжают в Баку подготавливать антологию азербайджанской литературы.

Я живу здесь довольно интересно, – пишет Антокольский 7 мая Гольцеву. – Первое, что следует упомянуть, это огромное количество работы, уже сделанной и отчасти предстоящей. Собственно, это главное развлечение. Затем идет город. Воздух, море, нефть, толпа, драки, пение, черные ночи с нордом и пароходными сиренами, и главное – нефть, нефть, нефть красавица, кормилица. Потом – народ, не похожий на наших друзей грузин и еще больше на армян. Приветливые, честные, безалаберные, но – работяги. Вся наша бригада состоит из трех человек: Луговской, Панченко и я. Алигер вчера уехала в Москву... С Луговским мы дружим заново. Это все-таки большой страстный человек, много видевший и хорошо запомнивший. Автомобильная катастрофа в Париже его немножко состарила, но это украшает нашего брата, нечего вечно ходить в мальчишках...^[333]

23 апреля. Из дневника Елены Сергеевны Булгаковой: «Да, пришло возмездие. В газетах очень дурно о Киршоне и об Афиногенове».

25 апреля. Елена Сергеевна Булгакова пишет, что их с Булгаковым встретил на улице Валентин Катаев. Говорили о Киршоне и о том, что арестован Крючков – секретарь Горького.

26 апреля. Постановление президиума правления Союза писателей о последней книге поэта В. Луговского, где говорилось, что в сборник его произведений вошли политически вредные тексты. Луговской был потрясен. В Баку несколько раз принимался писать письмо на имя Фадеева и Павленко и, по всей видимости, так его и не отослал. Один из вариантов сохранился в семейном архиве.

29 апреля. Письмо друзьям:

Дорогие товарищи Саша и Петя!

Я сижу в Баку, по поручению Союза работаю по 10 часов в сутки, хотя мне нужно отдыхать с Вами в Крыму. Я совсем болен, и мне совсем невесело. Ставский послал меня сюда, ибо я отвечаю за тюркскую антологию, а лечение потом.

Вы знаете, что меня жестоко проработали за стихи юношеских лет, написанные в 1923 году и вновь напечатанные в 1934-м (1935-й поставлен авансом). Дело это поставили на президиум Алтаузен и

Жаров. Фактически проработка только начинается. 11 лет все читали эти стихи и ничего мне не говорили. В РАППе мне указывали на то, что в них сквозит любовь к России и вообще они с националистическим душком. Я согласился напечатать их, чтобы показать в «Однотомнике» весь путь свой от «Сполохов» до «Жизни». А «Жестокое пробуждение» было для меня этапным стихотворением – прощался со многим дорогим для меня в русской жизни – прощался для перехода к новым мыслям и новым задачам, к новой пятилетке. Эти стихи любили, их хвалили.

Теперь я, русский поэт, органически русский, любящий свою родину так, что и не стоит касаться этого святого для меня дела, жестоко, с огромной болью отказавшийся во имя Революции от многого бесконечно дорогого для меня, – должен принять на себя обвинение в том, что я ненавидел Россию. Я сделаю это – так, значит, нужно, – я верю в то, что говорит партийное руководство Союза. Но разве это правда? Я-то еще жив и знаю, кто я – русский с головы до ног, верный и преданный родине человек. Объясните мне это, старые товарищи, – потому что гордость русского советского человека и поэта для меня дороже жизни. Я писал 22-летним парнем об ушкуйниках, олонецких лесах, о страшной тьме и об удали старой Руси.

И нет еще стран на зеленой земле,
Где мог бы я сыном пристроиться,
И глухо стучащее сердце мое
С рожденья в рабы ей продано.
Мне страшно назвать даже имя ее –
Свирепое имя родины...

А мне говорили коммунисты раньше о том, что это национализм, что я не признаю других стран, не хочу быть сыном другой страны, что у меня нет чувства интернационализма, что я с рождения отдал себя в рабы России и скрывал это, не хочу даже назвать черное от обид и жестокости имя «Русь».

В «Жестоком пробуждении» я с последней нежностью прощался со всеми юношескими чувствами к России, а мне говорили тогда, что я восхваляю ее.

Но эти стихи ведь знают 8 лет все критики, писатели и много, много читателей. Они любили «Жестокое пробуждение». Теперь меня будут прорабатывать «во всех организациях», как сказано в постановлении. Но я не боюсь этого. Я одеревенел. После «Свидания», «Большевиков пустыни и весны», «Полковника Соколова» и «Кухарки Даши» мне это как русскому человеку не страшно – я вижу сейчас «Книгу доблести» о русских людях («Соколов», «Кухарка Даша», «Комиссар Усов», «Плотник Борис» и т. д.), и любой алтаузен мне скажет, что я перестроился по постановлению Президиума и пишу соответственно о родных моих по крови и Революции, потому что мне указали так писать. Разве у нас коммунисты в Правлении не знают, скажем, «Кухарку Дашу» или им все

равно и не дорог человек, а дорога буква и строка? «Жестокое пробуждение» на Президиуме назвали контрреволюционными стихами, а я их писал пусть глупо, пусть жертвенно, но целиком для Революции. Где же правда? Внутренняя, настоящая правда художника? Значит, не нужны ни муки, ни жертвы, ни раздумья – весь сложный и тяжелый путь художника, пусть даже совсем скромного? Скажите мне это, старые товарищи, и я буду писать, как Лебедев-Кумач, или совсем не буду писать. <...> Дело в том, что вместо совета и помощи от Союза каждый момент можно получить оглушительный удар по самому дорогому чувству – национальной гордости человека. К сожалению, для меня эта национальная гордость – не маленькое дело. «Жившие без племени, без роду», – писал я в «Правде» о троцкистах. А я всегда жил с племенем и с родом, об этом вы, товарищи, хорошо знаете. Русская моя земля, Революция – вот самое дорогое, что у меня есть. Мне очень тяжело сейчас, и я не знаю, как буду я писать, потому что я деревянный. Напишите мне об этом, дорогие товарищи, и поймите меня.

Я дам статью, и признаю свои ошибки, и сделаю все, что нужно раньше, чем придет от вас ответ, и, по возможности, объясню все, что нужно объяснить, но сердце-то не металл, и если хоть одной душе на свете важно, чтобы я что-то писал потом – она должна разъяснить мне многое.

Мне нужна не помощь и не защита, нет, нужно объяснить, иначе творческий нерв не будет работать. Вы русские люди, вы коммунисты, вы всегда были мне друзьями, вы талантливые писатели, честные люди – объясните мне.

Сейчас, перед XX годовщиной Ок<тябрьской> Революции, каждая строка по-особенному освещает путь писателя, и я хочу отвечать за каждую свою строку, и, если она вредна – я без всякой жалости ее вычеркну, половину всего, что написал, вычеркну.

Крепко-накрепко Вас целую, милые товарищи. Ответьте.

Ваш В. Луговской

Баку. Отель «Интурист» № 450^[334].

Луговского били за то, что он не успел за новыми правилами игры, за то, что «не угадал», что революционный пафос сменяется имперско-патриотическим, и все, что было хорошо в 20-е годы, теперь вредно и опасно.

30 апреля. Афиногенов пишет в дневнике:

За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы? За что меня еще будут мотать и мучить, спрашивать и не верить, требовать правды,

хотя большей правды, чем я уже сказал им, – вообще нет в мире! За что все это?

Только за то, что я был несколько лет знаком с Ягодой. И считал это знакомство честью для себя, и равнялся по людям, которых видел там, и был совершенно уверен, что уж там, в доме Ягоды, не может быть никого, кто подвел бы политически или как-нибудь еще! <...> А кто, кто отказался бы от чести быть принятым у Ягоды? Фарисеи и лжецы все те, кто кричит теперь – распнись, кто смеется надо мной, моими искренними сомнениями и словами. <...> Неужели у нас можно судить человека и уничтожать его за то, что он не знал истинной сути комиссара внутренних дел, грозы всех чекистов, человека, который знал все про всех? <...> Неужели за то, что я знал Авербаха, не зная его сущности, меня надо распинать и кричать мне, что я протаскивал свои пьесы, дрянные и пошлые?

В тот же день Афиногенов делает запись о попытке самоубийства Беды Иллеша.

2 мая. Отпадение людей, – пишет Афиногенов. – Пустое пространство вокруг. Все напряглось до предела. Молчит телефон. Никто не решается снять трубку и позвонить, потому что вдруг да «уже»... Что – уже, никто пока не знает, каждый думает о своем, каждый боится за себя^[335].

20 мая. Итак – исключен. Вчера на заседании партгруппы я выслушивал хлесткие унижительные слова. Фадеев с каменным лицом обзывал меня пошляком и мещанином, переродившимся буржуазным человеком и никудашным художником. Он говорил как непререкаемый авторитет, и непонятно было, откуда у него бралась совесть говорить все это? Разве только от сознания, что у самого все далеко не чисто и сейчас твердокаменностью своей надо поскорее отгородить себя от возможных подозрений и послаблений. Печально. И прежде всего для него печально как для человека и писателя... Пришел Сельвинский, с ним говорили с полчаса. Он утешал и ободрял. О себе он говорит: «Пушкин умер в 37 лет, Лермонтов тоже, мне сейчас тридцать семь. Буду думать, что я уже умер, как Пушкин, и сейчас вместо меня живет другой человек, с интересом наблюдающий, как расправляются с памятью умершего Сельвинского»^[336].

21 мая. Арест Тухачевского. Затем следуют аресты и других крупных военачальников. Вслед за этим редеют и ряды руководителей ЛОКАФа (Литературное объединение Красной армии и флота) и журнала «Знамя». Арестовывают военного писателя Роберта Эйдемана.

Афиногенов позже запишет в дневнике:

Говорят, Эйдемана взяли прямо с Московской конференции, прислали в президиум записочку – выйдите, товарищ, на минутку. Он вышел. А ему предъявили ордер и увезли. А наутро человек в кожаной

тужурке пришел к Бутырской тюрьме, стал на колени и завопил: «Роберт Петрович не виноват, все это Тухачевский, я знаю, я все расскажу!» Это оказался сошедший с ума шофер Эйдемана^[337].

Тухачевский уже через два дня стал давать признательные показания на следствии. В кабинет к следователю привели его 13-летнюю дочь, сказали, что будут мучить и истязать у него на глазах. Он согласился подписать все что угодно.

На тайном сталинском постановлении о применении пыток расписались все члены Политбюро, Молотов наложил резолюцию: «Бить, бить, бить. На допросах пытаться».

Из всей редколлегии «Знамени» на свободе осталось четыре человека: Вишневский, Новиков-Прибой, Луговской и Исбах.

23 мая. Луговской пошел смотреть, как идет строительство его квартиры в Лаврушинском, видимо, будучи сильно нетрезв, подрался со сторожем, и в результате – обличительная заметка в «Литературной газете». Теперь понятно, что пил он особенно сильно в периоды самого острого страха.

28 мая. Елена Сергеевна с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым идут подавать заявление о квартире:

Сегодня днем была необыкновенно сильная, короткая гроза. Дождь лил с такой стремительностью, что казалось – за окнами туман. <...> Председатель правления Бобунов, который раньше бегал от нас, встретил как родных. Тут же показал список, в котором была фамилия Булгакова, говорил, что, конечно, мы имеем право на квартиру в Лаврушинском^[338].

Это тот самый Бобунов, который в записке о поведении Луговского пишет несколькими днями ранее: «Постройком так же не заявлял об ударе кулаком, или избиении, а только о бестактности тов. Луговского по отношению к сторожу по невыполнении его требований – чего отрицать нельзя».

Вокруг живут герои Булгакова.

11 июня. В «Правде» опубликовано сообщение Прокуратуры Союза о предании суду Тухачевского, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны и Якира по делу об измене Родине. Процесс был закрытый. О том, что на нем происходило, вспоминал в книге «Люди. Годы. Жизнь» И. Эренбург. В начале 1938 года он был у В. Э. Мейерхольда:

Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара. Вдруг пришел друг Мейерхольда командарм I ранга И. П. Белов и в возбуждении стал рассказывать, как судили Тухачевского и его товарищей. «Они вот так сидели – напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза». Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на его место».

Мейерхольд и Белов будут арестованы по одному делу. Вдова Белова рассказывала Юлиану Семенову, что ее муж возвратился с процесса, выпил бутылку коньяка, не закусывая, и прошептал:

Такого ужаса в истории цивилизации не было. Они все сидели как мертвые... В крахмальных рубашках, в галстуках, тщательно выбритые, но совершенно нежизненные, понимаешь? Я даже усомнился – они ли это? А Ежов бегал за кулисами, все время подгонял: «Все и так ясно, скорее кончайте, чего тянете...»^[339]

А. Безыменский писал в эти дни в газете:
Беспутных Путн фашистская орда,
Гнусь Тухачевских, Корков и Якиров
В огромный зал Советского суда
Приведены без масок и мундиров.

В эти дни на дачу к Пастернакам приехал на машине Ставский, собирающий подписи писателей под обращением с требованием вынести смертный приговор военным. Как пишет Зинаида Николаевна, она первый раз видела Пастернака настолько рассвирепевшим; он набросился на посланника с криками о том, что не он давал этим людям жизнь и не ему ее отбирать. Ситуация осложнялась еще и тем, что Зинаида Николаевна была беременна и умоляла подписать обращение ради будущего ребенка. Однако поэт сказал: «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет». Он сказал, что готов разделить участь погибших и погибающих. Ставский не мог решиться сообщить о бунте Пастернака наверх и пытался мирно «договориться» с ним, но все было тщетно. Его вызывали и к Павленко. «Боря отвечал, – вспоминала З. Н., – что дать подпись – значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки»^[340]. З. Н. не спала ночами, ожидая ареста, Пастернак же спал очень хорошо. Однако велико же было его потрясение, когда он увидел свою подпись рядом с другими. Он возмущался и даже написал письмо Сталину (о его содержании до сих пор не известно).

Поразительно, что исследователь гибели РККА в 1937–1939 годы О. Сувениров, размышляя о том, как быстро «сдавались» военные и губили собственных же товарищей, говорит о единственном мужественном человеке в то время, отказавшемся подписывать письмо с требованием вынести смертный приговор военным, – о Борисе Пастернаке. Но почему же все-таки Сталин оставил его в покое? Возможно, дело вовсе не в том, что он пожалел «юродивого». Просто крупные фигуры он использовал каждую в свое время. Так будет с Кольцовым, Ахматовой, Зощенко и другими. Возможно, однако, что до Пастернака просто не дошли руки.

28 июля. Целая компания – Луговской, Алигер, Симонов, Долматовский – снова выезжают в Баку.

Я живу как во сне, – пишет Луговской оттуда своей знакомой, – так скверно с нервами, так мучительно болит сердце. Об отдыхе думать не приходится. Хуже времени у меня не было. А мысли идут и идут, и хочется заснуть. Теперь, кажется, дела поворачиваются по-справедливому, и я начинаю это чувствовать, но я уже слишком устал^[341].

В отличие от своих молодых учеников, которые все воспринимали как должное, Луговской угнетен. Его поколение ощущает удары очень остро, ведь они искренне следовали за всеми революционными и послереволюционными изменениями, старались объяснить все временными трудностями, но представить, что каждый может оказаться под ударом, было невыносимо.

Тень друга. Июнь – июль 1937 года

*В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.*

Б. Пастернак

Летом 1936 года Пастернак пишет «летние стихи», посвященные друзьям Тициану Табидзе и Паоло Яшвили:

За прошлого порог
Не вносят произвола.
Давайте с первых строк
Обнимемся, Паоло!
Ни разу властью схем
Я близких не обидел,
В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.

Восьмого ноября 1936 года Табидзе ответит на эти стихи в письме к Гольцеву:

...Вы знаете, Борис меня любит и, конечно, преувеличивает, хотя его мнение и его отзыв меня до глубины души трогает и окрыляет. Ведь сейчас так трудно услышать слово друга, а я Бориса обожаю. Пишет он также о своих «летних записках» и Вас выводит виновником, как будто неудачные стихи, но ведь лучше Вас никто не знает, что это живая история – и Борис всегда пишет замечательно. Приятно быть виновником таких вещей^[342].

А Гольцев, находящийся в Тбилиси, рассказывает жене 29 сентября 1936 года:

Пастернак прислал мне письмо и новые стихи, посвященные друзьям в Тифлисе. Это большая вещь – 272 строки. Много в ней хорошего и немало слабого. Но идейно она не чересчур богата и значительна. Выведены в ней Паоло и Тициан. Оба, конечно, весьма довольны. Зато другие поэты уже подняли недоброжелательный вой, выражающий мне всякие обиды и претензии. Это скучно и утомительно. Вообще мне здешние поэты надоели изрядно своими тщеславием и грызней направо и налево^[343].

Для самого Тициана Табидзе два последних года проходят в тяжелой организационной суете. Он был назначен председателем грузинской секции на пушкинских торжествах. При этом его мучает астма, больное сердце, но он вынужден курсировать между Москвой, Ленинградом и Тбилиси. За ним уже вовсю идет слежка, письма вскрываются. В. В. Гольцев помечает прямо на конверте – «письмо вскрыто». Табидзе в апреле делится с ним своей радостью:

Получил от Бориса Пастернака и П. Антокольского письма, целую неделю ходил очарованный, Боже, какие у меня друзья и как я не стою их. Мне очень трудно им отвечать – так они меня тронули. Скоро соберусь в Москву и все расскажу. Немного застрял с Пушкинским комитетом. Председателем назначен Филипп Махарадзе, Лаврентий Павлович очень интересуется делами комитета, и мне как ответственному секретарю приходится много работать <...>. Дискуссия у нас проходит остро, меня временно не тронули, больше бывших «Леф» и Гамсахурдия^[344].

Летом произойдет последняя встреча всех друзей, описанная в воспоминаниях Марики Гонты. Но поскольку писались они много лет спустя, нельзя точно датировать то событие, хотя мемуаристка настаивает, происходящее – лето 1937 года. Воспоминания, несмотря на их временную сбивчивость, живые. Последний пир любящих друг друга людей.

Летом 1937 года на декаду грузинской поэзии приехали из Тбилиси поэты <...>. Мы, встречавшие их москвичи, почувствовали себя подавленными, сжатыми, согбенными. Мы забыли и разучились смеяться и только сейчас это обнаружили. Ужасное лицо Ангела смерти Азраила, чью бы душу родную, дружественную или чужую, ни выдернул бы он из нашего круга в этот долгий день всеобщего Йомкипура. И мы медлили перешагнуть невидимую на траве черту, чтобы пожать им руки, как будто бы на нас была зараза мрака. Декада прошла блистательно. Прославились новые поэты: Гамсахурдия, Валериан Гаприндашвили, Карло Каладзе. Борис Пастернак был в центре торжества. И был пир. Качеству стихов соответствовало качество вина, привезенного из Грузии. Союз писателей прибавил изысканный ужин: крабы, цыплята, шампиньоны. Накрыты четыре длинных стола в

двухсветном зале клуба на Поварской человек на двести. <...> Стихи, приветствия, тосты перелетали от стола к столу. Все знали и любили друг друга. За нашим столом, самым дальним, Антокольский, Луговской <...> Казин, Цагарелли. Наш тамада – великолепный Дадиани. Он сидит, как Сарданапал, в конце стола, да в другом месте и не поместился бы, он в полтора раза сильнее и шире, в шестьдесят лет моложе юноши. В его медной бороде в темном пламени кудрей блестит серебро, но он моложе всех, так светятся его глаза. <...> Все встали и, проходя, стали прощаться с первым столом, у которого стояли, последними покидая зал, зачинщики этой встречи – грузинские поэты и с ними вместе Борис Леонидович и Зинаида Николаевна.

Прощались. Красота врезается в память. Всякое глубокое наслаждение таит в себе печаль. Ослепительная белизна рубашки, черный костюм Паоло Яшвили. Совершенство его лица, приподнятость всей фигуры, которую придавали ей столбом растущие густые волосы.

Ослепительная белизна плеч его жены в рамке бархатного средневекового платья – прекрасная царица Тамара! Тициан Табидзе всегда напоминал мне прекрасного ребенка, выросшего до размеров юноши, не меняя гармонии формы. Сходство усиливалось короткой челкой и взглядом глубоких, нежных, «переполненных» глаз.

Борис Леонидович, оранжевый и жаркий от восторга, живо захваченный радостью, был как бы в невесомом состоянии. От избытка сил он неожиданно, увидев меня, схватил на руки и по широкой деревянной лестнице внес и поставил на хорах двухсветного зала. Такого не мог бы и Дадиани. «У меня было здоровое сердце», – написал он в главе о Марбурге. И предположить было невозможно, какой большой физической силой наделен Пастернак. Подумалось, что и стихи он пишет всем существом, как Надежда Обухова или Мария Каллас поют не только горлом, но всем дыханием. Никто не знал, что это был пир во время чумы. Последний взгляд^[345].

Гибель поэтов. Как это было

*Не бойся сплетен. Хуже – тишина,
Когда украдкой пробираясь с улиц,
Она страшит как близкая война
И как свинец в стволе зажатой пули.*

П. Яшвили. Обновление

(перевод Б. Пастернака)

*Не стрелял я из кремневого ружья,
Не лелеял, не ласкал глазами сабли.
Светом жизни, мирным братством дорожа,
Никогда войны кровавой не прославлю!*

Т. Табидзе

(перевод П. Антокольского)

Есть несколько свидетельств о последних днях Паоло Яшвили:

По воскресеньям его жена, студентка Политехнического института, отправлялась вместе с дочерью-школьницей к своим родителям. Накануне Яшвили взял свое ружье в местном отделении Союза охотников и отнес его в особняк писателей на улицу Мачабели. Написал несколько писем – жене, старшему брату Михаилу, дочери, Лаврентию Берия – и отнес на почту. На другой день, проводив жену с дочерью в гости и пообещав прийти позднее, отправился в Дом писателей. Поэт присутствовал на каком-то заседании, потом поднялся на второй этаж, где накануне припрятал ружье, и покончил с собой.

Поздно вечером, вернувшись домой, жена и дочь стали поджидать Паоло. В полночь явились агенты НКВД, два грузина и русский. Забрали все бумаги, фотографии, книги. Самым старательным оказался русский, он даже подушки вспарывал. Вскоре пришли письма Яшвили. «Если бы я не поступил так, – писал он дочери, – ты была бы более несчастна. Причина моей смерти та, что люди, которые являются настоящими врагами народа, хотели запятнать мое имя...»^[346]

Этих историй в тбилисской среде накопилось множество, скоро они дойдут и до Москвы, и до Ленинграда.

Прежде чем выйти из дома – предстояло ответственное писательское собрание, на котором его должны были выбрать куда-то, – он обзвонил ближайших друзей, просто чтобы услышать голос. Тициана уже не было дома. Опоздал предупредить его, чтобы не шел на собрание. Жена Тициана ничего не поняла и сердито повесила трубку. Он еще раз позвонил – позвонил, поговорил с Нитой, дочерью Тициана. По улице пошел с охотничьим ружьем. Объяснял встречным: «Взял из ремонта!» Из дома выбежал Гарольд, пес, с которым Паоло часто охотился. Тоскующий по хозяину Гарольд бросился к Паоло. Тот встал на колени перед собакой. Целовал ее, плакал. Спутник Паоло отвернулся. Потом с трудом отделался от собаки. Запер в комнате, предупредил соседей, чтоб не выпускали. Немного посидел на собрании, потом тихо встал и вышел....

Обернувшись к нему Тициану сделал знак рукой, чтобы не волновался, спиной двинулся к двери, прикрыл ее за собою, поднялся этажом выше, где оставил в одной из комнат ружье. В зале слышали выстрел, но сразу не поняли, что случилось. <...>

Первое, что сказал жене Тициан, когда немного успокоился: «Теперь моя очередь»^[347].

Все это произошло 22 июля 1937 года. Л. Берия, узнавший о самоубийстве Яшвили, многозначительно сказал: «Это логичный конец». С этого момента Табидзе почти ни с кем не общался, замкнулся, никуда не ходил. Вспоминают, что последний раз его видели на людях 12 сентября 1937 года.

От Табидзе на имя Гольцева после смерти их общего друга пришли две открытки. В них ничего не значащие слова о том, как отдыхает, его астма немного унялась, пишет поэму о Колхиде. Открытка перед арестом от Табидзе датирована 14 сентября 1937 года. В один из дней 18 писателей вызвали к Берии. От Табидзе он стал требовать, чтобы он высказался по поводу антисоветской деятельности Паоло Яшвили. Тициан сказал, что ничего не знает. Берия на этом не остановился, он читал протоколы допросов писателей с показаниями против Яшвили, но Табидзе твердил, что ничего об этом не знает. Тогда Берия отправил его домой со словами: «С женой посоветуйся!» Спустя несколько дней его исключили из Союза писателей. Товарищи шепотом предлагали сказать все, что требуется, о покойном друге, ему же все равно уж ничего не будет. Табидзе отказался. Арестовали его 10 октября. Расстреляли 15 декабря 1937 года.

Пастернак сначала узнал о гибели Паоло Яшвили. 28 августа 1937 года он написал его жене Тамаре:

Существование мое обесценено, я сам нуждаюсь в успокоении и не знаю, что сказать Вам такого, что не показалось бы Вам идеалистической водой и возвышенным фарисейством. <...>

Этот Паоло... которого я так знал, что не разбирал, как его люблю^[348].

Следующий удар Пастернаку был нанесен арестом Тициана Табидзе. Возможно, именно в 1937 году Пастернак прошел последнюю развилку отношений с властью. Гибель грузинских друзей он простить не смог.

Я всегда думал, что люблю Тициана, но я не знал, какое место, безотчетно и помимо моей воли, принадлежит ему в моей жизни. Я считал это чувством и не знал, что это сказочный факт.

Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности (тут присутствует, конечно, и бедный Паоло, думаете ли Вы, что его когда-

нибудь забуду!), становились на ходули, преувеличивали! Сколько оснований бывало всегда бояться, что из сказанного *ничего* не окажется правдой. И вдруг настолько все оказалось горячее, кровнее!

Как слабо все было названо! Как необычайна *действительная* сила этой неотступной, сосущей сумасшедшей связи!^[349]

Это из второго письма, отправленного в конце 1938 года Нине Табидзе.

Николай Тихонов, как мы помним, был связан с Грузией не меньше, а может, больше, чем Пастернак. Каверин в итоговой книге «Эпилог» писал, что после 1935 года страх стал более определенным. И когда происходили аресты, то вопрос «за что?» вызывал у всех ироническую усмешку. Шварц даже шутил: «А я знаю, да не скажу».

Но был в литературных кругах человек, – писал Каверин, – который без малейшего колебания, с полнейшей убежденностью подтверждал справедливость этих арестов. Это был Тихонов. «...» «Кто бы мог подумать, – говорил он, глядя прямо в глаза собеседнику, – что Тициан Табидзе оказался японским шпионом». Табидзе был его ближайшим другом, можно даже сказать «названным братом». Тихонов не только посвящал ему свои стихи, не только произносил за его столом бесчисленные тосты! Он *совершенно искренне* восхищался Тицианом как поэтом и человеком. Что же происходило в его душе, когда с видимостью такой же искренности он обвинял своего друга в измене Родине – ни много, ни мало!^[350]

Каверин считал причиной такого поведения охоту НКВД за Тихоновым. Сейчас стали известны материалы допросов тех, кто проходили по ленинградскому «писательскому делу». Это были Б. Лившиц, В. Стенич, Ю. Юркун, С. Дагаев, потом к ним присоединились Н. Заболоцкий, А. Введенский и другие.

Двадцать первого ноября 1935 года Б. Лившиц писал Леонидзе о совместных встречах друзей: «Вчера вечером у меня собрались несколько приятелей (Тихонов, Саянов и др.): мы пили здоровье наших грузинских друзей, грузинских поэтов до пяти часов утра, говорили только о Грузии». Через месяц он пишет о том же Тициану Табидзе: «У меня собрались несколько человек – Тихонов, Саянов и др. – мы всю ночь до утра ни о чем не говорили, кроме Грузии, каждый из нас, по своему опьяненный любовью к ней, хотел говорить и слушать только о ней»^[351].

Вскоре письма Б. Лившица будут фигурировать в его деле как содержащие свидетельства об антисоветских конспиративных собраниях.

В протоколах дела Дагаева – поэта и преподавателя английского языка, арестованного осенью 1937 года, – говорится о Николае Тихонове как о главном действующем лице заговора:

Антисоветской обработке со стороны Тихонова я стал подвергаться, – говорил на допросе Дагаев, – с первых же дней моего знакомства, и велась она в замаскированном виде... Он выбирал и печатал только те стихи, в которых мой уход от советской действительности был настолько ясен и открыт, что переходил в откровенное отрицание ее <...> в контрреволюцию. Это вполне соответствовало моим антисоветским взглядам.

Дагаев говорит о своих посещениях собраний у Тихонова, где «бывали почти всегда одни и те же участники организации: Бенедикт Лившиц, Вольф Эрлих, Антокольский, приезжавший из Москвы, Розен, Сапир, Шубин и жена Тихонова М. К. Неслуховская». Дагаев показывает, что в марте 1937 года Тихонов собирался послать в ссылку Мандельштаму 1000 рублей, будто бы «указав, что эти деньги ему необходимы для развертывания антисоветской работы»^[352].

Действительно, в 1937 году Мандельштам обращался к Тихонову с горестным призывом спасти его от голода, прислать ему в Воронеж денег. И, судя по данным допроса, деньги были собраны, хотя неизвестно, дошли ли они до поэта. В материалах следствия Тихонов выступал заказчиком террористических актов против Сталина, главой группы. Почти все, кто были взяты по этому делу, где они считались только исполнителями Тихонова, были расстреляны. А глава группы в 1939 году был награжден орденом и стал лауреатом Сталинской премии. Ни один из представителей власти, от простого следователя до Сталина, не верил в то, что они выбивали из допрашиваемых.

Сказать, что Тихонов не сочувствовал осужденным и свято верил, что они были только шпионами, было бы несправедливо. Он много лет поддерживал семью Юсуфа Шовкринского из Дагестана, писал просьбу наверх об освобождении Николая Заболоцкого, проходившего по его же делу. Можно сказать, что в те страшные годы – он умер. Не сразу, видимо, постепенно, ощущая отпадение то одной, то другой части своей поэтической души.

В 1937 году вышла его книга «Тень друга», ее главной темой стало предчувствие скорой войны в Европе.

В Париже говорили тревожные речи, – писал Тихонов в автобиографии, – но шли состязания военных оркестров и под веселые вальсы танцевали беспечные европейцы, а вся земля дышала порохом и гарью будущих разрушений. Я был так захвачен этим предчувствием,

что написал книгу «Тень друга», которую критики разругали за то, что я так пессимистично смотрю на будущее Европы^[353].

Пастернак почувствовал в книге нечто большее. 2 июля 1937 года он написал Тихонову письмо, полное самых высоких похвал.

«Здесь положение драматическое, а не мадригальное, – говорит он о сборнике. – И пусть тебе это не понравится, я, по-своему, ценю его выше».

Почему Тихонову не должно было нравиться, что Пастернак видит в его стихах драматичность? Это, видимо, связано с отголоском их последних разговоров о современности. Пастернак пытается убедить друга в том, что трагические ноты звучат даже помимо желания автора:

Сейчас все полно политического охорашиванья, государственного умничанья, социального лицемерия, гражданского святошества, а книга живет действительной политической мыслью, деятельной, отрывающейся в даль, не глядящейся в зеркало, не позирующей^[354].

Могло ли такое письмо не напугать Тихонова, польщенного, но понимающего, про *что* написано в письме полуопального поэта?

Их переписка фактически прерывается.

В конце 1938 года Тихонов делится с Гольцевым (14 декабря):

Бюро поэтов в Москве выбрали подходящее. И за Павлика я рад. И ниша его хорошая. Я ему напишу на днях о том, как я люблю его давно. И за Бориса рад, что он из своего домашнего изгнания возвращается к людям^[355].

Он очень аккуратно говорит о Пастернаке, ведь не может не понимать, с чем связано его «домашнее изгнание».

А Пастернак через год скажет Тарасенкову после того, как их отношения восстановятся:

Мы пережили страшные годы. Нет Тициана Табидзе среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. Пресса наша самовосхваляет нашу страну и делает это глупо. <...> В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть – даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза^[356].

Как уже говорилось, квартира Луговского тогда находилась этажом ниже квартиры Пастернака. Один и тот же подъезд, один лифт. А Тихонов приезжал в Москву работать над своим сценарием фильма «Друзья». Имена Тихонова и Табидзе возникают в том записанном разговоре рядом – и это сигнал о боли от потери одного и другого.

«Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически», – говорил Пастернак Тарасенкову.

Возможно, одной из причин их расхождения было отношение к судьбам погибших друзей. Пастернак физически не мог говорить о том, что кто-то из них посажен за дело, о том, что они шпионы. Зинаида Николаевна вспоминает, что муж буквально кричал, что уверен в их чистоте, как своей собственной, и что все это ложь.

Тихонов тосковал по другу. Это видно из письма их общему товарищу Гольцеву от 22 июля 1940 года: «...Напиши мне, пожалуйста, как выглядит Боря Пастернак и пишет ли свои стихи и какие и что думает и как он вообще. Я соскучился по нем. Ты пишешь, что он у тебя будет. Напиши о нем»^[357]. Это письмо – плач потери.

12-17 августа. «Безыменский исключен из партии» – фиксирует в дневнике Афиногенов. В этот же день Афиногенов видит, как арестовывают мужа Сейфуллиной – на соседней даче. «Узнал Сейфуллину и Правдухина... Выглянул в окно. Видны были силуэты людей, огонек папиросы. Приехали за Правдухиным, и он уже уходил. Потом Сейфуллина бегала назад в дом, стучалась, вынесла ему денег, пошла провожать»^[358].

Безыменского в партии восстановили в ноябре. А Правдухин был расстрелян в 1938-м.

26 августа. В Харькове проходит заседание, после которого Петровский отправляет свой донос П. Е. Безруких.

Первый выступающий:

То, что берут и арестовывают многих, – это закономерность. Посмотрите вокруг себя. Если благосклонно относиться к поступкам и фразам товарищей, то можно прозевать и шпионов. Таким образом, помогаем и партии и НКВД. Человеку с пятнышком можно прийти в свой коллектив и освободиться от ошибок...

Второй:

Я написал повесть о работе врага среди нас, на материале моих страданий в Союзе «За дымовой завесой».

Третий:

Я являюсь барометром в литературе, и с каждым новым забранным врагом моя стрелка приближается к «ясно»^[359].

Афиногенов и Пастернак. Переделкинские встречи

4-5 октября. Афиногенов сочиняет диалоги сцены «Первый допрос». Он представляет, что с ним будет. Какой характер и лицо у следователя. Как он будет разговаривать: жестко или нет. На нескольких страницах диалог со следователем – рассуждения,

размышления о жизни, о собственном психическом состоянии. Афиногенов еще никуда не ушел от пьес «Страх» и «Ложь».

Сл<едователь>. Вы сказали – вы приготовились, изменились... Значит, вы специально тренировали себя летом к разговорам здесь, к своему поведению, так?

Я. Нет, не так. Я, признаться, до самого конца не верил в глубине сердца, что меня могут арестовать. Даже когда взяли Киршона и мне стало ясно, что при всей объективности вашей вы просто не можете пройти мимо меня, не взяв... что дело только в сроке, даже и тогда я как-то не представлял себе, как это произойдет, и все надеялся на чудо, на то, что невиноватых брать не за что... Но чуда не произошло, и вы приехали за мной. Я был к этому готов, хоть, повторяю, и не верил. Но готов не в смысле вашего вопроса – просто во мне столько переменилось, так стало понятным <...> что жизнь моя наполнилась новым содержанием. И вот это содержание помогает мне переносить несправедливый мой арест с внутренней твердостью...

Он стал искать источник духовных сил не во внешних обстоятельствах, не в советской власти, а в самом себе, и происходило это не без помощи Пастернака.

Нужен был кто-то, кто оставался самим собой. Хотя бы один человек.

Когда я писал о радости моего открытия – «творческое прозрение», я имел в виду также и это – легкость походки и громадную внутреннюю свободу от всего, что стесняет или мешает. Теперь я уже совершенно понимаю Пастернака, когда он великолепно говорит о своей независимости от того, что создают ему люди, о своем умении находить объекты работы здесь, на пустой даче, в вагоне дачного поезда или в камере одиночки, где все-таки будет, как он говорит, кровать и табуретка, и он останется наконец один, без забот и волнений, со всеми своими мыслями об искусстве и его образах. Я понял, что это у него не фраза, не желание показать себя философом, это действительно достигнутая ступень внутреннего освобождения, могу с гордостью сказать, что я тоже на этой ступени, не только приблизился к ней, но и вошел уже на нее. И сегодня этому была новая проверка. Смотрел «Сталинское племя» – фильм о молодежном параде. Веселые лица, загорелые тела, радостные движения и сколько радости во всех них – и сколько их – не десятки тысяч, а многие и многие миллионы. И тут вот сидишь ты, выключенный из потока этой радостной жизни, думающий о

собственном аресте, ты, очень маленький и никому не нужный сейчас, кроме тех, кто подозревает, что тебя нельзя оставить на воле...

Как чувствуешь себя ты? Неужели тебе не жаль будет расстаться с этими шумными улицами, веселыми людьми, возможностями бурной жизни? Неужели не страшно – годы влачить одинокое существование в такой дали, что ты сейчас и названия ее не знаешь? Неужели нельзя ничего сделать, чтобы тебя поняли наконец, чтобы сказали тебе: не волнуйся, работай, покажи, на что ты способен, – и тогда приходи к нам, с радостью примем тебя тогда. И по совести я отвечал себе – нет, не страшно. Уже не страшно, ибо знаю, что везде есть жизнь и в той далекой жизни я сейчас куда нужнее, чем здесь, где меня только подозревают и никак нельзя доказать никому, что подозревать меня ни в чем и не надо. Все будут качать головами и гмыкать многозначительно, выжидаяще... Выжидание, бездеятельность – вот моя жизнь сейчас. И если б не этот процесс внутреннего очищения и роста – прямо головой в реку!^[360]

На страницах дневника он продолжает запись своей произнесенной речи:

Но что же произошло? А вот что. Взяли мирного человека, драматурга, ни о чем другом не помышлявшего, кроме желания написать еще несколько десятков хороших пьес на пользу стране и партии, – и сделали из этого человека помойку, посмешище, позор и поношение общества, вымазали его в самой смрадной грязи и выставили сохнуть на солнце, а проходившим мимо гражданам кричали: вот он, агент и бандит, смотрите, дети, на него, как он худ и бледен, как презирают все его.

И проходили граждане и презирали, и дети проходили и отворачивались, потому что вид наклепленной на меня грязи был действительно ужасен – комки ее висели как струпья, и не было видно ни лица, ни глаз – один измазанный обрубок навоза^[361].

В дни, когда пишутся эти трагические строки, Афиногенов тихо и смиренно живет в Переделкине и читает Достоевского и Шекспира. В его дневниках начинают появляться слова о том, как рад он этим гонениям, потому что может мыслить, читать, обдумывать жизнь. Почти каждый день он встречается с Пастернаком, разговаривает с ним, открывая для себя абсолютно иной мир: вне собраний, вне клеветы и сплетен – только творчество.

Разговоры с Пастернаком навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом, интересном, настоящем. <...>

Когда приходишь к нему – он так же вот сразу, отвлекаясь от всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждениями, выводами – все у него приобретает очертания значительного и настоящего. Он не читает газет – это странно для меня, который дня не может прожить без

новостей. <...> И будь он во дворце или на нарах камеры – все равно он будет занят^[362].

Проговорка про нары применительно к Пастернаку – не фигура речи; все понимают, что тот – несомненный кандидат на ближайший арест.

10 октября. Однако разочарования в бывших друзьях – самые болезненные. Афиногенов записывает очередные повороты судьбы, которые происходят с близкими друзьями:

А жизнь все не дает мне успокоиться. Сегодня пережил одно из самых горьких огорчений за последние месяцы. Я узнал, что Всеволод Иванов не только голосовал за мое исключение из союза, это уж пусть, за счет его слабости и желания жить в мире со Ставским. <...> Он настаивал на моем исключении и подписал письмо партгруппы с требованием исключения.

Моя первая мысль, когда я узнал это, была – пойти тут же в Москве в комендатуру НКВД и заявить, чтобы меня арестовали, чтобы меня увезли куда-нибудь очень далеко от этих людей, от этой удушающей подлости человеческой, когда он же, Всеволод, которого я *любил* глубоко и которому верил, он же сам утешал меня за неделю до этого, говорил, что он советовал Ставскому не исключать меня, что все еще может уладиться. Когда он же хвалил меня как писателя, мои пьесы, а там, на собрании, заявил, что они не представляют ценности. Когда его жена, очевидно, готовя его ко всему этому, приходила с ласковой улыбкой и брала займы две тысячи у человека, которого ее муж (она это знала) будет через три дня обвинять.

Как жить среди таких двурушников, трусов и слабодушных! Зачем ему понадобилось быть со мной в хороших отношениях, считать и называть меня своим другом, а потом – ударить в спину? Или, может быть, он боялся, что я «разоблачу», что дачу ему построило НКВД и истратило 50 000! Или он боится, что я «разоблачу», что именно он приезжал ко мне от Авербаха с просьбой прийти к нему и помириться? Или боится он, что станут через меня известны его теснейшие связи с Погребинским, Аграновым и прочими? Или, с другой стороны, хочет он этим выступлением купить себе наконец почет и уважение Ставского? Если так, он этого добился. Уже приезжают к нему с почетом и уважением, он назначен на время отъезда Ставского ответственным секретарем, его включают в разные там комиссии, он вот будет читать в зале Политехнического музея о Бородине – в том самом зале, где я осмелился выступить в его защиту тогда, когда Ставский и прочие травили его несправедливо...^[363]

Спустя два года уже Пастернак в разговоре с Тарасенковым скажет о близком в эти годы дачном соседе Всеволоде Иванове:

...делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу – искусство. Его, как медведя, выводили за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это – а потом снова лез в свою берлогу – в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике^[364].

Аресты и доносы

23 октября 1937 года. В этот день на имя П. Е. Безруких Петровский отправляет послание, от которого в архиве остались две последние страницы:

Два дня я продержал написанное письмо о В. <...> я понял, – что меня (как и Шолохова) раздражает в этом ходульном «храбреце». Хотел бы я его видеть на завалах. Патриотизм наш не нуждается в назойливом подчеркивании. Он существует и выражается в достойных формах. <...> Не следует ли присмотреться к этому человеку и к его дружбам и привязанностям? (политическим)^[365].

С большой долей вероятности можно утверждать, что речь идет о Всеволоде Вишневском. Именно за ним долгое время держалась репутация бравого вояки, который любит выхватить револьвер и погрозить им обидчику.

В июле 1937 года, после ареста Святополка-Мирского и заместителя ответственного редактора «Знамени» С. Рейзена Вишневский, бывший главным редактором, испугался и стал «сдавать» всех, кого мог. В секретной записке Ставскому от 20 ноября он пытается присоединить Петровского к уже арестованным членам ежемесячника: «Рейзен привлек Д. Петровского и напечатал его стихи со славословием Примакову»^[366]. Возможно, что Петровский таким способом предупреждал удар Вишневского.

На последних страницах доноса Петровского надпись красным карандашом: «Основное письмо послано в НКВД тов. Вепренцеву 13. IX. 37», для дальнейших разбирательств.

Это же имя появляется и в связи с арестом Пильняка, которого арестовывают 28 октября в Переделкине в день рождения сына. Дача Пильняка была в самом центре поселка. Рядом – дом Пастернака, калитка между ними не запиралась.

В книге «Рабы свободы» В. Шенталинский, много работавший с архивами Лубянки, пишет, что машина с сотрудниками НКВД пришла за

Пильняком поздно вечером. «Один, по фамилии Вепренцев, предъявил ордер на обыск и арест». Совпадение маловероятно – литераторами занимался ограниченный круг чекистов.

А в воспоминаниях Зинаиды Николаевны Пастернак говорится, что накануне ареста Пильняка у нее были именины, на которые она боялась приглашать семью Пильняка, поэтому они пошли к ним на следующий день, на день рождения сына.

На другой день, вечером мы пошли к Пильнякам. <...> Мы сидели у них, как вдруг подъехала машина и из нее вышел какой-то военный, видимо, приятель Пильняка, называвшего его Сережей. Этот человек сказал, что ему нужно увезти Пильняка на два часа в город по какому-то делу. Мы встали и ушли.

Рано утром прибежала к нам Кира Георгиевна и сообщила, что Пильняка арестовали и что всю ночь у них шел обыск. Она была уверена, что вскоре заберут и ее (тогда без жен не брали), и хотела отдать ребенка своей матери. Она не могла понять, почему этот Сережа, с которым он был на ты, не предъявил ордер на арест и увез его тайком^[367].

Мы не можем сказать, был ли этот приятель Пильняка Вепренцевым или это был другой знакомый чекист. О близости писателей и НКВД мы расскажем в следующей главе. Здесь важно заметить, что это притяжение играло в жизни литераторов роковую роль.

1 апреля 1935 года К. Чуковский записывает в дневнике:

Странная у Пильняка репутация. Живет он очень богато, имеет две машины, мажордома, денег тратит уйму, а откуда эти деньги, неизвестно, т. к. сочинения его не издаются^[368].

Пильняк был другом Пастернака, о чем прекрасно знали в НКВД. Зинаида Николаевна пишет, что с этого момента она ждала, что возьмут и мужа, как ждали и Сельвинские, и Погодины, и все вокруг. Но Пастернака уже могли посадить несколько раз: за связь с Бухариным, за нежелание подписывать коллективные письма. Кроме того, Пильняк под пытками на допросах много раз поминал Пастернака.

В 1937 году в Переделкине было арестовано двадцать пять человек.

За две недели до ареста Пильняк пришел к гонимому Афиногенову и посоветовал ему уехать куда-нибудь, работать журналистом. Намекал ему, что надо скрыться от глаз власти, чтобы она забыла о нем.

Луговской, видимо, так и сделал. С середины 1938 года около двух лет он не показывается дома – живет в санатории в Крыму, ездит по прифронтовой западной полосе. Дом становится наиболее опасным

местом – невыносимо, оставаясь в своей квартире, ожидать каждую ночь ареста.

24 октября 1937 года. Афиногенов продолжает осмысливать новый опыт:

Для романа – обязательно о двух человеческих типах: Пастернак и Киршон. Киршон – это воплощение карьеризма в литературе. Полная убежденность в своей гениальности и непогрешимости. До самого последнего момента, уже когда он стоял под обстрелом аудитории, он все еще ничего не понимал и надеялся, что его-то уж вызволят те, которые наверху. <...> И – второй образ, Пастернак. Полная отрешенность от материальных забот. Желание жить только искусством и в его пульсе.

Умирают люди. Умереть придется и мне. Я уже умер, прежний. Как сквозь дым или густой туман, вспоминаю я о прежней жизни теперь. Ведь я был когда-то драматургом. Я же пьесы писал, и стоит открыть ящик шкафа, там увидишь их. Я ходил в театр, любил его, мог просиживать ночи на репетициях, и просиживал. Потом я попал под поезд, меня искромсало, и все обо мне забыли. Теперь живет другой человек, начинающий жизнь с самых азов, человек, осматривающийся впервые. Этому человеку от силы 20 лет – у него еще все впереди, но и ничего не сделано им еще. Надо трудиться над собой каждый день, каждый шаг проверять и закреплять, а о прошлом не вспоминать, оно уже в царстве Гадеса, в возрасте 33-х лет умер драматург, и бог с ним, теперь растет кто-то другой, что из него получится, никто не знает, ему еще учиться надо, учиться жизни и всему...^[369]

Переживаемое Афиногеновым несчастье совпадает с его тридцатитрехлетием. Понимает ли он этот знак? Видимо, да. Отсюда разговоры о смерти и воскрешении. Через год его восстановят в партии, а затем и в Союзе писателей. В марте 1941 года пьеса Афиногенова «Машенька» с успехом пошла на сцене. В августе того же года его назначат заведующим литературным отделом Совинформбюро. 29 октября в здание ЦК ВКП(б) на Старой площади попала бомба, и единственный, кто погиб во время бомбежки, был Афиногенов. Пастернак, потрясенный этим фактом, писал Корнею Чуковскому о смерти своего переделкинского знакомого как о «событии странном и которое кажется почти вымышленным или подстроеным, по неожиданности, нарочитости и символической противоречивости»^[370].

2 ноября 1937 года. Ставский, оглядываясь вокруг, ищет, кого еще можно добрать. Он сигнализирует Мехлису:

Почему до сих пор не «разоблачен» корифей и идеолог троцкистской группы Литературного Центра конструктивистов Корнелий Зелинский? <...> Я установил, группа ЛЦК создана по прямому указанию Троцкого через свою племянницу Веру Инбер. В 1926 году

Троцкий принял конструктивистов И. Сельвинского, Зелинского, В. Инбер... Не потому ли до сих пор действует в критике Корнелий Зелинский – бывший член партии, изгнанный еще в чистку 1921 года, но тем не менее бывший секретарь Раковского в Париже – по непроверенным данным до 26–28 годов^[371].

Возможно, именно с этим было связано временное исчезновение Зелинского из Москвы. Подобные доносы могли иметь разные последствия – чаще всего шли в дело, а иногда почему-то нет.

30 декабря 1937 года. Юбилейный пленум, посвященный 750-летию «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. В Тбилиси едут те, кто остались на свободе, – Тихонов, Луговской, Антокольский, Гольцев.

И вот когда в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, – мне Ставский предложил ехать на Руставелиевский пленум в Тбилиси, – говорил Пастернак Тарасенкову. – Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его^[372].

В Новый, 1938 год, который Пастернаки хотели справлять у Вс. Иванова в Лаврушинском, у них родился сын, которого Борис Леонидович думал назвать в память одного из погибших грузинских друзей Павлом, но этому жестко воспрепятствовала Зинаида Николаевна. Сын получил имя Леонид в честь дедушки. Пастернак записал в метрике год рождения – 1938-й, хотя мальчик появился на свет ровно в двенадцать часов, и годом рождения вполне мог стать 1937-й.

Смех и страх

Валерия Герасимова вспоминала, что в 1937 году, когда они жили с Борисом Левиным в Лаврушинском, вечерами они прислушивались к звукам за дверью. Бывало так, что лифт доезжал до их этажа, из него кто-то выходил и какое-то время стоял под дверью. И тогда они с мужем сначала замирали и сидели тихо, а затем начинали неудержимо хохотать и долго не могли успокоиться.

М. И. Белкина рассказывала: Ариадна Эфрон удивлялась тому, что они со своей сокамерницей на Лубянке хохотали до бесчувствия.

Лев Левин, критик, бывший рапповец, вспоминал, как после изгнания из ленинградского Союза писателей, боясь возвращаться в свой дом на Петроградской стороне, скитался по улицам. Узнав об этом, его друг Юрий Герман уговорил его жить у него, несмотря на беременность жены. Летом они поселились на казенной писательской даче. К ужасу Левина, оказалось, что часть дома занимает секретарь

партийной писательской организации, которая исключала Левина из Союза писателей. Этот человек потребовал у Германа, чтобы он сейчас же выставил своего друга с дачи. Но Герман не внял его требованиям. Буквально через несколько дней к дому подъехала машина, из которой вышли солдаты и работники органов. Герман, его жена и Левин в ужасе замерли у окна. Велико же было их удивление, когда они увидели, как из дома выводят того самого партийного работника. Какое-то время они еще ждали, что машина с охраной вернется и за ними, однако время шло, никто не ехал, и тогда они стали безудержно хохотать.

В ленинградском Союзе писателей сложилась трагикомическая ситуация. В 1938 году Тихонов в открытую пишет Павленко: «У нас совершилось истребление секретариата»^[373]. Писательская организация перешла под групповое руководство беспартийных – Тихонова, Лавренева и Слонимского.

Это было, когда настала очередь ареста для многих видных работников НКВД, в частности, Я. Агранова и Г. Ягоды. Об арестах всесильных чекистов ходили легенды: «Сотрудники Иностранного управления, прибывшие в Испанию и Францию, рассказывали жуткие истории о том, как вооруженные оперативники прочесывают дома, заселенные семьями энкаведистов, и как в ответ на звонок в дверь в квартире раздается выстрел – очередная жертва пускает себе пулю в лоб. Инквизиторы НКВД, не так давно внушавшие ужас несчастным сталинским пленникам, ныне сами оказались захлестнутыми террором.

Комплекс зданий НКВД расположен в самом центре Москвы, и случаи, когда сотрудники НКВД выбрасывались с верхних этажей, происходили на виду у многочисленных прохожих. Слухи о самоубийствах энкаведистов начали гулять по Москве. Никто не понимал, что происходит.

По делам арестованных сотрудников НКВД не велось никакого следствия, даже для видимости. Их целыми группами обвиняли в троцкизме и шпионаже и расстреливали без суда.

Булгаков вставляет в рукопись «Мастера» невероятные случаи из современной ему жизни. На балу у Воланда Коровьев рассказывает Маргарите, как Азazelло нашептал одному из гостей дьявола, как избавиться от человека, разоблачений которого он ужасно опасался. «И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом». Этот крохотный эпизод – отзвук газетных сообщений тех лет. Сотрудник НКВД Буланов на суде 8 марта 1938 года рассказывал о своем бывшем начальнике Г. Ягоде, который якобы пытался отравить кабинет Н. Ежова:

Он дал мне лично прямое распоряжение приготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой. <...> Это было 28 сентября 1936 года. Это поручение Ягоды я выполнил, раствор сделал.

Опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть Ежов, и прилегающих к нему комнат, дорожек, ковров и портьер было произведено Саволайненом в присутствии меня и Ягоды^[374].

Арест домашнего кота в эпилоге романа, произведенный в рамках кампании по отлову животных, похожих на Бегемота, не слишком выбивается из абсурда того времени.

Лишенный природой дара слова, он ни в чем не мог оправдаться. <...> А тем временем старушка, узнавшая от соседей, что ее кота замели, кинулась бежать в отделение и поспела вовремя. Она дала самые лестные рекомендации коту, объяснила, что знает его пять лет с тех пор, как он был котенком, ручается за него, как за самое себя, доказала, что ни в чем плохом он не был замечен и никогда не ездил в Москву. Как он родился в Армавире, так в нем и вырос и учился ловить мышей^[375].

Отношения писателей и чекистов как факт литературного быта

В эти годы почти каждый литератор так или иначе соприкасался с чекистами. Творческие поездки по стране, хлопоты о выезде за границу, жизнь в санаториях НКВД, квартиры и, наконец, работа над книгой о Беломорканале – все осуществлялось всевластной, единственной четко работающей организацией. Располагая всевозможными рычагами влияния и управления, чекисты могли вторгаться в любую область советской жизни. Отсюда вечно живой миф об идеальной работе этих структур.

Власть хотела, чтобы интеллигенция была не только связана с органами, но и подозревала в каждом своем товарище возможного негласного осведомителя. На оперативном заседании НКВД 3 февраля 1935 года замнаркома Яков Агранов так определял методы расследования, которые относятся и к работе с интеллигенцией:

Наша тактика сокрушения врага заключалась в том, чтобы столкнуть лбами всех этих негодяев и их перессорить. А задача это была трудная. Перессорить их надо было потому, что эти предатели были тесно спаяны между собой^[376].

А так как каждый интеллигент был потенциально подозреваемым, то такой принцип работы с писателями, особенно в 30-е годы, был весьма успешен.

Начало открытым «домашним» отношениям с чекистами положил Маяковский. Близким другом Маяковского и Бриков стал первый заместитель Ягоды, Я. С. Агранов, в их доме его называли Яня.

Этот человек, как известно, вел дело Гумилева и подписал ему смертный приговор, а также был повинен в гибели в начале 20-х годов десятков ученых: В. Таганцева, С. Мельгунова, А. Чаянова и многих других.

Агранов лично допрашивал в 1919 году Александру Львовну Толстую, занимался наблюдением за Горьким и за Булгаковым, арестовывал архив А. Белого и вел с ним при этом душеспасительные разговоры.

Знал ли об этом Маяковский? Агранов появляется в доме Бриков предположительно в 1927 году. Тогда Маяковский начинает писать поэтические панегирики в адрес чекистов: «Солдаты Дзержинского Союз берегут», «ГПУ – это нашей диктатуры кулак сжатый», «Бери врага, секретчики!» – такие строки Маяковского широко цитировались в печати.

Пастернак спустя годы с горечью говорил А. Гладкову, что ЛЕФ в те годы был своего рода филиалом ГПУ. Тяготение Маяковского, Багрицкого и других писателей «к механикам, чекистам, рыбоведам» имеет еще одно объяснение. Чекисты воспринимались многими левыми поэтами и писателями как своеобразный рыцарский орден, закрытый от всего наносного и внешнего. После революционного вихря, во времена нэпа, казалось, что все погрязли в быте и в буднях («знамена в чехлах и заржавлены трубы»).

«Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля: бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным, чтобы, как верный сторожевой пес, растерзать врагов», – говорил Дзержинский в 1917 году, искренне веруя, как когда-то кровавый инквизитор Торквемада, в свое высшее предназначение. Петерс восхищался аскетичным бытом своего начальника: «Простой американский письменный стол, старая ширма, за ширмой узкая железная кровать – вот где проходила личная жизнь товарища Дзержинского. Домой к семье он ездил по большим праздникам. Работал он круглые сутки, часто сам допрашивал арестованных». Менжинский пошел еще дальше:

Дзержинский был не только великим террористом, но и великим чекистом. Он не был никогда расслабленно-человечен. Он никогда не позволял своим личным качествам брать верх над собой в решении того или иного дела. Наказание как таковое он отменял принципиально как буржуазный подход. На меры репрессии он смотрел только как на средство борьбы, причем все определялось как данной политической

обстановкой, так и перспективой дальнейшего развития революции. <...> Политика, а не человечность как таковая – вот ключ его отношения к чекистской работе^[377].

Советская власть и ЧК в эти годы были вполне откровенны и еще не научились лицемерить так, как в период своего заката. Террор означал террор, бесчеловечность – бесчеловечность. Н. Я. Мандельштам писала: «Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной»^[378].

Арестованный командарм Примаков, гражданский муж Лили Брик, когда-то принимавший Агранова у себя дома, по-семейному, в 1936 году будет писать ему умоляющие записки из камеры:

Очень прошу Вас лично вызвать меня на допрос по делу о троцкистской организации. Меня все больше запутывают, и я некоторых вещей вообще не могу понять сам и разъяснить следователю. Очень прошу вызвать меня, так как я совершенно в этих обвинениях не виновен. У меня ежедневно бывают сердечные приступы...^[379]

Но друг Яня так и не отозвался и не спас его ни от расстрела, ни от пыток.

Мария Иосифовна Белкина, дружившая с Лилей Брик, рассказывала: Лилю привез ко мне Вася Катанян после реабилитации Примакова. Она сидела в кресле и плакала: «Я думала, он виноват, я не ожидала, что все так ужасно. И потом – зачем я написала это дурацкое письмо Сталину, Володю затрепали, превратили в неживого, а сейчас это породило к нему ужасное безразличие, лучше бы все развивалось своим чередом, и время бы его пришло». Я ей сказала, если бы не это письмо, вы бы давно сидели в тюрьме, сколько раз Вас пытались посадить. Это письмо спасало. Она согласилась^[380].

Вскоре Агранов был расстрелян... Его жена, согласно версии, изложенной Ю. Бориным в книге о Сталине, пыталась защищать мужа на допросах. Ее тоже мучили – нещадно били, тушили сигареты об ее тело. Она просила соседку по камере, Демченко, донести до людей ее историю и историю ее мужа, которого она считала несправедливо оклеветанным. Много лет они с Яней сидели за одним столом с Лилей Брик, Маяковским, Примаковым. Понимала ли она, чем занимался ее муж? Спрашивала ли его, куда в 1936 году пропал Примаков?

О дружбе писателей с Ягодой уже много говорилось. Он был привязан к дому Горького не только потому, что осуществлял личный надзор за классиком, но из-за влюбленности в Н. Пешкову (Тимошу), невестку писателя. В Тимошу был влюблен и Алексей Толстой, проводивший в 1935 году в доме Горького многие дни вместе с Ягодой.

Ягоду арестовали в марте 1937-го, что стало для него настоящим потрясением. Во время одного из посещений Ягоды в камере его бывшим заместителем, начальником иностранного отдела Слуцким (в 1938 году отравленным в собственном кабинете, а затем также объявленным врагом народа), между ними, по рассказу А. Орлова, произошла примечательная сцена.

Во время одного из этих свиданий, как-то вечером, когда Слуцкий уже собирался уходить, Ягода сказал ему:

– Можешь написать в своем докладе Ежову, что я говорю: «Наверное, Бог все-таки существует!»

– Что такое? – удивленно переспросил Слуцкий, слегка растерявшись от бестактного упоминания о «докладе Ежову».

– Очень просто, – ответил Ягода то ли серьезно, то ли в шутку. – От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу; от Бога я должен был заслужить самое суровое наказание за то, что тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет...^[381]

Уже говорилось о дружеских отношениях Фадеева и Луговского с Матвеем Погребинским. А. Орлов описал историю его самоубийства: «Не прошло и двух месяцев, как застрелился начальник Горьковского управления НКВД Погребинский. В ходе подготовки первого московского процесса он лично арестовывал преподавателей школ марксизма-ленинизма в Горьком и вымогал у них признания, будто они собирались убить Сталина во время Первомайской демонстрации»^[382].

Погребинский не был инквизитором по призванию. Хотя ему и пришлось исполнять сомнительные «задания партии», по природе это был мягкий и добродушный человек... У Погребинского завязалось близкое знакомство, если не дружба, с А. М. Горьким, очень увлекавшимся одно время идеей «перековки» человека в СССР.

Накануне самоубийства Погребинский оставил письмо, адресованное Сталину. Письмо, прежде чем попасть в Кремль, прошло через руки нескольких видных сотрудников НКВД. Погребинский писал в нем:

Одной рукой я превращал уголовников в честнейших людей, а другой был вынужден, подчиняясь партийной дисциплине, навешивать ярлык уголовников на благороднейших революционных деятелей нашей страны...^[383]

Известно, что арест Ягоды потянул за собой аресты Киршона и Авербаха. Арест Ежова – арест Бабея, связанного еще с конца 20-х годов с его женой.

Николай Христофорович Шиваров тоже стал персонажем литературных мемуаров. Н. Я. Мандельштам называла его в своих воспоминаниях – Христофорович, по ассоциации с Бенкендорфом (Александром Христофоровичем). Он присутствовал на свидании Осипа Мандельштама с женой: «Крупный человек с почти актерскими – по Малому театру – назойливыми резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе»^[384]. Это было, когда О. Э. Мандельштама посадили в первый раз.

Утверждение, что Павленко наблюдал за Мандельштамом, вполне может соответствовать действительности, так как Павленко был в очень тесных отношениях с Шиваровым. В воспоминаниях Галины Катанян «Иных уж нет, а те далече...» представлен развернутый портрет Н. Шиварова, друга Павленко и Фадеева. Именно они в 1933 году привели его в дом Катанянов.

В тот день, когда Саша Фадеев привел к нам Николая, у меня была толма. Это маленькие голубцы из баранины, завернутые в виноградные листья. Подавала я эту толму так, как учила меня армянка, долго жившая в Турции, – с мацони и корицей.

Увидев толму, Николай упал на колени, целуя мне руки и что-то крича по-болгарски. Он решил, что Саша устроил ему сюрприз и привел в дом, где хозяйка болгарка. С той толмы началась наша дружба^[385].

Василий Катанян, ее сын, пишет в предисловии к публикации, что родители считали, что Николай Христофорович работает в отделе литературы ЦК, он часто приходил в дом с новыми редкими книгами, которые было трудно купить в магазине.

Нет ничего удивительного, что фамилия Шиваров возникает и в письмах 1935 года Сусанны Черновой к Луговскому: «Адрес Николая Христофоровича – Арбат, 49, кв. 2». Он присутствует в списке Сусанны в ряду тех, кому надо привезти подарок из Парижа. Она также настоятельно требует, чтобы Луговской поблагодарил его за то, что тот помог ему устроиться после заграничной поездки в Доме отдыха НКВД.

Незадолго до ареста Мандельштама 2 февраля 1934 года, в заключении уже находился Николай Клюев; его ордер подписывал все тот же заместитель председателя ОГПУ Агранов. Николай Христофорович Шиваров подробно занимался творчеством Андрея Платонова. Это был своего рода литературовед с Лубянки; он анализировал рецензии, собирал подробную библиографию его произведений.

В октябре 1936 года он же арестовывает поэта И. Поступальского, знакомого Мандельштама, проходившего по одному делу вместе с В.

Нарбутом, Б. Навроцким и П. Зенкевичем. Непонятно, понимал ли Луговской, чем на самом деле занимается Николай Христофорович.

Галина Катанян рисует иной образ Шиварова:

Болгарин Н.Х.Ш., коммунист-подпольщик, по профессии журналист. В 20-е годы он бежал в СССР из болгарской тюрьмы. Как потом до меня дошло – за какое-то покушение. Он был высок, красив, несмотря на большую лысину и туповатый короткий нос, и очень силен. <...> После убийства Кирова Шиваров стал говорить, что хочет уйти с работы, заняться журналистикой. Мы удивлялись – почему, зачем? Он, конечно, знал, почему и зачем^[386].

Галина Катанян рассказывает, что однажды утром, когда она еще лежала, пришел мрачный Николай и сказал, что ему стало известно о скором его аресте, он просил ее, в случае ареста жены, взять их ребенка и спасти его от детдома.

Фадеев, к которому она пришла после ареста Христофоровича, сказал ей: «Арестовали, значит, есть за что. Даром, без вины, у нас не сажают».

В июле 1940 года к Г. Катанян в дом пришла измученная, грязная, пожилая женщина, сказавшая, что ее сын заключен вместе с Шиваровым. Она передала Галине записку от него. В ней было написано:

Галюша, мой последний день на исходе. И я думаю о тех, кого помянул бы в своей последней молитве, если бы у меня был бы хоть какой-нибудь божишко. Я думаю и о Вас – забывающей, почти забывающей меня^[387].

Далее Шиваров пишет, что инсценировал в лагере кражу со взломом, чтобы не подводить врача, выписавшего ему люминал. «Но не надо жалких слов и восклицаний. Раз не дают жить, так не будем и существовать. Если остался кто-нибудь, кто помнит меня добрым словом, – прощальный привет. 3.4.1940»^[388].

Конец тридцатых. «Мы находимся в руках фашистов...»

Мне стыдно было, что мы продолжаем двигаться, разговариваем и улыбаемся.

Из письма Б. Пастернака к Г. Леонидзе, 1939 г.

Остающимся на воле неловко было показывать, что кто-то исчезает. Переставали спрашивать, кто куда делся. Дома между собой «не принято» было говорить, куда пропал тот или иной родственник, знакомый, друг.

В 1938 году, – писала Н. Я. Мандельштам во «Второй книге», – мы узнали, что «там» перешли на «упрощенный допрос», то есть просто пытаются и бьют. На одну минуту показалось, что если «без психологии» – под психологией понималось все, что не оставляет рубцов на теле, – бояться нечего. <...> Вскоре мы опомнились: как не бояться? Бояться надо – вдруг нас сломают и мы наговорим, что с нас потребуют, и по нашим спискам будут брать, брать и брать...^[389]

Н. А. Заболоцкий, арестованный 19 марта 1938 года, после пыток и тюремной больницы для умалишенных мучился только одним: как бы не оклеветать себя и других. А Тихонов пишет об аресте Заболоцкого Гольцеву в Москву:

В Ленинграде новость, которая тебя поразит. Помнишь наш разговор о Заболоцком? Так вот, Заболоцкого арестовали на днях органы НКВД. Этот факт общеизвестен. Можно после этого верить всем сладостным стихам и одам или верить осторожно. Что и как, узнаем со временем...^[390]

Тем временем Заболоцкого определили в камеру, где уже содержалось около ста человек.

Дверь с трудом закрылась за мной, и я оказался в толпе людей, стоящих вплотную друг возле друга или сидящих беспорядочными кучами по всей камере. Узнав, что новичок писатель, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и привели ко мне П. Н. Медведева и Д. И. Выгодского^[391].

П. Н. Медведев – историк литературы, профессор, адресат множества писем Пастернака, человек барственный, вальяжный, отчего не раз терпел издевки Маяковского. Д. И. Выгодский – интеллигентнейший переводчик, которого, как вспоминал Заболоцкий, «следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо».

Из Заболоцкого выбивали показания на Тихонова и членов «его организации» – уже арестованных Бенедикта Лившица, Елену Тагер, Георгия Куклина, Бориса Корнилова. «Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. Олейникове, Т. Табидзе, Д. Хармсе, А. Введенском – поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами»^[392].

Виктор Гольцев, встретив Заболоцкого в Грузии, восторженно писал жене 22 сентября 1936 года: «...Это очень значительный человек. Читал он у Тициана превосходные новые стихи. Но это «чистая лирика», лишенная гражданственности»^[393]. Даже такого рода характеристики

использовались следователями-мучителями. А переписка Гольцева, судя по всему, была под постоянным наблюдением.

На допросах Заболоцкий держался исключительно мужественно, несмотря на то, что от пыток и побоев был близок к безумию, много раз терял сознание, но не признал себя виновным. Бывало и так, что непризнание вины спасало подсудимого от расстрела. Тех же, кто не смог выдержать мучения, – Б. Лившица, В. Стенича, Ю. Юркуна, проходящих по этому делу, расстреляли.

Изнутри все воспринималось фантазмагорически.

В моей голове, – писал Заболоцкий, – созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному партийцу, сидевшему со мной, и он с ужасом признался мне, что и сам думает то же, но не смеет заикнуться об этом^[394].

А что же Тихонов? Его родственники утверждают, что его вызывали для разговоров в Большой дом, но он никого не оговаривал.

Тридцатого апреля 1938 года арестован О. М. Мандельштам.

Татьяна Луговская пишет своему ленинградскому другу, драматургу Малюгину, 6 мая 1938 года:

Сегодня привелось мне отобедать с поэтом Тихоновым (он опять в Москве), и мы воздали дань этому богу – забыла его название (нет, не Бахус, а другой какой-то, но тоже покровитель алкоголиков), и я, если не пьяная, то, как говорила моя нянька, «выпимши». Прошу простить и не судить строго^[395].

А 7 мая Тихонов уже в Лаврушинском. Сусанна пишет на юг Луговскому: «Напротив меня сидит сейчас совсем обалдевший Коля Тихонов, медленно жуящий бутерброд, шлет тебе воздушный поцелуй и просит тебя никогда в жизни не писать сценарии»^[396].

Тихонов работает над сценарием. Поэт, судя по письмам, много рассказывал о своих кинематографических похождениях. Этажом выше Луговского – квартира Пастернака, но подняться и позвонить ему в дверь он не мог. Может быть, просто утешал себя, что тот на даче?

Смысл происходящего затемнялся тем, что многие все-таки пытались угледеть логику гонений и арестов и, следуя ей, жить и действовать. Мучительное положение было у тех, кто старался вписаться в действительность, порвать с прошлым.

В этом смысле характерна судьба поэта Александра Ромма, знакомого Пастернака еще с 20-х годов, со времени издательства «Узел». Теперь он пытается жить по новым правилам в согласии с

окружающей действительностью. Вот несколько записей из его дневников 1937 и 1940 годов:

22.11.37. Сейчас только с собрания поэтов по поводу Е. Усиевич. Может быть, этим преувеличивают обидевших, но факт, что живая вина Усиевич, равно и Тарасенкова, – это пренебрежение ко всей советской поэзии довоенного качества. И у меня это пренебрежение – да, да! – оказалось. Это естественная реакция поэта, который не принят в поэтическую среду, это не вина моя, а беда. И мне нравится многое и у Голодного, и у Суркова, и у Кумача, и у молодых (только Жарова не переношу и Кирсанов меня возмущает мелочностью), оттенок защитного недовольства всем, что делается (пусть не с эстетской, а именно с политической точки), у меня есть, сохранилось от времен, когда меня мучило от всеобщей аллилуйи 34 года, в сущности, от атмосферы Бухарина и Гронского. Недаром я, стиснув зубы, писал «Бикзян», изо всех сил вычеркивал все, что не било в политическую цель, – я чувствовал себя идущим против течения, которое для меня сводилось к имени Пастернак. Но ведь Пастернака опрокинули и на диспуте о формализме, и на Пушкинском пленуме, а я все чувствую себя обиженным и одиноким – а все стало по-другому, Тарасенков – второе лицо Пастернака – гимназический мальчик, влюбленный в то, чего он «не может», в непонятное и потому для него глубокомысленное, – поставлен на колени и кается, и это сделал не я, потому что я сидел дома и хотел сразу написать гениальную вещь, чтобы тогда уже меня признали, и тогда я «выйду», а пока что обижался без всякого права, и мне казалось, что никто ничего не умеет. Прокофьев, которого я люблю, аполитичен; Заболоцкий, который удивительно талантлив, – еще недостаточно политичен. И пр. и пр.

Всю жизнь я восхищался каждым новым хорошим стихом. <...>

А вот Усиевич хаяла огулом. И я, я не хаял, но и не возмущался. Это потому, что я не чувствовал себя хозяином в советской поэзии. Трудно чувствовать себя хозяином в месте, куда тебя не пускают.

8.8.1940....Когда я открываю книжку Пастернака, мне кажется, что я пришел незванный в чужую квартиру. Я, допустим, счетчик или агитатор, а хозяин смотрит на меня поверх очков и говорит: «Да, конечно». Он занят подсчетом голубей в Москве или попытками изобразить всю мировую историю в виде графика, и у него славные отношения с женой, которая любит лирику Прокофьева и такие слова, как «яркое переживание»^[397].

Фраза Ромма о «советской поэзии довоенного качества» не совсем понятна. Или имеется в виду дореволюционная поэзия Серебряного века, но тогда не совсем понятно слово «советская». Или это надо понимать как «довоенное» – то есть существующее до литературных войн в 20-е годы. Желание написать «гениальную вещь», чтобы

признали, написать, как Пастернак, против течения, – цель, которую ставит себе Ромм. Но остается неразрешимым вопрос: как Пастернаку в этих условиях удалось остаться самим собой?

Тихонов. «Я тот, кого не беспокоят»

В Ленинграде в течение года посадили нескольких секретарей Союза писателей. Тихонова делают руководителем Союза. Нельзя сказать, что это его радует.

В Ленинграде бились как рыба об лед, – пишет он с раздражением Луговскому в декабре 1938 года, – с этим окаянными секретариатом в Союзе писателей. Наконец решили от него избавиться – и, как ты уже знаешь из газет, – избавились – будь ему пусто.

Я прыгнул за письменный стол и тут почувствовал за долгое время не испытанное чувство облегчения оттого, что сбросил канцелярский груз, и чувство радости несравнимой – стихи потекли из меня – как в Баку нефтяной взрыв.

Я даже сказал словами Хлебникова: я тот, кого не беспокоят. Я пишу поэму, написал интермедии к пьесе Сервантеса «Нумансия», старик, верно, в гробу переворачивается и грозит обрубок руки мне – ну уж, с того света немного достанешь...^[398]

Мотив бегства от навязываемой чиновничьей роли звучит у Тихонова из письма в письмо. С начала 30-х годов он кричит своим друзьям и знакомым литературным чиновникам, что хочет писать, а не служить. Этот крик только подтверждает неотвратимость будущей роли.

24 декабря 1936 года. Н. Тихонов – И. Лежневу:

Не знаю, как другие писатели, но я каждый год погружался в новую работу, и меня вытаскивали за ноги и бросали в заседания и в разные дела, не имеющие отношения к литературе.

Может, я виноват сам. Даже вероятно – я сам. Но придумать средство, как по-настоящему работать и соединить эту работу со множеством других обязанностей, – это средство я придумать не могу.

Это вовсе не жалоба – это истина!^[399]

6 мая 1937 года. Тихонов – Гольцеву:

...Я устал смертельно от дел союзных и околосоюзных. Жажду писать сам – и что-нибудь хорошее. От заседаний и докладов схожу с ума.

В этом же году в газете «Правда» неожиданно выходит злая статья Валентина Катаева «Выдохи и вдохи» об октябрьских стихах Луговского. Стихи, выпущенные к 20-летию Октября, действительно были из рук вон плохи. Однако резко критическая публикация в «Правде» в 1938 году могла стать и предвестницей ареста: «Книжка Луговского сверх всякой меры перегружена дилетантскими изысками самой низкой пробы...», «неувядаемый образчик пошлости и политической безответственности...», «Вся революционная романтика, весь героический пафос нашего прошлого переданы у Луговского затасканными, штампованными, деревянными выражениями...» – эти слова могли быть восприняты как руководство к действию. Катаев почувствовал вымученность стихов. Тихонов пишет взволнованно:

Читал я, как Катаев прыгнул «окровавленной кошкой» тебе на плечи – почему он это сделал, черт его знает. М. б., это какие-нибудь московские склоки, которые вымещают на тебе. Но я тебя знаю, старик, – ты не из трусливых и не из слабых. Как говорил Цезарь: чем больше врагов, тем больше чести! Я думаю, что первое время ты здорово злился на эту муру, да и всякий бы злился, но теперь уже отошел – да и невозможно в нее погружаться. Пусть этим занимаются Уткин с Жаровым и черт с ними.

Тут же Тихонов отписал и Павленко:

Бедного Володю зашибают со всех сторон. Почему Катаев прыгнул ему на плечи эдакой «окровавленной кошкой», исцарапав со всех сторон? В чем дело?

Володю жалко. Он, поди, здорово переживает...^[400]

За Луговского заступился Фадеев, расправа прошла стороной. А Луговской отправляет старому другу письмо, где сетует на свое положение в литературе:

...стихи мне давались нелегко, я самым принципиальным, самым честным образом страшился приблизиться к большой политической теме и много над ними работал. Это была не халтура, а *линия*. С другой стороны, прекрасный поэт Пастернак, которого в нашей печати, в партийной печати, смешивали политически с грязью, за два года не написал ничего нового, ни от чего не отказался, и вот он сохранил свои чистые одежды и снова поднят на щит, хотя ему как настоящему поэту этого и не нужно. То же и с Сельвинским, которого «Правда» обзывала позорнейшими кличками, наравне с «Известиями». «Значит... но что же все это значит?»^[401]

Чувство Луговского сходно с тем, что возникло у Ромма, – «сохранил свои чистые одежды», однако вывод делается другой. Луговской считает, что Пастернак – ничем не поступает, сохраняет чувство собственного достоинства. «А вот из меня сделали обезьяну, – продолжает он горестное письмо, – и вышвырнули вон: печатать их (стихов) не надо...»^[402]

Сетуя Фадееву на положение в литературе, Луговский, тем не менее, откровенно и даже беспощадно разбирается с собой:

Я всегда останусь поэтически честным, довольно беспутным человеком, с склонностью к бродяжничеству, вздыманию бокалов, десятичасовым сердечным беседам; с глупым желанием, чтобы «все было хорошо». Я был житейски избалован своей беззаботностью, слишком часто примирялся, мало дисциплинировал себя, личные трагедии перерастали у меня в нечто сверхъестественное. Был небрежен в моих отношениях с людьми... Сейчас снова взялся за ум, но не благодаря всей этой нехорошей и стыдной истории, а *вопреки* ей. За этот месяц я многое пережил и теперь улитка уходит в свою скорлупу. Это был для меня не «урок чистописания», а большое, большое разочарование в целом ряде представлений и иллюзий. Я буду писать день за днем, вползая в такую гущу жизни, если хватит таланту (а таковой, кажется, есть). Но писать буду прежде всего для себя. Меня столько раз учили и водили за нос и за прочие предметы, что это стало глубоко несимпатично, неинтересно. То, что для жизни – буду зарабатывать переводами и всеми другими способами. В этом смысле глубоко прав Пастернак^[403].

Мысль о правоте Пастернака, брошенная Фадееву, оказалась в будущем спасительной для Луговского («Но писать буду прежде всего для себя»).

На два года Луговской становится обитателем Ялты, где у него начнется роман с фотокорреспонденткой Вероникой Саксаганской, женой арестованного военачальника. Друзья ищут его, забрасывают письмами.

18 сентября 1938 года, Тихонов – Луговскому. Селение Эльбрус.

Володя, милый, – соскучился по тебе страшно. Ты уехал из Москвы еще весной. Где же ты был? Что делал? Что писал? Как ни глядел в журналы, в газеты – тебя нет – ну, думаю, он что-то серьезное затевает, а не публикует до времени – сидит где-то у лукоморья. <...> Слушаю здесь в горах радио и удивляюсь, делишки-то какие завязываются с чехами и немцами. Того и гляди – схватятся и новый 14 год – уж не встрянем ли и мы в эту заваруху?^[404]

18 декабря 1938 года Антокольский пишет Луговскому в Крым:

...25-го предполагается декадник, на котором будет читать Б. Пастернак. Этого следует ждать как чего-то принципиально важного. Кроме того, на бюро решено начать свою деятельность написанием и обнародованием большого развернутого документа о сегодняшнем дне поэзии, о перспективах, о критике, о наследии и т. д.^[405]

Пастернак, которого давно не было слышно, вновь появляется в кругу поэтов. Уже не первый год он живет на даче, превратив себя в изгнанника. В письме к сестре он рассказывает о том, как рубит ветки, собирает хворост, борется с мышами.

А мыши, мыши! Их столько, и они так распушены, что на них надо кричать «Брысь» или «Это еще что такое?!», и тогда они еще поразмыслят, уходить ли им или нет, когда жарить яичницу с колбасой и они отовсюду по хворосту вылезают подышать наркотом жареного масла и пищат, и распевают.

Однако довольно. Я уже сказал вполне достаточно, чтобы ты могла заключить, что я тихо схожу с ума^[406].

Писатели получают награды

Первое массовое награждение орденами советских писателей готовилось заранее. Это стало своеобразным итогом кровавых лет. Власть благодарила их за преданность.

В июле 1938 года на стол вождю ложится справка о благонадежности представленных к награждению фигур. Справка составлена в Союзе писателей и предварительно согласована с НКВД.

Список представленных к награждению, – написано в справке, – был просмотрен т. Берия. В распоряжении НКВД имеются компрометирующие документы в той или иной степени на следующих писателей: <...> В. Инбер, М. Голодный, М. Светлов (Шейнсман), Асеев Н., Бажан Н., Катаев В. П., П. Павленко, Н. Тихонов, Л. Леонов, А. Толстой, В. Луговской, А. Сурков, В. Шкловский и т. п.^[407].

Имен очень много. Берия настаивает на том, что нельзя награждать писателей, на которых существуют компрометирующие материалы, – Инбер, Толстого, Федина, Павленко. Ирония в том, что «неблагонадежный» Павленко работает над списками вместе с благонадежным Фадеевым. А Зощенко, который получит орден Красного Знамени, в списках Берии вообще отсутствует.

Что делает Сталин с этой бумажкой? Он поступает как всегда – по ему одному понятной логике: делает самых «неблагонадежных» – надеждой и опорой. Ордена – аванс, который они будут отрабатывать.

Ордена дают и молодым: Маргарите Алигер, Евг. Долматовскому, К. Симонову и другим. Дневник юной поэтессы-комсомолки отличается от цитируемых выше дневников. Но ее никак нельзя упрекнуть в неискренности.

9 февраля 1939 года. Девять дней не писала. Могла ли писать, когда только вчера я как после какого-то затянувшегося чудесного сна.

Но это не сон. «Знак почета» всего народа нашей родины крепко ввинчен в мое сердце, в мою душу. <...> Легла и заснула. Костя (Макаров, муж М. Алигер. – *Н. Г.*) пришел часа в 3 ночи. Был испорчен звонок. Я еще не совсем проснулась от какого-то неясного сознания того, что в дверь стучат. Голый Костя пошел к двери. Я сквозь сон слышала, как он спрашивал, кто? Как ему отвечали разные голоса из-за двери.

Он ответил:

– О, тут целая компания! Вот молодцы, что пришли. – Надел на голое тело шубу и на босые ноги боты и открыл дверь. Ввалились. Смутно различаю голоса Луговского, Кости Симонова... Костя кричит им:

– Подождите, сейчас Ритка оденется.

Они не слушают, врываются в комнату, лезут прямо мне в постель, орут:

– Вставай, дура! Тебя наградили орденом!

Я не поверила, решила, что розыгрыш. Они тычут мне в лицо «Правду», я читаю: «За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы наградить:

Орденом Ленина:

Орденом Трудового Красного Знамени:

Орденом «Знак почета».

Все родные фамилии и моя. Вместо Алигер – Олигер. Но все равно.

И началось. Ребята принесли шампанское. Коська тоже сбегал, принес 2 бутылки. Целовались, каялись, говорили какие-то слова...

Потом вышли на улицу, снежную, солнечную, морозную...

Шли к площади Маяковского. Шли мимо райкома. Я затащила всех туда, прямо к секретарю ввалились совершенно пьяные. Но нас все поздравляли и велели кутить еще 3 дня. Луговскому сказали: «Спасибо вам, товарищ Луговской, за нашу молодежь». Старик совсем расцвел. Всем нам сказали: «Спасибо, товарищи, вы поступили по-партийному».

Потом поехали к Антокольскому. Опять целовались, опять пили. Я свалилась, лежала, спала.

Посылали Женьке (Долматовскому. – *Н. Г.*) в Малеевку телеграмму: «Поздравляем заслуженной наградой. Кавалеры: Павлик, Володя, Костя, Рита. Жены: Зоя, Сусанна, Женя, Костя. Кандидаты-орденоносцы: Раскин и Слободской». Потом сидели в Восточном ресторане у Никитских ворот. Потом пошли в кино смотреть «По щучьему велению». Потом заезжали к маме Кости Симонова. Наконец, часов в 10 вечера, вернулись домой, сразу легли спать. Не тут-то было.

Они ушли, я снова улеглась, но не тут-то было! Ввалились Женька с Данькой. Женька только что из Малеевки. Опять целовались.

Я уже как бы пришла в себя, но единственное, что я могла сказать в ответ на вопрос о том, что я чувствую, это, что этому нет названия.

Нет, я уже могу сказать больше. Я могу сказать, что я еще не знаю, как называется это чувство, но что оно настолько молодое и новое, что наверно только будущие люди придумают ему точное название.

Может быть, это будет шестое чувство?

Потому что «счастье» – это мало. Слово «счастье» употребляется с успехом в других случаях жизни, а тут и счастье, и благодарность, и большая вера в себя, и большая проверка себя, своих чувств и качеств, своих сил и возможностей. И все это нужно объединить каким-то одним, предельно типичным, ярким и прекрасным словом. А такие слова быстро не находятся. Это работа для столетий.

Еще я понимаю, что, если большинству писателей дали ордена как награду за сделанное ими, то нам, молодежи, эта награда дана в знак большого к нам доверия, уверенности в том, что мы это доверие оправдаем, сделаем настоящие вещи. Нам, молодежи, эта награда дана, потому что у прекрасных, больших, сильных и мудрых людей очень внимательные, очень заботливые глаза, и вот эти-то глаза сумели разглядеть в ворохе того, что мы сделали, крупицу настоящего, зернышко таланта, т. е. то, что поможет нам впредь создавать все лучшие и лучшие вещи, то, что в людях дорого ценится и не часто встречается, что нужно беречь, чему нужно помогать^[408].

Но многие писатели, читая эти списки, были снедаемы завистью и страхом, чего власть и добивалась. Так, например, М. Слонимский, получивший орден «Знак почета», навсегда обиделся на своего товарища Петра Павленко, который не порекомендовал его к присуждению более высокой награды. Из списка были вычеркнуты Бабель, Пастернак, Эренбург, Олеша. Булгакова в списке не было с самого начала. Это тоже было определенным знаком для остальных. А Сельвинский писал другу Зелинскому 3 июля 1939 горько-хвалебные слова:

Я считаю тебя самым замечательным критиком в нашей литературе, и поэтом в критике, человеком, который, если бы не был глубоко ранен вредителями и тупицами из РАППа и «Комсомольской правды» и т. д., давно бы занимал в нашей общественности то место, которое ему принадлежит. Но черт с ним, с местом. Я тоже далеко не там сижу, где мне полагается по чину. Но я свылся с этим. Подумаешь тоже. Ну, дали мне орден второго сорта – что же из этого? Стал ли я менее значительным, чем Михалков? Моя задача – расти. <...> Мое время придет. Я это знаю. Но нужны силы для того, чтобы до этого дожить, хотя бы после смерти. <...> Не претендуя тоже на поэта, который всегда

был стопроцентно-социалистическим. Меня только интересует вопрос: что же это стало с Безыменским, с Жаровым и пр.? Почему вдруг оказалось, что они даже и не поэты? Что же делать теперь с их классово-выдержанной биографией? Кому она интересна?^[409]

«Потребность в прямом независимом слове...»

В ноябре 1939 года Пастернак читал свои переводы «Гамлета» во МХАТе.

В. Я. Виленкин – завлит Художественного театра – записывает после чтения:

Читает ритмично, сильными наплывами. Что-то от Гамлета в нем самом, захватывает ритмом, даже своим каким-то ритмическим переживанием, что ли. Леонидов слушал как-то отрывки в гостях у Тренева, потом пришел ко мне на другой день со словами: «Ты победил, галилеянин... И вы знаете, что он сам Гамлет, ему надо играть, а я буду ставить»^[410].

В начале 1940 года, сдав переделанный заново текст перевода «Гамлета», Пастернак узнал о смерти матери. Он писал отцу:

Для меня этот труд был совершенным спасением от многих вещей, особенно от маминой смерти, – остального ты не знаешь, и долго было бы рассказывать, – я бы без этого сошел с ума. Я добился цели, которую себе поставил: я перевел мысли, положенья, страницы и сцены подлинника, а не отдельные слова и строчки. <...> В период фальшивой риторической пышности очень велика потребность в прямом, горячем, независимом слове, и я невольно подчинился ей^[411].

Перевод Гамлета стал для поэта работой, вместившей в себя его размышления о трагедии современной жизни. Пастернак читал перевод в доме Тренева, квартира которого находилась прямо над квартирой смертельно больного Булгакова.

Осенью 1939 года Булгаков задумывает странную пьесу с разными вариантами названия: «Ласточкино гнездо», «Альгамбра», «Ричард I». Только что рухнуло его самое невероятное предприятие – работа над пьесой «Батум» о юных годах вождя, написанная к юбилею Сталина. Он начал ее в 1936 году, затем оставил и вернулся к работе весной 1939 года. Вся история с ее четкой, бурным притоком всевозможными театрами завершилась одобрением на самом высоком уровне. А затем Сталин собственноручно запретил ее к постановке. К этому времени относится начало смертельной болезни Булгакова. 18 мая 1939 года Елена Сергеевна записала сюжетную канву «Ласточкиного гнезда»: «Миша задумал пьесу (Ричард Первый). <...> В наброске к пьесе действовал писатель, живущий «в мансарде». Жена ругает его за то, что он никак не продвигает свои произведения. Писатель стоит у окна

и говорит: «Хочешь, я все это покорю и прославлю свое имя?» Он обещает ей, что попробует это сделать через всесильного человека. Случай помогает ему попасть в дом крупного партийного чиновника, тот входит в комнату из шкафа с книгами. Писатель становится близким к человеку из власти, которого зовут Ричард. Елена Сергеевна поясняет в записи: «Ричард – Яго». В этом имени зашифрован Генрих Ягода. В следующем действии писатель уже живет в роскошной квартире, а Ричарда-Яго арестовывают. В конце писатель оказывается выброшенным из богатой квартиры и возвращается в бедную мансарду. Ричард стреляется. Писатель умоляет жену подождать следующего случая^[412].

Здесь переплелись сюжеты последних лет – отношения писателей и чекистов, писателей и власти. Видимо, Булгаков изживал утопические надежды на понимание властью творца.

За десять дней до смерти Булгакова Т. Луговская вдруг написала в письме к Малюгину:

28 февраля 1940 год.

Был у меня на днях Фадеев. Я люблю его за то, что он жестоко и смело относится к жизни, и за то, что он такой широкий, большой человек. И вот он приходит ко мне искать – если не утешения, то какой-то уверенности и возобновления (я отнюдь не имею в виду романтические чувства) своих временно растерянных сил и чистоты.

Он говорит: я пришел к тебе как к своей молодости, пришел посмотреть ей в глаза. Я подумала, что мне, наверное, всю мою жизнь придется купаться в горе. Своем и чужом. Трудно смотреть правде, трудно смотреть горю, трудно смотреть жизни в глаза. Много для этого нужно душевных сил. И я счастлива, когда нахожу их. И я подумала, что я всегда после несчастий и трудностей испытываю какую-то грустную радость. Это оттого, что человек растет на горе^[413].

«29 февраля звонок Фадеева», – записывает Елена Сергеевна. 1 марта: «20.30. А. А. Фадеев. Весь вечер – связный разговор, сначала возбужденный – с Фадеевым, потом более сдержанный – со всеми вместе»^[414]. В письме Т. Луговской, возможно, отзвук разговора с Фадеевым по поводу тяжелой болезни Булгакова и его ожидаемой смерти. В эти дни Фадеев почти каждый день бывает у Булгакова по прямому поручению Сталина. Но случилось так, что в эти дни он открыл для себя мужественного человека и значительного писателя.

Пятнадцатого марта Антокольский пишет Гольцеву: «Знаешь ли ты о том, что умер Булгаков»^[415].

Эпилог. Без узлов

...Нет такого узла, который когда-либо кем-либо не был бы развязан или разрублен, и тогда... тогда узел оказывается веревкой. Она может служить бичом <...>. Ее можно привязать к крюку <...>. И ее можно выбросить – и жить без веревок и без узлов.

Сергей Дурылин.

В своем углу.

22. VIII.1926 г.

Разрыв между людьми не означает окончания их отношений. Они продолжают длиться помимо воли людей – в памяти, в сознании, во сне; вольно или невольно остаются отчеркнутые главы жизни, повороты, связанные с тем или иным человеком. Свое прошлое можно не любить, тяготиться им, но оно встает на пути как тень отца Гамлета.

Пастернак после войны писал роман пересечений и случайных-неслучайных встреч – «Доктор Живаго». В эвакуации в Чистополе он жил бок о бок с Дмитрием Петровским. Десятки писателей оказались запертыми в маленьком городишке – Пастернак и Асеев, Федин, Леонов.

Драматург Александр Гладков писал в дневнике об атмосфере чистопольского существования:

Столовка Литфонда на углу Толстого и Володарского. Вход прямо с улицы без тамбура. Дверь все время открывается и захлопывается, люди входят и уходят, сидят, стоят, оживленно разговаривая о фронтовых сводках <...>. Угловатый, в кожаном пальто, с красным шарфом, с лицом, протравленным жесткими морщинами, с седыми, словно спутанными волосами и дикими глазами, все времядвигающийся, то входящий, то уходящий, чтобы вернуться обратно, Дмитрий Петровский^[416].

Еще несколько раз в воспоминаниях Гладкова появится Петровский, как тень присутствующий на каких-то общих собраниях. Кажется, что этот человек давно уже умер, но продолжает двигаться по какой-то заведенной привычке. За год до смерти в 1954 году Петровский написал:

Когда-нибудь потомок поздний
Оценит труд мой – знаю я.
Благословит, взглянув на звезды,
Тот ясный путь, где буду я.
И неизбежность бытия
Наполнит вечной явью воздух.
В его дыханьи буду я,
Земли жилец
Скиталец звездный.

Пастернак пытался в Чистополе вновь дружить с Асеевым, заново сошелся с Фединым и Леоновым, но с Петровским не мог.

В первую зиму после войны, 25 декабря 1945 года, в Переделкине на даче Вс. Иванова соберутся многие писатели, война сделает их раскрепощенными, непривычно свободными и даже счастливыми.

Зелинский описывает в дневнике ту встречу, отмечая с обидой недоброжелательное отношение к себе Пастернака:

Приехал Вс. Иванов из Нюрнберга <...>. Были оба Тихонова, А. Н. Толстой, Н. А. Пешкова, Н. Погодин с женой, И. Л. Сельвинский <...> Пастернак и Б. Ливанов с женой <...>. Пастернак пускал в мою сторону шпильки. Его просили прочесть стихи. Он читал переводы из Бараташвили («Синий цвет»). Потом прочел стихотворение («Из двух книг») 1931-го и Марбург. Н. Тихонов просил прочесть Пастернака второй вариант, но тот отказал. Читал Борис с большим подъемом. Ему шумно и много аплодировали, и Ливанов сказал, обращаясь к Н. Тихонову:

– Это, Коля, в твоём союзе единственный поэт.

– К сожалению, он не в моём союзе, – ответил Тихонов.

Потом Пастернак что-то ехидствовал. Его, видно, раздражал Тихонов.

Он даже рассказал такую вещь (но, думаю, что он это выдумал, чтобы позлить Тихонова). Китайский поэт Фу-Бай-Чан делал альбом автографов, который – «в виде большой чести должен был отправить (?) и я», – сказал Пастернак. – Я написал приблизительно следующее: «Желаю Вам успеха и здоровья и не быть обманутым русскими лжецами, что касается меня, то я не люблю никаких металлических и литературных сравнений, которыми у нас воздают часто хвалу («железный», «твердокаменный» и т. д.). И я считаю, что символом современной культуры должен быть человек, не вбивающий палкой в голову брата свои мысли, а жертвующий своей жизнью проповедник. Я не помню, – продолжал Зелинский, – точно его слов, но смысл был именно такой. Пастернак это говорил Тихонову, но тот ничего не сказал. Он вообще уходил в беседе сознательно от всякой политической остроты. Всеволод сказал, что Тихонов сам пришел к нему в гости. Он его не звал^[417].

Зелинский почувствовал, что нерв этой встречи – внутреннее напряжение между Пастернаком и Тихоновым. Здесь еще есть боль, обида. Тихонов готов слушать стихи Пастернака, но не его опасные речи. Тихонову судьба уже не дарит строк. Возле Пастернака можно греться, его поэзия остается подлинной.

Всем тем, кому я доверял,

Я с давних пор уже неверен.

Я человека потерял

С тех пор, как всеми он потерян.

Но Пастернак всем своим видом показывает, что прежним отношениям пришел конец. Отсюда это – «не буду читать», и горестный Тихонов, которого «никто не звал».

В письме Надежде Яковлевне Мандельштам Пастернак высказывается еще определеннее:

...от моего бывшего миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об этом заявлять. И они, разумеется, правы, что в долгу передо мной не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у меня нет выбора^[418].

Буквально в те же дни Зелинский язвительно пишет и о прежнем товарище по конструктивизму – Луговском: «В нем меня всегда больно ранит его беспозвоночность, умильность, готовность служить. Бедняга, как его поломала жизнь»^[419]. Себя-то Зелинский видит независимым и гордым.

Луговской давно уже не старался производить впечатление. Если же власть толкала его на «дурное», он прятался, пил или врал ей. М. И. Белкина рассказывала, как в 1939 году он разъяснял младшему другу по «Знамени», Тарасенкову, после того как на него напал какой-то «правдист», механику признания ошибок. Тот раздраженно называл его «политиканом».

В 1941 году Луговской оказался в Ташкенте и писал поэмы, которые определял для себя как «книгу Бытия», не находя еще окончательного названия. Бывшие ученики презирали его, потому что он оказался не на войне, а в тылу. Он и сам себя презирал, думал о том, как бы уйти из жизни. Но в то же время его посещало странное удовлетворение от своего падения. Может быть, оттого, что это был его собственный выбор?

В эвакуации многие считали, что он погиб и как поэт, и как человек. Но он вернулся к жизни. Писал одну поэму за другой. Эти метаморфозы настолько изумили его бывшего ученика и друга Константина Симонова, что он подробно описал Луговского в повести «Двадцать дней без войны».

В те дни и месяцы поэта более всего занимала идея случайной смерти. Жизнь как движение по адовым кругам. С Дантовым адом сталинские времена сравнивали многие. Луговской наивно полагал, описывая ад (сталинское и гитлеровское время) и чистилище (хрущевские времена), что он допишет и рай (коммунизм). Одна из незаконченных поэм, не вошедшая в цикл, называлась «Каблуки» – поэма о живых мертвецах. В опустевшем доме отдыха на берегу Черного моря, где герой отдыхал в течение многих лет, осенней ночью к нему приходят тени, оставляющие следы каблуков на песке:

Проходят, всюду парочками снова,

Откинувшись, садятся на скамейки,
Опять ведут тупые разговоры,
Целуются и жмутся, задыхаясь,
Бюстгалтеры снимают и хохочут.
И говорят враждебные слова:
Борис! Борис! Что сделалось с тобою,
Холодным, злобным членом комсомола?
Где ты теперь? – я умер, уходи!
Николенька, зачем сидишь спокойно
На нашей старой голубой скамейке?
Тебя, насколько помню, расстреляли? –
Да, расстреляли. Умер. Проходи.
А ты, Иван Иванович, детина,
Мореный дуб, чудовище мясное,
Любивший девок, водку и котлеты,
Где ты теперь? – Я кончен, уходи.
Я был обманут, – раздается голос, –
Я был отвержен, – покачнулся шорох, –
Я подчинил себя чужим законам.
И потому я кончен. Уходи.

Встреча теней продолжается. Сюда прилетели души, в то время
когда их тела спят, едят, живут. Человек, расставшись с живой душой,
не замечает ее потери. Поэма заканчивается горьким утверждением:
Неужто вы, умершие, живете
Неизменные в поступках прежних,
В словах обычных, в ожиданьи старом
Какого-то последнего конца.
Конца не будет.

Ход мыслей о *нежизни* вернется к Луговскому в его стихи
последних лет.

И здесь нельзя не увидеть переключки с пастернаковским
заклинанием: «...но быть живым и только, живым и только – до конца».
Итог тех трагических лет, связей и разрывов только один – смерти, как
физической, так и духовной, может противостоять только жизнь.

Я не материалист и считаю, что рождаемся мы не для того, чтобы
оставаться на месте, – писал Пастернак Зое Никитиной, – куда нас
положила тайна явления, а для того, чтобы подняться над листом и
уноситься^[420].

Жизнь поэтов и писателей 30-х годов нами еще не осознана и не понята до конца. А ведь помимо арестованных и расстрелянных литераторов было множество искалеченных судеб, уничтоженных талантов, продолжавших тянуть свой век, имитируя процесс творчества. Ахматова говорила о том, что масштаб трагедии этих лет не запечатлела ни одна литература, что шекспировские драмы – эффектные злодейства, страсти, дуэли – детские игры по сравнению с жизнью каждого из них. Они верили, что их голос услышат.

Но мы знаем о той трагедии совсем немного. Непрожитое время, неслучившаяся жизнь, загубленные души не могли исчезнуть. Они незримо и беззвучно где-то рядом с нами. И наше спасение в том, чтобы вернуть им их собственное существование, чтобы их голос был услышан.

Приложения

Письма, дневники, воспоминания

Письма^[421]

К. Зелинский - Б. Агапову, В. Инбер, В. Луговскому

31.12 1929. Узкое

Дорогие друзья!

Не имея возможности лично переговорить с вами по ряду важнейших дел ЛЦК, посылаю вам некоторые свои соображения письмом.

1. Хочу сделать еще попытку убедить вас в том, что курс, взятый группой, неправилен. Поскольку я его себе представляю издали, сущность этого курса в том, чтобы спрятать наше прошлое, замолчать его, направив все внимание общественности на наши новые программы, утверждения, декларации и т. д. Вы делаете ставку на новый сборник (который еще будет издан) и на новый «манифест».

2. Отсюда проистекает вся неправильная политика и тактика ЛЦК, проникнутая двойственностью и недостойной робостью. Вы тщательно избегаете принимать бои по тем вопросам, которые нам предлагает критика («Лучше не упоминать о «Бизнесе»^[422] и т. д., чтобы не дразнить перунов»). Страусова политика. Поэтому вы хотите прикрыться от нападений не идеями, а авторитетом Асмуса. Поэтому вас повергает в

страх и отчаяние возможный уход Асмуса, так как он служит для вас щитом. Сами вы не в состоянии защитить себя. Печальная и дискредитирующая нас картина.

3. Вместо прямого ответа по существу нашим противникам мы мобилизуем внимание общественности на... критике Уткина. «Комсомольская правда» совершенно права, когда снова предъявляет нам этот счет. Историю с Ломояном^[423] считаю нашей крупнейшей ошибкой, за которую нам придется заплатить гораздо дороже, чем за все другое. На фоне нашего молчания по основным вопросам наше выступление против Уткина, естественно, выглядит как неудачная диверсия и попытка отвлечь внимание от главного.

4. Основной недостаток ответа Агапова «Комсомольской правде» заключается как раз в том, что он снова обходит все важнейшие вопросы. Несolidно кричать о зажиме самокритики (а в этом пункт письма), не заработав себе на это права честным и прямым отпором на главном фронте. Нечего бояться упоминать то, в чем нас обвиняют. Надо что-то об этом сказать. Или да, или нет.

5. Двойственность нашей тактики никого не обманет (на что вы рассчитываете) и непременно будет вскрыта. Дезавуировав устами Асмуса нашу прежнюю идеологическую работу, мы вовсе (на что вы тоже рассчитываете) этим не купили «врага». Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что теперь примутся за вашу продукцию. Ведь причины, которые заставляют нападать на нас некоторые писательские группировки, заключаются вовсе не в наших ошибках.

6. Всеми неправильными выступлениями и маневрами последних месяцев группа чрезвычайно ослабила свою позицию. Я продолжаю утверждать (и дальнейшие «события», к сожалению, меня поддержат), что выступление Асмуса в Политехничке принесло нам не пользу, а вред. Голым клятвам все равно никто не верит, а то, что он меня ошельмовал и вообще разоружил группу, – это скажется очень скоро и во внутренней работе и вовне. А если ударят Асмуса (что вполне возможно, так как будут бить всякого, кто будет представлять идеологию группы), то он перепугается насмерть и, вероятно, сбежит. Вот тут-то вы и останетесь на мели со своей тактикой цеплянья за юбку Асмусихи. Я вообще считаю, что грош нам цена, если мы боимся, что скажут, что-де был «один марксист, да и тот ушел». Эта фраза, которую и Сильва, и вы часто повторяете, разительней всего свидетельствует об отсутствии у нас внутренней силы и о стремлении на кого-то опереться и за кого-то спрятаться.

7. Есть единственно правильный путь – идти напрямик. Разобрать в статьях наших критиков по существу, защитить «Бизнес» (система защиты – отсутствие диалектической критики), вообще ринуться в бой, не боясь, что подымутся снова все старые вопросы. Клины клином вышибают. Только расчистив путь, мы сможем выйти на новую дорогу, где нас никто не сможет упрекнуть, что мы уклонились от ответа. Вот

почему я настаиваю на ответе Лежневу. Вот почему я считаю, что лучше, чтобы его подписал кто-нибудь другой, а не я. Это будет значить, что группа не избегает лобовой атаки. Мы не можем становиться на путь дезавуирования нашего прошлого. Это самоубийство. После этого надо закрывать лавочку. Мы растеряем остатки уважения. Новый манифест ни в коем случае не должен отталкиваться от прошлого. А раз так, то за это прошлое с нас все равно ответа спросят. Лично я решил непременно ответить своим критикам, напав на них. Я убедился теперь, что это единственно правильный путь реабилитации. Все остальное будет понято как заматывание следов. Выступление Асмуса, статья Ломояна, ответ Агапова – все это мобилизует внимание общественности не на тех вопросах и ставит их не в той плоскости, что нам нужно.

Обнимаю вас.

К. Зелинский

А. Фадеев - В. Луговскому

18 августа 1931

Дорогой Володя!

Валя^[424] все хворает, и я вылезаю из Сокольников всего на несколько часов, чтобы унырнуть обратно. Несколько раз звонил тебе, но, конечно, безрезультатно. Попытки устроить известного тебе товарища в Узкое не увенчиваются успехом. Все время Халатов был болен, вчера – уехал на экскурсию, сегодня – нет ни в ГУЗе, ни дома. Я сегодня изнасиловал его аппарат (убедил, что вопрос согласован), и они позвонили в Санупр, но им ответили, что на сегодняшнее число имеется 879 кандидатов в Узкое! Злит не столько то, что не могу выполнить обещанного, сколько то, что такой милый и заботливый товарищ не сможет отдохнуть по-человечески. Не смог ли бы ты приехать в Сокольники? Завтра я буду там до 5 (в пять повезу Валю к врачу), а с 20-го буду там все время. 20-го хочет приехать к нам небезызвестная тебе Валина подруга Катя Трощенко. (Телефон ее: Кремль, добавочн. 748) – не установишь ли ты с ней контакт и не приедете ли вместе?

Я был бы искренно рад тебе, старик.

Крепко жму руку.

Ал. Фадеев (эсквайр)

В. Луговской - А. Фадееву

15.08.1932

Дорогой дружище! Пит Джонсон (эсквайр)!

Если мне не помешают сложные силы природы, я с девицей Сузи^[425] буду (т. е. будем) лобзать тебя 20 августа вечером. Я настиг беглянку в Саратове и схватил ее в наемных комнатах, где она проживала с беспутными подругами.

Кроме нее я схватил еще грипп. От обоих причин я кашляю и обливаюсь горькими слезами.

Могущественный город Саратов славится рождением святителей земли русской – Радищева и Панферова. Чтобы создать в городе и мире равновесие, между ними бесстыдно родился Леша Авербах...

Стоит чудовищная жара. Я валяюсь на кровати и ровно ничего не делаю. Спас Сузу. Она мечтает об Уфе. Пит Джонсон, лошади и удочки мешаются в ее дикой голове.

Будучи грустен, я издавна выпил дома два литра местного «рислинга». К моему негодованию, я вскоре увидел его снова с прибавлением съеденной закуски. Этот «рислинг» имел вкус крысиной мочи и бил из меня на расстоянии 2, 3/10 метра.

В городе масса прехорошеньких девочек, на которых абсолютно никто не обращает внимания. Девочки на глазах пропадают в тоскливой бездне. С переброски краевого центра все сквайры уехали в Сталинград. Город населен нимфами и морфилидами.

Сузи угощает меня чудным салатом и разрешает пить только пиво. Настроение у нее нынче хорошее.

Надеюсь, что в наших обиталищах все протекает спокойно? Я всей душой рвусь в милую Коммуну. Попроси поставить у меня еще одну кровать и вешалку повесить.

Пожалуйста, получив письмо это, протелеграфируй мне о делах, если таковые имеются, о себе. Привет Вале. Передаю Моте[2] мои горячие чувства.

До скорого свидания, дорогой брат, потомок Дж. Брауна (эскв.)
Выше знамена!

Твой W.

А. Фадеев - В. Луговскому

22.10.1934. Благовещенск

Милый друг, Володя!

Сразу по приезде в Хабаровск послал тебе телеграмму с адресом своим, да «Тихоокеанская звезда» (газета краевая) послала тебе приглашение приехать, а от тебя ни слуху ни духу. Правда, я уже 12 суток из Хабаровска – в разлуке со своими спутниками, – может быть, ты откликнулся как-нибудь, но мне сие неизвестно. Встретили нас, конечно, колокольным звоном, ибо писателей здесь любят еще больше,

чем в других краях чудного нашего государства: распечатали в газетах отрывки, портреты, биографии. С неделю мы докладывали, выступали и банкетировали, потом разъехались: Гидаш и Фраерман (чудесный такой мытарь) – в Крымусы, Вера^[426] – в Комсомольск, Петя^[427] остался в Хабаровске (муж сей как будто не склонен к большим передвижениям), а я с третьим секретарем крайкома поехал по пограничным районам Амурской области. Сейчас сижу один в служебном вагоне на станции Благовещенск в ожидании поезда на Хабаровск (секретарь с утра уехал в Ивановский район, который для меня не интересен, – и подсядет ко мне на станции Бочкарево). Съездили мы очень здорово. Районы – в верховьях Амура – очень глухие, суровые. Пограничники живут по редким казачьим станицам, а был и <нрзб> в долинах посреди тайги. Замечательный народ – в большинстве российские рабочие – понатащали сюда жен, стерегут границу, читают книги (много спрашивают про съезд и писателей знают), ставят домашние спектакли и, по существу, помимо главного своего сторожевого занятия, занимаются всем – и хлебом, и лесом, и рыбой. Уехал от них с чувством большого уважения к ним и даже зависти.

Ехали мы чудными местами: суровый, осенний Амур, в скалах, в осеннем золоте. Изредка проплывет пароход – наш или Манчжоу-го, – плоты плывут. Дорогой захватила нас зима – машину таскали чуть не на себе через провалы, один хребетик одолевали часа 2 (ночью) – чистили снег – не помогало, тогда стали класть под колеса полушубки и одолели. Устали зверски, но было очень весело. Тайга глухая, кругом звериные следы через дорогу. Однажды на закате поднялись из кустов штук двести глухарей, расселись вокруг на деревьях – жирные, черно-фиолетовые, хвосты как лиры. Пограничник стрелял, да промазал и всех распугал. Но они долго еще мне во сне снились. Вернусь из этого похода – и сяду писать. Планы у меня большие. Чувствую, что вошел уже в ту пору, когда ветрогонству – *конец*. Надо закончить роман, написать несколько рассказов для «Правды», засесть основательно за теорию и за науки и одолеть поначалу не менее двух языков – немецкий и английский. Засяду под Владивостоком, и года полтора, два в Москве меня пусть не ждут (сие пока в тайне держи, т. к. разрешения от ЦК я пока не имею, да и боюсь, что дойдет эта весть до родных и любовниц и начнут они меня мучить слезными письмами). Чувствую я себя прекрасно – в здешней суровости, в здешних темпах и масштабах. Поначалу – «встречи с друзьями!» – кое-что мы попили (раза два я нарезался даже основательно), а сейчас уж и думать забыл, – не до того (*очень хочется работать*).

Вспоминая последние два года, не могу подчас избавиться от чувства большой грусти – прожиты не так, как надо, с малыми успехами и – в сущности, без радостей. Хотелось бы иметь в предстоящей жизни подругу сердца, да, кажется, придется одному быть. За жизнь свою не менее, должно быть, тридцати «алмазов сих» подержал в руках – и от

них настоящей любви ни от кого не нажил, да и сам никому не предался до конца, – теперь, уж видно, и поздновато надеяться. Так-то, mein Hertz!

Тебе я был бы, конечно, несказанно рад – ты бы мог увидеть здесь много чудесного и *хорошо* поработал бы. В редакции «Тихоокеанской звезды» встретят тебя с распростертыми объятиями и всегда укажут, где я, ежели перед этим я не успею сообщить перемену своего адреса. Кормят, одевают и перевозят здесь за гроши. Ежели надумаешь ехать, сагитируй Лидина – мы с ним здесь жить, конечно, не будем, но пускай поедит и напишет что-нибудь – Дальний Восток будет рад. Приветствуй Сузку^[428], и маму, и Гришу^[429], а Тусю^[430], любимицу мою, поцелуй. Крепко жму тебе руку.

А.

P.S. Читал отзывы на «Дангару» и очень рад за тебя. Как дела с «Эфемерой»^[431]? Пиши и телеграфируй мне: Хабаровск, редакция «Тихоокеанской звезды». Привет и мир тебе!

А.

Сейчас принесли свежую газету. Здесь на Амуре зима, а в Уссурийском крае, – газета пишет, – вторично вишни зацвели. Вот край-то каков!

А. Фадеев – В. Луговскому

10.04.1935

Дорогой Володя!

Писем и телеграмм, посланных до востребования, я не получал, а получил твою спешную записку. Судя по замусоленности конверта, тот, кто ее вез, долго елозил ею по всем карманам – может быть, недели, может быть, месяцы. Но все-таки я ее получил и очень обрадовался. Я уже думал, что ты отвык от меня и вместо рослого и багрового Пита Джонсона представляешь себе какую-то отдаленную туманность из Канта – Лапласа. Но Пит Джонсон жив и, несмотря на некоторые удары судьбы, во многих из которых он виноват сам, начинает чувствовать себя все более бодро и кончает третью книгу «Удэге». Голоса жизни тревожат старика. Тысячи уток, осуществляющих весенний перелет, проносятся над его головой и прямо перед его носом, на только что освободившемся ото льда голубом заливе, совершают свои извечные утиные дела. Прямо скажем, Пит не прочь бы поохотиться, тем более что весенний прилет скоро кончится и охота будет запрещена.

Но Пит Джонсон временно послал голоса жизни к е... матери и корпит над романом. Роман как будто удается. Поездка на пленум крайкома вырвала из работы 13 дней. Но пленум крайкома – это дело более серьезное и полезное, чем пленум ССП, и я не жалею о потерянном времени. Долго я не имел ответа из Москвы на просьбу перевестись на Д<альний> В<осток>. Теперь это дело улаживается. Следовательно, старый Пит еще не скоро услышит шум столицы. Я очень рад за твою работу последнего года, хотя год был труден для тебя. Но если уж такой книжный верблюд, как Мирский, отдает должное этой работе – а признания других мне тоже известны, в том числе признания людей живой жизни, – значит, это и правда хорошо. Из лирических стихов я знаю только то, что напечатано в «Знамени». Оно мне понравилось, и я могу читать его наизусть. Правда, в нем есть отрывка застарелого индивидуализма. Вообще, начиная с предсъездовских месяцев и в последующем времени ты как бы снова вернулся к «Страданиям моих друзей» (включая выступления на съезде), и этот стих и, возможно, «Эфемеру», как я ее понимаю, но на новой более высокой и трудной основе. Это было неизбежно и необходимо для тебя, потому что двумя книгами «Большевикам пустыни» и книгой «Жизнь» ты сильно вырвался вперед своей общественно-революционной, разумной (чтобы не сказать – рационалистической) стороной. И хотя это было движение вперед, но для органического поэтического развития надо было глубже и рациональнее пересмотреть, перетряхнуть и перевернуть всего себя. И ты, страдая и чертыхаясь, плача и злясь, взялся за это мучительное дело. Продолжай его и дальше с тем мужеством, которое всегда живет в тебе под ворохом всяких временных (житейских и общественных) падений и взлетов, которое всегда проявляется у тебя в самые критические и решающие минуты как качество определяющее. Не сомневаюсь, однако, что на этом этапе работы ты не задержишься, а шагнешь к синтезу, и тогда это будет как раз то, что надо в самом большом плане. Ускорить этот процесс не могу ни я и никто другой, кроме тебя самого, если ты правильно поймешь и почувствуешь то, что с тобой происходит. Что же касается жизненных несчастий и горестей – болезней, личных размолвок и неурядиц, зависти и злобы недругов, собственных житейских слабостей, уколов самолюбия, денежных затруднений, разочарования в тех или иных людях и т. д. и т. п., – то это сопровождает жизнь всех людей и проходит, как воды Гвадалквивира (я бы сказал). И если никто из нас не в состоянии отрешиться от всего этого, ибо нельзя отрешиться от живой жизни, то ведь она – живая жизнь – несет с собой и много простых и мужественных и непосредственных радостей. Следовательно, откинь с души мрак, бодрее гляди вперед, живи и работай во славу родной Калифорнии! Приехать на Д<альний> В<осток> (и вместе с Сусанной) я тебе искренне советую. И конечно, не из эгоистических соображений

(хотя не надо доказывать, какой бы это для меня было радостью), а исходя из того, что это даст тебе чрезвычайно много. Такого темпа, стиля, сложного переплета, многообразия и оригинальности жизни ты не увидишь нигде. Условия для работы – идеальные. Да и поверь, что старый эсквайр Пит Джонсон – неплохой товарищ для тебя. Вспомни хотя бы яаяяуфу. Да и вообще, самое плохое и вредное при нашей профессии – это праздность, видимость жизни. Только когда человек работает всласть, он в состоянии ощущать, что на свете есть еще такие прекрасные вещи, как лес, море, звезды, добрые кони, умные и чистые люди и прекрасные женщины. К этому я, собственно, и призываю тебя. Я знаю, что ты и сейчас много работаешь, но работаешь, продираясь сквозь дебри настроений и суетности. А ведь это можно послать к черту, перенесясь одним хорошим молодым движением на 10 000 километров через горы и степи к берегам Великого и Тихого.

До свидания, Володя. Крепко жму твою руку. Желаю тебе бодрости, удачи, хорошего сна и веселого пробуждения. Мой братский привет Сузе, маме, Тане, Грише. Вспоминайте все-таки, что Пит Джонсон жив и намерен жить, как Мафусаил. Салют! Салют!

А.

Н. Тихонов – В. Луговскому

3-4 марта 1936

Милый Володя.

Страшно соскучился по тебе. Не слышно тебя, не видно, стихов не печатаешь, в Ленинград не приезжаешь, писем не пишешь. Все по тебе на Зверинской соскучились, а в первую голову я. Сижусь я с 1 марта в Петергофе, первые две недели ничем не мог заниматься. Голова сама не своя. Усталость какая-то. Равнодушие, сонливость, точно муха цеце укусила. Постепенно отошел от этой тоски и начал тихо водить пером по бумаге.

Кропаю потихоньку свою книжку, а тут свалилась дискуссия^[432]. Потасили меня в город. Послушал я дискуссию. Вяло, тоскливо, неумно... 13-го кончается она у нас. Я буду выступать с речью, как полагается, но меня это интересует средне. Больше я интересуюсь тем, что делается на свете. Что ты пишешь? Где ты живешь? Как? Счастливы ли твои легкие? До мая я буду в Петергофе, а потом, возможно, из-за своего сценария^[433], дела таинственного и страшного по новизне, уеду, уеду то ли под Москву, то ли в горы Кавказа и т. д.

С книгой стихов делается страшно что-то. То она проясняется и, кажется, вот-вот все готово, то обволакивается таким туманом, что не разбираешь, с чего ее начать, чем ее кончить. И это не потому, что я оперирую неясными для себя мыслями – нет, она сложна всем, начиная с мест, о коих идет речь, до тех событий и людей, что в ней выведены.

Как бы то ни было в начале мая, под первую грозу, я ее окончу. Хочу назвать книгу «Тень друга». Как будет Ваше просвещенное мнение? Володька, приезжай в Ленинград. Мы будем тебя холить, поить, чесать твою гриву и читать твои стихи новые – дагестанские и европейские.

Дмитрий^[434] сначала ревел как сирена у себя дома, потом прислал мне статью, которую невозможно печатать, потом прислал письмо, где он сам признает, что статью невозможно печатать. Я думаю, он в Москве не покажется, пока его имя не сойдет со столбцов литгазет в двух городах.

Новых стихов в Ленинграде выдающихся нет. Впрочем, и прозы тоже. Тынянов возвращается из Парижа с той же болезнью, т. е. с тем же состоянием ее, с каким уехал. Лечиться ему три года – а чем кончится все – неизвестно. Хорошенькое дело.

У нас прошел слух, что Петя Павленко будет секретарем Союза и для этого его вызывал Горький. Интересно, интересно...

Всеволод^[435] отпустил речь почти гранитную. И ушел, оставив заместителем своим Гомера. Здорово!

Пришли мне какие-нибудь сносные стихи москвичей. Стихов нет. Хочу читать новые стихи. И умоляю тебя писать стихи немедленно. Твоя «Шамуни» будет очень кстати.

Еще у меня есть мечта, которая мне только снится. Если бы в ближайший год, да бригадой нашей старой тряхнуть куда-нибудь – тоже неплохо было бы. Как в насмешку подарили мне ледоруб в этом году, а на Кавказе я буду ездить с режиссером в автомобиле. А на старости лет хорошо тряхнуть стариной. Приезжай – поговорим о прошлых днях, Кавказе и о всяком другом. Крепко обнимаю тебя – передай искренний привет от всего сердца твоей чудесной маме и милым сестренкам. Пиши.

Н. Тихонов

Если ты получил мои авторские кахетинских стихов, пришли или привези, если приедешь.

А. Фадеев - В. Луговскому

13.04.1936

Дорогой старик!

Узнал из письма Павленко, что ты приехал. Я ужасно переволновался за тебя, когда дошли слухи о твоей «аварии». Напиши мне, чем все это кончилось, – нет органических нарушений легких и прочих существенных внутренностей, – каковы могут быть еще последствия, или хуже того, что было, уже не будет? Четвертую часть «Удэге» я кончаю. Буду жить в Сухуми до 15–20 апреля. Рекомендую

тебе при содействии Юдина (или Ставского – Щербакова) добыть путевку в дом отдыха Моссовета или в Синоп и приехать сюда. Здесь солнечно, пища нормальная, цветут баобабы и бабы, работается хорошо. Опять же море. Кефаль. Листочки и лепесточки. Барашки и дельфины. Божьи коровки. Хороводы «абхазянок прекрасных», как писал Майков. Я соскучился по тебе, по твоим стихам, по нашим разговорам. Новую песню Сусанны («по военной дороге...») я распространил повсеместно. Кому бы ни пел, всем очень нравится и все быстро перенимают. Немало было возмущения высказано по поводу того, что песня эта не внедряется в массы теми людьми и органами, которые должны были бы немедленно ее издать и распространить. Я не спрашиваю тебя о поездке, понимая, что это невозможно изложить в письме. Хватит, наверное, на несколько дней непрерывного рассказа и на месяцы – дополнительных художественных деталей. Мы еще доживем до той поры, когда поедем вместе! Я очень желаю тебе здоровья, мужественный старик, – это главное. В комнате подо мной (я живу, можно сказать, в мансарде, трогаю рукой кипарисы с балкона и по рассеянности плюю на сонного рыжего пса, который греется под балконом) – живут Валя и Марианна^[436], обе больные и симпатичные. Марианне нравятся очень стихи «Сивым дождем на мои виски» – несколько раз просила читать. Удалось ли тебе написать что-нибудь новое?

Очень жду тебя. Крепко жму руку. Мой самый радушный привет Сузе, Ольге Михайловне, Тусе, Грише.

Приезжай, старик!

А.

В. Луговской - И. Голубкиной^[437]

1937

Милая Ирина!

Вы мне не ответили на письмо. Это очень тяжело для меня. Я всем своим существом понял Вас и пережил каждую строчку, которую Вы писали. Но Вы не узнали бы меня сейчас. Несправедливости, прямая инсинуация, травля, личное горе, ужасное нервное состояние приводили меня за это время не раз к тому, что смерть я видел совсем рядом: мне просто хотелось заснуть.

Я опять обращаюсь к Вашей человечности, к памяти о наших старых днях, когда мы так много давали друг другу. Ответьте мне, напишите письмо.

Я не раз обращался к Вам в самые трудные минуты жизни, и Вы мне отвечали тем же – доверием, Вы ведь находили у меня поддержку, и жизненную зарядку, и добрые слова товарища. Вы отлично знаете, что всё, о чем бы Вы ни попросили, я сделал бы. То же самое я знал и с

Вашей стороны. Мы должны найти, как всегда, и общий язык, и правильное отношение друг к другу. Все, что только можно сделать для этого, – я сделаю.

Я живу как во сне – так скверно с нервами, так мучительно болит сердце. Об отдыхе думать не приходится. Хуже времени у меня не было. А мысли идут и идут, и хочется заснуть. Теперь, кажется, дела поворачиваются по-справедливому, и я начинаю это чувствовать, но я уже слишком устал.

Напишите, милая Ирина, мне ответьте. Адрес: Баку, почтамт, до востребования.

Жду, когда мы сможем с Вами обо всем договориться. Это будет большой радостью для меня. Крепко жму Вашу руку.

Ваш В. Л.

В. Луговской - И. Голубкиной

21.04.1937

Дорогая Ирина!

Я получил Ваше письмо и согласен с ним. По странной случайности, в день, когда я его получил (я поехал к Вам, узнал, что Вы на Кавказе, вернулся домой), я тяжело заболел и слег надолго. И теперь я всегда буду помнить это чувство – тяжелейший удар совести и горькое сознание того, что НАСТОЯЩИЙ друг мог написать мне ТАК ПО ПРАВУ.

Мне только хочется сказать, что не нужен был весь этот псевдонимный характер письма, что он ни к чему.

Еще одно: как Вы, вероятно, знаете, в октябре 1935 года я на пять месяцев уехал в Европу. В Париже у меня была автомобильная катастрофа: было сломано 2 ребра, сделалось тяжелое сотрясение мозга. Приехав в СССР, я должен был немедленно отправиться на 3 месяца в санаторий. Осенью уезжал на Кавказ, зиму был на Украине.

Мы несколько раз с Вами разъезжались. Я звонил Вам много раз – мне от-вечали, что Вы работаете на длинных маршрутах, уехали в Крым и т. д.

Сейчас мне совсем скверно, и более тяжелого в жизни периода (в личном и физическом смысле) у меня еще не было. Доктора кладут меня опять в санаторий. Говорят, что это нервные последствия парижской катастрофы и гриппа. Но посылают сейчас в Азербайджан, в Баку, с делегацией. Я выезжаю туда, а потом лягу и буду лечиться. Адрес мой пока – Баку, главный почтамт, до востребования.

Я хочу лично поговорить с Вами и не в тоне «мягкой дружбы», а с ответственностью, как товарищ с товарищем.

Я очень высоко ставлю Вас, уважаю и ценю.
Напишу из Баку сейчас же.
Крепко жму руку.

В. Луговской

Н. Тихонов - В. Луговскому

18.09.1938. Селение Эльбрус

Володя, милый – соскучился по тебе страшно.

Ты уехал из Москвы еще весной. Где же ты был? Что делал? Что писал? Как ни глядел в журналы, в газеты – тебя нет – ну, думаю, он что-то серьезное затевает, а не публикует до времени – сидит где-то у лукоморья.

Я же полтора месяца гулял по горам – старая моя страсть, от которой никогда, видно, не излечусь, – неплохо гулял. Ледники всякие, перевалы, скалы облазил – в Сванетию сбегал – хорошая Сванетия – только жизнь в ней стала ералашная. Золото роят на Ингуре – подумаешь, Колыма. Я вспомнил нашу Туркмению 1930 года и Дагестан 1933 года. Сколько воды утекло. Очень пожалел, что ты в горы не можешь ходить – у тебя с ногой что-то и ходить тебе трудно.

Ну, ладно, не будем ходить – будем разговаривать. Я в Москву на обратном пути не заеду – торопиться буду в Ленинград. Здесь я сижу в ущелье и тихо-тихо скребу пером. Кое-что надо кончить, кое-что начать.

Хочу зимой работать как следует. Годы мои немалые, а написал я с кошкин хвост – надо чем-нибудь еще душу развлечь и сердце побаловать.

Слушаю здесь в горах радио и удивляюсь, делишки-то какие завязываются с чехами и немцами. Того и гляди – схватятся и новый 14 год – уж не встрянем ли и мы в эту заваруху?

Друг милый, я ужасно люблю всю твою семью: Ольгу Михайловну (как она провела такое адское лето в квартире, я все время о ней думал), Тусю, Сузи – и ты, пожалуйста, передавай им мой самый горячий привет.

Путешествовал я славно, спал в палатке или прямо на земле, под звездами, и очень жалел, что тебя со мной нет – тебе понравились бы и эта цыганско-кавказская жизнь, и сванские башни, и горы и всякая всячина, что там встречается.

Слышал я из частных рук, что наш любимый Петя Павленко женился (?) на дочери какого-то писателя (!) из Переделкина^[438] (!!) Что за чудеса? Я живу здесь радио и слухами. У нас уже выпал первый снег. Встаю утром, как пушкинская Татьяна, горы в снегу, и шишки с иглами с сосен сыпятся (у нас здесь одни сосны). Кругом ледники синие, с

черными трещинами, со всякими ледопадами, торжественные, тихие, зловещие. Здорово!

Если тебе не лень и выпадет время – напиши мне несколько строк по такому адресу: Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик. Главный почтамт. До востребования. Я буду с первого октября жить в Нальчике – спущусь с гор.

Поцелуй своих от меня и скажи им, что я очень без них скучаю.

Крепко обнимаю тебя, старина, и желаю всяческих удач.

Н. Тихонов

В. Луговской - А. Фадееву

<Конец> 1938

Дорогой друг Саша!

Давно собирался я написать тебе это письмо, еще в Москве, но лучше, что пишу сейчас из Ялты, потому что отсюда мне виднее.

Ты, конечно, понимаешь, что мне было невесело, после того как ты уехал. А ведь хотел поговорить с тобой о многом и напрямик. Жаль, что это не удалось. Ты также отлично понимаешь, что жизнь у меня сейчас невеселая по многим причинам. Личные вопросы оставим в стороне.

Меня глубоко обидели. Тебе это ясно без моих слов. Обидели нехорошо, грубо в выражениях, подходящих к человеку *чужому и чуждому*. Ты ведь никогда и ничем не объяснил мне фраз вроде «халтура или еще хуже» по отношению к «Сыну кулябского нищего» или «его стихи очень плохи и их не надо печатать». Это подлые и безответственные слова. Личное мнение Катаева^[439] пусть останется с ним, но это напечатано на страницах высшего органа партийной печати. Вся рецензия – образец пошлости и безответственности, барского отношения к поэту, это хуже всех рапповских окриков. В чем же дело? В неважных стихах «Октябрьской поэмы». Но ведь «Правда» день за днем печатает вещи, стоящие на гораздо более низком уровне. В отдельных слабых местах «Полковника Соколова»^[440]. Но я найду тебе в десятках стихов Сельвинского и Асеева строфы, куда более неудачные, мягко выражаясь. В «повышении качества»? Но ведь нельзя одной рукой систематически понижать качество стихов, как это делает литературный отдел «Правды», а другой рукой писать подобные пришибевские фельетоны, долженствующие насадить истинную красоту в садах советской поэзии. Ты меня утешал – «после статьи Катаева будешь лучше писать». Писать-то я буду, наверное, неплохо, но *что* писать и *как* писать, об этом думаю и еще подумаю. «Кухарка Даша», «Комиссар Усов», «Сын кулябского нищего» – это все хорошие политические и в то же время лирические стихи. Их оплевали в «Правде» – значит, я должен думать и полагать, что эта линия в моей

поэзии *вредна*, я должен нашему читателю. А ведь как раз эти стихи мне давались нелегко, я самым принципиальным, самым честным образом стремился приблизиться к большой политической теме и много над ними работал. Это была не халтура, а *линия*. С другой стороны, прекрасный поэт Пастернак, которого в нашей печати, в партийной печати, смешивали политически с грязью, за два года не написал ничего нового, ни от чего не отказался, и вот он сохранил свои чистые одежды и снова поднят на щит, хотя ему как настоящему поэту это и не нужно. То же и с Сельвинским, которого «Правда» обзывала позорнейшими кличками, наравне с «Известиями». Значит... но что же все это значит? Ты сам, писавший в «Правде» когда-то о «Жизни» и, кажется, «Большевиках», недавно сказал мне, что лучшая моя книга – «Страдания моих друзей» – т. е. книга, написанная *до* внутренней перестройки моей поэзии. Может быть, ни к чему было ломать копыя?

Когда появилась рецензия Катаева (и до сих пор), я слышу от всех почти людей вокруг удивленно-таинственные речи – дескать: «Сын кулябского нищего» – давно известные хорошие стихи, «Кухарка Даша» и др. – то же самое. Значит, тебя «проработали» (какое гнусное слово) *еще за что-то*. И это что-то до сих пор висит надо мной. Тут были всяческие догадки моих «друзей» – м. б., за работу с молодыми? за знакомства? (!) за пребывание в РАППе? и т. д. и т. д., и даже то, что я «слишком много раз говорил в этой книжке слово «русский» (!) – всего не оберешься. Но почему так говорят люди литературы и не только литературы? Потому, что у нас привыкли за одними сторонами читать другие, и еще потому, что безжалостность и цинически холодное отношение к поэту стало правилом в нашей литературной среде (хотя «Правда» ведь не литературная среда). И со мной поступили цинично и холодно. Мне этого не забыть. Это ли «*сталинское внимание к человеку*»? Ты (и не только ты) мне говорил, что «Правде» *не ответишь* на страницах «Правды» по такому вопросу, как книжка стихов. Но буквально через несколько дней после нашей беседы появилась в «Правде» разносная статья Каленова о художнике Богородском, а еще через несколько дней был напечатан ответ на нее Ем. Ярославского в той же «Правде» и без комментариев. Значит – увы! – дело в том, *кто* отвечает, *кто* берет под защиту? Разные мысли приходят в голову по этому случаю. Кроме того – неужели орган ЦК нашей партии может так выдергивать цитаты, заканчивать хорошим и выбирать плохое, без объяснений, без элементарной критической добросовестности. Ведь в статье Катаева нет ни одного названия стихотворений, ни одного намека на то, о чем говорится в стихах и применительно к чему. И в ответе «Правды» Лебедеву-Кумачу^[441] *передернуты все его слова*. Разве так нужно учить «бороться за качество»?

И вот из меня сделали обезьяну и вышвырнули вон: «печатать их (стихов) не надо». Ведь эту фразу уже не вырубишь топором. А если

меня тут же ободряют, что, дескать, если не будут тебя редактора печатать, то мы таковых попробем, то к чему же было «Правде» прежде всего печатать эту безответственную и небывалую инструкцию? Тогда это сугубая безответственность.

В своем ответе Лебедеву-Кумачу «Правда» целиком подтвердила, что книжка моя *антихудожественная и халтурная*. Я отношу это ко всем стихам, помещенным в ней, ибо так и говорит ЦК. Но тогда что же стихи, печатающиеся в «Правде»? Почему Никитин говорит мне, что он не согласен со статьей и будет об этом говорить, а потом появляется ответ «Правды»?

Неужели битьем по морде можно поэта чему-нибудь научить?

Неужели, смешивая с грязью, можно поднять человеческое достоинство? Неужели Союз в нынешнем его руководстве, выступавший на совещании у секретарей ЦК с самыми гуманными речами против заушательства и диких нравов в критике, бессилён был пошевелить пальцем, видя этот образец заушательства?

Я рад был бы самой жесткой критике, клянусь всей своей честью поэта, клянусь именем Сталина. Я погрузился бы, поежился, но понял все, в конце концов поблагодарил. Но в выступлении «Правды» перед Октябрьским праздником с *таким* фельетоном было нечто глубоко для меня унижительное, а все дальнейшее только усилило это чувство непонимания и *стыда* за наши журнально-литературные нравы.

Я сейчас пишу упорно и удачно. Я всегда буду писать, ибо я какой ни есть, а поэт. Мне ничего не нужно, ни чинов, ни автомобилей. Я всегда останусь поэтически честным, довольно беспутным человеком, с склонностью к бродяжничеству, вздыманию бокалов, десятичасовым сердечным беседам, с глупым желанием, чтобы «все было хорошо». Я был житейски избалован своей беззаботностью, слишком часто примерялся, мало дисциплинировал себя, лениво работал, личные трагедии перерастали у меня в нечто сверхъестественное. Был небрежен в моих отношениях с людьми. Билль был байбаком. Сейчас снова взялся за ум, но не благодаря всей этой нехорошей и стыдной истории, а *вопреки* ей. За этот месяц я многое пережил, и теперь улитка уходит в свою скорлупу. Это был для меня не «урок чистописания», а большое, большое *разочарование* в целом ряде представлений и *иллюзий*.

Я буду писать день за днем, вползая в самую гущу жизни, если хватит таланту (а таковой, кажется, есть). Но писать буду прежде всего для себя. Меня уж столько раз учили и водили за нос и за прочие предметы, что мне это глубоко несимпатично, неинтересно. То, что нужно для жизни – буду зарабатывать переводами и всякими другими способами. В этом смысле глубоко прав Пастернак. Основное в моем не очень молодом возрасте – это хоть бы минимальное уважение к себе. А для этого ни «щитов», ни сберкнижек не нужно. Нужна поэзия. Нужны и хорошие друзья.

Ем. Ярославский пишет, отвечая «Правде» в «Правде»: «Обругать чуть не последними словами талантливого художника, вымазать дегтем безапелляционной и сугубо несправедливой критики иным критикам ничего не стоит...» Он (Богородский), как и другие наши советские художники, нуждается в марксистской критике. Но такая недобросовестная критика, как Каленова, не помогает художнику... Это свидетельствует о том, что с критикой в области искусства дело обстоит неблагоприятно, что это критика, как показала статья Е. Каленова, тенденциозна, необъективна.

Вот правильные и честные слова, целиком относящиеся ко мне. Когда В. Катаев прочел ответ Е. Ярославского, он сказал: «снаряд разорвался рядом со мной». Но у меня нет Ярославского, чтобы защитить мое достоинство как художника. Защитить не ошибки и неудачи, а именно достоинство художника. Но кто о нем думает, кроме самого поэта? Никто. И рядом с вымазыванием человеческого лица горчицей существует такое же лихое вздыхание без единой пометки, как это было в «Правде» с подвалом о Твардовском или Вирте. Там ведь никакой критики нет – одни восторги. И это тоже глубоко неверно.

Я работаю с молодыми. Я воспитал целый народец: Симонов, Алигер, Долматовский, С. Смирнов, Матусовский, В. Журавлев, М. Спиров, Бахтюгов, Шевелева и т. д. и т. п. И до сих пор работаю с ними. Очевидно, кому-то нужно специально ущемить меня в глазах молодежи.

С другой стороны, я вижу колоссальные афиши о вечере второстепенного молодого поэта С. Васильева, под твоим председательством, с артистами, комическими номерами и пр. Огромный диапазон между триумфом того же Васильева и измывательством надо мной. Это тоже неверно.

А главное – мне рекомендуется с восторгом принять пощечины, т. к., дескать, от этого же тебе будет лучше, будешь «злее» писать. Возведем тогда несправедливость и мордобой в систему – м. б., писатели у нас начнут злее работать? И начинается вокруг пошлость: «может быть, в этом есть сермяжная правда», «за битого двух небитых дают» и пр.

Нет, за критику, самую суровую, но что-то указывающую, отделяющую плохое от хорошего, честную, человеческую, *не господскую*, – я много бы отдал. Такая критика бывает ударной, но она движет человека в верном направлении. А результат? В Гослитиздате, где два года маринуют мою книжку «избранных», – предлагали ее списать в расход, я и сам думаю, что – м. б., действительно *сейчас* надо ее списать. В «Молодой гвардии», как я тебе говорил, на собрании пускали инсинуации по поводу меня, да что там говорить, всего не напишешь, неприятно. Даже во всех рецензиях об «Александре Невском» приводятся слова песен моих или упоминается о них, но не

ставится имя автора. Ну да это как раз ерунда, дело не в этом. Это все проявления местного чиновничества, и не это меня волнует.

«Литературная газета» изо дня в день печатает туманные фразы о «справедливой критике» «Правды», и даже Лебедев-Кумач не защищает мои стихи, а говорит о неких прошлых заслугах. Прочел бы ты, что «Вечерняя Москва» написала о той части твоей речи, которая посвящена была мне.

Но мне не нужна ни помощь, ни поддержка. Время прошло, и я в них не нуждаюсь, да и не *верю в них*. Остались ощущение холода, несправедливости, глубокий шрам. Я собираю палатку и ухожу. Это был последний урок. Я его усвоил целиком, но по-своему. Только нехорошо выбивать своих солдат.

Я знаю, старина, что тебе было нелегко выступать в мою защиту. Тут положение обязывает к сдержанности, и дружба твоя с Катаевым, и многое другое. За это время я наслушался самых нелепых вещей о твоём отношении ко всей этой истории. Я тебе об этом говорил в Ялте.

Но ты для меня остаешься не членом «семерки» и «литературным водителем», а Сашей Фадеевым, который со мной дружил, с которым, надеюсь, я буду долго дружить. За восемь лет о многом мы переговорили, много чепухи сказали друг другу, много и правильных, достойных слов. Ссорились, мирились, открывали Америки, ходили в музеи, рассказывали о самых личных, душевных делах, ратовали «за святое искусство», пили пиво <нрзб>, читали запоем стихи, ели богатырские блюда, скакали на борзых конях и вместе зарабатывали седину. Я очень сжился с тобой, и, когда провожал тебя на пароход, сердце у меня по-старому сжималось. Наверно, так оно и будет сжиматься до последних моих дней, до уготованного нам крематория с Ванькой Рахилло в почетном карауле. Будет сжиматься, несмотря на все твои сукинсыства и мои также. Впрочем, у тебя сейчас много друзей, а у меня значительно меньше. Но я ценю именно настоящих друзей.

Прости, что я утомил тебя этой диссертацией и моим почерком. Все дело в том, что я *не понимаю*, а в этом непонимании виноват не я, а те, которые меня *оскорбили* и ровно ничему не научили (в глубоком смысле этого слова, а не в том, что, дескать, не нужно подверстывать плохие стихи к хорошим – это *невеликая наука*). Во всяком случае, всю эту историю я не могу считать партийной линией. Никитин сказал, что он со статьей «не согласен». Ты и Зайцев сказали, что это ошибка газеты. Однако у нас ошибки исправляют, и я ничего не понимаю. Я буду бороться и дальше, пока мне не ответят по существу и не снимут с меня грязь, которой так быстро и так усердно обмазали.

Письмо это строго личное, то есть адресованное Саше Фадееву. Буду ждать, что ты хоть бы кратко на него ответишь.

У меня есть и просьба к тебе – помоги мне освободиться от «Молодой гвардии». В двух журналах мне работать нелегко, а «Знамя» для меня журнал родной. Жду твоего совета.

Я начал яростно писать, идут хорошие стихи, главным образом лирические. Если у меня будет хотя бы 20 дней относительного спокойствия, я напишу очень много. Работаю целый день. Выпал снег.

Крепко жму твою руку, старый бизон и эсквайр.

Обнимаю тебя.

Твой В.

М. Алигер - В. Луговскому

13.11.40

Милый мой Володя!

Только сегодня мне привезли в Болшево твое письмо и телеграмму. Письмо меня очень огорчило.

Я много и хорошо думаю о тебе, очень жду тебя, хочу послушать все, что ты написал, и тебе почитать свои стихи, хочу побольше и почаще дружить и видеться с тобой, бродить, разговаривать, а ты вдруг упрекаешь меня в том, что я засомневалась в тебе. Это очень несправедливо и зло с твоей стороны. Пойми, пожалуйста, раз навсегда то, что крепко-накрепко понимаю я: в основе нашей дружбы лежит нечто совсем другое, не имеющее отношения ни к чему, в чем тебя могут упрекать. Все гадости, которые я о тебе услышу, всегда будут восприниматься мною как нечто касающееся какого-то другого человека и имеющее очень малое отношение к моему другу. А если уж коснется, то я всегда как-нибудь внутренне оправдаю, причем окажусь внезапно очень находчивой и изворотливой, потому что мой друг должен быть оправдан. И не только для себя самой, но и для людей сумею я найти убедительные оправдательные мотивы, будь уж спокоен. Понятно?

По-моему, все ясно и недоразумение исчерпано.

Я работаю трудно. Ничего еще не знаю. Посмотрела здесь в Д/О несколько замечательных американских фильмов. Скоро вернусь в Москву.

Не знаю, как быть со «Знаменем»; не могу я работать ежедневно по пять часов, да и ни к чему это, у меня нет работы на такое время. Но как убедить Анатолия^[442], который всякий раз, едва я начинаю этот разговор, впадает в истерику. Очень надеюсь на твою помощь. Ты придешь, большой, упрямый, просидишь несколько часов в кожаном

кресле, будешь говорить на эту тему глухим голосом и смотреть тяжелым взглядом, и он в конце концов сдастся.

Занимаешься ли ты Бурят-монгольской антологией? Если это не трудно, я тоже хочу. Очень интересно съездить туда.

Неужто все 12 стихотворений о Белоруссии? Думаю, что нет, ведь ты собирался коснуться и других направлений.

Когда же ты наконец приедешь? Может, это письмо опять же тебя не застанет? Привези мне сливочной помадки. Мой красный кот, который приехал со мной в Болшево и теперь будет ездить со мной повсюду, сейчас повернулся и спросил, кому я пишу письмо. Я сказала, что Володе, и он удовлетворенно повел усами. Стало быть, мы вместе тебя целуем и ждем в Москву поскорей.

Маргарита.

<i>М. Алигер - В. Луговскому</i>

(Без даты)

Милый мой дружище!

Сейчас 3 часа ночи, только что от меня ушли Мишка^[443] и Павлик^[444], порядочно накричав. Мы читали вслух любимые стихи любимых поэтов. Надо бы спать, но такое родное пришло от тебя письмо сегодня, что хочется сегодня же тебе написать. Так вот, просто написать ни о чем, потому что новостей никаких нет. Никаких-никаких, любопытная рыба, никакусеньких.

Сегодня был вечер в ЦДКА («Знамя»), мы все повытрючивались в меру для среднего удовольствия мало заинтересованных военных товарищей и их боевых подруг.

Ребята сидят в Переделкине. Костя Симонов выдавил еще одну поэму «Детство» – первую часть трилогии. Ему не надо, как нам с тобой, ждать «общего» настроения, взрываться в небо, носиться с какими-то даже еще не строчками, а вздохами и задыханиями, которым суждено стать стихами. Если в его творчестве и участвуют активно какие-нибудь нервы, то только седалищные, и я не завидую ему в этом. Мне сладко мучиться, сладко дуреть от подступающих стихов.

Женька^[445] пишет пьесу. Исбах отрывает (?) Валю. Матуся) просит тебе передать, чтобы ты не беспокоился, что он, слава богу, не похудел. О Коле, если ты думаешь, Николая Семеновича Тихонова я со времени его отъезда из Москвы ничего не знаю. Павлик тебя любит – верный наш дружок.

Все ждут от тебя много новых хороших стихов, верят, что они будут, и, в этом смысле, говорят о тебе много хороших слов. И все твои дела на сегодня – это твои стихи, и они в твоих руках.

Мы: я, Павлик, Мишка и Щипачев, числа 25-го уезжаем в Киев на выступления, дней на 6, после чего я собираюсь остаться недельки на две под Киевом в Ирпене, в Доме творчества. Это тот самый Ирпень, который «память о людях и лете».

Таким образом, мы с тобой, по-видимому, разведемся и не увидимся, если только твой обратный путь не пройдет через этот чудесный город.

Я просила тебя подтвердить получение моей телеграммы, в которой передавала текст телеграммы из Бурят-Монголии, но этого подтверждения не получила. Получил ли ты ее? А два моих письма? Первое – до востребования, второе – в гостиницу? Наверное, уже получил.

Очень хорошо, наверное, у тебя. По твоим описаниям твоего кабинета похоже на одну мою детскую мечту – светлую теплую комнату в маяке, стоящем в бушующем океане. Мне это часто снится. И очень захотелось на немножко туда к тебе, молчать, сидеть тихо-тихо или рассказывать тебе какие-нибудь незначительные, но памятные и дорогие мне вещи про детство, про моих собак и кошек, и друзей.

Володя, Володя. Правда? И что тебе там еще снится такое, не знаю. Спи, пожалуйста, спокойно, без всяких снов, слышишь?

Целую тебя.

Маргарита.

А я люблю сны. В них моя вторая жизнь. Запоминай свои, для меня.

Татьяна Луговская

Записки^[446]

Брат

Как трудно приоткрыть дверь в прошлое. Как трудно продраться через калейдоскоп воспоминаний (звуков, запаха, цвета). Освободиться от рассказов, от необходимости ясности. Увидеть уже невидимое, исчезнувшее и вернуть бывшее в настоящее.

Легкий осенний ветерок шелестит акацией, рождая металлический звук. Не холодно. Вся земля усеяна облетевшими листьями и засохшими стручками акаций.

Мы сидим в тайнике этих зарослей. Вокруг нас жизнь, но мы с братом отделены от нее. В разреженном воздухе пахнет прелыми листьями и дымком (дворник ставит самовар).

Мы сидим, обнявшись, в тайнике из осенних акаций, и Володя негромко читает мне стихи, не свои, а чужие, незнакомые.

Я слушаю очень внимательно, но иногда сбиваюсь и прислушиваюсь к другим звукам – где-то голоса ребят, где-то ближе вспорхнула птица, и уже совсем близко за кустами наш пес Султан упорно и ритмично чешет себя лапой. И опять волна незнакомых стихов:

А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?

Мы сидим с Володей в кустах нашей засыхающей желтой акации. Сидим на лавочке – дружно, близко. Солнце уже осеннее – равнодушное, и ветер шелестит сухими стручками акации, рождая металлический звук. Вся земля усыпана листьями и семенами акации. Мы в зарослях, нас не видно. Мы в тайнике.

Происходит что-то очень важное: Володя читает стихи. Не свои, чужие, странные:

А вы ноктюрн сыграть смогли бы
На флейте водосточных труб?..

Или:

Череп овал целовал, миловал...

Или:

И под Лаверлуа, под Варшавой
Шел ты рядом в шинели шершавой...

Что такое Лаверлуа? Почему череп овал целовал? Но так прекрасно звучит. И еще Блок, которого я много знаю наизусть, но он читает не то, что я люблю, а: «Он говорил умно и резко, / и узкие зрачки метали прямо и без блеска / слепые огоньки» и «Черный вечер. / Белый снег. Ветер, ветер! / На ногах не стоит человек».

Это необыкновенно запомнилось. Запомнилось и отложилось в памяти.

Осень. Сокольники, приехавший, уже женатый, брат, счастье от стихов и от родившейся в нем необходимости читать эти стихи мне в зарослях акации, спрятавшись ото всех вдвоем, обнявшись.

Словно и не было времени. Словно, как в детстве, мы опять вдвоем и опять он открывает мне новый мир.

И почему именно эти строчки запомнились так ясно? А других не помню.

И опять все блекнет и теряется, но могучий рокочущий голос брата, который ему так трудно перевести в тихий, вместить в полусшепот – его голос слышу отчетливо. И лежит его рука на моем плече.

Когда же это было? Наверное, 24-й год. Сокольники. 123-я лесная школа.

Часы и стихи

Брат мой был похож на маму. Мать на деда, а дед тоже повторял свою мать.

Все они цеплялись друг за друга в потемках времени и накапливали в себе то многое, что ему досталось.

Мама выродила сына еле-еле, в страшных муках, и он чуть не отобрал у нее жизнь.

В Москве на Поварской, в доме деда, куда мама приехала производить на свет ребенка, побелили для этого случая две комнаты, заготовили много стопок чистого белья, вызвали акушерку и завели большие старинные часы в футляре красного дерева.

Много раз били часы, а ребенок все не появлялся на свет Божий, и обессиленная мать начала терять сознание. Акушерка ночевала неотлучно в доме. Появился доктор.

Было лето, было жарко и душно. Собиралась гроза. Все не спали, все волновались, ходили на цыпочках, шептались.

Говорят, что все случилось как-то одновременно: начали бить часы, полил дождь, и появился на свет большеголовый укрупненный мальчик весом в четырнадцать с половиной фунтов.

Чудом выжила мать, а ребенок чувствовал себя прекрасно. Он уверенно рос и превратился со временем в поэта Владимира Луговского.

Прошло 68 лет со дня его рождения. Больше никого живого не осталось из свидетелей того дня 14 июня 1901 года (?!). Остались стихи, остались часы. Стихи, заключенные в книжки, стоят на полках в некоторых домах, я слышала недавно, как их читали по радио.

Часы и сейчас висят в кабинете Луговского на Лаврушинском переулке. Только они уже давно остановились: какая-то жилка взорвалась в них и чинить их не берутся.

<Могила в Ялте>

Ехали долго (так мне казалось), ехали городом, потом въехали в парк, дорога пошла круто в гору. Было нас 5 человек – двое мужчин и три женщины.

Все выше и выше. Остановились на дороге у скалы. Вышли из машины. Было темно, трудно было ориентироваться. Мужчины ударили в землю лопатами под скалой и попали на камень, земли не было. Второй раз – опять камень! Стали копать правее, и лопата вошла в землю.

Разговаривали шепотом. Делали мы все это тайно, украдкой. Тут был парк, а не кладбище. Сровняли землю. Постояли. Послушали ночь. Потом почитали стихи. И тихо тронулись в обратный путь.

Он рос скачками, несоразмерно, как гадкий утенок. То вырастали руки, то ноги, то голова. То волосы вдруг переставали хорошо лежать и торчали в разные стороны, то вдруг он покрывался прыщами, и как это ни грустно, но очередная беда, очередное отклонение часто совпадало со знакомством с какой-нибудь барышней, которая ему нравилась. Впрочем, как мне кажется, ему тогда нравилась каждая новая знакомая. Так это было для него ново, так он был открыт к красоте, кокетству, женственности.

В нем развивались гармонично только доброта и великодушие.

То получал похвальные листы, то двойки.

Из-за такой несоразмерности он был некрасивый мальчик, и мама потом рассказывала, что она плакала потихоньку, жалея его за некрасивость.

Потом вдруг, совершенно неожиданно для всех, в один прекрасный день (когда ему сделалось лет 18-19) наш Володя сделался стройным и интересным, даже красивым молодым человеком. Все в нем сравнялось.

Ну и тут уж пошло ухаживание вовсю. Надо сказать, что и барышням, и девочкам, и дамам он начал нравиться чрезвычайно (тоже асоразмерно). Женщины ведь любят красивых и добрых (а уж если сюда привить талантливость, конечно, трудно устоять).

Как-то сразу он перерос отца, он был темноволосым, как мать, и очень стал похож на своего красивого деда. Надо сказать, что обе мои бабушки были нехороши собой, зато оба деда красавцы хоть куда.

Приехал в Сокольники Володя с молодой женой, и так трудно было узнать в этой взрослой женщине, выглядывающей из-под большой шляпы, Тамару из Загорской колонии.

Я остерегалась ее и убежала в сад. Ну что же, пожалуйста, если ты женился, я могу и одна погулять. Мне не будет скучно, – уговаривала я себя, шагая по опавшей листве. Мне не будет скучно... мне не будет скучно... мне...

– Туська-а-а! – загремело на крыльце.

Ах, как я обрадовалась!

Мы уже сидим с братом в зарослях акации. Мягкий осенний ветерок перебирает стручками-семенами, они трутся друг о друга, рождая странный металлический звук. Осеннее солнце не греет. Воздух разреженный, и паутина летает от куста к кусту. Володя читает стихи...

Наш Володя

Наш Володя был очень большим – и рост, и руки, и ноги, и голова. Он был сильный, но, как мне кажется, неловкий. Драться он не любил, но уж если необходимо, то так лупил товарищей, что их родители приходили жаловаться на него папе.

Помню, что несколько раз он и сам приходил домой окровавленный и поспешно направлялся в умывальную комнату смывать кровь, чтобы никто не видел. После драки он пробирался домой черным ходом, потихоньку, и нянька его покрывала, а я фискалила. Он мне показывал кулак, но никогда не пускал его в ход.

Когда читал, то делал рукой разные жесты, то вроде угрожал, то качал рукой как по волнам.

Когда его окликали, то он не сразу слышал. Очень интересно было подглядывать за ним в щелочку во время его чтения, что мы с сестрой и делали частенько. Смотрели, толкая друг друга, хихикали, а он как глухой – ничего не слышит. Я читать еще не умела и думала, что книжки его очень интересные, потому он ничего и не слышит. Но сестра Нина пожимала плечами и говорила, что она их смотрела и что они совсем неинтересные!

Больше всего ему нравилось сидеть у себя в комнате и читать разные книжки. Про него все говорили, что он серьезный мальчик. Наверное, он такой и был.

Еще он был очень добрый и не выносил, если кто-нибудь плакал. Стоило зареветь, как он сразу кидался утешать и уговаривать. Я это начала понимать очень рано и часто начинала плакать «для него», чтобы он меня утешал и рассказывал мне разные сказки.

Рассказывать он любил и рассказывал очень интересно – и сказки, и разные истории про капитанов и пиратов. Впоследствии, когда я немного подросла, он часто рассказывал мне про историю. Очень хорошо все запомнилось. Гораздо лучше это было и интереснее, чем потом пришлось учить в школе.

А еще у него было одно умение, которое мне потом в жизни уже не встречалось, – умение это заключалось в том, что он умел пересказывать стихи своими словами, и получалось очень понятно и красиво. Позднее, когда я сама начала читать Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Некрасова, я вспоминала Володины рассказы и думала, какой он хитрец. Ведь несколько лет тому назад он мне пересказал «Буря мглою небо кроет», и даже «Силентиум» Тютчева он мне умудрился передать.

Я не понимала, какой мир расцветает в нем. Тянула из него, вымогала – давай сказки, давай истории. Разговаривай со мной, занимайся мной. Увлекай, открывай, показывай, удивляй.

Что я давала ему взамен?

Смеялась, когда было смешно, радовалась, если хорошо, и пугалась, если страшно. Вот и все мое участие. Вот и вся моя роль в его рассказах и сказках.

Но аудитория, видимо, нужна была ему, даже такая примитивная и дошкольная, как я.

Но, в общем, он был старший. Разница лет потом стерлась, но тогда была очень заметна. Он уже гимназист, ему 14-15 лет, а я еще читать не умею.

Он был старший и жил отдельной от меня жизнью, о которой я мало что знала. Приходили разные товарищи, они смотрели книжки.

Про одного мальчика небольшого роста, которого звали Сеня, нянька громко докладывала: «Барин Семен Федорович Коробкин пришел». Все смеялись, мальчик смущался. Величала она его так, потому что он был сын инспектора младших классов Первой мужской гимназии – грозы всех маленьких гимназистов...

Про других Володиных товарищей няня говорила просто: барин Чуваев или барин Миндовский. Имя-отчества не было, но без «барина» дело не обходилось.

Помню несколько происшествий, случившихся с нашим Володей.

Однажды инспектор младших классов Федор Семенович Коробкин заметил во дворе за штабелями дров несколько курящих гимназистов, среди них был и наш Володя. Вот поднялся переполох! Все, все об этом узнали, даже я! Но дома было тихо, и Володю не только не наказали, но даже не поговорили с ним об этом. Прошло какое-то время, и дело это забылось. Наступила Пасха и весна, всеобщее оживление и ожидание подарков, которые на Пасху нам клали на стол к утреннему кофе, каждому к его прибору. Мы, дети, тоже готовили родителям разные незамысловатые подарки.

Выводят меня в столовую. Все так красиво – и пасха, и кулич, и столбики гиацинтов на столе, крашеные яйца венком легли вокруг зеленого молодого овса, посеянного заранее на тарелке с землей (сколько сомнений было, сколько споров – взойдет ли он, хорош ли овес, что купили у извозчика, успеет ли вырасти к Пасхе, не перерастет ли нужной высоты. Словом, это было дело тонкое и заведовала им няня). И вдруг он на столе, и высота его в самый раз. И так хорош! Прелесть!

И окорок, который запекали два дня назад в тесте. Сейчас будет самый прекрасный в году утренний завтрак.

Томительный обход родителей с подношением им подарков и поздравление с праздником. И стрелой на свое место. Удача. Краски и альбом уже лежат на месте. А что у Нины? У Нины футлярчик сердечком-медальончиком величиной с ноготок. Нина сияет.

А у Володи? Ужас! И Володи самого нет, так как вместо лица на плечах сидит лиловый блин. Блин этот старается принять видимость нормального лица. А перед его прибором лежат коробка с гильзами,

большая пачка табаку и машинка для набивания папирос. Машинка очень интересная: металлическая палочка с красивой ручкой и разъемная железная трубочка. Но Володя не любит, он весь горит и ничего не ест. После этого случая прошло много лет, прежде чем Володя стал курить.

В одну из весен, когда пришла уже пора ехать в Оболенское, я узнала, что мы задерживаемся в городе, так как папа и Володя едут в путешествие по Волге. Им складывали вещи в большой кожаный чемодан и Володе купили широкий резиновый пояс с подвешенными карманчиками и соломенную фуражку. Он ехал не в гимназической форме, а в обыкновенном костюме.

Их отъезд я не помню, а открытки с красивыми видами Волги и волжских городов помню хорошо.

Еще помню, что Володя начал отдаляться от нас и все больше и больше прикасался к взрослым. Он начал носить пробор, перестал грызть ногти, всюду ходил один и мало рассказывал мне про морские сражения. Мне становилось скучно без него, я приставала к нему, даже плакала, он утешал, что-то рассказывал, но прежних просказок уже не было. Они куда-то делись, и я перешла в ведение папы, папа начал мне рассказывать и водить меня по музеям.

Володины рассказы строились теперь исключительно на морских сюжетах. Героями стали Нахимов и Нельсон. И, как мне казалось, ему стало интереснее разговаривать с товарищами, чем со мной. К нему стали приходить мальчики, которые уже не показывали гимнастику, как Чуйка, а зачарованно слушали его объяснения про Цусиму, оборону Севастополя или вообще про войну, которая уже шла, и сводки с фронта громко читались у нас дома. И только мы с Ниной не интересовались ими, а все взрослые жадно слушали.

Приходили письма от папиного брата, нежно любимого нами дяди Жени. Он был военным врачом и находился где-то в Галиции.

Нянькин сын Василий тоже воевал где-то солдатом, и она искала утешения в казенке, а сочувствия во мне. Няня звала сына Васькой. Он был у нее единственный и уже немолодой. Она вязала ему носки, а Нина шарф, и мама отправляла эти посылки Ваське, добавляя к ним папиросы и еще разные вещи. Васька был неграмотный, и за него писал письма его товарищ, который дал понять, что и другие солдаты (он назвал имена) тоже не прочь получать посылки.

Мама велела Нине собирать понемножку эти посылки на ее карманные деньги. Я тоже жертвовала в них свои шоколадки.

Однажды пришел ответ в стихах. Я только помню, что неизвестный нам адресат писал: «Папиросочку курнул и барышню хорошую вспомянул». Мы все были очень довольны этим письмом. Нина даже прослезилась.

Неудачи в личной жизни

И барышни, которые еще год тому назад плевать на него хотели, вдруг сразу все влюбились в него.

Сильный, но мягкий характер. Чего он хотел, того умел добиваться.

То ли он побеждал свою некрасивость, но вернее всего, это рвался наружу будущий поэт.

Для меня в детстве он был главным после няни, потому что он умел преображать мир и события, но, к сожалению, приходилось прибегать к слезам, чтобы обратить на себя внимание.

Греческая трагедия родилась в течение одной жизни: Эсхил был режиссером, Софокл у него в хоре, а Эврипид родился!

Всю прошлую культуру он впитал в себя с детства, он жил во все века и умел рассказывать об этом.

Влюбился лет в 6–7 в Тамару Маринич, девочку, старше его года на 2–3. Сохранилась фотография. На ней длинноногая девочка с отрастающими волосами (по плечам). Видимо, была она быстрая, резвая и смелая. Рядом мальчик с бритой крупной головой, совсем еще мальчик. И сестра с косичками.

Жестокое пробуждение

Я заснула одетая под старым, рваным маминым платком. На старом диване, который стоял в коммунальной квартире на Староконюшенном переулке.

У нас было две комнаты в этой квартире – в одной жили я и мама, в другой брат с женой.

Я просто прилегла отдохнуть часов в 10 вечера и заснула. Глубокой ночью меня разбудил Володя.

– Татьяна, – сказал он шепотом, – я написал стихи. Слушай. – И шепотом прочел мне «Жестокое пробуждение».

Стихи мне понравились. В них жили и звучали все шумы и звуки нашего детства, нашего дома и нашего переулочка. В эту скрипучую коммунальную жизнь врывается незнакомая и страшная вьюга. Вьюга времени.

Мы долго шептались, сидя на старом диване. Весь дом спал.

Стихи было решено посвятить мне. Первые в жизни стихи, посвященные мне.

Заснула под утро, когда уже скрипели за окном по снегу калоши идущих на службу людей и молочница уже ломилась в черный ход.

Мы сидели на диване. Огромное окно было перед нами.

– Другие ему изменили и продали шпагу свою...

На диване с нами сидел его бывший ученик, имя которого мне не хотелось бы называть.

– Интересно, когда я умру, кто из них меня оболжет, кто предаст, кто забудет? Кто будет помнить? Кто поймет и объяснит меня? – раздумчиво спросил брат.

Третий, сидящий на диване, точно и быстро ответил на этот вопрос. Ответ был так неожидан и печален, что у меня перехватило горло, но брат начал хохотать так весело и беззлобно, что мне стало страшно за него и обидно.

– предавая тебя, – сказала я, – они ведь предадут себя?

– Черта лысого! – хохотал Володя. – Черта лысого! Это очень хорошо, если из моей шкуры сделают трамплин для себя. Это жизнь, Татьяна! Я-то буду уже мертвый, а мертвые сраму не имут. А защищать меня будет поэма (он называл так «Середину века»).

Этот разговор мне приходится вспоминать иногда. Грустно мне его вспоминать, но приходится.

Меня бесила иногда его доброта и незлопамятность. Особенно с женщинами.

– Не могу оставить женщину, покинуть ее не могу, – говорил он мне.

– Я создаю невозможные условия – это я могу, а оставить – нет, не могу.

Надо признаться, что невыносимые условия он действительно умел создавать, и жить с ним было трудновато.

Я, любя его и дружа с ним, наотрез отказалась жить с ним и для него. Он уговаривал меня два раза в жизни – в 1936-м и 1946 году.

Марика Гонта

Из воспоминаний о Пастернаке^[447]

Играет Пастернак

Прежде чем понять стихи Бориса Пастернака, я полюбила слушать его музыку.

Я познакомилась с Борисом еще тогда, когда музыка была его каждодневной потребностью и не ушла в подполье его поэзии, вернее, не стала ее корнями. Потом он напишет, что отрекся от музыки, – но нет, это было отречение Петра.

Некоторое время мы жили в комнате брата Бориса Александра Леонидовича, пока не получили ордер на жилье, и каждый день то явно, то прислонясь к косяку больших дверей в гостиную, которую занимал Борис, я не отрываясь слушала его игру. Я ждала этих концертов каждый вечер, то наяву в упор, то исподволь, получая на них неожиданный абонемент.

Думаю, что в этот месяц я научилась слушать Бориса, и эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Я никого так не слушала: в разговоре, в стихах, в языке, в молчании концерта или оркестра.

Раза два, помню, Борис играл с Надей Синяковой в четыре руки Шумана по музыкальным партитурам Розалии Исидоровны^[448]. Надя не помнит. При свечах. И это была совсем другая музыка, почти робкая, ученическая игра. Камерное музицирование.

Свечи у пианино. На письменном столе любимая керосиновая лампа «Молния». Удивительная, с молочно-зеленым, цвета Веронезе, абажуром. Мне представлялась она очень давней – со времен семьи и детства. И вопреки электричеству, Борис зажигал ее, когда садился работать. Мягкий круг тогда замыкал его силуэт над столом. Лист бумаги, стопку книг и склоненную над ними голову. А с улицы мягкий, пушистый зелено-голубой одуванчик света еще долго цвел в окнах дома на Волхонке.

Я не отказываюсь от своей главы «Играет Пастернак». Кто-нибудь придет после меня, напишет жизнь Бориса Пастернака, и ему понадобится «живой» свидетель. Им буду я.

Симфония уподобляется сражению и победе, но не надо забывать, что это трагедия глухого гения и нота преодоления личности ради вечной радости творца.

Море, пена звуков, догоняющих друг друга и не исчезающих, казалось, я никогда не ощущала так материальности искусства, такого преходящего, как во время этих вечеров. А Борис казался непоколебимой скалой ржаво-кирпичной, что, обвалились потолок или разверзлись бездна, он перешагнет и не заметит.

Я не боюсь сказать, что дар его музыкальный был не меньше поэтического, что дару этому его стихи обязаны настойчивой впечатляемостью гипнотической, заколдовывающей.

Да, поэзия Пастернака родилась из духа музыки (вы не одобрите этой надсадной манеры, но иначе я не умею). Касаясь музыки, Борис странно отъединялся, обесчеловечивался, ничто, казалось, его больше не трогает, лицо становилось строгим, отрешенным, преданным иному подданству, свободным от законов сна, пищи и земного тяготения. Этого нельзя забыть, как нельзя было выразить и сотой доли того визуального и слухового впечатления. По-видимому, образ глухого гения родился в сознании у Дмитрия, когда – я не ошибусь, если

напомню случай, – когда нам открыли соседи, и мы долго стояли у двери гостиной, откуда разносились громы, вырывалась буря, мы постучали и вошли непрошенные, не замеченные в вихрях звукового смерча, и долго таились у порога, чтобы возникнуть по окончании игры не более реальными, во всяком случае, чем те могучие тени, которые вели в нем эту игру.

Она сопровождала всей его жизни.

Он порекомендовал ее совершенное техническое воплощение сначала Скрябину, потом Нейгаузу.

– Я очень любил Генриха, – как-то сказал он, – и потому вышло, что я женился на Зине.

Он отнял у Нейгауза самое дорогое и самое тяжелое для этого легкого человека – заботы о семье, освободил его от необходимости любить верно и преданно и вести в жизнь душу ребенка, но не освободил его от права любви и дружбы. Нейгауз продолжал быть другом, веткой его творческого и семейного дерева. Борис Пастернак как своего сына вырастил в своей семье прекрасного музыканта Станислава Нейгауза.

Музыка Рихтера на его похоронах была последним, как бы подхваченным весенним ветром, отзвуком его цельной, мужественной и прекрасной души.

Черта Апеллеса

Борис зашел утром. В руках рабочая папка.

Дмитрий в то утро был на редкость хмурый, жаловался, что не берут стихи. Вчера побывал в семи редакциях, и ни одна не клюнула.

В то время поэты как работу выполняли обязанности своих личных курьеров. Разносили стихи по редакциям. Стихи читались тут же. Редактор отказывал или читал еще раз молча. И отправлял в набор.

Ритуал был краток.

...Вот Маяковский без стука входит к редактору «Печати и революции», на втором этаже нынешнего Дома журналистов. Императивно кладет листок перед редактором. Читает. Как злоумышленник кинжал:

– Берете?

Редактор вертится, схваченный за горло:

– ...Сверстано... по теме... не могу...

– Черт с вами. Попросите. – Хлопает дверью.

Борис слушает, слегка склонив голову. Вдруг выпрямляется. Выпаливает:

– Вы, Дмитрий, не работаете над стихом.

Тоже новость. Никогда не морализирует Борис, не поучает.

– Что я, столяр или плотник? Пилить-строгать. Стихи выливаются лавой в горячем состоянии. В холодном их можно поломать. Они целые.

– Что же вы думаете, что это вроде сошествия Святого Духа? Вдохновение? Приходит извне?

– Куй железо, пока горячо.

– Очень кстати. Крою тузом из той же колоды: «Занимаясь кузнечным ремеслом – понемногу становятся кузнецом».

– Я не ремесленник.

Борис раскрывает свою папку. Вынимает листок:

– Я написал его в семнадцатом году. Сейчас опять над ним работал. Никому еще не показывал. Я дарю его вам. Отнесите в редакции как свое. Держу пари – возьмут.

Стихотворение тогда называлось «Имя свежести». «Рассвет расколыхнет свечу...» В нем сейчас многое изменилось. Но я по той же верности памяти читаю их по-прежнему.

На другой день, возвращая его Борису, Дмитрий смущенно говорит:

– Представьте, все редакции приняли эти стихи. Конечно, нигде не оставил.

Но это ничему не научило Петровского. Здесь была разница творческих позиций. Чтобы писать стихи, Дмитрию Петровскому нужны были внешние толчки, жизненные инсценировки.

Таковыми инсценировками было его участие в партизанских отрядах Щорса. Богатый творческий улов от личного общения с событиями и двигателями революции Боженко, Примаковым, Подвойским, Стецким, Раскольниковым, Ларисой Рейснер. Когда утихло все, искал морскую тему.

Борис внешних событий не искал. Они сами находили его и становились темой его большого романа и диалога с природой, пребыванием на земле. «Утро узнавало его в лицо». Ждала «изменчивость пространства». Он «с вьюгой ввязывался в грех» и имел детей от «пахов равнины». Его Гамлет и Фауст ходили по Подмоскovie. В его великий диалог с природой и человечеством могли вмешаться Шмидт, Спекторский, рядовой эпохи доктор Живаго, прохожие, саперы, летчики. Взаимозаменяемые.

Хорошее стихотворение всегда немного шарада, где запрограммирован повторный для читателя код представлений. Но, в отличие от шарады, чем непредвиденнее, чем неожиданнее повороты, мосты, скачки этого пути, тем увлекательнее «узнавание». И есть еще музыкальная партитура стиха, и какими бы ни были или ни казались высокими смысловые эквиваленты художественных представлений – они превращаются иногда в «звук пустой», если мысль придана им только по родству ассонансов или если пытаются втиснуть добавочную «страховую» информацию в малый объем строки – неблагозвучие, как чужеродная латка, выявляет насильственность, непоэтичность материала.

Прежде чем определиться как поэт, Дмитрий Петровский любил Елену Гуро, Бориса Пастернака, Татлина, Маяковского. Он любил не только то, что они сделали, но все черты характера, легенду их жизни, любовно хранимую в памяти.

Он рассказывал ярко, талантливо, и то, что казалось фантастическим, при личном знакомстве точно совпадало, как хорошо пригнанная одежда, собственная кожа.

Бориса Петровский любил особенно, бережно и восторженно, гордясь им и ценя. К нему одному относился с глубоко скрытым чувством чести и уважения.

Марбург, Венеция, Грузия. Марбург. Здесь узел завязан особенно туго. Впервые он вырывается в самостоятельное путешествие, от семьи, университета, круга, в жизнь другого склада, в одно из средоточий западной культуры, знакомство с которой всегда входило в русское образование. Ошеломляюще ярко ощущает он все слои этой культуры, от Средневековья до самой свежей современности, новизну ответвления философии – центр новой философской мысли, взгляд на философию не как на застывшую лаву веков, а как на действенное начало жизни, увязку ее с течением истории. Все, что ни делает юноша Пастернак, всему он отдает всего себя с жаром, страстью, восторгом, исступлением. Его диссертация ветвится по комнате, как гигантский папоротник, книгами, цитатами, ссылками.

Его талант замечен, ему предложена устойчивая дорога ученого.

Марбург подобен «Гефсиманскому саду» в судьбе поэта. Здесь явилось ему искушение: стать ученым, искушение быть пог-лощенным любовью (иначе он не мог бы, отдаться искусству подробностей, стать перебирателем причин и установителем следствий. Сюда приехала любимая девушка, и он предложил ей всего себя с известным и неизвестным в нем самом. И получает отказ. Но ему мало этого отказа. Разлука – это не пустота. В прощании должна быть вся полнота трагических чувств.

«Моя жажда последнего до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня с тем, чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегчении мне было отказано».

Но каденция эта наступает по всем правилам катарсиса греческой трагедии. Бессонная, каменная ночь у себя в комнате. Наступает утро.

«Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставлять».

Он отказался от Когена и Наторпа. Ему отказала девушка. По сути, это один отказ. Гибель известного ради осознанного не-известного. Гибель части – обретение целого. Казалось – катастрофа, за которой омут, и тут входит неизвестное: искусство, в котором образ человека

выше самого человека, которое может зародиться только на ходу и притом не на всяком. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ.

Счастье испытать отказ – не всякому дано. Мужество признаться в этом – пустяк, по сравнению с тем, что обнаружилось за счастьем отказа: он не знал, что легкомысленно предлагал возлюбленной («у меня было здоровое сердце»), инвентарь того, что обнаружилось после отказа, был так огромен, что ошеломил самого владельца.

Обнаружилось пролетевшим над душой цунами огромное пространство, невидимое доселе поле действия и ощущение себя в природе в целом, как «вечности заложника», как язык обретшего возможность заговорить пространства. И наука, и любовь в этой обретенной цельной действительности стали «взаимозаменяемыми подробностями».

Марбург не был еще написан и существовал в виде устной словесности. И грань эта, дотоле никем так ясно не различимая, встает на страницах «Охранной грамоты» четко. Утро знало меня в лицо и не покинет никогда. Вещи стали неузнаваемы.

Так начался, вернее осознался, узаконился большой роман Бориса Пастернака с поэзией. Изменял друзья, отступится и вновь придет любовь, но утро никогда не покинет его.

В Марбурге Пастернак объяснил себе и нам, как рождается поэзия, как преобразуется из первой реальности – жизни «вторая реальность», как в атомных реакциях при вторжении «силы».

Еще раньше, до написания главы о Марбурге в «Охранной грамоте», Борис Пастернак в первом предисловии к «Спекторскому» определил в стихах поэзию как страсть, как гиперболическое ощущение человека и его кокона – среды – природы!

Это определение как бы ступенька к тому, что открылось ему в Марбурге:

Как разом выросшая рысь,
Всмотрись во все, что спит в тумане,
И если рысь слаба вниманьем,
То пристальней еще всмотрись.
Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм,
Она одна ко мне пристрастна,
Я только ей не надоем.
Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею ввязывался в грех.
По барабанной перепонке
Несущихся, как ты, стихов
Скажи, имею ль я ребенка,

Равнина, от твоих пахов.

Добровольцы революции

Капитан Кукель, подписавший приказ о потоплении флота согласно постановлению революционного комитета матросов, жил тогда в Москве, в Замоскворечье.

Зимой 1925 года у Петровских в Мертвом переулке он делился своими воспоминаниями с несколькими собравшимися для этого поэтами. На этом вечере присутствовали Пастернак, Асеев, Шкловский, Тихонов, Мандельштам. Рассказ Кукеля был скромным и сдержанным. Он повторял канву революционных событий 1905 года, закончившихся гибелью лейтенанта Шмидта. Его образ незримо присутствовал в рассказе Кукеля, как факел, как знак к возмездию.

Здесь Борис Пастернак, экспансивный, со свойственным ему выражением готовности к восхищению и встрече с чудом – что было его «лица необщим выраженьем». Глаза вразлет, помахиванье головой.

Прекрасно посаженная голова Мандельштама, его величественная и медленная повадка. Он – в черном костюме и ослепительной рубашке, респектабельный и важный.

Молоденькая его жена, милая, розовая, улыбающаяся Надя, Асеев, Шкловский в свитере и меховой безрукавке; свежими щеками он был бы похож на херувима, если б не чертовские, с каким-то почти хмельным безумием веселой иронии глаза. Пишут о больших выразительных глазах Виктора Борисовича – его небольшие глаза, несомненно, были звездами первой величины, столько блеска, огня в этих прекрасных и подробно видевших все глазах, которые менялись так мгновенно, как будто бы внутри человека был заложен некий динамит. Гамма их была разнообразна: созерцание, негодование, интерес, взрыв вакхического веселья, мягкая улыбка и внезапно вдруг печаль и детская улыбка на губах. Сократ и херувим в одном лице.

Несомненно, Шкловский был лакомкой. «Масла хотелось, как женщину», – писал он в «Zoo». Меня поразили этот гастрономический образ. Много раз потом он при встрече, после какого-нибудь потрясающе интересного разговора все равно о чем вспоминал:

– А какая чудесная была у вас корейка!

Благодаря этому вопросу она осталась и в моей памяти – нежная поросычья корейка, запеченная без церемоний в духовке. Про одни именины в доме поэта он сказал: «Гусь был великолепный, а хозяйка дура».

Вошел Кукель, он был худенький и стройный как мальчик, с узкими плечами, но лицо его было необыкновенно: овал – точно яйцо неведомой птицы, усеянное желтыми крупными веснушками, высокий,

емкий, как бы двухэтажный лоб. Узкий правильный нос и нежно-голубые мечтательные глаза. Еле намеченные брови, светлые ресницы и рыжеватые короткие волосы, совсем не читавшиеся где-то позади лба. Уши крупные и острые, хорошей формы. Узкий рот с крупными зубами. Узенький, по фигуре, защитный френч. В выражении лица недюжинный ум и какая-то детская сосредоточенность вместе с улыбкой и застенчивостью подростка. Он хорошо помещался бы в сказках Гофмана или рассказах Эдгара По.

Теперь Кукель предстал перед нами с удивительной простотой и скромностью. В нем угадывалась внутренняя сила командира, и уже казалось, что только таким должен быть герой.

Вошел Тихонов.

Первый образ человека запоминается как оригинал, и все последующие, что приносит нам время, кажутся улучшенными или ухудшенными копиями первого. Тихонов был высок и худ. Удлиненный овал лица с впалыми щеками и слегка выдвинутым вперед узким подбородком, слегка откинутым высоким лбом. Смелый профиль. Он был застенчив, легко краснел, причем глаза его не-мыслимой голубизны продолжали оставаться смелыми и любознательными. Он хорошо смеялся, начиная с баса и кончая тонким восторженным писком. Одет он был по моде того времени в охристо-зеленоватую толстовку из вельвета, под которой виднелся белый ворот рубахи.

Почти тотчас же, только поздоровавшись и раздевшись, Тихонов и Кукель нашли друг друга. Они с ходу стали перебрасываться разными героическими эпизодами из истории русского флота так живо и непосредственно, как будто это были недавние, еще не остывшие от пороха воспоминания:

- А помните, матрос Михайлов, выскочив из кубрика в одних портках, всадил ядро прямо в брюхо шведскому броненосцу и расколол его надвое, как орех?

- Другим выстрелом матрос сбил башню на корме, и судно потонуло в пламени мгновенно, а остальные семь судов повернули вспять?

Яркие голубые глаза Николая Семеновича сверкали отражением далекого боя, пламенем и морем.

- Да, - отвечал задумчиво Кукель, и в его тоже голубых глазах плыли медленные влажные утренние морские облака. - Да, этому Михайлову сначала всыпали двенадцать суток вахты за непотребный его голый и неформенный вид, а уж после наградили...

- А помните, как канонир с «Двенадцати апостолов» под Севастополем выпустил подряд восемь выстрелов по французской канонерке?

Битый час, захваченная и ошеломленная незнакомой дотоле темой, я прилипла и не могла отойти от них. А они перемигивались, как сигнальные огни кораблей, бродя по горло в морском этом величии и великолепии. Голубые глаза Тихонова становились круглыми,

громадными, восторженными. Он был страстным и увлекающимся путешественником, историком, рассказчиком – не меньше, чем поэтом. Много видя, много путешествуя, он спешил поделиться с другими первичным свежим впечатлением, немедленно от-дать людям то драгоценное, животрепещущее, что его взволновало. Сколько раз потом я подпадала под обаяние рассказов Тихонова о его путешествиях на Кавказ, в Среднюю Азию. Он обязательно, прежде чем написать, рассказывал в кругу друзей, Луговскому, Петровскому или Пастернаку, как бы утверждая, переживая еще раз во всех подробностях, удивляясь, восторгаясь сам и завораживая других.

Рассказы эти были щедрыми импровизациями, генеральными репетициями книг. И эта щедрость возвращалась к нему сторицей, реакция друзей возвращала ему эти рассказы, как бы усиленными эхом и заинтересованностью, вопросами и замечаниями, он приобретал, выработав в себе, постоянную готовность поэтически откликнуться на событие.

Так они долго перебрасывались словесными ядрами, меткими и весомыми, наподобие блестящей бескровной дуэли, накал которой определяла страсть рассказчиков, далекий незатухающий жар и пламень морских сражений.

Тихонов был женат на дочери адмирала Неслуховского^[449], и я думала о Дездемоне и Марии Константиновне. Вот так же они оба, Отелло и Тихонов, покорили и заморозили своими рассказами, один – дочь венецианского сенатора, второй – ленинградскую умную и талантливую художницу и ее отца. Рассказывали, что адмирал, слыша из своей комнаты, как веселилась молодежь у Машеньки, однажды сказал:

– А кто этот молодой человек, который так талантливо рассказывал о Цусиме? Вот и выходи за него замуж.

Невозможно оторваться от колдовства этих рассказов и сходить на кухню за чайником, хотя знаешь, что его медное нутро готово расколоться пополам, как канонерка!

А в другом углу Осип Эмильевич говорил:

– Поэт должен иметь колбасную лавочку.

Перед приходом Кукеля и Тихонова Мандельштам читал стихи. Они поразили меня. Не только своим классическим изыском, сквозь который чувствовались огромные знания, преемственность от Данте и Петрарки через Тютчева, Баратынского к Гумилеву и Ахматовой, но и острая пронзительность современности, трепет собственного высокого светильника поэтической мысли.

Что он читал?

Запомнилось:

И отвечал мне заплакавший Тассо,

Я к величаньям еще не привык:

Только стихов виноградное мясо

Мне освежило случайно язык.

Я повторяла их еще про себя, восторгаясь их отвлеченной конкретностью. И вдруг: колбасная лавочка.

Возмущалась внутренне, негодовала, не умея выразить и не понимая.

А Осип Эмильевич развивал дальше свою тему, призывая в свидетели Артура Рембо, отчаянного негоцианта и яростного поэта, и, кажется, Генриха Шлимана.

Сейчас без этого внутреннего негодования по поводу сосуществования в одном лице поэзии и продажи сосисок могу холодно изложить суть: поэт не должен зарабатывать своими стихами на жизнь. Поэзия, как в древности, должна быть его свободным занятием, иначе он будет так или иначе неискренним, благодаря своей вольной или невольной «нанятости», – поэт не должен быть рабом своего хлеба. В наше время так живут дервиши.

Вдруг выяснилось, что бездомный Мандельштам, с трудом дотягивавший от аванса до аванса, недавно получил небольшую, уютную квартиру в Ленинграде.

После ужина разговор сделался общим. За ужином Кукель рассказал, как черноморский флот был заперт в Новороссийской бухте, окруженной кораблями Антанты, их можно было различить невооруженным взглядом. В июне в Новороссийск был послан Федор Федорович Раскольников, чтобы противостоять силам распада и отторжения, распространявшимся во флоте. Прорыв с боем был невозможен не только из-за недостатка снарядов и превосходства противника, но и из-за разногласий между командованием, желавшим сдать флот, и революционными матросами. Телеграмма от Ленина: «Флот потопить, но не сдаваться» не могла быть понята сразу, даже самыми преданными соратниками. Следует учесть силу страшного священного преклонения моряка перед кораблем: корабль – это не только дом, ремесло, но и любовь. Потопить корабль – своими руками совершить тройное самоубийство. Адмирал с флагмана телеграмме не подчинился. Адмирал и офицеры-капитулянты были сброшены в море. Капитан Кукель как старший по ран-гу и по популярности среди матросов взял на себя ответственность по команде над флотом и издал приказ о потоплении флота...

– А матрос Михайлов мог бы издать приказ?

Запомнился ответ Кукеля:

– Нет. Может быть, сухопутной армии довольно зримого наличия командира. Но флот – это дисциплина. Машины, техника службы, места исполнения. Как в пчелином улье. Должна быть команда капитана. Иначе это не флот.

Героизм заключался в громаде революционных матросов, но нужна была отвага этого маленького, скромного, с узкой грудью капитана,

чтобы технически стройно и дисциплинированно совершить подвиг. «Командую флотом. Капитан Кукель. Именем революции... открыть кингстоны...»

– Что вы чувствовали в это время?

– Я должен. Кто-то должен. И это я. Тяжесть огромная. Сдать корабли врагу – позор. Добровольно – десять раз позор. Смерть, но не поражение. Честь и долг.

– Я выбрал революцию – ее выбрал народ, и я часть этого народа.

Стихотворение Дмитрия Петровского «Лейтенант Кукель» посвящено благородной роли русской интеллигенции, примкнувшей к революции. Скромный лейтенант, единственный офицер, оставшийся с революционными матросами, выполняет свой трагический долг перед родиной.

Закройте бухту на замок,
На палубу, как на молитву,
Двух взрывов вывалил дымок;
Идет с машинами разбитыми
На зубоскалящее дно
Судов потопленных венки.

«Морской пролог» написан в Москве в 1925 году и открывает «Черноморскую тетрадь» Дмитрия Петровского. Раз начавшись, морская тема захватывает поэта.

«Оптимистическая трагедия» Вишневского или «Гибель эскадры» (Корнейчука) – не история. Это точка кипения истории. Ее термометр. Автор отвел главную роль революционным матросам, брожению анархизма в их частях, внутренним конфликтам в течение революции. Но, чтобы потопить флот, надо, чтобы пришла в движение техническая исполнительная машина, основанная на строжайшей дисциплине. Необходим был приказ, ответственность которого взял на себя Кукель. Образ Ларисы^[450] художественно условен.

Бесконечно жаль, что Лариса, знавшая, любившая Кукеля, помогшая устроить этот вечер, не могла прийти. Она страдала приступами афганской малярии, которая погубила ее, косвенно, как змея Олега, выползшая из скелета коня.

Накануне смерти мы видели ее, веселую и возбужденную, необычайно остроумную и ласковую: держа большую грелку у солнечного сплетения, она жаловалась на боли, это был брюшной тиф. И на другой день, попирая ногами свою мертвую копию – портрет, висевший над ее гробом, неправдоподобно живая и красивая, как никогда, она лежала в Доме журналиста, улыбаясь, – преодолевая и за гранью жизни самое понятие «смерть»!

Ее комната имела неоднозначный адрес: она, как чемодан всемирного путешественника, оклеенный ярлыками разных стран, носила следы странствий Ларисы по Западу и Востоку, Азии и Волге.

Она и похожа была на корабль: вдвое длиннее, чем в ширину. Сразу от входа в темном правом углу широкая тахта, слов-но шатер Шахразады, устлана драгоценными коврами, тканями и по-душками. Электричество струится из фонарей и светильников, как свет луны. А дальше у двух угловых окон огромный письменный стол. Книги, рукописи, строгое убранство современного рабочего кабинета. Словно день и ночь.

– Задание было во что бы то ни стало дипломатическим путем перебить влияние англичан в Афганистане. Мне по ордеру даже выдали из царского гардероба несколько бальных платьев, чтобы амбасатриса советского посольства не выглядела при восточном дворе оборвашкой. Барахло это пришлось почистить, перешить. Зато Ермаш, наш начальник охраны, каждую почту доносил Карахану в Москву, что я разложилась, ношу бриллианты, подверглась влиянию буржуазных делегаций и не веду партийной работы, хотя бы женского кружка при гареме хана. Причем сам Ермаш, соблюдая декорум, сшил красноармейцам черные галифе, придумал какие-то плюмажи, и теперь в их сопровождении карета советского посла была вполне парадна, хотя и походила скорее на катафалк.

Как раз женский кружок получался у меня неплохо. Жена и мать Абдуллы относились к нам более чем дружески. Сердечно.

Как жена Раскольников я не могла в полной мере выразить восхищения его безрассудной храбростью и изобретательством, его парадоксальной военной тактикой. Провести морские суда по Мариинской системе в речные русла, сделать из них мобильную артиллерию для партизан...

Афганцы люто ненавидели англичан. Они боролись с ними в течение 100 лет. Индия стала колонией англичан, а Афганистан остался независимым. Телеграфные столбы и дороги Индии останавливались на границе независимого Афганистана, не смея ее перешагнуть.

Когда в день независимости на площади Бабура, спустившись с гор, племена танцевали свой танец, который был не что иное, как яркое театральное представление, где воины сражались, убивали, топтали ногами англичан, изрыгали оскорбительные крики, английский посол бледнел и уходил, не забывая при этом улыбаться.

Верховая езда, которая была условием существования на Каме, была в Афганистане единственным доступным видом спорта. Я ездила на лошади, и в меня бросали камни, комки грязи, ругались, принимая меня за англичанку, хотя английским на мне был только английский костюм – длинная амазонка. Я пожаловалась жене и матери эмира, и Амманула-хан распорядился дать мне для прогулок лошадь из своей конюшни. С тех пор я ездила беспрепятственно: лошади Калигулы не оказывали больше почета и внимания! Афганцы стали отличать нас от англичан. Они полюбили нас. Везде встречали нас с почетом и искренним радушием, от всей души, выражая надежду, что Красная

армия поможет им окончательно прогнать англичан с их ненавистным послом.

Как-то мы посетили Кукеля в Замоскворечье. Одноэтажный флигель был в глубине сада, с верандой на переднем крыльце. Был май, цвела сирень, начинался жасмин. Ларисы уже не было. Кукель жил здесь с детьми, женой и многочисленными родственниками. Он был радушным хозяином. В доме играли на пианино и пели две очень крупные и необыкновенно жизнерадостные тети 50-60 лет.

Кабинет его, выходящий окнами в сад, был полон старинных книг, редких карт, трофеев путешествий, фотографий кораблей. Это был мир редкого путешествия в далекий мир Владимира Кукеля.

Я много раз потом, спустя годы, пыталась найти эту гавань, где укрылся жизненный корабль Владимира Кукеля. И не могла найти.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю
И снисхождения вашего
Не жду и не теряю.

.....
В те дни, – а вы их видели
И помните, в какие, –
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Тема повторяла «Лейтенанта Шмидта» в других условиях. Капитан Кукель – это образ воскресшего и торжествующего лейтенанта Шмидта. Пастернак от нее отказался. Это был пик «добровольчества», межа, где начиналась служба. Пастернак стал писать «Спекторского».

Лариса умерла. Кукель был арестован.

Петровский написал стихи «Лейтенант Кукель». Материальный знак, стертый историей. Вишневский написал «Оптимистическую трагедию» – построение ложное и патетическое.

Раскольников был выброшен из окна с четвертого этажа гостиницы в Грассе агентами Сталина.

Дм. Петровский

Автобиография^[451]

Парткомитет Союза советских писателей и Секретарю Союза тов. Ставскому

Члена Союза писателей (чл. билет № 857)

Дмитрия Васильевича Петровского

Заявление

(набросок биографии)

Дорогие товарищи!

Я, вероятно, был бы непоследовательным, переживая то, что я сейчас переживаю, и не делая выводов для себя, – т. е. отказываясь или откладывая поступок, к которому приводят эти выводы. Между тем – я человек поступка, и, если бы иначе, я не имел бы ни лица поэта, ни человеческой биографии.

Что же это за мысли, выводы – и о каком поступке идет здесь речь.

Прежде чем сказать это, я должен изобразить кривую (или прямую, судите сами) моей биографии.

Родившись в 1892 г. в семье сельского священника, я воспитывался сначала в бурсе и семинарии (Черниговской), парты которой я четырнадцатилетним мальчуганом сознательно предпочел школьному образованию экстерном, решившись сдавать экзамены и получать образование по линии гражданской (а не духовной), и получил «аттестат зрелости» в 1910 г.

С 13-летнего возраста я могу считать себя до известной степени политически сознательным, и этому раннему для того времени политическому развитию виною отчасти являлась именно та среда, на которую я был обречен своим рождением (в семье священника) и от которой отталкивался – (среда казенной поповщины), – хотя отца своего я не могу поставить в этот ряд, но об этом здесь распространяться не буду. Отчасти же то, что к этому времени – 1905 г. – моим другом и пестуном стал недостреленный Куропаткиным при расстреле солдат восставшего на Дальнем Востоке полка, разжалованный солдат японской войны, высланный в качестве сумасшедшего и отданный на попечение моего отца, поднадзорный мой дядько (брат отца), слесарь по профессии (Н. В. Петровский).

1905 год прошел для меня не даром: будучи 13-летним мальчуганом, я понимал всю трагедию борьбы через своего взрослого друга – участника этой борьбы и трагедии, временно угодившего в сумасшедший дом.

Эта деталь с детства вырастила меня и моих братьев-революционеров, и под этим знаком сложилась моя личность^[452].

Полоса между 1905 и 1914 гг. – прошла для меня под знаком политического развития. Но моя напряженная эмоциональность (нервность) требовала моего разрешения, и, увидев себя неспособным подчас к прямому подчинению и выполнению рядовой партийной

дисциплины в эти детские годы, я, выверив себя, нашел, что эта (эмоциональная) сторона моей индивидуальности должна принадлежать искусству.

Так как слова, которые я тогда только и способен был произносить, явились бы проклятиями царизму, а я был еще недостаточно возмужалым, чтобы быть услышанным, мне не оставалось другого выбора, чем искусство, лишенное слова, – живопись. Одаренность моя в этой области определилась почти сразу. Следовательно, с одной стороны, я окунулся в мир чистой эстетики (французские импрессионисты определяли в то время высокую степень живописного восприятия), – а с другой же стороны, я не совсем порывал со своими политическими настроениями, хотя и отказался от партийных обязывающих связей с группой анархистов, к которым я примыкал первоначально, определили свой выбор по тому же признаку резкости своего юношеского характера. Бакунин биографически был притягателен для меня как романтика и своими чертами романтика оттеснял в моем юношеском представлении спокойного и, как мне тогда казалось, «холодного» и «классического» Маркса.

Было бы невозможно сейчас и для данного случая необязательно писать всю биографию и ее наивности шаг за шагом. Здесь я намерен определить лишь те вехи, которые могут создать более или менее правильный рисунок этой кривой, которую настоящим и назревшим в моем сознании поступком я намерен навсегда выпрямить.

Обращаюсь к Вам, товарищи, за советом.

За год до войны я был исключен из Школы Живописи, где я только что начал учиться после предварительно двухгодичных занятий в студии Юона (в Москве). Выехать за границу (в Париж), куда вели меня мои живописные склонности, не удалось из-за неполучения паспорта: – (я был «политически неблагонадежным») и из-за отсутствия денег.

К этому времени на арену искусства выступил футуризм, привлекая меня главным образом литературной стороной.

Выросши под небом украинской песни, я в первых же стихах Хлебникова угадал земляка (украинца) и потянулся к нему, потому что к этому времени идея интернационализма увлекала меня во всех областях и проблема взаимообогащения славянских языковых возможностей – и прежде всего проблема взаимообогащения славянских языков – меня занимала не только как проблема искусства.

От юношеских моих столкновений с украинскими националистами: (гуртов Коцюбинского в Чернигове) – остался неприятный привкус, и позже это оправдалось персональным шовинизмом большинства этих моих врагов-земляков: в будущем они стали по ту сторону баррикады советской власти.

Я видел в языковых работах Хлебникова какой-то путь и развязывание узла будущей культуры социализма. А в его неизбежное

осуществление верил не только я, но – и все мое поколение. Оно его осуществляет и теперь.

Именно это больше всего привлекало меня к Хлебникову. К этому надо прибавить его безусловную личную притягательность, определяющуюся его совершенно необыкновенной поэтической одаренностью.

Все, что в Хлебникове находили уродливым (некоторые его знакомые), проистекало от невнимательности их самих к чрезвычайно сосредоточенному в своем мире и потому рассеянному в своем мире по отношению ко всему остальному Хлебникову. Этим отношением вызывалась и поддевалась черта этой чудаковатости Хл<ебникова> (но – это мимоходом).

Другой фигурой – с другой стороны мне интересной и близкой – был Маяковский, памятный мне еще по Школе Живописи и исключенный из нее в это же время почти одновременно со мной и отчасти по тому же поводу «живописного хулиганства», как тогда квалифицировалось резкое новаторство кубофутуризма. Хотя к группе Бурлюка (кубофутуристов) как живописец я не принадлежал.

Однако, выступив как поэт, Маяковский был узан мною несравненно глубже. Я оценил его интуитивным чувством поэта, уже начинавшего открываться во мне (вырываясь из взятого на себя сознательно подвига молчания (живописи), – об этом мною уже было сказано выше).

Я оценил его, увидев в нем более еще близкие к моему настроению черты, чем в Хлебникове: – я чувствовал в нем огромный, открытый гражданский темперамент. Я носил его в себе, но еще понятия не имел о том, что он, может быть, выдвинут с той беззастенчивой и безоглядной смелостью, с какой это было проявлено Маяковским. Соперничать с ним было бы невозможно – и не было и нужды. Он мог и должен был оставаться один. И именно только таким одиночеством его и достигалась та задача, демонстративным носителем которой (взрывщиком быта) он решил стать. Я не буду здесь отыскивать объяснения этому явлению, так как это отвлечет меня в сторону. Попутно скажу, что Пастернак лишь неправильной терминологией (я недавно сказал «тенденциозной» терминологией) в своей «Охранной грамоте» уводит читателя от собственной правильной оценки положения Маяковского в то время, когда он говорит о нем, как о «лотерейном случае», «загоревшемся пожаром выигрыша» номере (?).

Конечно, это все далеко не лотерейный случай, не так это примитивно просто. Но верно (и у него то, что встать рядом с Маяковским никому уже было невозможно (и не нужно): для общества было достаточно той демонстрации, которая была дана одним Маяковским – этим могучим голосом гражданственности. Его невозможно было дублировать. (Я оговорюсь здесь, что политическая

биография Демьяна Бедного шла по линии подполья) (его басни), и это – не тот способ, о котором здесь шла речь. (Это – тоже мимоходом.)

Мне сейчас важно указать на эти два, привлекавшие меня в то время явления, заставившие меня стихийно сменить молчаливое искусство на искусство слова. И однако, – приходится ли об этом жалеть? – все, что сделано мной в этой (поэтической) области впервые за период 1912–1913 годов, было мною уничтожено. Потому очевидно, что искусства ревнивы – и живопись не хотела терпеть соперничества.

Весной (в мае 1914 года) я встретил Пастернака. Встреча эта: его стихи и его философия поэзии – Верлен (смягчили для меня резкость перехода от одного искусства к другому). Происходило ли это (незаметно для него самого, – и это не раз впоследствии приходило мне в голову) оттого, что он родился и воспитался в семье живописца Л. Пастернака, перенял или унаследовал от него созерцательность его профессии. В этой созерцательной философии: – я помню до сих пор тогдашнюю формулу Пастернака: «я, ты, он – да ведь это же только местоимения»... В этой несколько тепличной философии была та особенность его поэтической индивидуальности, которая год за годом становится для него трагичней и о чем я говорил в недавней своей статье о нем. Меня же в этот момент бессодержательно подкупала эта черта его лирики, освобождающая от жестокого бесстрашия полного лирического голоса, которая определяла мою позицию и которая с такой силой была уже выражена по-своему Маяковским. Впрочем, на этой линии я и в дальнейшем сталкивался с Пастернаком.

Путь добычи собственного языка и голоса не менее труден, чем путь добычи золота для старателей и отдельные удачи – не определяют трудности ремесла. Не верна и вера в то, что Маяковский сразу нашел свой словарь. Стоит посмотреть его юношеские (никому не известные) вещи (работы), чтобы понять иное. Однако ж голос свой он смелее всех других поэтов поставил ответным жестом «азартного игрока», но неверно было бы определить это только так – (а по Пастернаку – «Охранная грамота») – и по Лившицу, «Одноглазый стрелец»^[453], – это так), – потому что за этим «азартным игроком» – террористом буржуазного общества – стоял если не понятый им в полной мере своей исторической роли, то – почувствованный им сердцем класс, носителем голоса которого и пожелал он стать. И тут биография пришла ему на помощь – и Бутырки не прошли даром для поэта.

А о ближайшем дальнейшем я говорил уже отчасти в своей речи на Первом съезде писателей и поэтому просто процитирую здесь выдержку из этой речи, чтобы перейти и к остальному.

Мое творческое сознание выросло в те предвоенные годы в России, когда среднечитательское воображение интеллигентских масс было втянуто в пылесос Арцыбашевского эротического натурализма и

Андреевского мистического натурализма. На этом фоне и Блок звучал как мелодекламация Вертинского.

Нося свист рвущегося слова в самих костях – так что болели плечи, и прорвав лавиной тишину первым спадом ритмической речи, – я немедленно вслед за тем выбросил еще не понятые мною самим в их объемистой ценности свои первые опыты новой лирической поэзии, которая в то время еще не раздавалась. Так бросает оружие сдавшийся воин. Я стал живописцем. Это была весна 1912 года. Молчание становилось для меня трагичным. Несколько позже я встретил человека, невольно ставшего вестником моего будущего, – Бориса Пастернака. Выбор для меня был решен. Два года отказа – это не два года отсутствия, а больше.

Это было моим первым рождением.

Это было лето 1914 года. В августе раздались фанфары первых побед по дешевке, и от моего первого рождения не осталось и следа. Теперь уже не я сам, а время само выбрасывало целыми корзинами «Маму и убитый немцами вечер» и «Артиллериста, ставшего у кормила»^[454] – я не поверил в силу лирики. Верили в нее Маяковский, Хлебников, Асеев, Пастернак. Я был еще не готов для этого.

Я поверил в лирику тогда, когда сам, стоя «артиллеристом у кормила» – наблюдателем 23-го мортирного дивизиона на вершине за Черемошем, второго марта 1917 года, на телефонный голос командира «Вольноопределяющийся, передайте наблюдение поручику и спуститесь вниз – на гауптвахту»... – ответил: «Да здравствует Интернационал! Я спущусь в проток, чтобы посадить вас на гауптвахту!» Я спустился и арестовал полковника. В этот день я услышал в себе – и теперь уже раз навсегда – бесстрашно не прекращающийся голос лирики. Это было мое второе рождение. Голос этого второго рождения был пронесен в командах боевого строя Гражданской войны и попал в литературу только в ноябре 1922 года с моей «Песней червонных казаков». В рукописи нет ни одной пометки: – их все взяла на себя биография. (Из речи на Первом всесоюзном съезде писателей.)

Я говорил здесь, что я не поверил в лирику, – верили в нее Хлебников, Маяковский, Асеев, Пастернак – каждый по-своему и в меру своих сил. Что же – в этом честь их. Но причины еще и в том, что все они (кроме Маяковского – моего одноклассника), – были старше меня – на семь Хлебников, – на пять Асеев, и на три года – Пастернак. Наш возраст тоже имеет свои права и законы – об этом очевидном законе в дальнейшем мне и придется говорить.

Мой голос не был еще достаточно силен, чтобы подняться, как Атлант, и понести землю на плечах – землю, заваленную трупами и

снарядами мировой войны. А Маяковский нес ее – и нес с честью, которой позавидует каждый.

Война и революция, вырвавшаяся из нее с силой выброшенного снаряда, силой общего движения влекла и лепила людей, заканчивая рисунком то, что в человеческих личностях таилось как набросок.

В то время я порицал всех, кто стремился стать в стороне. Порицал и Маяковского, не понимая, что такой род деятельности, как «Роста», которым был увлечен Маяковский, был не менее боевым, чем мое участие на фронте Гражданской войны, на котором я, как организатор красных партизан (большевиков), красноармейцев: – (Богунцев, Таранцев, червонных казаков) и как командир своего собственного отряда («Братьев Петровских»), провел все годы Гражданской войны, создавая первые красные отряды на Украине (на Черниговщине) с самого Октябрьского переворота, точнее, со дня разрыва Центральной Рады отношений с РСФСР – т. е. с 3 декабря 1917 года.

С сентября по декабрь 1918 года я просидел в гетьмановской тюрьме в г. Чернигове, ожидая расстрела.

Только после замирения с Польшей – и разгрома Врангеля – т. е. после окончательной нашей победы на фронтах, я вернулся в Москву и занялся оборванной в 1916 году поэтической деятельностью^[455].

Поэтическая писательская деятельность моя определяется книгами стихов: «Галька», «Черноморская тетрадь», «Червонное казачество», «Избранное», «В гостях у Лермонтова» и прозы: «Арест», «Повстанья», «Две рубки», «Дмитрий Петровский», не изданной еще драмой в стихах (о Щорсе) «Данило Дамбас», книгой лирики «Ронсеваль» и революционными циклами и переводами из грузинских поэтов, которыми я сейчас занят, и романом о Щорсе, временно прерванном.

Из опыта военных боевых годов я вынес два (ложных для меня сейчас – но твердо засевших в моем сознании, может быть, вредных) представления: для того чтобы быть большевиком и организовать вокруг себя большевистские массы – армейские массы и колхозы – мирное строительство (мне не нужен был партийный билет: я так и не вступил в партию, – работая на нее и от ее лица все годы борьбы Гражданской войны) и позже, активно участвуя в построении коллективизации на Украине, – помогая в этом своим товарищам большевикам), будучи поочередно то членом Ревкома и Исполкома (на Черниговщине – Городянщине), – то командиром, даже политкомом относительно больших военных частей, – так, я был, например, политкомом собственного партизанского отряда, специально назначенным в самую трудную минуту борьбы на Украине, Советом обороны Украины, на фронте Бахмач – Констополь – Чернигов, в то время когда только мой родной городской уезд оставался единственной не занятой сразу тремя, сразу напавшими со всех сторон, врагами – (Деникиным, белополковниками и Петлюрой) территорией Украины. И на эту территорию, и, кажется, только на нее из всей Украины, – враг

не вступил и копытом. В это время она явилась трамплином для формирования отступивших частей и для дальнейшего развития контрудара по врагу.

Прозываясь «анархистом», я мог присутствовать как равный, а часто и как старший на всех партийных собраниях (не говоря уже об оперативных военных) в течение всей моей деятельности во время Гражданской войны. И это мое право оговаривалось в особом мандате, где указывалось, что я, хоть и именую себя анархистом, являюсь верным партии человеком, которому просят доверять вполне как большевику. Хотя мандаты мои утеряны, но живы свидетели этого «странного» случая и этой организаторской моей роли «непартийного большевика» в армии и мирном строительстве.

Это обстоятельство создало у меня то представление (или иллюзию), что партийный билет не всегда обязателен для большевика. Род же, возобновленный теперь (с 1921 года) с неукротимым упрямством, моей деятельности – поэта – только поощрял иллюзию эту тем, что мои стихи никогда не дышали ничем иным, кроме революционности и большевизма, – здесь опять не было повода искать опоры в получении партийного билета, – а наоборот – (казалось мне в те годы) – партийный билет может оторвать меня от страстно любимой деятельности, в которой я чувствовал выполнение своей жизненной роли во всей полноценности. Будучи же цельным, я сам буду чувствовать себя обязанным этим членским партийным билетом (так думал я) и более конкретной рядовой повседневной партийной работе. Не от <того> чтобы я сторонился или боялся ее – я всегда любил эту работу в массах и выполнял ее с той же страстностью, какая свойственна мне и в моей поэтической деятельности, но я боялся, что я, уйдя от нее (по недосмотру и недооценке меня как поэта со стороны партии – это была с моей стороны непрощаемая ошибка, которая приводит меня сейчас к решению, к которому ведется все излагаемое мной), мне казалось, что, уйдя в рядовую партийную работу, а к этому обязет партийный билет, – я обнажу моим отсутствием в какой-то мере поэтический фронт, насчитывающий тогда единицы.

Однако, чувствуя себя временами неловко из-за этой сознательной уже отстраненности от непосредственной партийности, когда как бы накаплиется мой разрыв с действительностью, я вновь шел к моим старым товарищам по фронтам Гражданской войны, занимавшимся теперь мирным строительством, и вновь при их помощи и содействии бросался на работу в низы, в массы (так было между 1928–1931 годами, моего сравнительного отсутствия в литературе, – этот перерыв отразился и на двух последующих годах – я отвык от стиха и вообще временно ослабел в своем писательском навыке) и часто чувствовал – даже на родине у себя, где я некогда был популярным вожаком среды, теперь уже выросшей большевиками, – некогда выдвинутых и воспитанных мною людей (подчас их недоверие – к себе и

отчужденность: «Ты до сих пор не в партии?» – с удивлением спрашивали они меня. И однажды, увидев на одной из моих книжек издательскую марку «Федерация», чуть не предали меня ostracismу, решив, что я принадлежу и печатаюсь в «федерации анархистов», – (будто бы где-то возможной в нашей стране). Конечно же я разъяснил это недоразумение, но этот курьез не рассмешил меня, а заставил огорчиться. Я много раз передумал проблему своей партийности. И почти всегда принимал решение – вступить в партию реально, а не быть в ней только сознанием, – я (а я знаю, что в мыслях своих я никогда не погрешил против партии и об этом также знают мои партийные друзья) – почти всегда кто-нибудь из этих партийных моих товарищей говорил мне: «Мы тебе и так верим, а это только будет лишней обузой для тебя: вместо того чтобы работать над стихами, – будешь сидеть на заседаниях и будешь отвлекаться от прямой своей полезной нам деятельности. Когда понадобится это – мы тебе скажем. Сиди, пиши или езд и пиши». И я вспомнил примеры Ромен Роллана, Горького, Маяковского, Андре Жида и вспоминал слова о непартийных большевиках, отменял принятое решение, успокаиваясь.

Скажите мне, товарищи, сейчас: прав ли я, так поступая? Этим заявлением (указывая в самых сжатых чертах на кривую, или прямую) своей биографии – биографии не природного пролетария, но пролетария по психологии и по духу, связавшего давно и навсегда судьбу с его судьбой и с судьбой партии.

Этим заявлением я открываю до какой-то степени новый этап для своей биографии и своей деятельности.

Я бы гордился решением партии принять меня в свои ряды – не как раскаявшегося – мне не в чем каяться, кроме того небольшого заблуждения (но, может быть, это и не заблуждение), о котором шла выше речь, когда я брал примером «непартийность» Роллана и Горького, Маяковского – и термин Сталина «непартийный большевик».

Я бы гордился потому, что я чувствую себя <способным> разделить эту общую большевистскую гордость.

Я изложил все это перед вами, чтобы вы сами могли судить, товарищи, и посоветовать мне, как мне следует поступить, но я не хочу, чтобы оставалось в тени более, т. е. было бы скрыто от вас, имеющих необходимость знать свои ряды (в особенности сейчас), мое политическое лицо. Я хочу, чтобы вы знали, что вы в любую минуту найдете во мне честного товарища и бойца за дело построения социализма во всем мире, боевого мирового пролетариата. И если понадобится жертвовать собой – я на это способен: точнее – с врагом я всегда встану на бой грудью на грудь и не буду последним.

Ваше отношение к данному заявлению, по данному вопросу, – я хотел бы выслушать по приезду в Москву, где я собираюсь быть в конце этого месяца.

P.S.

Если это понадобится, вы можете этот документ сделать и документом литературным, хотя я не присваиваю ему такого назначения.

(подпись) Дм. Петровский

13. ix.1936. Харьков

Маргарита Алигер

Дневники

1/1 – 1939.

Послала поздравительные телеграммы маме, Гоше^[456], Савве Головановскому и Луговскому. Ярка^[457] был.

Мы купили мне чудесный письменный стол. Дубовый, широкий, поместительный.

Купили круглый стол. Усиленно готовимся к переезду^[458].

Господи, неужели это будет.

2/1.

Были в гостях у Толи Тарасенкова, т. е., вернее, у Маши Белкиной.

Боже мой, в какой богатый и приличный дом^[459] взяли нашего голодранца и хулигана!

Совершенно барская квартира в Конюшковском переулке на Кудринской.

Камин, красное дерево. Старинный фарфор, убранная елка. Прислугина (именно, а не домработница) дочка, которая целует Маше руки.

Толя там такой тихий, скромный.

Ужин чудесный. Стол сервирован необычайно. В общем, класс.

Было очень приятно: мы, Антокольские и Илюша Файнберг с женой. После чая рассказывали странные и смешные истории, хохотали.

Разошлись не поздно, т. к. мамаша, видимо, устала.

5/1.

Сегодня я наконец читала на секции поэтов.

В первом отделении читал Сашка Коваленков. Прошло довольно серо. Асеев метко сказал, что это работа на отработанной шахте.

Верно, очень чистенькие, очень тщательные стишки, собственно ни о чем. Ничего нового.

Потом я. Я читала с большим волнением, ничего и никого не видела. Когда кончила и наконец открыла глаза и прозрела, первое, что я увидела, был Савва Головановский, который согнувшись пробирался вперед, улыбаясь и кивая мне. Это было очень приятно, пахло Ирпенем, весной этого года, хорошей работой, приятными людьми...

Обсуждение было очень бурное и оживленное. Асеев говорил первым. Мнение его, конечно, было предвзятым, и он, по существу, очень взволнованный вещью, начал искать, почему бы она может ему не нравиться. Но говорил правильно о том, что нет тщательной работы над словом, над эпитетом. Но, в общем, признал. Много и ерунды говорил. Выступление Инбер было немного похоже на классную даму. И тоже много неверного. Но я понимаю и принимаю их требование более тщательной отделки стиха. Другие, например Ромм, Безыменский, очень хвалили, возмущаясь придирчивостью Асеева и Инбер. Но мне все равно. Я рада, что вещь была так здорово принята, но, право же, я лучше их знаю, что плохо и что хорошо. Я знаю отлично строки, которые я читаю, отводя глаза, за которые мне стыдно перед читателем, знаю и исправлю это в своих новых вещах. Но я знаю также и то, что я доказала то, что я хотела доказать, и достигла своей цели, а цель в какой-то степени оправдывает средства.

И коммунизм совсем не в том,
Чтобы сердца разоружить,
И коммунизм не теплый дом,
В котором можно тихо жить,
Не зная горя и тревог
И не ступая за порог.

Это я доказала. Это все поняли. А некоторая небрежность, она действительно есть. Но поймите, что мне необходимо было скорее написать то, что я написала, – эту поэму, иначе я бы не пережила то, что пережила.

После обсуждения Асеев потащил меня в соседнюю комнату, начал мне говорить, чтобы я больше верила тем, кто меня ругает, что это мне больше поможет. Что он раньше считал, что я ничего не могу, что Алигер – это типичный подраппок^[460], но теперь он видит, что я поэт, что я по-настоящему талантливый человек, что «вот ведь вы можете, умеете, вы ведь не пишете «алый флаг», а пишете «сильный флаг». Значит, понимаете. Зачем же вы пишете так – как вы можете себе позволять писать хуже?»

Я понимаю старика. Антокольский и Савва едва увели меня от него.

Несколько часов пробродили с Коськой^[461] и Данькой^[462] по чудесному снежному Измайлову.

7/1.

Живем как на бивуаке, каждый день готовые к переезду, а переезда нет как нет. Нервничаем, ссоримся. Думаю, не уехать ли в Ленинград на пару дней, чтобы скорее прошло это томительное время.

8/1.

Потолкалась по вокзалу, но билеты в Ленинград только в общих вагонах, даже бесплацкартные.

9/1.

Ура!!! Пришел Лемперт и принес ордер и оформление на обмен его с Ириной Семеновной. Я как дикая от счастья. Вечером была в РК на совещании, потом тихонечко пошла посмотреть дом. Хоть с улицы, если нельзя внутрь. Очень близко, на Миусской площади, как раз напротив Советского райкома, где меня принимали в комсомол 2 ½ года тому назад. Очень хороший новый дом.

Потом поехала в Союз на вечер Антокольского. Очень мило все было. Но не знаю. Самое лучшее стихотворение – это «Работа», о Пушкине.

Женька и Данька говорят, что Костя уже перевез мать. Чудно!

И верно: пришла домой, а у нас в первой комнате спят Лемперты. Коськи нет, он пошел в филиал Большого театра на доклад Калинина для мастеров искусств об изучении истории партии.

Я жду его и пишу. О том, что я должна быть, непременно буду счастлива в этом новом году.

Потом был клубный день. Читал Светлов. Мне его очень жалко. Вот ведь пишут на билетах: «Михаил Светлов. Новые стихи. Отрывки из песен и «Сказка»». А когда доходит до дела, то выясняется, что никаких новых стихов нет. Те, что называются новыми, написаны 3-4 года тому назад. И дует он эти песенки из пьесы «Изюм», как он сам говорит. Но очень мило, остроумно, талантливо, но все-таки не то. Не ладится что-то у этого поэта.

Потом выступал Андроников. Совершенно блестящий человек! Новый № с грузинским деревенским врачом, просто здорово.

Я забыла написать о самом главном. Уже пошла в производство моя книжка «Железная дорога»^[463]. И, по-моему, получается очень складная – ладная книжка. Уткин выбросил «Матроса». Я еще буду драться, но, в конце концов, это не так важно. Важна вся книжка, а она уже пошла в ход.

Соколик был на клубном вечере. Наши с Женькой^[464] портреты уже сделаны и приняты для выставки.

Даже писать совестно, какую я себе придумала влюбленность. Такую короткую, без подробностей. Лирическую загородную прогулку. Ну и ну! Бред!

18/1.

Я уже взялась за перевод «Каменного хозяина»^[465]. Страшно увлечена, страшно увлечена. По-моему, это совершенно прекрасно.

Поехала с Яшей Кейхаузом на электрозаводской литкружок, где я должна была почитать стихи. Занятие прошло очень хорошо. Ребята хвалили, причем не впустую, а очень дельно, всерьез. Мне интересно жить.

Приехала с кружка домой. Дома Костя, Нина Георгиевна и Женька. Он с ребятами сегодня встречал Луговского, выпили, и он так, еще во хмелю, приехал к нам. Бузил и дурачился. Между прочим, нам с Костей пришлось потесниться комнатами. Мне очень не хотелось уступать ему мою «кiмнатку». Она хоть и темноватая, но какая-то очень уж моя, уютная. Но ничего не поделаешь, приходится. Несмотря на звукоизоляцию, в бывшей комнате все слышно, а соседи там буйные: за стенкой Юровский, снизу Ваню Мурадели, сверху Хренников. Прямо беда.

Женька говорит, что так нельзя, что квартиру необходимо обставить, завести хорошую мебель.

Нет, не хочу. Я так рада этой квартире и мне так хорошо работается за моим большим письменным столом – зачем мне думать о красном дереве, карельской березе или палисандре?

Мне 23 года, Косте 26. Нам хочется работать, и мы будем работать вовсю. А обставиться успеем. Всему свое время.

Только успела впопыхах пообедать, как позвонили. Открываю дверь – (зачеркнуто). Получил письмо и пришел. Сначала его совершенно закричал и затуркал Женька, но потом, когда Женька ушел, а Костя пошел к себе заниматься, мы с ним очень хорошо посидели, поговорили. Он мне рассказывал о студии, об их трудностях, неопределенности. Я ему рассказывала о «Каменном хозяине», о своей пьесе, которую непременно буду писать с Ярославом или одна, но буду. Потом я бегала в бакалею, накупила всего, мы вдвоем пили чай. Мы его позвали на 24-е число, к нам на новоселье.

Но я ничего не понимаю. Нет! Скорее, нет.

Какие у него удивительные искорки в глазах!

20/1.

Сегодня очень хорошо, по-моему, прошло общее собрание (комсомольское). Был доклад такого т. Губкина об итогах VII пленума ЦК ВЛКСМ. Довольно оживленные прения, правда, только касательно литературных дел, но ведь это наша производственная жизнь. Утвердили постановление Комитета о приеме в члены комсомола Морозова. Белокурый, смешной, серьезный от застенчивости 15-летний мальчик.

С большим энтузиазмом обсудили письмо французского поэта Рожеверже, который хочет переписываться с кем-нибудь из комсомольцев-писателей. Все, кажется, хотят с ним переписываться, рвутся в бой. Но постановили все-таки страсти придержать до выяснения того, что за журнал он редактирует, что он сам из себя представляет как человек и как поэт.

Раздали 11-е книжки «Знамени» для обсуждения повести Курочкина «Сложная история».

Прочла совершенно прекрасные рассказы Горбатова «Обыкновенная Арктика». Особенно хорош второй рассказ «Продавец Лобас».

22 /1.

Заехали за мной наши, потащили в поликлинику для медосмотра, чтобы знать, годна ли я для работы водителя. Мы ведь уже вот-вот должны сдавать. Все прошла – сердце, нервы, слух, только левый глаз подвел, мерзавец. Я всегда знала, что он у меня видит хуже, но не думала, что настолько. Придется канителиться, подбирать очки, а то, значит, вся автомобильная учеба впустую.

23/1.

Кончила «Каменного хозяина». Грешным делом, я считаю, что это интереснее пушкинского «Каменного гостя». По мыслям, по построению, по композиции. Вообще, все это настолько своеобразно и самостоятельно, что просто диву даешься. Откуда только такая силища?

Если бы еще стихи были так же самобытны и самостоятельны, то она была бы просто великолепным поэтом. Но стих, конечно, уже был такой до нее. Хотя бы пушкинский. А Пушкин был первым. В этом его превосходство.

25/1.

Вчера справляли новоселье.

Первым пришел Гоша^[466] и, так как мы довольно удачно сидели одни, потом с Костей до прихода гостей, то я собралась с мыслями и все

поняла. Нет, уже пережит и перейден тот момент, когда я могла в него очень сильно, по-настоящему влюбиться. Уже пройдено то место, на котором это могло случиться, и вернуться к нему нельзя. Уже потеряно что-то необходимое для этого и найдено что-то другое, только для дружбы, спокойной, тихой и хорошей. Вижу совершенно прекрасные его глаза с искорками, вижу, понимаю его, наверно, хорошую душу... но сердце мое уже не дрожит. Уже не дрожит. Ну что ж! Может быть, это к лучшему. Даже наверно.

Потом пришли Толя с Машей^[467], принесли нам хлеб-соль. Потом пришел Женька с бананами. Потом Софа^[468] с Данькой. Шум стоял отчаянный. Просто страх.

Толя все время ловил Кузьму, хотел проверить, верно ли написано в «Каштанке» Чехова о том, как ребята привязывали на веревку кусок сала, давали собаке проглотить, а потом вытаскивали из ее желудка. Я была в панике. Творили что-то невероятное, бросали в стенку бананные корки. Потом пришла Сусанна^[469], потом Луговской. Иры не было, так что все легло на меня, и я буквально с ног сбилась. Наконец, совсем поздно, около часу, пришли Антокольские. Гоша ушел раньше всех. Часа в 2 самые отчаянные, Женька и Толя с супругами, ушли, и стало спокойнее и очень приятно.

Я читала вслух «Клинок Китенбруга», все лежали на полу от хохота. Разошлись, кажется, в 4 утра.

Очень жаль глядеть на Сусанну и Луговского. Какие-то они оба потерянные. Так и не поняла, что у них. Но зачем Сусанна с другими мила, весела, а с ним грустна и неприступна? Ему это, наверно, очень обидно.

Вот Антокольские – чудесная пара.

На декаднике секции читал Дмитрий Кедрин. Очень талантливые, по-моему, стихи. Все хвалили. Гольдберг попытался объяснить то, что его мало знают, тем, что его задирал Сурков, пустил о нем какую-то фразку – «квелье стихи». Ненавижу такое. Я сразу выступила и сказала, что это ерунда, что двадцать тысяч Сурковых не могут, да и не пытаются затереть талантливые стихи. Подумаешь, Сурков. Мне даже хлопали.

Меня выбрали в комиссию по организации вечера памяти Багрицкого в феврале. Я взяла на себя «музыкально-вокальную часть», т. е. пообещала договориться с Юровским об исполнении арий и песен из «Думы про Опанаса».

26/1.

Приехал Сева Азаров. Сегодня сидел у меня. Рассказывал о Ленинграде, о себе, читал стихи. Все-таки очень средние. Только один хороший перевод с испанского: «О, мать Россия...»

А я никак не могла оживить в своей памяти того <зачеркнуто>. Просто преклонение. Он большой, он пишет стихи. Школа... редколлегия... Все помню. Смешно и приятно все это. Сколько было первого трепета души. Одесса... море. Стеной вокруг города.

Костя мешал, гнал меня в баню, даже неудобно получилось.

27/1.

Были в театре Ленсовета, смотрели пьесу Козакова «Чекисты». По-моему, хорошо. Интересно по сюжету и без всякой сусальности. Самое начало ЧК. Дзержинский. Петербург, 1918 год. Подвал поэтов... Я подумала о том, что было бы очень интересно написать пьесу о Блоке. Назвать «Двенадцать».

Когда мы вышли, следом за нами шли две женщины и очень оживленно и достаточно громко, для того чтобы нам было слышно, разговаривали. Пьеса им понравилась, но одна рассказывала другой о том, что, вот, она видела другую пьесу: «Тут, понимаешь, сидишь и все-таки уже знаешь, что будет, а там просто все время не знаешь, что будет. Поэтому там интересно. И, кроме того, это все-таки из прошлого, ну, восемнадцатый год, а то, ну просто совсем из нашей жизни, совсем наши дни на сцене видишь. Просто замечательная вещь».

Этот разговор мне страшно много сказал. Вот именно такая пьеса нужна рядовому зрителю, горячо любящему театр. «Совсем из нашей жизни, наши дни...» Такими именно стали в свое время пьесы Чехова, и в этом их бессмертие. Такую пьесу мечтаю написать.

28/1.

Сегодня с утра приходил портной Алексей, сидел, заканчивал мне шубу и трепался. Спрашивал нас, ели ли мы эти новые «бабаны» (т. е. бананы).

Потом рассказывал о постановке «Свадьбы в Малиновке»: «Ну, замечательная постановка, одна из наилучших. И артисты играют самые что ни на есть... ну, как сказать, атлеты».

Жалко, я не записала. Масса чудных слов.

29/1.

Вчера вечером было обсуждение повести Курочкина на открытом комсомольском собрании. Прошло довольно оживленно, но выступлений, особенно интересных, почти не было, т. к. вещи-то никакой, по существу, нет.

Мне даже не хочется записывать свое мнение о ней.

Никакое это еще не искусство, хотя он, конечно, талантливый человек.

И те, которые хвалили, думали и говорили больше о жизни, а не об искусстве. А это не разговор. Очень меня вчера почему-то раздражала Люба Фейгельман. И выступление ее было не в пример обычному довольно глупым. Она говорила, например, о том, что нужны такие друзья, как Костя Переписчиков, что они помогают жить. Да об этом ведь никто не спорит, спорят лишь о том, хорошо или плохо он написан. А написан он плохо. И потом сидит Люба на собрании так, как будто она всех умнее, никто кроме нее ничего не понимает. Все время перешептывания, презрительные усмешки, просто тошно.

Но я еще о ней напишу подробнее. Кажется, я ее уже понимаю.

По-видимому, у меня будет ребенок. Я всем сердцем буду рада ему. Единственное, что меня смущает, это то, что, если это действительно уже так, то родится он поздней осенью, в октябре, что ли. А я хотела приурочить это дело к весне 1940 года.

Кроме того, очень уж пахнет близкой войной. В Испании совсем тяжело. Правительственные республиканские части оставили Барселону. Оружие покупать негде, граница закрыта.

Но, что бы и как бы ни было, я буду всей душой рада и надеюсь, верю, что на этот раз это будет все хорошо и счастливо^[470].

31/1.

Пишу поздно ночью. Больше часа. Сейчас вернулась с пьесы Войтехова и Ленча «Павел Греков». Очень хорошая пьеса. Совсем хорошая. Сцена в парткоме строительства идет на непрерывных аплодисментах. Уже по этим аплодисментам можно судить, как много в публике людей, переживших все это: клевету, гнусные оскорбительные подозрения людей, называющих себя друзьями и бдительными большевиками, и, наконец, как вывод из всего этого – страшные минуты исключения честного человека из партии или из комсомола.

Все это сделано предельно точно. Все это так и было. Те же реплики, те же интонации.

Вот это и берет за живое. Вспоминаю свои дела, как Андреев говорил речи, как меня заставляли отречься от Левы Шапиро, тогда исключенного из партии.

У, сволочи!

Одно только мешает этой пьесе быть совершенно прекрасной, это некоторая несовершенство, необязательность композиции. Чувствуется, что, если переставить некоторые картины, то от этого ничего не изменится. А так нельзя.

9/2.

Девять дней не писала. Могла ли писать, когда только вчера я очнулась, как после какого-то затянувшегося чудесного сна.

Но это не сон. «Знак почета» всего народа нашей родины крепко ввинчен в мое сердце, в мою душу.

Теперь по порядку:

Последняя моя запись сделана 31-го ночью, после «Павла Грекова». Кости не было дома, он был на совещании композиторов в ЦОКСе. Я легла и заснула. Костя пришел часа в 3 ночи. Был испорчен звонок. Я еще не совсем проснулась от какого-то неясного сознания того, что в дверь стучат. Голый Костя пошел к двери. Я сквозь сон слышала, как он спрашивал, кто? Как ему отвечали разные голоса из-за двери.

Он ответил:

– О, тут целая компания! Вот молодцы, что пришли.

Надел на голое тело шубу и на босые ноги боты и открыл дверь. Кто-то ввалились. Смутно различаю голоса Луговского, Кости Симонова... Костя кричит им:

– Подождите, сейчас Ритка оденется.

Они не слушают, врываются в комнату, лезут прямо мне в постель, орут:

– Вставай, дура! Тебя наградили орденом!

Я не поверила, решила, что розыгрыш. Они тычут мне в лицо «Правду», я читаю: «За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы наградить:

Орденом Ленина:

Орденом Трудового Красного Знамени:

Орденом «Знак почета».

Все родные фамилии и моя. Вместо Алигер – Олигер. Но все равно.

И началось. Ребята принесли шампанское. Коська тоже сбегал, принес 2 бутылки. Целовались, каялись, говорили какие-то слова...

Потом вышли на улицу, снежную, солнечную, морозную...

Шли к площади Маяковского. Шли мимо райкома. Я затащила всех туда, прямо к секретарю ввалились совершенно пьяные. Но нас все поздравляли и велели кутить еще 3 дня. Луговскому сказали: «Спасибо вам, товарищ Луговской, за нашу молодежь». Старик совсем расцвел. Всем нам сказали: «Спасибо, товарищи, вы поступили по-партийному».

Потом поехали к Антокольскому. Опять целовались, опять пили. Я свалилась, лежала, спала.

Посылали Женьке в Малеевку телеграмму: «Поздравляем заслуженной наградой. Кавалеры: Павлик, Володя, Костя, Рита. Жены: Зоя, Сусанна, Женя, Костя. Кандидаты-орденоносцы: Раскин и Слободской». Потом сидели в Восточном ресторане у Никитских ворот. Потом пошли в кино смотреть: «По щучьему велению». Потом заезжали к маме Кости Симонова. Наконец, часов в 10 вечера, вернулись домой, сразу легли спать. Не тут-то было. Сначала пришел Константин Михайлович Попов поздравлять, потом Крюков. Они ушли, я снова улеглась, но не тут-то было! Ввалились Женька с Данькой. Женька только что из Малеевки. Опять целовались.

Я уже как бы пришла в себя, но единственное, что я могла сказать в ответ на вопрос о том, что я чувствую, это, что этому нет названия.

Нет, я уже могу сказать больше. Я могу сказать, что я еще не знаю, как называется это чувство, но что оно настолько молодое и новое, что, наверно, только будущие люди придумают ему точное название.

Может быть, это будет шестое чувство?

Потому что «счастье» – это мало. Слово «счастье» употребляется с успехом в других случаях жизни, а тут и счастье, и благодарность, и большая вера в себя, и большая проверка себя, своих чувств и качеств, своих сил и возможностей. И все это нужно объединить каким-то одним, предельно типичным, ярким и прекрасным словом. А такие слова быстро не находятся. Это работа для столетий.

Еще я понимаю, что, если большинству писателей дали ордена как награду за сделанное ими, то нам, молодежи, эта награда дана в знак большого к нам доверия, уверенности в том, что мы это доверие оправдаем, сделаем настоящие вещи. Нам, молодежи, эта награда дана, потому что у прекрасных, больших, сильных и мудрых людей очень внимательные, очень заботливые глаза, и вот эти-то глаза сумели разглядеть в ворохе того, что мы сделали, крупницу настоящего, зернышко таланта, т. е. то, что поможет нам впредь создавать все лучшие и лучшие вещи, то, что в людях дорого ценится и нечасто встречается, что нужно беречь, чему нужно помогать.

Итак, вот, спасибо этим заботливым глазам. Еще я хочу сказать, что чувствую, какую большую и гордую ответственность возложила на нас всех эта награда.

Надо работать, вдохновенно и увлеченно работать. Надо писать такие вещи, чтобы им, тем, кто будет жить много лет спустя, стало понятно, какое суровое и справедливое было время, какая трудная и прекрасная была жизнь, как возникали в сердцах людей новые чудесные чувства.

Прямые, прекрасные книги, такие же волнующие, как наши дни, надо писать.

Я все сделаю, чтобы писать так, и все отдам для того, чтобы с честью носить орден на сердце и чтобы самое свое сердце носить в груди, как орден, чтобы в нем жили высокие чувства, чтобы оно было сильным и честным, прямым и смелым сердцем хорошего человека, большевика.

2/2.

Все-таки отдежурила 2 часа в комитете. Бегали, фотографировались, заполняли анкеты, писали автобиографию.

А сердце все время летит легко, плавно и спокойно, как сильная птица и поет уже от самого ощущения этого полета.

Не хочу сейчас писать о грязном случае с Адалис. И так, она мне чуть-чуть не испортила сегодня. Напишу в другой раз.

Был митинг. Я сидела в президиуме. Мне надо было выступить, но я отказалась от волнения.

После митинга поехали выступать к студентам Института связи. О нас объявляли: «поэт-орденоносец». И приятно и совестно. Подписываться так я ни за что не буду.

На рассвете уехали в Малеевку. Снежный лес, лунные ночи, жаркие комнаты... И все это осенено светом нашего счастья.

Вертятся в голове какие-то стихи. Но трудно собраться с мыслями.

Обнять бы земную природу
И в звонкой снежной тишине
Поведать всему народу,
Всему простору, всей стране.

.....
Какое небо мне открыли!
Ясна торжественная тишь.
Вручают мне орден – крылья!
– Лети! Мы верим – долетишь!

.....
Лети по снежному маршруту
Среди проверенных друзей,
Готовых каждую минуту
К труду, тревоге и грозе...

.....
Вперед, готовые к полету!
Вперед! В любимую работу!
Стихи крылатые слагать!
Так награжденному пилоту,
Наверно, хочется летать.

Только строки. Надо ли это?

5/2.

Вернулись с Женькой в Москву. Данька и Костя еще остались там.
Ворох телеграмм, поздравлений, писем. Даже цветы от Володи Орлова.

Совершенно чудесное письмо от Гоши. Откровенное, умное.
Вот оно.

А впрочем, не стоит ни выписывать, ни целиком переписывать.
Пусть хранится со всеми. Очень здорово в нем вот что:

Считаю ценным в Вас: трезвость во взгляде на вещи, непосредственность и простоту. Берегите это.

В том, что Вы оправдываете эту честь и доверие, у меня нет сомнений. Правительство отметило Ваши достоинства, в то время как у других отмечаются заслуги.

Последняя фраза совершенно точная и замечательная.

На секции читал Светлов всю пьесу «Сказка». Мне очень понравилось. Вот за него мне действительно горько, что не отметили его поэтических заслуг. Говорят, у него с политической стороны еще в комсомоле не все в порядке.

Он поэт очень настоящий. Все хвалили.

Уткин нас хотел поддеть, сказав: «Мы все-таки понимаем: все уже по 2-3 года работаем в литературе».

Чудило, для нас это только комплимент.

Помирились с Усиевич. Даже домой мы ее с Женькой проводили.

Женька ночевал у нас.

Я почти не спала эти ночи от какого-то нервного возбуждения. Сегодня впервые хорошо выспалась. Утром искупалась, пошли с Женькой к Соколику. Он просто счастлив за нас. Хороший он, искренний, отзывчивый человек и товарищ хороший.

Серж Васильев подошел ко мне на митинге и поздравил меня, внешне очень искренне, сказал, что считает это очень правильным, заслуженным.

Но ему, наверное, здорово не по себе!

Еще бы! Мне даже страшно подумать, что было бы, если бы наоборот.

Я постаралась бы быть хорошим товарищем и искренне радоваться за других, но это было бы нелегко. А ему и подавно.

Костя вернулся вчера вечером. Женька все-таки ночевал у нас.

Утром встали тихие, просветленные. Есть не могли от волнения. Поехали за Антокольским, Костя там был. Поехали.

У Спасской башни, у розового домика, где выдаются пропуска, на лестнице толпа народу; военные и штатские и наши тут же. Потолкались немного, прошли внутрь, постояли в очереди, получили пропуска. Я вышла с пропуском и одна, тихо пошла внутрь.

Да, я забыла сказать: вчера шел снег, а все говорила: «Как приятно было бы получать орден весной». Вот сегодня, как по щучьему велению, весна, все тает, лужи, сырость, туманная теплота воздуха...

Вот я вошла, иду одна. Как будто какой-то город, тихий, сосредоточенный, занятый огромной и важной работой. Все очень обычно. Листы фанеры, покрытые мокрым снегом, дворники скалывают снег... лужицы...

Вхожу в дом. Там уже наши. Раздеваемся и поднимаемся по лестнице. Какая деловая, рабочая простота. Проходят люди, которые работают здесь, для которых это будни. Посидели в какой-то комнате перед залом.

Простые венские стулья, бутерброды и вода на столе. По очереди вызывают и размещают в большом зале:

- Товарищи с озера Хасан!
- Товарищи с завода № 8.

Вот и мы проходим и занимаем свои места – ряды стульев у правой стены. Зарисую по памяти:

<рисунок>

Какой-то человек начал проверку списков, тех, кто налицо, и правильность заполнения.

Очень здорово, когда проверяют хасановцев:

- Иванов Иван Иванович, старший лейтенант.
- Есть. Теперь капитан.
- Петров Петр Петрович – воентех II ранга.
- Я. Теперь воентехник I ранга.

Здорово!

Мы шутили:

- Леонов, техник человеческих душ I ранга.
- Я теперь инженер.

Списки проверили. Короткий перерыв. Вышел Буденный. Его долго приветствовали. Сел за стол рядом с работниками 8-го завода.

В 2 часа пришли Калинин и Горкин и несколько членов Президиума, среди них Петровский.

Началось.

Горкин читает списки, называемые подходят к столу. Калинин вручает им орден, они быстро переключаются его из правой руки в левую, правую Калинин пожимает и дает коробочку, красную коробочку с орденской книжкой. Каждому он тихо что-то говорит. Наверное, поздравляет. Он – чудесный, небольшого роста, с лунной бородкой, под пиджаком голубой вязаный жилет на коричневых пуговичках.

Чудесные молодые ребята хасановцы. Первым получать орден Ленина вышел какой-то Смирнов, как символ, ну, от силы 24 года. Каждый в ответ на поздравления отвечает:

- Служу Советскому Союзу!

Эта фраза решила вопрос о стихотворном размере моей будущей поэмы вот о таком Смирнове.

И вообще было очень приятно, что награждали нас с ними. Перехватило в горле у меня, когда выходили: один парень с черным очком на одном глазе, другой без руки...

Толстомордая, чудесная, здоровая девчонка получала медаль «За боевые заслуги». Что бы она такое сделала? Вот! Это тебе не стихи писать.

Награждали за боевое выполнение специальных заданий партии и правительства. Выходили ребята – дубы, просто посмотреть приятно.

Награждали завод № 8, выходили седые, сухонькие мастера в аккуратных, ко дню выглаженных и подштопанных серых тужурках с хлястиками сзади, женщины-работницы, почему-то маляры, в праздничных голубых пестренских платьях.

Награждали «Подземгаз» – выходили горловские мастера-забойщики, молодые ребята – проходчики, с длинными тонкими шеями, тянущимися из воротников с узкими шелковыми галстуками. Одна женщина – турбинный машинист, – у меня все внутри задрожало, а в носу и горле защипало, – лет 40, с гладкими темными, может быть, с легкой сединой, волосами, уложенными сзади на затылке, в стандартном, широком на ней трикотажном свитере, в подшитых валенках, а на плечах, по-моему, это называлось шарф. Такие носили в моем детстве еврейки на головах. У нашей прислуги Гали был такой лиловый. Шириной примерно в четверть метра длинная шелковая полоса – шарф. Самое нарядное, что нашлось. Он долго лежал, этот шарф, в сундуке, вытаскиваясь только в особо торжественных случаях. Его черный шелк позеленел от времени и сечется на сгибах. А хозяйку привезли из Горловки в Москву, ей вручают медаль «За трудовую». Проездной билет. Теперь она будет бесплатно ездить в отпуск. И седой Калинин пожимает ей руку и говорит:

– Сердечно поздравляю вас, товарищ.

Что еще?

Вот и наши пошли. Как им хлопают остальные, военные, рабочие.

Живые писатели!

Вот и я пошла под светом огромных юпитеров, пожала протянутую руку, вернулась на место с орденом и коробочкой.

Вот я беру нож, прорезываю курточку, дрожащими пальцами привинчиваю орден. Что-то говорит Толстой.

Калинин говорит напутственное слово... И все время кажется, что где-то очень близко, совсем рядом, может быть за этой стеной, на каком-нибудь совещании или один за рабочим столом сидит Сталин.

Мы снялись, несколько человек, рядом с Калининым. Он чуть картавит. «Впервые снимаюсь с литераторами».

8/2.

Хмель прошел. Наступили новые будни. Новые будни. Острое желание скорее по-настоящему приниматься за большую работу. Что-то большое произошло в моей жизни, в мире, меня окружающем, в небе, в воздухе... Или в глазах моих появилась новая зоркость? Или в походке новая твердость?

Сегодня отдежурила в комитете, вечером выступала в рабочей библиотеке имени Сталина, где-то за Киевским вокзалом.

Появляется ощущение жалости о том, что это время уже прошло. Ощущение того, что прожила я его не совсем так, как надо, как было бы хорошо. В первый день напилась, весь день прошел в каком-то тумане... От волнения отказалась выступить на митинге, хотя потом поняла, что говорила бы хорошо... Ухитрилась раз поссориться с Костей, даже плакала... В эти дни! Как я могла? Надо было как-то собраться, как-то по-новому, по-особенному их прожить.

9/2.

К 6-ти пришла на комитет. Мне Беликов дал записку. Меня вызывают к 9-ти часам в ЦК ВЛКСМ к т. Войтехову. Ну, поехала. Войтехова не было. Пришлось очень долго ждать. Оказалось, что это он один из авторов «Павла Грекова». Здорово! Комсомольский работник! Может, это немного автобиографично?

Ему нужны люди на работу рецензентов при ЦК. Теперь будет сектор искусства и литературы. Правильно.

Обещает на днях собрать совещание с творческой частью нашей организации. Кого же выделить? Человек должен быть очень культурный, с объективно хорошим вкусом, принципиальный, честный человек. Так, по-моему. Не знаю еще кого.

Потом взяла на площади Ногина такси и заехала к Лиде^[471]. Пофлиртовала с шофером. Очень смешной, чумазый парень. Даже предлагал заехать за мной:

– Приедем, погуляем, покатаемся.

Это в первом часу-то! Смех.

Посидели, попили чай, поболтали.

Да! Саша Филипчук принес мне свои стихи на отзыв. Хочет читать на секции, но мне дали их на предварительное ознакомление.

Ну, к нему у меня самое хорошее отношение. Жалко, что как-то он отстал от всех нас, что произошло это оттого, что он женился, что пошли дети, нужны были деньги, засел в газету, увяз. Сейчас вот как-то хочет выкарабкаться. Я бы ему с удовольствием помогла, как могу, но большая часть из них, и лучшие, – это отрывки из так-таки не оконченной «Пыховки». И то, что несколько лет тому назад страшно нравилось, сейчас... Ну, даже не знаю. Какая-то незавершенность, несведенность концов. Непонятно, что он хочет доказать этими стихами. Какие-то приятные интонации, певучесть, но непонятно, что к чему. Из отдельных стихов ничего даже не запоминается, а отрывки из «Пыховки» – это все-таки отрывки.

Пожалуй, надо, чтобы свое слово сказал какой-нибудь ранее не знающий эти стихи человек. Может быть, Асеев? Это в его духе.

Но вот Филипчук зашел ко мне с Вилкомиром, и этот тоже оставил свои стихи, попросил прочесть, «так, вообще», сказать свое мнение.

Я пообещала, но, признаться, была недовольна, т. к. я когда-то такое в институте на каком-то собрании читала, какие-то его стихи, и это было ужасно.

Но отказать было неудобно, а раз взялся за гуж, не говори, что не дюж, и я взялась. А стихов целая книга.

Взялась и прочла все не отрываясь. Есть лучше, есть хуже, но это стихи. Настоящие стихи настоящего поэта. Особенно хороши стихи о море и о чекисте. Все сделаю, чтобы их где-нибудь напечатали.

Кто бы мог подумать!

10/2.

Прочла в верстке «Знамени» дневник Расковой. Очень интересно, но страшно выхолощено. Ничего о личных делах, о каких-то внутренних переживаниях, о какой-то внутренней борьбе.

Правда, это называется «Записки штурмана», и это именно записки штурмана, а не человека, ставшего штурманом, не женщины, ставшей героем. Это досадно.

Чутьочку неприятна некоторая аффектация своих личных качеств, желание показать, что она не только летчик, штурман и герой, но и женщина в полном смысле этого слова. Но и это только в том, что касается ребенка, а о любви, о сердце, ее женском сердце, ни слова. Даже досадно. Ведь она в какой-то степени новый человек, интересно, как она все женское переживала. По-моему, интересно.

Некоторое кокетство своим молодечеством, тем, как она обманывала врачей в больнице. А вообще хорошо, интересно. Очень хорошо и понятно описана профессия штурмана.

11/2.

Выступала в МГУ. Вечер писателей-орденоносцев. Очень здорово принимали. Поднесли цветы.

Но мне что-то нехорошо. Не потому ли, что я читала последние главки поэмы? Не хотелось мне это читать, но ничего нового нет. Не потому ли мне нехорошо? Вообще какое-то странное состояние. Казалось бы, чего еще, а мне мало. Не славы мало, а того, что я сделала и делаю. Какая-то очень серьезная переоценка ценностей. То ли это, что нужно, все, что я до сих пор делала?

Я-то наверняка знаю, что я должна сделать, знаю, что если сделаю так, как хочу, то это будет настоящее. Но пока ничего не получается, и из-за этого как-то не так, как могло быть. Вечная моя неудовлетворенность самой собой, своим творчеством. Добьюсь ли того, к чему стремлюсь?

Оправдаю ли я почти общее доверие?

А если не общее, то лучших людей. Значит, да, если сама хочу, чтобы было лучше, если сама понимаю, что должно быть лучше.

12/2.

Была у Кости Симонова. Приехал Мишка^[472]. Читал новые стихи. Хорошие.

Я им читала стихи Вилкомира. Понравились, Костя хочет их с ним немножко подработать и напечатать в «Московском альманахе».

Костя ходит по дому в халате, пьет черный кофе. Он – обыватель, но очень талантливый и умный человек. Значит, так бывает.

14/2.

Вечер памяти Багрицкого в клубе. Чутьочку горько. Первое отделение – воспоминания о Багрицком – очень жалкое. Опять одесситы, опять о том, что Багрицкий был одесситом, чудесным поэтом и обаятельным человеком. Нужно ли это?

И, пожалуй, больше всех был прав Шкловский, который говорил о том, что воспоминания умирают, о том, что Пушкин был рад, когда узнал, что сгорели записки Байрона. Да. Но тогда зачем я пишу все это?

Музыка Юровского мне не понравилась.

А Журавлев очень хорошо прочел «Думу про Опанаса». Это было лучше и больше говорило о Багрицком, чем все воспоминания.

15/2.

Сегодня на секции читал Уткин. Это было очень тяжело.

Он прочел много стихов. Сначала лирические, а потом опять на сибирском материале. Много было очень хорошего, но он так противно читает, что все кажется ужасно пошлым, и с удивлением слушаешь какие-то вдруг совершенно настоящие поэтические строки.

По его стихам чувствуется, что ему нехорошо, тяжело, одиноко, но что же делать и надо ли об этом писать? Надо ли об этом писать стихи?

Может быть, надо, надо для того, чтобы помочь самому себе пережить это состояние, но тогда надо ли в таком количестве?

Нет, это уже твердо, нет. Рвутся стихи, мучают, давят, а ты их сдерживай, наступай им на горло, строй плотины, не пиши, пока ценой каких угодно усилий можешь не писать, и тогда, когда ты уже не сможешь удержать их и они напишутся, тогда уже получатся настоящие стихи, настоящей силы. И были такие стихи, о которых никто не посмеет сказать, что они упаднические и что их не нужно было писать. Такие стихи, о которых каждый поймет, что они не могли быть не написанными, и поэтому они всем будут нужны в тяжелую минуту.

Как вода, свободное течение которой сдержано плотиной, становится во много раз сильнее и необходимее.

Ведь, если бы я дала себе волю, сколько стихов о смерти Димы^[473] я бы написала, и не знаю, не получилось ли бы это разжижено и мало кому интересно.

Прения были до того странные, глупые и обидные, до выступления Кирсанова, что я даже говорила бы, если бы это была настоящая требовательная, суровая поэтическая критика. Мне очень жаль его. Умный, но пошлый и все-таки не очень настоящий человек.

Вероятно, в какой-то степени это все-таки определено внешностью.

17/2.

Было комсомольское собрание. Скучный доклад Сидоренко о тезисах т. Молотова, (что делать: не дано человеку!) и интересный доклад Зайцева о тезисах Жданова.

Я говорила о том ощущении доверия, большой веры в советских людей, в их честность и преданность, в их данные, которые я испытывала, читая «Правду» от 1/2 – 39 года, где на первой странице тезисы доклада Жданова, а на второй странице – указ о награждении писателей.

Об ощущении того, как партия все больше и больше срастается с народом и страна наша идет к тому, что скоро действительно каждый советский человек, в высоком смысле этого слова, не будет находиться вне рядов коммунистической партии большевиков.

О том, что нам, молодежи, очень много дано, но с нас много и спрашивается, и мы должны страшно много учиться, работать над собой, воспитывать себя политически и морально, помнить о том, что каждый из нас – непосредственный строитель нового общества и отвечает перед страной, давшей ему счастье.

О том, что вся политика нашей партии, каждое ее постановление, мероприятие направлены к тому, чтобы воспитывать из всего советского народа, из нас, молодежи, настоящих новых людей, достойных того, чтобы жить в будущем счастливом коммунистическом мире.

Может, я все это не так складно говорила, но так я думала.

Потом я поехала в Дом актера. Там исполнялся целиком «Станционный смотритель». Я приехала ко 2-му акту.

Опять эта ужасная провинциальная концертная постановка, когда вместо цыганок выходят жуткие бабы из хора Юхова, когда Сережа Ильинский в твердом воротничке пытается играть среди стульев и хористов, когда Рыбкин (он же доктор, он же гуляка-гусар) вытягивает шею и пытается делать нелепые движения.

Утром пришел Крюков с письмом от Сахновского к Самосуду. Решили набраться с духом и тут же пойти к нему. Репетировали,

изображали в лицах, как это будет. Я надела костюм с орденом, мы сели в лифт и поехали к нему на 7 этаж. Лифт шел очень быстро. Открыла «камерфрау» в черном платье, спросила, как доложить. Потом нас провели в такую краснодеревянную приемную. Где-то бурлила вода – наливалась ванна. Квартира очень роскошная, 5-комнатная, а живут 2 человека – Самосуд с женой. В книжном шкафу красного дерева только одна полка занята странно подобранными книгами и коробками из-под конфет. На столе – Париж – Аркина и монография Растрелли. Ждем, мнеся, ужасно противно.

Хозяин вышел помятый, заспанный, на ходу вдевая запонки. Стоя спросил, в чем дело, когда узнал, что речь идет о «Станционном смотрителе», спросил: «А не опоздали ли вы с этой оперой? Ведь юбилей уже прошел».

Вот чиновник!

В общем, договорились, что я занесу либретто и он мне же даст знать – поскольку мы соседи, – когда он сможет послушать музыку. Крюков отнес либретто. Ладно, подождем. Ужасно противно было все это. А как отвратительно он читал письмо Сахновского!

<нрзб> бокалы «за орденосца и ее ордену <нрзб>, послушали пластинки, поскучали. Да, еще читали афоризмы Оскара Уайльда.

Как бы с ними разделаться? Но Коська все твердит, что он перед ними в долгу и позвал их на 18 к нам. Опять возиться!

7/3.

Я все вчера сделала и стихи написала, и неплохие. Они кончались Испанией, Пассионарией, и было хорошо. Но я с утра не успела прочитать газету, и, когда Лежнев в «Правде» дал мне прочесть телеграмму: «Переворот в Мадриде» – мне стало холодно. Чудовищные, страшные вещи творятся в мире. Нет больше надежды, и что писать?

Конец стихов, конечно, пришлось снять, и я дописала тут же какой-то стандартный конец о гражданской войне и так их там и оставила, а сама умчалась в Музыкальное управление, где меня ждал Костя.

А с утра была в Гослитиздате. Ходили с Ильей к Лозовскому. Обещают все устроить.

В Управлении разговаривали с Суриным. Это – заместитель Гринберга. Условились, что в ближайшее время обсудят сначала либретто, а потом музыку. Я им рассказала о делах со «Смотрителем». Обещали и этим делом заняться.

Опять очень поздно приехала домой. Костя встретил с коробкой конфет, присланной к 8 Марта группкомом. Славная традиция.

Потом он мне сунул «Вечерку» с подвалом Толи Тарасенкова:

– Поэтесса Маргарита Алигер.

Прямо колоссально! Очень здорово. Не могу еще разобраться, хорошая статья или нет, но, во всяком случае, приятная. Для меня определено.

9/3.

Вчера дежурство. Страшно расстроилась. Пришла Слуцкая, она, бедная, снова без работы. Никак не устроится. Вот ведь беда. Исключили человека из комсомола за связь с троцкистами 10 лет тому назад, т. е. когда она была девчонкой и училась в МГУ. Я подробности не все знаю. Потом восстановили с выговором и очень серьезной формулировкой. На работу никуда не берут, отдел кадров не утверждает. Как же быть? Все это уже тянется второй год, человек совершенно извелся. Взглянуть на нее жалко.

Начала я бегать по Союзу к Тараканову. Нет ли какой вакансии? Нет или очень ответственные, куда она не подойдет, да ее и не возьмут. Зайцев предлагает ее устроить в библиотеке, но это всего 250 рублей. Звонила я в магазин Смирновой, тоже только на продавца на 250 руб. Звонила Мишке Матусовскому. Он обещал поговорить с Оваловым, может быть, в «Молодой гвардии» что-нибудь устроится. Звонила Шуре Чесноковой на радио. То же, на штатную работу не возьмут, но Шура обещает дать ей работу по заданиям, чтобы она хоть материально что-нибудь имела.

Страшно хочется помочь ей.

Вечером была в Большом театре на торжественном заседании. После довольно вялой официальной части давали «Сусанина». Очень понравилась музыка, иногда декорации, но много, конечно, лубка, аляповатости.

В соседней ложе сидел мальчик, который перед увертюрой к одному из актов, сказал:

– Сейчас будут играть предисловие.

Маленькая девочка обратилась ко мне, прося бинокль:

– Дай, девочка.

Колхозница с орденом Трудового Знамени, делегат съезда, волновалась, слышат ли всё по радио у них в селе, в Московской области.

На два последних акта я пересела в ложу бельэтажа над сценой, к райкомовской Нехаминой. Смотрела на сытого, гладкого, довольного Самосууда.

Сейчас я сижу пишу, а у Кости сидит Алеша Фатьянов. Он ввалился, поцеловался, пил с нами чай с конфетами, читал свои дрянные стихи, будто бы посвященные мне. Очень противный он.

Сейчас Костя ему играет музыку, а я воспользовалась случаем, заперлась и записала все.

11 марта.

Два дня, а кажется вечность, передумано, выстрадано. Смогу ли я записать это? Не знаю. Найдутся ли нужные слова? Все это началось с шуток с Алешей[1], с вопросов, женится ли он на мне. Потом Алеша ушел, мы остались вдвоем и начались сначала разговоры о том, чтобы я не выходила замуж за Алешу, что он меня умоляет. Почему? В чем дело? Ты что, со мной разводиться хочешь? – Нет, ни за что, я без тебя жить не могу. Я тебя очень, совсем по-настоящему люблю, но... но как женщину... я не знаю, иногда я с тобой беспредельно счастлив, а иногда мне кажется, что я тебя не люблю. Я хотел тебе сказать, чтобы тебя не обманывать, но многое между нами не должно измениться, все должно быть по-старому.

Я начинала возражать, что если он меня не любит, то это нелепо жить вместе, не надо, ни к чему.

– Нет, я без тебя не могу. Ведь ни я, ни ты никого другого сейчас не любим, зачем же нам расходиться?

Нет, я не могу все это описать. Это было дико, страшно и бессмысленно. Вокруг меня был какой-то хаос. Я чувствовала, что надо на что-то решаться, что-то делать и держать себя в руках, и не могла. Вдруг показалось, что нужно не плакать, как будто я понимаю логичность его выводов, выйти будто бы погулять и, никому не сказавшись, уехать хотя бы в Ленинград, так, чтобы он не знал, чтобы он мучился, терзался. И сразу другое: нет, нельзя, черт знает что может с ним случиться. Тысяча планов и каждый через мгновение кажется невозможным. А тут он говорит, целует, и тоже тысяча разных ощущений. Нет, он не может без меня, пусть все будет так, как будто бы он ничего не говорил. И сразу другое. Я не помню, не хочу помнить всей этой дичи. Что же он сказал такое, отчего мне вдруг стало так страшно, как будто бы мне грозила какая-то неминуемая и безвыходная опасность. Не помню. Только вдруг я увидела перед собой что-то необъяснимое, что-то страшное, безумное, такое, что нельзя видеть и переживать дважды, а я уже это видела, уже погружалась в это, в это необъяснимое, черное и убивающее всякую радость. И я поняла, что я не могу, не могу еще раз пережить такое, что лучше какое угодно унижение, мука, боль, чем это. О! И я не помню, что было со мной, что я говорила, делала, может быть, даже ничего, может быть, это было просто какое-то жуткое оцепенение, но когда я пришла в себя, Костя плакал, умолял меня простить его, что он все это наплел потому, что с ума сходит, потому что ему очень – плохо.

Как же все это похоже на начало нашей совместной жизни. Я знаю, отчего этот приступ острой неврастении. Знаю.

В общем, мы оба перемучились, измученные, вышли в город, взяли машину, поехали сначала к Левке^[474], но не застали его, потом к Даньке я, а Костя ждал меня у матери. Данечки не было, я вернулась за Костей, и мы поехали к Женьке. Там сидели до 2-х часов, играли в карты, баловались. Женька заметил, что я – заплаканная, но я ему ничего не сказала. Мне было очень горько и трудно. Какие они оба счастливые! Ждут маленького. Если бы у меня был сейчас ребенок, мне ничто не было бы страшно. И у меня будет ребенок, будет во что бы то ни стало^[475]. Тогда я скажу Косте: как хочешь. Теперь можешь и уходить, теперь я могу и одна остаться. – Но он не уйдет, не сможет. Я знаю, как вылечить этот его внезапный припадок. Знаю. Я женщина и знаю все. Но как мне горько и трудно, когда б кто знал!

10/3.

Оказывается, мы высидели ребенка. В 5 часов утра Женька отвез Софку в роддом.

Ходили на лекцию в Литуниверситет в порядке подготовки к теоретической конференции. Больше не пойду. Не могу я.

Мне Ленина прочесть и проштудировать и проконспектировать – это увлекательная работа. А лекция – это мучительно. Не усваиваю я из лекций ничего.

Потом собрались у Женьки по случаю Данькиного 25-летия и чтобы дожидаться рождения младенца. Мы с Коськой, Ярка, Данька, Женька. Ребята дулись в карты, Адель Марковна^[476] злилась. Опять очень поздно уехали домой. А Софка еще не родила. Бедняжка, как долго.

11/3.

Утром я купалась, ввалился Женька, сообщил, что родилась девочка. Я так и знала!

Вышли с ним. Солнце, снег тает. Зашли в РК, поговорили с Литовером о следующем собрании. Он будет делать доклад об итогах 3-х конференций.

Ко мне пришел мальчик Купершток из Минска почитать стихи. Способно, но очень литературно, иногда неграмотно. Не знаю, выйдет ли из него что-нибудь. Хочет печататься. Направила я его к Мишке Матусовскому – в «Молодую гвардию». – Учится он в киноинституте на сценарном факультете. Живет в общежитии, говорит, что нуждается в деньгах, хотел бы подработать. Говорит, что я, вот, многого добилась в

23 года. Если бы ты знал, милый, как я мучилась и голодала в 19 лет! А ему тоже еще только 19.

А вечером был Женькин вечер в Доме журналиста. Должны были читать он и Яхонтов, но этот в последнюю минуту отказался, и читала с места очень плохо Комбранская.

Вечер был очень странный. Какое-то произвел провинциальное впечатление. Провала не было, но и успеха не было, хотя многим стихам очень хлопали. Женька пытался разговаривать, и это получалось иногда очень глупо и беспомощно. Мы ему даже записки писали: читай стихи и не трепись.

12/3.

С утра поехали в Мосторг, выбрали две игры в подарок Тодику^[477], потом на метро доехали до Сокольников, а там через парк пешком на Маленковскую. В парке гуляние по случаю XVIII съезда, масса конькобежцев, лыжников. Морозец и солнце. Снег крепкий с хрустом, голубые тени деревьев, очень яркое ясное небо... Хорошо прошлись!

У наших, кроме нас, никого не ждали. Обе игры, как оказалось, у Тодика есть. Мы все играли в «летающие колпачки», потом, по обыкновению, очень вкусно и страшно сытно пообедали. Потом посидели, поболтали, послушали радио, потом распрощались. Думали поехать на поезде, но встретили Викторию Бронштейн на платформе – она тут, оказывается, живет, и пошли с ней снова пешком до круга.

Но разговор не клеился. Она все недоговаривала, а потом призналась, что вообще чувствует себя с нами не совсем хорошо, почему, и сама не знает. Может быть, потому, что ей кажется, что оба мы, особенно Костя, относимся несколько иронически к ее браку, и ей это неприятно.

Вечером я выступала на телевиденье, читала – Хота – танец басков. – Потом мы с Коськой были у Хренниковых. Там были Шебалин, Марков и художник Волков. Тихон и Шебалин всячески рекомендовали Маркову нашу оперу. Он попросил либретто. Авось выйдет что-нибудь.

Волков показывал замечательные фокусы, причем оказался замечательным парнем и тут же эти фокусы разоблачал.

Гипнотизировали друг друга, играли в «что было бы, если бы, хохотали. А ордена-то у нас с Марковым одинаковые.

Шебалин мне очень понравился.

13/3.

Меня вызвали в «Крокодил» и предложили сделать стихотворную подпись к одной из картинок в №, посвященном съезду и докладу Сталина.

Взяла и написала за несколько минут.

Картинка такая: идет колхозник, читает газету с докладом Сталина, а старуха смотрит через плечо. Рядом цитата о количестве молодых специалистов, выпущенных в 1938 году, и мысль такая: старики, глядя на указанную Сталиным цифру, соображают, что и их ребят учили. В общем, о связи интеллигенции с народом.

Я написала, но мне не нравится, и, если не напечатают, я обижаться не стану. Так я им и сказала, отдавая стихи. Как хотят.

У меня был Ярка, и мы с ним решили писать пока не пьесу, а повесть и очень много хорошего надумали. Например, название – Лебяжий переулочек. – По-моему, очень хорошо.

Потом я опять выступала на телевидении, но только не на Шаболовке, а в старой студии на Никольской, и это было не телевидение, а «елевиденье».

Потом мы пошли с Женькой и с Кирсановым, который последнее время очень мил, в кафе «Националь», сидели, пили кофе, и Кирсанов читал стихи, но пришел композитор Никита Богословский, хорошенькая пустельга, потом прилезли пьяные Алымов и режиссер Червяков, и стихи пришлось бросить читать. Просто болтали и трепались. Почему-то заговорили о крабах. Я вспомнила, что нынче видела живых крабов на витрине одного магазина у Грузин. Поехали за крабами. Кирсанов по дороге много читал очень хороших стихов из новой поэмы. Это очень интересно придумано. В каком-то провинциальном городке живет группа поэтов. И вот их жены, взаимоотношения, стихи... Поэтесса Варя Хохлова, Сметанников, Богдан Гринберг, Глеб Насущный. Один поэт слепой. Очень интересны его стихи о тишине, которой он, слепой, больше всего боится. Побывав в Москве, он пишет стихи о Москве, но воспринимает ее не через звуки – это было бы самое простое, а через очередь, стоящую у ленинского Мавзолея, в которой стоит и он, слепой. Он интересный, с большой выдумкой поэт, пишущий без всякой оглядки на что-либо, только то, что ему самому интересно...

Купили 8 огромных тихоокеанских крабов, свезли их в Клуб писателей, отдали варить.

В Клубе был вечер Рины Зеленой, я прослушала первое отделение и *<нрзб>* без антракта и побежала в Союз композиторов, где был концерт Равеля и где мы условились встретиться с Костей.

После концерта вернулись в Клуб и ели крабов с Гольцевыми, с Кирсановым и Раховичем и познакомились и сидели вместе со знаменитым полярником Остальцевым.

Женька просился в Арктику, наверное. Допросится.

Я сделала ужасную оплошность, хотела сказать «жена Сельвинского», а сказала «жена Кирсанова». Он, наверно, слышал и почти сразу, через несколько минут, распрощался и ушел. А завтра уезжает.

И посреди всей этой моей сутолоки и суеты вдруг, как иголка, как боль, заглушенная мышьяком, кокаином, вином, прорывается память о том, о вечере 9-го числа.

14/3.

Поехала в Союз на дежурство, но Болохов сказал, что меня срочно вызывают в ЦК ВЛКСМ с Михалковым. В 29 комнату. Взяла в Союзе машину, заехала за Михалковым, но его не оказалось дома. Поехала одна. 29 комната оказалась приемной секретаря ЦК Громова. Сажу, жду. Народу еще много. Следом за мной пришла Зинаида Троицкая. Разговариваем с ней, в разговоре выясняется, что речь идет о приветствии Съезду ЦКП(б). Пришел Сергей Львович Соболев, сел, взял газету, спросил, кто последний, выяснил, кто я. Мне очень хотелось познакомиться с ним, сказать, что вот я за него агитировала, но я не собралась с духом, хотя и он явно заинтересованно поглядывал на меня. Мне показалось, что ему секретарь предложил пройти, но он сказал: «До меня еще много народу». Потом я прошла в кабинет, но там был не Громов, а заведующий отделом кадров т. Гришин, и он мне сказал, что я выделена в делегацию советской молодежи и Ленинского комсомола, которая пойдет приветствовать XVIII съезд партии. Записали все про меня, сказали, что сообщат в партком, когда и куда явиться, и отпустили. Но в коридоре меня нагнал секретарь и вернул. Оказывается, нас с Троицкой оставляют для того, чтобы ознакомиться с текстом приветствия и принять участие в его редактировании. Я надеялась, что и Соболева оставят, но не тут-то было, он недолго поговорил с Гришиным и ушел.

Я утешала себя мыслью, что мы с ним встретимся в делегации и тогда познакомимся.

Сидели мы с Троицкой, сидели, ждали, читали журналы, пили чай с бутербродами, приветствия из «Комсомолки» все не везли. А у меня в 5 часов комитет, а у нее в 5 часов урок английского. Только в 5 часов приехал Аграновский из «Комсомолки», привез приветствие. Читали его в кабинете Лишаковой, она, Громов, Захаров и мы. Лишакова хорошая, большая, светлолицая, светловолосая.

Внесли в приветствие целый ряд замечаний. Там хорошо вставлена цитата из «Клеветников России» Пушкина, ее решили чуть сократить. Вечером надо приехать утвердить окончательный текст приветствия.

Опоздала я на комитет почти на час. Но все-таки успели разобрать заявление и рекомендовать в партию Сидоренко и Тарасенкова. Потом поехали все на собрание. Сидоренко утвердили. Потом слушали доклад Литвера об итогах конференции ВЛКСМ. Доклад и прения по нему очень затянулись, поэтому вопрос о Тарасенкове перенесли на следующее собрание. Было хорошо и оживленно.

Когда в 11 часов я позвонила в ЦК, мне сказали, что можно не приезжать.

15/3.

Мы с Яркой выработали пункты договора совместной работы. Он написал: «Считать повесть делом своей жизни».

Я чуточку боюсь. А стихи как? Нет, ничего, будет хорошо.

На сегодня было назначено обсуждение либретто в Управлении. Я пришла, Сурин и Солодуха уже пришли, но больше никто не пришел. Марков, которого я встретила на Рине Зеленой, лично мне обещал прочесть либретто и прийти на обсуждение, но ни он, ни другие приглашенные работники театра не пришли. Непонятно, к чему бы это.

Так что обсуждение не состоялось. Сурина и Солодухе либретто нравится, так что можно считать его утвержденным. С театром они обещают все устроить... Ну, ладно, будем надеяться.

Но было чуточку досадно.

Пошла в клуб на декадник. Там обсуждали поэму Колычева о Щорсе. Мне она не нравится. По-моему, так нельзя писать такую поэму. Было очень скучно. Только интересно говорила вдова Щорса, умная, интересная баба. Тогда она была председателем ЧК – девчонка!

А я, по-видимому, влюбилась в Соболева. Очень много и по-разному думаю о нем.

Странно, а ведь я понимаю и хорошо знаю, что-то, что было у нас с Костей, вот недавно, произошло лишь потому, что я несколько ослабила свое чувство. Тут меня никто не услышит, и я могу признаться, что весь прошлый месяц был какой-то трудный, в близости нашей как-то не было радости и яркости. Иногда мне было даже неприятно.

Никогда не было так, чтобы я очень, всей своей женской силой и волей полюбила человека и чтобы он мне не ответил тем же. Но, по-видимому, сила этой взаимной любви прямо пропорциональна силе моей любви, и стоит только мне засомневаться в своем чувстве, начать колебаться и все такое, как следует неожиданный удар с его стороны.

Любовь моя должна быть всегда упорна и велика. Я никогда не должна никого, ни самое себя обманывать. Только тогда будет счастье, такое, как у нас сейчас!

А Сергей Львович Соболев? Нет. Это я ми<оборвано>, у меня хватает сердца.

16/3.

Утром ездили с Яркой в Лебяжий переулок. Он у Каменного моста. У нового моста. Сам по себе переулок неважный, но ведь он может его придумать? Ходили по домам, нашли чудесные фамилии:

- Михаил Ильич Кодязков.
- Фельринер.
- Дворники Ибрагимов и Юсипов.

В переулке столовая домашних хозяек, очень чистая, светлая и дешевая. Сюда будет ходить обедать внучка Деревлева.

Чудные рекламы у моста. Бумажные цветы и закопченная вата между окнами. Я чувствую запах нашей повести.

Приехали домой и начали писать. Я написала, кажется, очень хорошее начало. Мальчикам очень нравится.

А в 6 часов уже была в ЦК. Нас собрали в зале заседаний ЦК. Народу много и всё подходит. Делегация большая. От писателей еще только Сережка Михалков. Лауреаты, стахановцы, студенты, орденосцы. Валя Серова – девушка с характером.

А Соболева нет.

Я села поближе к двери, оглядывалась на каждого входящего – не он. Нет как нет.

Это меня даже из колеи чуточку выбило. Не родились разговоры с другими, потому что я надеялась с ним поговорить, думала об этом разговоре.

Долго сидели, ждали. Серафим Знаменский рассказывал о последнем кроссе «Юманите» в Париже.

Наконец проверили списки и в девятом часу нас усадили в автобус и повезли к Боровицким воротам. По списку, по фамилиям пропустили, построили, и мы пошли через снежный двор к Большому Кремлевскому дворцу. Опять ждали в большой столовой-буфете. Накупили съездовских папирос и спичек, мандаринов.

Но вот нас построили по трое, выделили знаменосцев и построили в коридоре, у самого входа в зал. Прошли ивановская, потом тульская делегация, открывались двери в зал, мы видели витающий президиум в каком-то головокружительном странном свете. Но вот и мы идем. Я стояла в самом центре. Трибуна закрывала от меня весь президиум, и я видела только сидевших с краю Сталина и Ворошилова.

А в московской делегации справа от трибуны чудесная Полина Осипенко в голубом платье, Федорова, Пичулина...

Читает наше приветствие Щеголев, орденоносец, директор Трехгорки, комсомолец.

Мы стоим лицом к делегатам, но я все время оглядываюсь и вижу Сталина и смеющегося Ворошилова. Когда их приветствуют, вернее Сталина, первым встает Ворошилов и улыбается Сталину, нам, делегатам. Сталин поднимается тяжело, не очень охотно, медленно, не сгибая рук, аплодирует. Но вот в приветствии упомянуто имя первого маршала, и Сталин легко и живо подымается и хлопает вместе со всеми, потом делает какой-то еле заметный подымающий жест руками, глазами, головой, и раздается несколько тысячеголосое «Ура!».

Тут никто не услышит, но однажды Сталин мне улыбнулся. Все остальные в это время стояли ведь лицом к делегатам, только я оглядывалась.

Я, кажется, все запомнила неплохо, впитала в себя и прекрасные коридоры, и огромный зал Большого Кремлевского дворца, и праздничные лица делегатов, и озаренные работой и любовью к людям лица вождей.

17/3.

Забегала вечером к Женьке, он уже привез своих.

Девочка чудесная, толстенькая – Галя, а Софа худая, с трещинами на сосках.

А год тому назад я в этот вечер в последний раз видела живым своего сына. Не надо.

Купалась и придумывала новую повесть. И очень много хорошего придумала. О жене разоблаченного человека.

Я боюсь прозы, она может затянуть и увести от стихов.

18/3.

Год, как умер Дима. Мы с Костей ни словом не обмолвились по этому поводу. И не надо. И на кладбище я не поеду. Зачем это? Разве я не все время помню его, думаю о нем? Может быть, очень по-своему, например, сегодня я думала, что, если бы он был жив, ему бы сегодня был год и 7 месяцев и мы бы пошли к Женьке смотреть маленькую, и я

бы его учила говорить «Галя», и он бы принес цветочки, и какой был бы костюмчик, волосики, шубка, валенки.

Зачем же мне на кладбище?

20/3.

Вчера был безумный зрелищный день.

1) Утром, когда мы еще спали, пришла Вика и потащила меня в Детский театр, где она работает, на общественный просмотр пьесы Паустовского «Созвездие Гончих Псов». Мне совсем не понравилось. Рассказ был много лучше. Есть какая-то приятность, лиричность, хорошие декорации, вообще театр делает все, что можно, но пьесы-то нет, никакой нет пьесы, а из ничего ничего не сделаешь.

Чудесный пудель там участвует, бегают, лает. Это лучше всего.

2) Потом пошли на 2-ю серию «Петра 1-го». Я, Ярка, Данька, Вика. Она – вместо Кости, у которого было комсомольское собрание.

Картина мне, да и всем нам, совсем не понравилась. Никакое это не искусство. Начинается все с битвы со шведами. Бегут, стреляют, орет, до ушей раздирая огромный рот, Петр – Симонов, непонятно, кто где, и в результате надпись: «Шведы в панике бежали». И непонятно, в чем же заслуга русских, никакого искусства стратегии, ничего не видно. Картина без всякой композиции. Обаятельный в первой серии образ Петра, тут уже почти приедается и кажется навязчивым. Нет!

Хорош Алексей Черкасов, но, пожалуй, слишком натуралистичен.

3) Потом пошли в Клуб на вечер Николая Ушакова. Талантливый, но очень робкий, без дерзаний, на все пуговицы застегнутый поэт.

А может быть, это оттого, что нечего сказать, оттого, что нет какой-то физической полноты, глубоких чувств, ярких переживаний?

Прочел он стихов 20 и только 3-4 из них действительно ярки и интересны. Остальное очень не трогает, несмотря на тщательно продуманные слова, мускулистость, прозрачность, иногда удачные образы.

– Мысли мало, – как сформулировал довольно грубо Зелинский. – Описательная лирика.

Я договорилась с Данькой пойти вместе в университет, мол, мне нужно посмотреть расписание, как оно составляется. Он, кажется, понимает, шутит, подсмеивается. Адрес я уже знаю, нашла его на конверте письма, присланного с письмом какой-то старушки в Союз писателей. Замоскворечье. Я поеду, посмотрю. Я ничего не знаю еще.

31/3.

Не знаю, так ли я веду дневник. Вероятно, слишком подробно и, самое главное, неинтересно. Не стоит так.

У С.^[478] жена и трое детей. Ну и что ж такого? Ничего и вообще ничего.

Длинный и ужасно противный разговор с Костей и Яркой о том, что я не работаю, что я целые дни бегаю, что я не умею организовывать свой день. Все это так, но что же делать? Комсомольская работа занимает у меня массу времени, но я ничего не могу поделать. Комитет мне помогает мало, но все-таки.

Надо взяться за ум и наладить жизнь и работу. Правда, жду разрешения вопроса о санатории, но все-таки.

23-го – клубный день. Страшный бред читал Каменский из романа в стихах, который называется «Могущество». И главное, очень глупо. Очень, очень глупо. Стараюсь под Маяковского, но это ему, как и другим, как и никому, не удастся. Хорошие отрывки читал Вирта. Я прочла 2 стиха – «Хоту» и «Забытую тень».

Прокофьев. Чудовищные песни в исполнении мадам. А Катаев смотрит на него довольно и снисходительно: «Наш композитор. Удачное приобретение».

24-28/3.

Ленинград. Хорошее выступление в Клубе писателей и бредовое в Доме культуры Промкооперации. Ленка Рывина, Сева Азаров, Гитович. Станные люди – люди абсолютно другого города. И другие, очень застывшие стихи.

Никитины живут во втором дворе огромного дома на Моховой, лестницы пахнут котами. Далеко от внешнего мира. Ленинград такой трогательный и все-таки чопорный в эти предсмертные часы зимы. Как Хмелев – Каренин.

В разных городах можно, забывшись, представить, что ты в Москве, в каком-нибудь малознакомом районе. В Ленинграде нельзя, невозможно. Совсем другое.

Жаль, что не удалось записать в гостинице. Чудесно делать записи в дневник в гостинице чужого города.

Встретились в гостинице, в ресторане с трамбовцами^[479]. Алеша Консовский. Тихие, скромные юноши-середнячки.

Девушки, которым уже не осталось ничего, кроме внешней экзальтированности.

Консовский чудесно читал Пушкина.

И мы читали.

Разошлись в 6-м часу утра.

Замысел письма о советской поэзии. О том, что нам мешает. Косность газет, нормативность критики, выступления.

Поезд в Москву. Опять трамовцы. Страшные истории. Зинаида Матвеевна Щепникова. Глухой академик в нашем с Женькой купе. Чудесное весеннее утро. Подмосковье в солнечном снегу. Весенняя, звонкая, солнечная, освобожденная Москва.

Собрались у Сережки Михалкова. Решили пока не писать письмо, сначала провести все возникшие вопросы через президиум и литературную общественность.

Проверила последнюю корректуру книжки^[480]. Подписала кабальный договор на 3 р. за строчку. Скоро получу 60 %. Думаю, в самое ближайшее время покупать Косте рояль, а то он, бедняга, играет почти что на пружинном матрасе, а ведь, по сути дела, это все, что есть у него в жизни.

Книжка обещает быть приятной. Эскиз обложки очень славный.

Написала стихотворение «Март» – 10 строчек.

20 мая.

Вот ведь сколько времени не писала!

Значит, не надо было. Что я помню за это время?

Глупую, страшно тяжелую ссору с Костей вечером 1-го мая у Женьки, боль от которой еще до сих пор свежа.

3 часа пробродила под дождем с Женькой по его двору. Разные кошки перебегали дорогу, разные люди жили за поздно светящимися окнами. Я плакала, и жаловалась, и мучилась, и стыдилась этого, и не могла иначе. А он наверху играл в карты с Данькой и Яркой. Потом было обычное объяснение. Невозможно жить вместе... Другие формы семейной жизни... Он уйдет жить к матери... Это, кстати, одна из основных причин всего этого бреда. Опять у нее нет дома. Рабы, опять он мучается, а на мне все это вымещается.

Я сказала, что соглашалась с его доводами и что не хочу выставлять своих, т. к., если его доводы достаточно уже продуманы и прочувствованы, то как же я могу высказывать другие. Посмотрим.

Я не знаю, что и делать. Я понимаю весь этот бред, но чувствую, что я могу остаться без Кости. Может, это было бы самое верное и мужественное, но я не могу.

Скорей бы иметь ребенка! Это одно, кажется, может все наладить.

На другой день, как обычно после сцен такого рода, ходила как заживо погребенная, чувствую на себе какую-то пудовую тяжесть.

Так и уехала вечером в Киев на пленум. И вот не помню, где и когда созрело решение, вернувшись из Киева, иметь ребенка. Стало яснее на душе. Все обдумала и решила.

Дорога была, по обыкновению, веселой. В Конотопе встретили украинцы, Савва^[481], Леонид^[482]... На платформе был митинг. Совсем весна, солнце, птицы. А в Москве холодно и дождь.

Не могу определить того чувства, которое я ощутила, поняв, что ничего, кроме обычной дружеской нежности и симпатии, не осталось от моей прошлогодней любви.

Потом чудесный, совершенно чудесный Киев. Город – песенка, город – утро.

Ужасный «Тарас Бульба» в опере.

На другой день открылся пленум, но я о нем ничего не хочу ни помнить, ни писать. У меня осталось только одно: Тихонов, Тихонов, Тихонов.

Я сразу поняла, встретившись с ним, что это именно тот человек, который необходим мне сейчас. И не затем, чтобы советоваться с ним о моих невнятных личных делах, не затем, чтобы от него что-то получать, а просто затем, чтобы быть с ним рядом, дышать одним с ним воздухом, смотреть на одни и те же вещи, слушать, что он говорит, стараться уловить ход его мыслей и, может быть, уловить то неуловимое, ту черточку характера этого сильного, красивого, простого человека, которая делает его жизнь легкой и прямой, его близость и дружбу желанной.

И, как всегда бывает со мной, чаще всего застенчивой в отношениях с людьми и из-за этого кажущейся необщительной и угрюмой, тут, когда я почувствовала, что он мне необходим, я сумела, и во мне появилась та сила, которая не может не передаться другому лицу.

Я ведь верю в то, что, если я полюблю человека и любовь моя будет предельно сильна, а другой любви я не хочу знать, то тот человек, к которому будет обращено мое чувство, не сможет не ответить на него. Я ведь буду такой, такой хорошей, такой замечательной, такой нужной ему. Я ведь пойму, каких людей и какие качества в них он любит, и сумею стать такой, какой меня может полюбить тот, которого я полюбила. Иначе не бывает.

Тут была не любовь, а другое, не менее сильное и страстное чувство, и вышло по-моему.

Мы почти все время были вместе. Времени без него я не помню, оно просто выпало из моей памяти как ненужное.

Мы вместе не поехали в Канев, вместе ездили по Киеву. Мы не были только вдвоем, но это все равно, я других не помню.

Мы вместе были в театре, и уже только вдвоем, после вечера у Первомайского ходили смотреть рассвет на Днепре.

Он впервые в городе, я во второй раз, и я вела, и мы неожиданно заблудились и вышли не к Владимирской горке, как хотели, а к

Андреевской церкви. И это было очень здорово, она стоит на горе над Подолом и Днепром, но ограда оказалась запертой, и мы перелезли через нее. Я перелезла благополучно, а он порвал брюки, но мы долго стояли. Птицы начали петь, листья разворачивались, от реки летел ветерок, и было уже светло, как днем... Вернулись мы в гостиницу в 7-м часу.

Я задремала и спала часа 3 и в дреме все время помнила, что нужно организовать Тихонову починку брюк, а то у него других нет, а он такой застенчивый, ничего сам не сделает.

Наши вернулись из Канева.

Я встала, вышла, прошла мимо тихоновского № (он жил напротив меня), вижу ключ в дверях, значит, он сидит, бедняжка. Послала к нему девушку – коридорную, сама пошла завтракать, но все беспокоилась, как там он. Послала Гольцева налаживать. Он пошел, все наладил. Оказалось, несчастный Тихонов действительно сидел в полном расстройстве, не зная, что делать.

Через час спускаюсь с лестницы, вижу, несут отутюженные тихоновские брюки. Ну, отлично! Все в порядке.

Мы собрались в поездку по Украине. Мне очень хотелось, я люблю.

Сумасшедшие Костины телеграммы. Дела с театром. Все стоит из-за меня.

Я знала, что для дела мой приезд совершенно ничего не дает, но решила ехать в Москву, чтобы он не мог меня ни в чем упрекать.

И вот я была ужасно расстроена тем, что приходится отказаться от поездки, и ходила грустная, и вдруг Тихонов решил, что и он поедет, что его дела требуют в Москву и в Ленинград, и мне сразу стало легче, и мы с ним и с Бажаном провели последний вечер и на другой день вместе самолетом выехали в Москву.

С Костей все хорошо. Я решила быть спокойной и уступчивой и не доводить до ссор. Несколько раз назревало, но рассасывалось. Я ему пыталась объяснить свое внутреннее состояние, но он, конечно, ничего не понял.

С театром ничего не вышло пока. Марков против Гринберга, говорит, что будет пытаться, но я уже не верю.

Выяснилось, что мне срочно нужно уехать в Барвиху, и я этому рада.

С Тихоновым я ни разу в Москве не встретила и не могу объяснить почему, но мне этого и не очень хотелось. Я все, что было у нас, очень берегла, берегу и боялась чего-то нового.

А вот с Луговским мы 5-го весь вечер, часа 4, пробродили по Динамо, Башиловской, Масловке. Очень хорошо поговорили о жизни. Он считает, что мне сейчас не надо иметь ребенка, а надо пожить поинтереснее, погуще, посамостоятельней.

Не знаю, смогу ли я. В моей душе так сильна и не утихающая боль потери ребенка, что, пожалуй, только рождение другого ребенка не уничтожит ее, но противопоставит ей столь же сильную радость.

Что победит во мне, женщина-мать или поэт (мужского рода), бродяга – не знаю еще. Но дороже всего мне то, что Володя только и говорит о том, как много и хорошо говорит обо мне Тихонов, как он хвалит меня как товарища (брюки!) и считает меня самым талантливым молодым поэтом (не поэтессой).

Это мне сейчас всего дороже, всего важнее.

Он уезжал 16-го вечером. Я хотела поехать на вокзал, но у меня было комсомольское собрание. Мы простились по телефону, он говорил, что я его обманула, пообещав приехать в Ленинград, и, уезжая в санаторий, обещал написать мне о том, где он будет находиться летом. Еще какие-то неважные добрые слова, и все.

У меня тепло и ясно в душе, когда я о нем думаю. Хочу только, чтобы и он обо мне хоть немножко так думал.

И вот теперь я в Барвихе. Тут чудесно и комфортабельно, и я совсем отдыхаю. Может быть, мне будет немножко скучно, но это ничего.

Хорошо бы, если бы удалось поработать.

Тут Черкасов с женой, Марина Раскова, режиссер Васильев. Он со мной первый познакомился и познакомил меня с человеком, который оказался Арнштамом, другом Тихонова. Они вместе ставили «Друзья». Из-за него, из-за его отъезда в санаторий Тихонов тогда понесся в Москву. Вот ведь совпадение! У меня, правда, было такое предчувствие. Он уже все знает про брюки, про все. Тихонов порассказал. Но он мне еще совсем не нравится.

Переоценить значение книги, которую вы только что прочли, невозможно – без нее представление о нашей истории 20-х и 30-х годов неполно. Хотя тема ее, как вы видели, на первый взгляд существенно уже, что ясно обозначено уже подзаголовком: «Из литературного быта конца 20–30-х годов». То есть, как мы видели, речь в ней идет не об этом периоде вообще, не о весьма поучительных перипетиях духовного развития живших тогда поколений в целом, даже не о судьбах литературы в этот период, а только о «литературном быте». О том, как и чем жили тогда молодые литераторы и как с годами менялась их жизнь и они сами. «Только»!

Впрочем, это «только» и само по себе достаточно интересно. Ибо такая была эпоха, что это «только» приходится заключать в кавычки. Потому что наиболее рельефно самые важные ее черты: противоестественность ее требований к людям, подавление какой бы то ни было самостоятельности, подмена духа, мысли и здравого смысла сказывались на судьбах людей этой профессии. Или, скажем точнее, этого призвания. Ибо речь идет о людях чаще всего талантливых,

впоследствии или уже тогда известных, так или иначе оставивших заметный след в русской литературе. Особенно туго пришлось им в тридцатые годы. Но начинается книга с двадцатых.

Я уже давно их не идеализирую. Всяческих репрессий и жестокостей и тогда хватало. Производились превентивные аресты по классовому и партийному признаку, устраивались облавы на Церковь и даже – уже тогда! – фиктивные процессы. Такие, как суд над членами ЦК партии эсеров и гнуснейшее «таганцевское дело» – «дело» о никогда не существовавшем, но тем не менее «блестяще раскрытом» заговоре, за участие в котором был расстрелян и Гумилев. Но специально подавлением или подчинением себе художественной литературы власти тогда не занимались – Гумилев был приобщен к этому мифическому «заговору» и расстрелян не как писатель, а просто как дворянин и офицер^[483]. Литература пока еще только контролировалась, строго цензурировалась (на предмет недопущения политических выпадов), а не направлялась, как это было потом.

Я отнюдь не апологет и литературы двадцатых годов. При всех ее достоинствах я считаю ее в духовном и культурном смысле капитулянтской – она принимала и оправдывала то, что принимать и оправдывать было нельзя. Но капитулянтство – это был личный и в каком-то смысле – пусть в очень малой степени – свободный выбор, признание правоты оппонента. В нашем случае – признание и воплощение в творчестве правоты «нового» отношения к жизни. Но это определенное отношение к жизни, а не заданное ее изображение, как в последующие десятилетия. Капитулянтская литература двадцатых годов была все же *литературой*, чего не скажешь о последующем творчестве (хотя исключения бывали и тогда).

Апофеоз капитулянтства – роман Фадеева «Разгром» – задуман и написан автором, решавшим – правильно или нет – проблемы своих взаимоотношений с жизнью, в отличие от его же «Молодой гвардии», где он выступает только в роли исполнителя, никаких своих внутренних духовных проблем и не предполагающего решать. Замысел, если так его можно назвать, принадлежит не столько ему, сколько государству, начальству, «инстанциям» – называйте как хотите. И совсем необязательно имело место прямое поручение, заказ. Автору самому следовало догадаться, что от него требуется. Заказ в чем-то выше. По заказу ведь когда-то создавались и шедевры. Заказывалась тема, сюжет. Авторы иногда умели открывать свое и в заказной теме (как известно, гениальный «Реквием» написан Моцартом именно по заказу).

Заказ все-таки оставлял минимум творческой свободы. Двадцатые годы, когда от писателя требовалось определенное отношение к действительности, – тоже. В тридцатые годы и потом уже декретировалось определенное ее *изображение* (лакировка) – роль художника свелась к исполнительству. Надо так: Писатель (как,

впрочем, и другие граждане) должен был полностью находиться в «состоянии активной несвободы» (выражение эмигрантского публициста Р. Н. Редлиха). То есть должен был инициативно проявлять качества, которые от него требовались.

В этих условиях, как ни странно, отпадала нужда в политической цензуре. Да, такая цензура в СССР существовала только в относительно либеральные времена. С полным воцарением Сталина и вплоть до Хрущева ее не было. Конечно, официально цензура (пресловутый «Главлит») существовала всегда. Но следила она только за «охраной военной и государственной тайны в печати» (а потом и в прочих средствах массовой информации), в прямом соответствии с тем, что значилось на вывеске. Функции политической и идеологической цензуры были возвращены, точнее навязаны, Главлиту Хрущевым, когда появилась возможность появления в печати хоть какого-то свободомыслия. До этого боявшиеся собственной тени (ведь рисковали головой) редактора выполняли цензорские функции так, как ни один цензор не смог бы.

Но те, с кем мы знакомимся в первой половине этой книги, такого будущего – а именно оно их ждет – еще и представить себе не могут. Ведь то, что у нас позади, – коллективизация, всяческие «голодоморы», внеэкономическая индустриализация и многое другое, – на них еще только надвигается. В том числе и «высокая» роль литературы, которая ей будет навязана в связи с последствиями всего этого. И как-то больно за них, хотя все это давно позади.

Мне хотелось бы сказать несколько слов о литературном поколении двадцатых годов. На их психологию и судьбу наложили свой отпечаток различные факторы и веяния. В своем большинстве выходцы из интеллигентных семей, все они с отрочества или юности должны были выживать в условиях все более и более разворачивающейся русской смуты, когда все, в чем были воспитаны (хотя воспитаны они были в духе народолюбия, гуманности и европеизма), в повседневной жизни перестало что-либо значить и от чего-либо защищать. Желание обрести в этом устрашающем хаосе почву под ногами толкало многих из них к «приятию революции». То есть к оправданию того страшного, что они видели и ощущали и от чего все равно некуда было деться.

Тем более что среди большевиков были и культурные идейные люди, которые, казалось, одни возвышались над этим хаосом и понимали смысл происходящего, следовательно, что бы ни говорили их отставшие от современности интеллигентные родители, смысл этот *мог* быть. С ними необязательно было полностью «сливаться в экстазе», но их существование помогало мириться с действительностью. Особенно это стало действовать, когда началась нэповская нормализация жизни. Когда «булки стали выпекать» (М. Зощенко) и функции террора полностью прибрало к рукам государство (до этого осуществление этой благородной функции брали иногда на себя по собственному

произволению и отдельные «классово воспаленные» товарищи). А теперь вроде бы установился вожделенный порядок, появилась власть, внешне походившая на нормальную. Так что были основания прощать этой власти отдельные эксцессы. Тем более что ни от кого не требовалось становиться членом партии, достаточно было – во всяком случае, для писателя – быть «попутчиком», верить, что все утрясется и что, в конце концов, эта власть во благо. Хочу напомнить, что романтический образ Гражданской войны создали не сами большевики, а те же «попутчики». Они же элегически противопоставляли этой «высокой» романтике прозаическую атмосферу нэпа – настолько революционизировались, немного отъевшись.

Таким было это время. Впрочем, и тогда люди были разными.

Конечно, не все молодые писатели ударились в эту романтику. И вообще, я не собираюсь иронизировать над тогдашними поисками выходов из сегодняшнего, тоже не очень счастливого, но многоопытного далека. Собственно, потому и больно читать эту книгу, что эта книга – рассказ о том, как они двигались из своих наивных, по нашим меркам, двадцатых годов к этой нашей многоопытности.

Они молоды и талантливы. Напор пережитого, уникальный жизненный опыт требуют выхода, воплощения. Да и в значительной степени находят его. Ведь пока, как уже сказано, изображать жизнь такой, как она есть, не возбраняется. Препоны стоят только перед выражением авторского суда над жизнью. Но ведь они, по эстетическим представлениям, выученики Серебряного века, верят в автономность искусства и политикой не занимаются. Они – рассказывают («появились рассказчики» – отмечает в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам). И успех их не обходит. И у них есть основания верить в свое призвание, в свое будущее.

Они собираются в кружки, в издательства, объединения, группы (история «Узла» – яркий пример этого), у них разные творческие установки и методы, они сходятся и расходятся, идет почти нормальная, хотя и очень интенсивная, литературная жизнь, в которую власть пока почти не вмешивается. И кажется, что так будет всегда.

Им, и в первую очередь горячим сторонникам пролетарской диктатуры, кажется, что они имеют дело с пусть несколько хватившими через край, но идейными людьми, которых можно понять, которым можно все объяснить, а если искренне признать их историческую правоту, большего и требовать не будут. Капитулировали они (термин условный), полагая, что капитулируют перед такими людьми.

Это было ошибкой. Надвигался Сталин, а его ничье признание не умиляло и не смягчало – не правота его волновала. Такие «идейные» люди во власти существовали, но постигший их вскорости бесславный и страшный конец общеизвестен. Идеализировать их не стоит, они сами к тому времени были нераскаявшимися преступниками, но разница между ними и теми, кем они были заменены, – во всяком случае, для

литераторов, о которых мы сейчас говорим, – существенна. Даже разительна. Все же прежние дорожили тем, во имя чего допускали преступления (что никак не смягчает их вины, но сейчас речь не об этом), и бывали довольны, когда кто-то искренне принимал их веру или хотя бы с ней соглашался. С ними можно было разговаривать. Однако, как известно, их дни тогда уже были сочтены.

Между тем те, кого Сталин двигал им на смену, свою «правоту» получили в утвержденном виде и нуждались не в беседах на общие темы, а только в указаниях и руководительстве. Литературе их приход ничего хорошего не нес и не принес...

Но в то время, с которого начинается эта книга, наступления этого отнюдь не светлого будущего, повторяю, никто из героев этой книги (да только ли из них) еще не предвидел. А оно наступало.

Эта книга важна еще и тем, что она раскрывает происходившее тогда не в общем виде, хотя и это само по себе важно, а на человеческом уровне, ведь все, что тогда происходило, происходило с живыми людьми, для которых и самые судьбоносные, самые трагические годы – еще и просто неотменимая часть их единственной жизни. Писатели тут – не исключение.

Представьте себе состояние молодого человека, который в эти годы утверждал себя в литературе. В начале двадцатых ему пришлось духовно приспособляться к «идейному» большевизму – в этом направлении двигалась вся жизнь, а с конца тех же двадцатых ему предстояло жить в атмосфере его уничтожения и подмены, и приспособляться к ней – заставляя себя этих «странностей» не замечать и не понимать, забывая то, что помнишь и знаешь. Интересна в этом смысле судьба настоящего поэта Владимира Луговского, который так до конца и не справился ни с тем, ни с другим, несколько не бунтовал, пил водку, но при первой возможности возникал с чем-то новым, но выношенным и существенным. Он до конца оставался действующим поэтом. Такое не всем удавалось. Но ничего этого ни он, ни все вокруг не представляют. На дворе еще только начало второй половины двадцатых годов.

Однако о литературной жизни двадцатых годов много уже написано и еще будет написано. Это очень важная литературоведческая и культурологическая тема. Но мне не хочется говорить об этом. Как уже сказано, я не апологет ни этого времени, ни Серебряного века, из которого они выросли. Кроме того, книга дает достаточно материала для осмысления и изучения, даже ощущения этого времени: в творческих спорах, дружбах, разногласиях и личной жизни, браках и разводах участников тогдашнего литературного процесса («действующих лиц») – добавить к этому мне нечего.

Только хочу оговориться, что сложности личных отношений (не слишком сакральное отношение к святости брака и т. п.) прямо к теме книги не относятся. Это может быть очень ценно при изучении жизни и

творчества конкретных писателей, но в целом такая «вольность» не является отличительной чертой советских двадцатых годов или тогдашней литературной среды. Это явление отнюдь не столь локальное.

Взволновало меня другое, то, что лучше всего определяется известной пословицей «Коготок увяз – всей птичке пропасть», – процесс перехода капитулянтства в состояние прямой служебной подчиненности творчества руководству (пардон, «руководящей роли партии» – так это потом называлось). В сущности, как привыкали писатели (а разве только писатели?) к состоянию умственной и духовной прострации, которая навязывалась всей жизни страны.

Ведь литературой руководить, а тем более направлять ее, невозможно. Пока она средство общения, помогающее человеку открыть себя и мир, а не средство тотального заглушения, подмены восприятия прострацией. Правда, ведь именно в этой прострации сначала подсознательно, а потом и осознанно нуждалась сталинщина, а не в литературе.

А кроме того, сказывалась и иррациональная страсть к руководству (к самоутверждению, к компенсации) – подспудный двигатель любого революционного развития, что сегодня приобрело глобальный размах. Все это действовало, но литературы пока не трогали. Известен случай, когда на каком-то совещании в начале двадцатых наиболее грамотные представители этой преступной власти^[484] руками и ногами отбивались от наседания наиболее ретивых «пролетарских писателей» типа Родова, уже и тогда требовавших такого руководства (осуществляемого, естественно, через них).

Роль этих писателей в двадцатые годы ввиду полной их бездарности была незаметной. Но и в тридцатые, когда их мечта воплотилась в жизнь, им все равно «не дали порулить» – «партия» стала руководить литературой, но не через них. Хорошо, если их еще не загнали в ГУЛАГ (чтоб не претендовали и не путались под ногами)^[485]. Сталину во всех делах нужен был декорум, нужны были не сами Родовы, а Фадеевы и Павленки, опущенные до уровня Родовых.

И ему это удалось. Победили в результате сталинской «культурной революции» не сами Родовы, а только их уровень, с которым вынуждены были считаться (в крайнем случае, хитроумно увертываться) все остальные. И увертывались – ведь кое-что стоящее создавалось и в эти годы. Но создавалось с оглядкой, при сохранении дипломатической почтительности к этому патологическому уровню представлений, с некой демонстрацией соответствия своих произведений этим установкам.

Это был воздух эпохи, дышать которым надо было привыкнуть, приучить себя, что было непросто. И не всем это давалось легко. Ведь приспособиться надо было не к идеологии, не к какому-то определенному образу мыслей и даже не к признанию заслуг «великого

Сталина», а именно к троглодитскому уровню, и сохранить при этом что-то свое. Некоторым удавалось. Но «приучала» становящаяся сталинщина писателей к своему «руководству» (по предварительному плану или по наитию, не так уж важно) постепенно, огорошивая их своим, каждый раз внезапным, бессмысленным, но властным вмешательством. Впрочем, некоторые что-то чувствовали.

Вспомните, в каком отчаянии был Маяковский, узнав о постановлении о роспуске всех литературных групп, поскольку партия будет осуществлять руководство литературой через РАПП, куда члены этих групп отныне и должны входить. Политического смысла в этом постановлении я и теперь не вижу – все эти группы и так «стояли на платформе советской власти». За его появлением скрывалась только патологическая потребность в унификации всего и вся, в «руководстве для руководства». Людям, в том числе и писателям, на практике внушалось, что смысла искать и задавать вопросы по этому поводу не следует, а верными надо быть не «делу» (в верности которому, впрочем, следовало и дальше клясться на каждом шагу), а руководству как таковому и всему, что ему придет в голову сказать в данный момент (и смысл чего надо самому найти, то есть придумать).

В такую жизнь надо было втянуться. И втянулись. Но не все. Маяковский, как известно, не смог, застрелился. Личная история была только каплей, переполнившей чашу. Большинство как-то втянулось. Облегчало им это втягивание то, что так или иначе внутренне они давно капитулировали перед партийной идеологией, и примириться еще с чем-нибудь, чтобы сохранить необходимый для работы покой, им уже было не так трудно, да и не очень важно (ведь в целом они не были против власти).

Но покоя не давали. Причем проявлялось это иногда в самых причудливых формах. Через несколько лет после возвышения РАППа, в 1929 году, последовал весьма сокрушительный его разгром – в 1932-м.

Это замечание может показаться странным. У каждого, кто хоть немного представляет историю советской литературы, в том числе и у меня, аббревиатура РАПП положительных эмоций не вызывает. Авербах, Киршон и другие «неистовые ревнители» (как их назвал какой-то позднейший автор), вульгарный социологизм, травля лучших писателей – вот с чем ассоциируются в нашем сознании эти четыре буквы^[486]... Так в чем же дело? Жалеть ведь было некого и нечего.

Однако материалы книги свидетельствуют, что впечатление этот разгром произвел большое. Чем? Да просто своей непонятностью. Непонятно было, чем эти могли вызвать гнев власти. Но глубина непонятностей, которых, как и прежде, следовало не замечать, нарастала.

Через немного лет, уже в разгар «ежовщины», – обстановка тогда менялась стремительно, – писателей поразила еще одна важная для них непонятность, опять связанная с РАППом. Почти все видные

рапповцы были арестованы и по тогдашней моде объявлены врагами народа. Поразило их это опять-таки не потому, что «враги» вызывали их сочувствие – арестовывали многих, а сочувствовать этим больше, чем другим, у них не было никаких оснований, – а потому, что в данном случае они точно знали, о ком идет речь, и естественной была мысль, что если сажают даже *таких*, то что вообще происходит со страной и кто может чувствовать себя в безопасности? И куда девать эти мысли?

Однако все это было уже во времена «большого террора». А в преддверии его, когда РАПП еще только громили за ошибки и разгоняли, многие писатели, при всем своем удивлении и растерянности, обрадовались, когда вместо этого опостылевшего РАППа решено было создать единый Союз советских писателей. Тем более что попутно отменили, перестали навязывать «вульгарный социологизм» в критике и литературоведении. В общем, на фоне изуверской коллективизации, бесчеловечного раскулачивания, больших и малых «голодоморов», наконец (сиречь, с воцарением сталинщины) запахло возвращением смысла и творческой свободы. Этому отдали дань многие. Даже Пастернак и Чуковский пришли в восторг (хотя Пастернака бесчинства коллективизации и тогда и потом беспокоили и удручали). Но уж слишком обрыдло всем вульгарное господство социологизма в культуре.

Не сразу они заметили подвох – что все это сделано для усиления тотального давления на них, что Союз писателей изначально задуман как нечто вроде государственного учреждения, прямо подотчетного высшим «инстанциям» («Министерство союза писателей», как потом определил это Булат Окуджава), прямо облегчающее наблюдение за пишущей братией. А главное, он позволял осуществлять и косвенное, но еще более тотальное давление на них и их творчество – давление «заботой».

В стране, где все население жило в полунищете, испытывало бытовые трудности и неудобства, специально для писателей начали строить многоквартирные дома, где они получали отдельные квартиры, дачные поселки, Дома творчества и т. п. Они стали привилегированным сословием, оторванным от других людей. И от своих друзей. Теперь и официально их роль свелась к исполнению, к обязанности быть исполнителями начальственных замыслов – «инженерами человеческих душ», а исполнителям дружить незачем. Достаточно быть в добрых отношениях с соседями по дому и по даче. Даже если это старые друзья, объединяют тебя с ними не проблемы творчества, а хозяйственные хлопоты по даче и по дому. Да еще возможность поговорить откровенно об интригах в Правлении союза.

Конечно, давление не могло бы быть столь эффективным, если бы за каждым из них не стоял испепеляющий опыт переживаний уже поминавшегося здесь «тридцать седьмого года» – это утвердившееся в обществе общее обозначение всего периода вакханалий 1935–1939

годов. Когда ужасающие «непонятности» подавили все общество. Когда не для карьеры даже, а просто для того, чтобы выжить, надо было ежедневно приспосабливаться к невыражаемой и все время меняющейся воле, которую необходимо угадать, проявить соответствие ей, а в случае ошибки в угадывании лишиться всего: чина в «министерстве», если его заслужил, и всех привилегий, к которым ты, однако, уже привык.

Впрочем, иногда и угадывание не помогало – действовали разнарядки, могли тебя добавить к списку для количества. Как было в этой обстановке создавать подлинные произведения? Не говоря о том, как их было публиковать – людям, с начала двадцатых уверенным, что рождены именно и только для этого?

Захлестнуло волной репрессий сравнительно немногих из них. Правда, имена есть впечатляющие: Борис Пильняк, Николай Клюев, Исаак Бабель, Осип Мандельштам. Хочется еще упомянуть и теперь почти не упоминаемого Ивана Катаева, выразившего в своей прозе тоску верующего коммуниста по поводу того, что ничего у них не выходит (но пострадавшего не за это), а также более молодых: Павла Васильева, Бориса Корнилова. И выживших: Ярослава Смелякова и Ольгу Берггольц. Список непосредственно пострадавших можно и продолжить. Но полностью уцелеть в этой атмосфере не удалось никому.

Писателю для того, чтобы уцелеть и творить по-настоящему, нужна возможность полнокровной и неусеченной реакции на жизнь и ее проблему, а не на муляж жизни. У этих писателей, заявивших о себе раньше, такой возможности не было – из непечатности и подполья их бы вытащили за шиворот.

Я благодарен этой книге за то, что она освободила меня от ригористического осуждения тех, кого я справедливо считал скомпрометированными. Слава тем из них, кто продолжал свою работу в полном объеме до самого конца: Анне Ахматовой, Борису Пастернаку, Николаю Заболоцкому, Михаилу Булгакову, Леониду Мартынову и, хоть некоторым покажется странным, Владимиру Луговскому и немногим другим. Но я помягчел и к Фадееву, хотя за ним числятся серьезные преступления. Нельзя было писать «Молодую гвардию» по материалам МГБ. И представлять ни в чем не виноватую Люду Вырикову предательницей. Ее потом в Карлаге вертухаи выволакивали после демонстрации фильма к экрану и объявляли: «Вот, это она их всех предала!» Она в юном возрасте стала седой.

И все-таки Фадеева мне тоже жаль. Он слишком последовательно расстрелял в себе Мечика (был такой «благородный» порыв у части молодежи – убивать в себе «мелкобуржуазность», растворяться в партийной воле и «рабочем классе»). И таким, расстрелявшим себя, и достался Фадеев Сталину. Мне очень больно за него.

Больно мне и за Николая Тихонова, которого во время дружеского застолья, когда тот пытался восстановить былую дружбу, совершенно справедливо третировал Пастернак.

За чиновным Тихоновым было много грехов, предательств и измен (достаточно вспомнить его историческую фразу: «Мандельштам никогда не будет жить в Ленинграде»), но именно то, что он очень не хотел терять дружбу совсем не чиновного Пастернака, говорит о том, что все же он не полностью омертвел, что в глубине души он всегда горько сознавал, кто есть кто, а значит – и что есть что. И это его грызло. Не позавидуешь! Мир его праху.

Но – обращаюсь к молодым – вдумайтесь в само выражение «чиновный писатель». Конечно, это не официальное, а бытовое определение, но определяет оно вполне реальное, хоть и противоестественное явление. Имеется в виду не писатель, получивший высокую должность в государстве и с ней чин (как Гёте, например), а писатель, являющийся сановником «по писательской линии», начальником над другими писателями. Такого патологического явления никогда, то есть до изобретения «Министерства союза писателей», не было и, надеюсь, не будет. Это лицо сталинщины, бред сталинской эпохи.

Но бред становился бытом. Мне жаль и представительницу другого поколения – Маргариту Алигер, жаль ее за то счастье, которое она испытала, узнав, что постановлением родного советского правительства она вместе с большинством известных писателей (за исключением почему-то Иосифа Уткина и... Бориса Пастернака!) удостоена правительственной награды, ордена «Знак Почета». Тогда ордена еще были редкостью, любой весил много, но радость ее была не радостью карьерного успеха или удачи, а радостью посвящения и приобщения к чему-то высокому и главному.

Такое было время – кто-то кормил своим телом комаров на лесоповале, а кто-то (тогда еще и я), поддавшись искусственно созданной атмосфере, сиял от счастья жить «под солнцем сталинской конституции». Радость Маргариты Алигер была искренней, Маргарита Осиповна – я ее знал – была хорошим, умным и порядочным человеком, что она потом не раз проявила. Но она вышла в жизнь в тридцатые годы, когда по сравнению с только что прекратившимся «голодомором», устроенным по воле Сталина, действительно «жить стало лучше, жить стало веселее», как вопили все репродукторы, плакаты и газеты. Это было заслугой Сталина и знаменовало собой победу социализма.

И впереди нас тоже ждали светлые и достойные радости: героическая, хоть и не слишком обременительная, победа над силами мрака и безоблачное счастье трудовых людей. Мне жаль тех усилий, которые ей (и далеко не только ей) надо было потратить, чтобы увидеть реальность и оставаться человеком. Она смогла, многие не

смогли. Разрушение душ – процесс не всегда обратимый... Души – дело серьезное.

Именно разрушение душ использовали в тактических целях – «только как средство» (дескать, потом все с лихвой восстановится) – «честные коммунисты», именно это стало потом стратегической целью – все равно, осознанной или нет – Сталина. Именно этому по своей природе должна противостоять литература. Историю того, как она, ослабленная многими не только политическими или идеологическими, но и теоретическими и духовными заблуждениями времени, от которых тоже не была защищена, инстинктивно пыталась себя отстоять в фантастически страшных условиях России двадцатого века, историю тех, на кого легла эта тяжесть, историю их поражений, капитуляций, увертываний от них, того, что им все же иногда удавалось пронести, воплотила в себе эта ценнейшая книга.

Это книга, в которой я лично всегда нуждался, но на появление которой не надеялся, считал, что все это погребено навсегда под тяжестью нашей трагедии. И я благодарен ее автору за то, что она нашла и собрала все то, что мы сейчас прочли. За то, что она отняла эту часть нашего прошлого у небытия.

Мне это стало ясно уже из авторского предисловия к книге – кстати, очень яркого, талантливое, умного и глубокого. Кроме того, оно, как и многое в книге, поражает каким-то точным ощущением той очень непростой, запутанной и специально запутывавшейся обстановки, той жизни, в которой и жившим тогда трудно было разобраться и в которой автор, родившийся много позже, никогда не жил. Если вы от нетерпения пропустили предисловие, восполните пробел. Не пожалеете.

Судить этих «действующих лиц» (кроме отпетых подлецов, а таких в книге немного) за их поступки, проступки и слабости не стоит. И не только исходя из того, что «не судите, не судимы будете». Хотя и это верно: попробуй повертеться, найти и проложить свой путь в их положении. Лучше не судить, а в этом разобраться. Потому что речь идет о нашей общей беде. Другое дело, что надо сделать все, чтобы твоя страна в такое положение не попала.

И еще – надо не презирать «обыденщину» или «мещанскую» мораль, а относиться к ним бережно, как к основам общежития, находить иное удовлетворение своей нужды в духовности, чем их разрушение. И главное – не теснить, а тем более не убивать в себе Мечика, то есть достигнутого уровня культуры. Другими словами, как это ни тривиально, оставаться всегда в этом смысле самим собой. Это нужно всем, а писателю – и говорить нечего. А то ведь «Коготок увяз – всей птичке пропасть». Это тоже можно понять из этой удивительной книги. Спасибо ее автору.

Вклейка



Москва, гостиница "Метрополь", 1920-е гг.



Девушки середины 1920-х гг. Из семейного альбома.



Площадь перед Большим театром, 1920-е гг.



Стирка белья на набережной в центре Москвы, 1920-е гг.



Борисоглебский переулок, 1920-е гг.



Собачья площадка, 1920-е гг.



Вверху: Кудринская площадь, конец 1920-х гг.



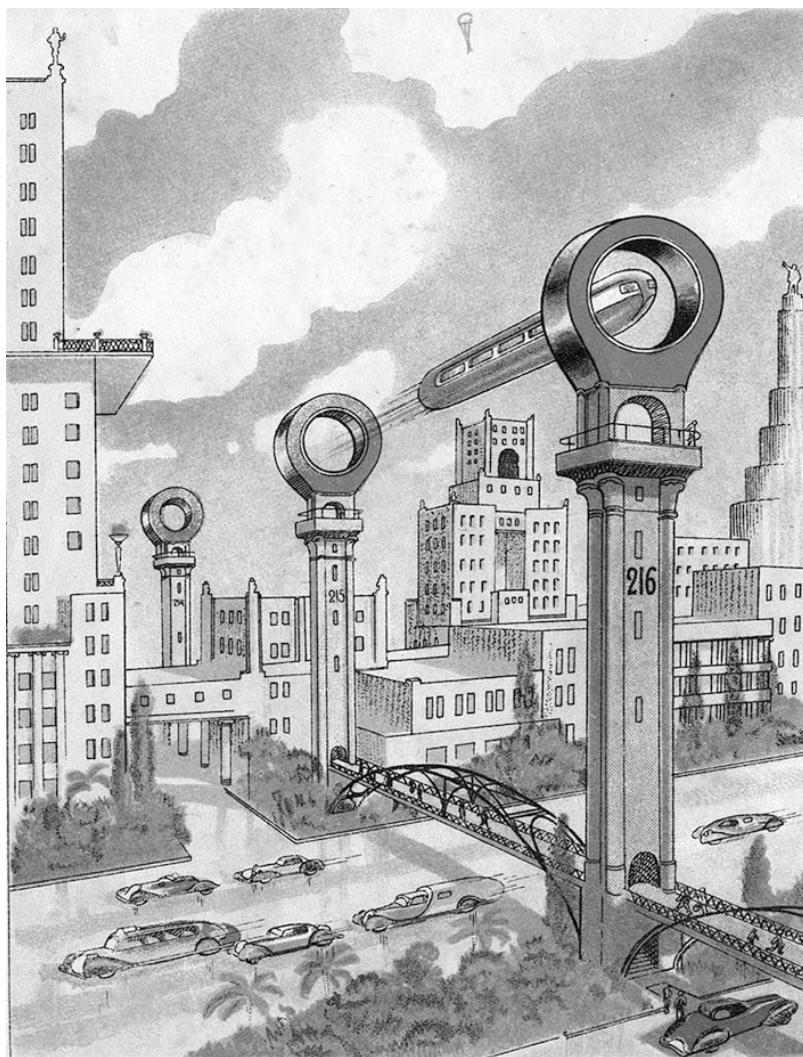
Наводнение в Москве, 1926 г.



“Столбы” - Владимирские ворота, открывавшие проход с Никольской улицы на Лубянскую площадь, 1920-е гг.



Лубянские ворота, 1930-е гг.



С. А. Лопатин "Москва 1950 года", 1924 г.



Вечер издательства “Узел”, конец 1925 - начало 1926 г.
Стоят: П. Орешин, П. Зайцев, П. Антокольский, Д. Петровский, Б. Пастернак, С. Шервинский, Поздняков, А. Чичерин, А. Толоконников. Сидят: В. Звягинцева, Н. Павлович, С. Федорченко, С. Парнок, М. Тумповская, С. Абрамов. М. Зенкевич.



Староконюшенный, 5, дом, где собиралась поэтическая артель “Узел”. Современное фото.



Экслибрис издательства. Художник В. Фаворский.



Борис Пастернак, начало 1930-х гг.



Зинаида Нейгауз, начало 1920-х гг.



Слева направо сидят: Г. Петников, неизвестный, Дм. Петровский. Стоят: неизвестный, Вл. Луговской. Крым, 1926 г.



Т. Луговская (стоит в центре, вторая слева) среди слушательниц художественных курсов, 1928 г.

монт, Бунин и др.) обратились сперва к Горькому, а потом к Роману Роллану с предложением осудить деятельность советского правительства, но, получив достойный отпор, разразились грубой бранью

(Из газет).



„И, полно, братец!“ тут другой ему сказал:

Карикатура из газеты “Читатель и писатель”, посвященная протесту деятелей эмиграции против цензуры в Советской России. Горький и Роллан бросают камни в собак (Бунина, Бальмонта, Ремизова).

Октябрьское шествие Федерации.



Карикатура на ФОСП (Федерация Объединенных Союзов писателей), 1929 г.



Первый всесоюзный съезд пролетарских писателей, 1928 г.
Среди делегатов: Л. Авербах, А. Афиногенов, В. Ставский, Ю. Либединский, А. Фадеев и др.



Ю. Либединский, Е. Трощенко, А. Фадеев, начало 1920-х гг.



Э. Багрицкий, Вс. Багрицкий, Н. Дементьев, начало 1930-х гг.



К. Зелинский и И. Сельвинский, конец 1920-х гг.



Совещание РАППа, конец 1920-х гг. В первом ряду в центре: Ю. Либединский, Л. Авербах, В. Ермилов.



Борис Левин, середина 1930-х гг.



Николай Эрдман, конец 20-х гг.



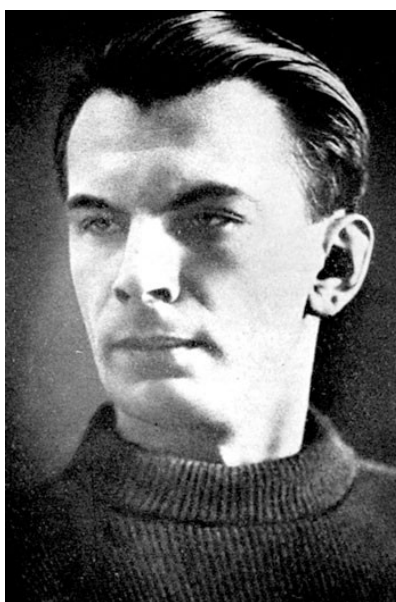
Александр Афиногенов, начало 1930-х гг.



А. Крученых и П. Васильев, начало 1930-х гг.



Николай Тихонов, 1920-е гг.



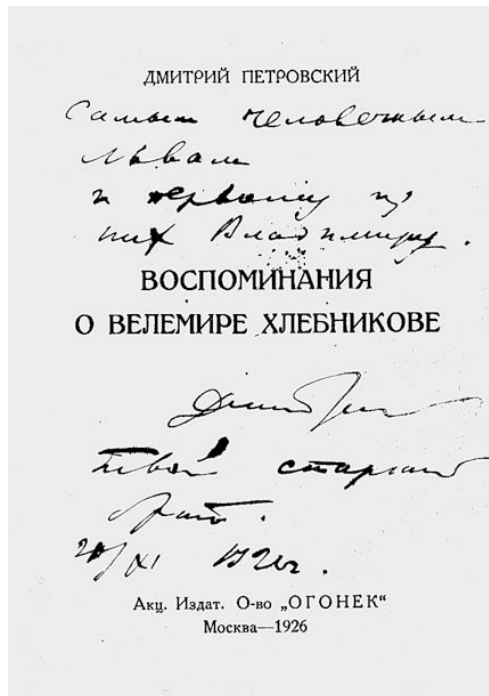
Владимир Луговской, начало 1930-х гг.



Тамара Груберт, конец 1920-х гг.



Дмитрий Петровский, 1920-е гг.



**Дарственная надпись Д. Петровского В. Луговскому на книге
"Воспоминания о Хлебникове".**

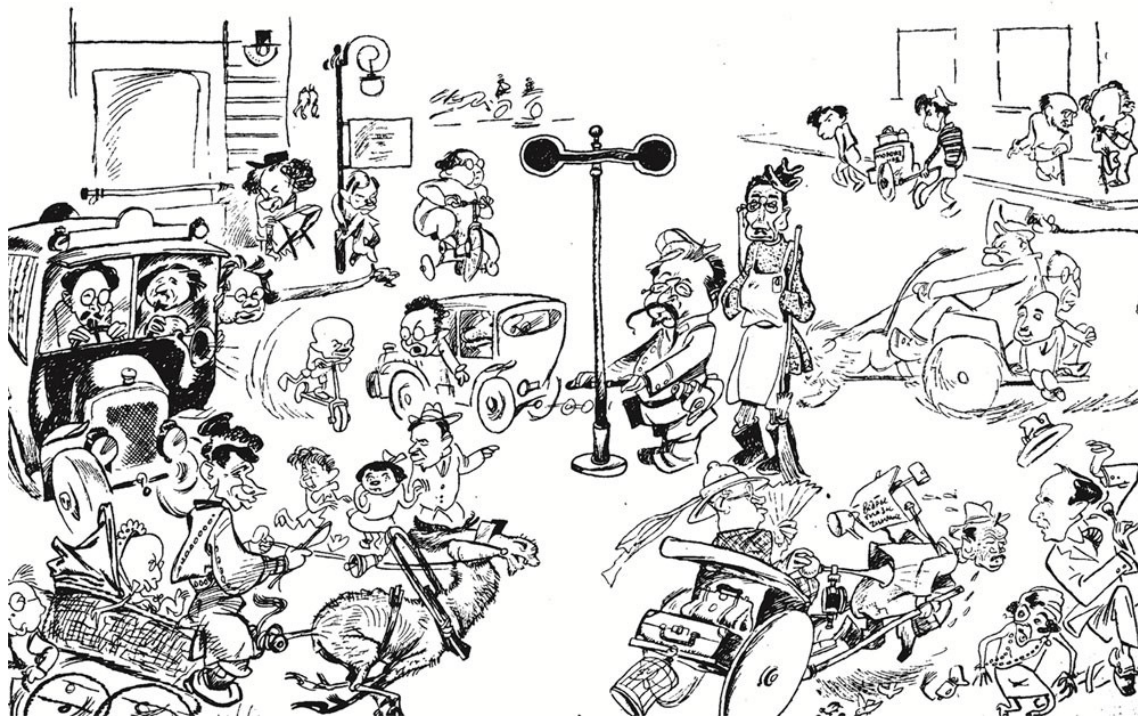


Марика Гонта, начало 1930-х гг.



Семен Кирсанов и Николай Асеев, начало 1930-х гг.

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ



Карикатура конца 1920-х гг.



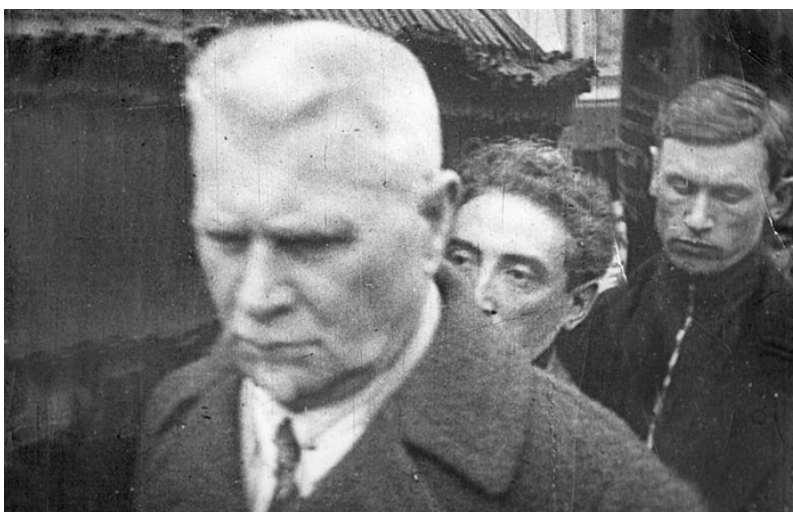
Владимир Силлов, 1927 г.



Ольга Петровская (Силлова), 1931 г.



Похороны Маяковского, 17 апреля 1930 г.



Ю. Либединский и А. Фадеев несут гроб с телом Маяковского.



Вл. Луговской с пограничниками, 1931 г.



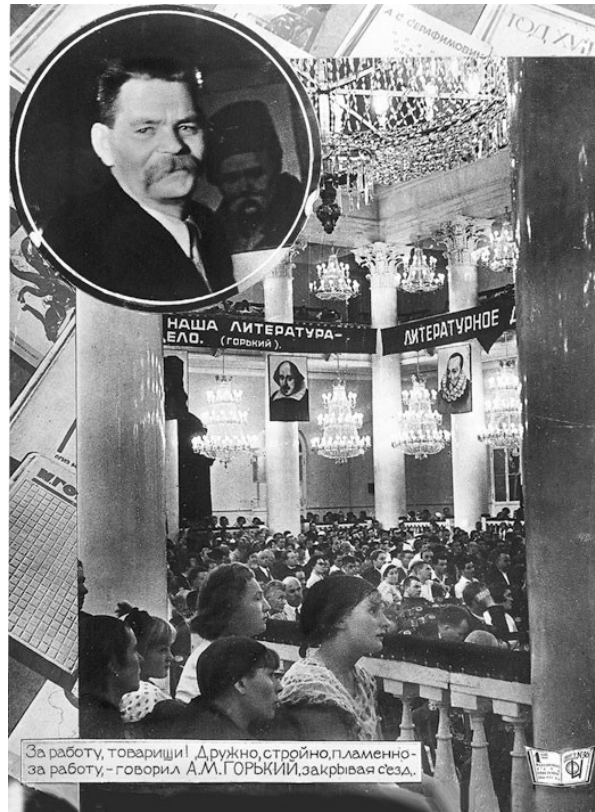
Конструктивисты: А. Квятковский, В. Асмус, Э. Багрицкий, К. Зелинский, Н. Адуев, И. Сельвинский, Б. Агапов, Вл. Луговской, В. Инбер, Г. Гаузнер, Е. Габрилович, конец 1920-х гг.



А. И. Ромм, 1942 г.



Колонный зал Дома союзов. Открытие Первого съезда советских писателей, август 1934 г.





Участники съезда слушают рассказ летчицы. Андре Мальро, И. Эренбург, Б. Пастернак, П. Яшвили, Ю. Герман(?), И. Сельвинский, Н. Тихонов.



Б. Пастернак перед портретом Сталина на Первом съезде писателей.



Б. Пастернак и А. М. Горький в президиуме съезда.



Вырезка из газеты с шаржами на С. Эули, П. Яшвили и Т. Табидзе, начало 1935 г.



Б. Пастернак. Начало 1930-х гг.



Т. Табидзе, середина 1930-х гг.



Н. Тихонов, Вл. Луговской и П. Павленко в Дагестане, 1933 г.



Вл. Луговской и А. Фадеев. Уфа, 1932 г.



А. Фадеев, конец 1920-х гг.



П. Павленко, 1930-е гг.



Ю. Либединский, М. Герасимова, А. Фадеев, Инна Беленькая. Сухуми, 1935-1936 гг. Этот снимок хранился у О. Ф. Берггольц, она говорила: "На нем все самоубийцы, кроме Юры (Либединского)".



Праздник в журнале "Огонек", 1930-е гг. Вл. Луговской. С. Чернова. С. Кирсанов.



Шаржи Б. Антоновского из книги “Парад бессмертных” (1934), посвященные Первому съезду писателей: Н. Тихонов, И. Эренбург, Б. Корнилов, В. Ставский.



Вл. Луговской, С. Чернова в группе писателей и чекистов, середина 1930-х гг.



М. Алигер, С. Васильев, Н. Тихонов на встрече с маршалом Блюхером, середина 1930-х гг.



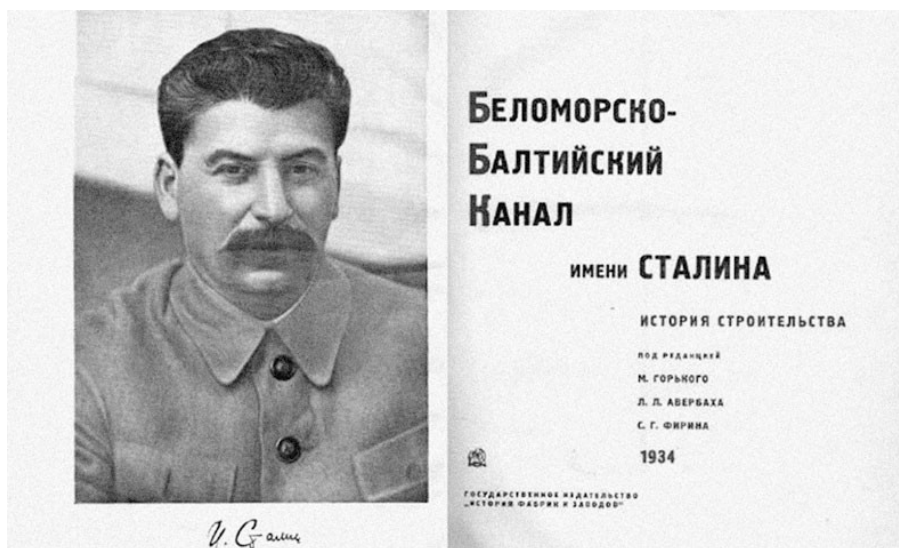
**В. Гольцев. Т. Табидзе. З. Бажанова. П. Антокольский,
середина 1930-х гг.**



**Б. Пастернак, З. Пастернак и Стасик Нейгауз в группе
отдыхающих. Одоёво, 1934 г.**



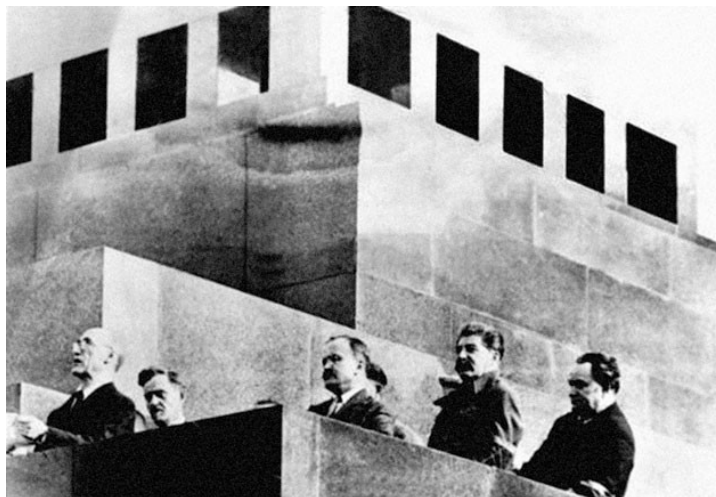
Горький на Беломорканале, 1933 г.



Титульный разворот книги “Беломорско-Балтийский канал имени Сталина”.



Андре Жид и Алексей Толстой, 1936 г.



Выступление А. Жида на похоронах М. Горького, 1936 г.

«МЕЙЕРХОЛЬД ПРОТИВ МЕЙЕРХОЛЬДОВЩИНЫ»

родородный артист республики Вс. Мейерхольд выступил 14 марта в театральном, в большом зале Лектория, с докладом: «Мейерхольд против прогололовщины». Мы приводим ту часть его выступления, в которой он изложил главный образ из своих работ и связанных с ними ошибок. Самозаписи Мейерхольда, во многом спорные, приводятся по записи театрального сотрудника «Литературной газеты». Театральная общественность Москвы ждёт от Мейерхольда выступления на театральной сессии, в котором от критики других театров он перейдет к более разнузданной самокритике.

мы «И. Правды» об искусстве не
поя появились до стахановского
ния, ни. Они вызваны стаханов-
измизацией, в них звучит голос
олозотой строителей социализма.
ос вос высоких требований к иску-
прозрачущий в Ц. О. нашей
и, при, прежде всего призывает
и, вть вкус, переключает те «вор-
за на которых остановились «ху-
ки, «ки, не намеревающиеся идти
е «золотой середины».

же «же эти художники? За праведоидити неделае. Переводчик о!» Шекспира А. Радлова и овещивши этой пьесы на сцене театра С. Радлов как бы и: «Вот наши нормы! Дальше орм орм ити не надо!»

есть статьи «Пряда» по вопро-судства, многие работники теат-стерстериаль. Как уберечься и малмализма и от натурализма? из риз руководителей театра ска-

собосовершенно, стремимся найти о сер. середину. Надо найти ее, и чет. чет в порядке». «...превращаться в творцов и сей. серединны».

ак, чк, чтобы создавать советскую ку. Ду. Для многих драматургов ая та тематика была той дымо-весовой, которая скрывала их ответственность. И получалось: а», та», у вахтанговцев. «Роллинз» —

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РОССИЯ»

седе с Рой Говардом. Понятие «государственное как всенародное» заставляет художников насторожиться. Мы забыли об искусстве как искусстве всенародном. Вместе с тем мы должны думать и о международном значении искусства. Мы часто экспортируем не те произведения искусства, что надо. Своими произведениями искусства мы должны помочь зарубежным товарищам в их борьбе.

Вот два широких и глубоких рус-

Критики не умели бороться за подлинное качество художественного произведения, за советскую классику, достоинства которой не исчерпывались бы одной тематикой. Погодин пишет плохие пьесы, хотя человек он способный. В других руках мог бы работать лучше. Его захвалили. Критики затушевали «Кармен» у Станиславского, я пошел, посмотрел — какое там богатство умных миниатюр. А рядом расхвалили подозрительную «Карменшутку и солдата» у Немировича-Данченко.

Сейчас критика прячется в кустах, но рано или поздно им придется выйти на свежий воздух и сказать, что они думают по основным вопросам искусства.

За все годы советского строительства мы не создали книги, в которой были бы даны четкие определения терминов по искусству. Огромное значение имеет искусство, искусство, искусство.

нас царит величайшая путаница в терминологии. Мы слишком много говорим о формализме вообще. Надо глубже вскрыть, что такое формализм на театре, что такое эпигонство, что за штука эклектика.

Правильно говорил тов. Ангаров, что формалистские выкрутасы связаны с неправильным пониманием художником содержания. Он иллюстрирует это примером из постановки Охлопкова «Аристокрыты», где режиссерский трюк с битьем тарелок опоясывал понятие социалистического соревнования.

Критика формализма вызвала у некоторых художников «орфофобию», боязнь формы. Формализм, мол, недопустим, так станем игнорировать форму, подобно критике, описанному Н. Тихоновым, который в произведении искусства, в стихотворении не умело вылавливал один лишь смысл. Надо понять, что между содержанием и формой — неразрывная связь.

Целенность, сцепленность **формы** и содержания обусловлена не какими-то техническими приемами художника, а вытекает из того, что основой искусства является человек. Произведения Бетховена и Бальзака волнуют нас потому, что в них — воля, мысль, чувства человека. Те, кто отрывает форму от содержания, наносят удар в сердце человека. И человек истекает кровью подобно скончанному Прометею.

Я перечислю свои работы — от «Зорь» до «Горе уму». В каждой из них есть ряд ошибок. Это — следствие громадного размаха, с которым я подходил к работе. Зингоны, эклектики, шарлатаны, беря отрицательные элементы шлама как самоцель, довели до абсурда отдельные приемы, отрывая форму от содержания, создали необходимость говорить о «мелер-



но догнать отдельные ценности, преувеличения, ошибки. Смотри «Лес», зритель улавливает: за каким тортом эдакий парик у героя? В спектаклях «Взблеск» улавливает чреватую замечательный тема. В оформлении «Ревизора» удивила раскраска, но не удивила психология персонажа. Так его называли публика. В самом деле никакого двойника в спектакле нет. Это ошибка. Есть засажив офицер. Но раз зритель принимает офицера за какую-то мистическую категорию, — значит мне не удалось раскрыть его значение. В «Мертвых душах» Гаврилкина, в «Мертвых душах» — парижанина, и крайне претенциозного, была механизированная убогая. Слы-

ЗА НОВУЮ ПОЧВУ
РЕЧЬ тов. М. ШАГИНЯН

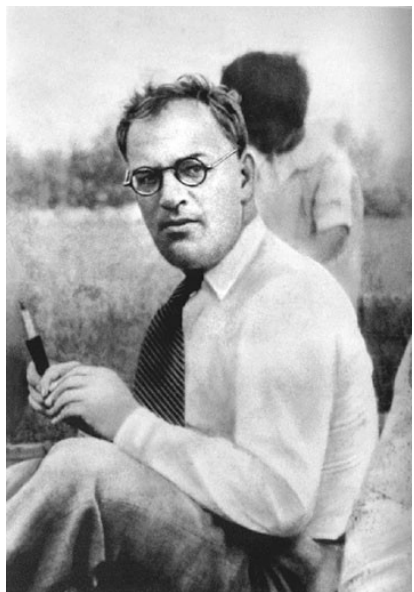


ЧУЖДОЕ ИСКУССТВО
ИЗ РЕЧИ тов.
Г. КОРАБЕЛЬНИКОВА

[illegible][illegible][illegible]

Вс. Рождественский, Б. Пастернак, Дм. Петровский, 1934 г.





Борис Пильняк, 1930-е гг.



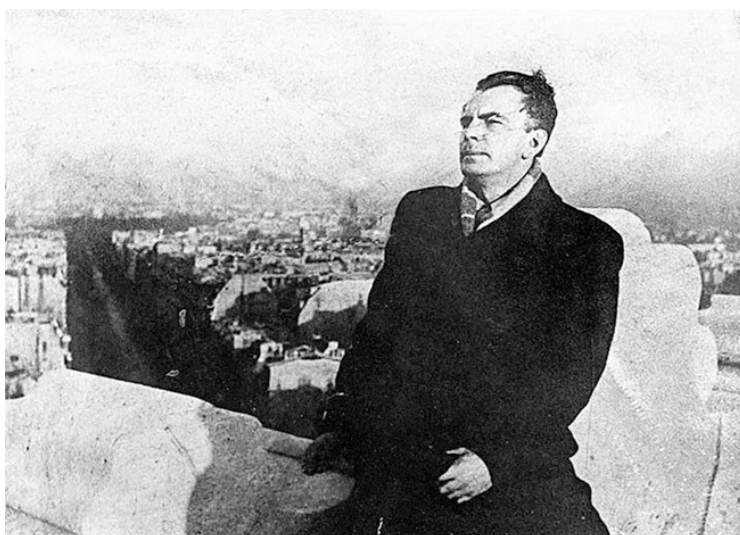
Борис Пильняк, 1930-е гг.



Приглашение на вечер Вл. Луговского в Париже, 1936 г.



Вл. Луговской в Париже. Шарж.



Вл. Луговской на крыше собора Парижской Богоматери.



А. Фадеев и А. Толстой. Париж, 1937 г.



Смерть Орджоникидзе. Фотография из газеты “Правда”, 1937 г.



С. Долматовская, Е. Долматовский. М. Белкина. Малеевка, 1939 г. Фотография сделана в день награждения поэта орденом.



Писатели и их жены на даче у Веры Инбер в Переделкине: Н. Адуев, А. Ариан, В. Инбер, Вс. Иванов, А. Афиногенов, И. Сельвинский, Ж. Гаузнер, Б. Сельвинская, Т. Иванова, Адуева, конец 1930-х гг.



Евгений Долматовский, 1930-е гг.



Маргарита Алигер, 1930-е гг.



Борис Пастернак. Переделкино, конец 1930-х гг.



Борис Пастернак. Переделкино, конец 1930-х гг.



Владимир Луговской. Ялта, конец 1930-х гг.



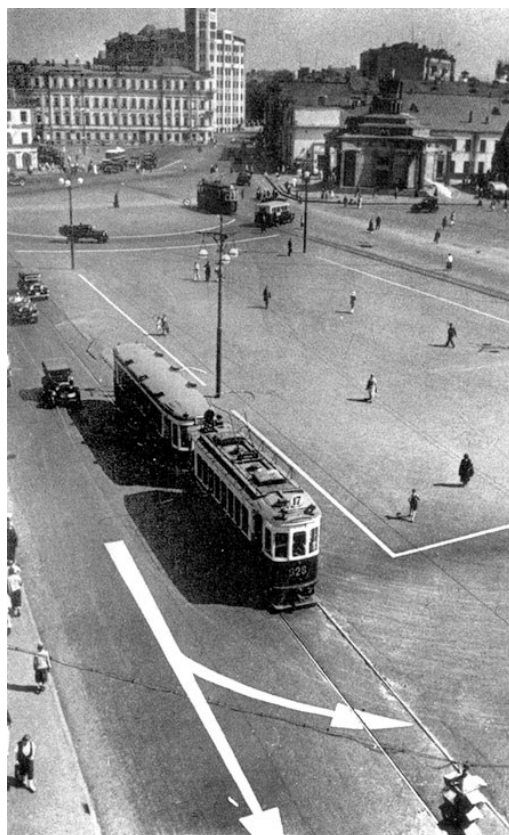
Пригласительный билет на Пленум правления Союза писателей СССР, посвященный 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина, 1937 г.



Обложка журнала "Крокодил" (1937, № 3). Рисунок Л. Бродаты.



Страстная площадь, 1930-е гг.



Трамвай на Арбатской площади, 1930-е гг.



“Москва будущего”. Гравюра на дереве П. Рябова, 1930-е гг.



Волхонка, Музей изобразительных искусств. Строительство метро, 1934 г.



Демонстрация возле снесенного храма Христа Спасителя, 1 мая 1932 г.



Берсенеvская набережная, Дом правительства, середина 1930-х гг.



Дом писателей в Лаврушинском переулке, конец 1930-х гг.



**Писательский дом в Нащокинском (пер. Фурманова), снимок
сделан перед сносом дома, 1970-е гг.**

notes

Сноски

1

Г. Козинцев. *«Черное, лихое время...»* М., 1994. С. 43.

2

К. Зелинский. *Вечер у Горького (26 октября 1932 года)* // Минувшее. Исторический альманах. Т. 10. М.; СПб., 1992. С. 110-111.

3

Тарасенков А. *Пастернак. Черновые записи. 1934-1939* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2005. Т. 11. С. 183.

4

Булгаков М. *Великий канцлер. Князь тьмы*. М., 2000. С. 529.

5

Любимов Н. *Неувядаемый цвет*. М., 2000. С. 228.

6

Цит. по: Андреевский Г. *Жизнь Москвы в сталинскую эпоху*. М., 2003. С. 77.

7

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

8

Булгаков М. *Дневник. Письма. 1914-1940*. М., 1997. С. 85.

9

РГАЛИ, Ф. 2813. Оп. 1. Ед. хр. 4.

10

Зайцев П. Н. *Первая Московская литературная газета «Московский понедельник»* // Минувшее. Исторический альманах. Т. 13. М., 1993. С. 55.

11

Зайцев П. Н. *Первая Московская литературная газета «Московский понедельник»*. С. 218.

12

Подробнее см.: Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел»*. 1925–1928. М., 2006.

13

Рукопись предисловия к антологии московских поэтов. Цит. по: П. Н. Зайцев. *Воспоминания* / Сост. М. Л. Спивак; вступ. ст. Дж. Малмстада, М. Л. Спивак. М., 2008. С. 17, 18.

14

Чичерин А. *Давние годы*. М., 1985. С. 267.

15

Парнок С. *Статьи. Письма. Стихи* // De visu. 1993. № С. 24.

16

Громова Н. Хроника поэтического издательства «Узел». С. 60-61.

17

РГАЛИ. Ф. 1720. Оп. 1. Ед. хр. 200.

18

Чичерин А. *Давние годы*. С. 267.

19

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 95.

20

<http://sites.utoronto.ca/tsq/02/romm.shtml>

21

Пастернак Б. *Избранное*: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 138.

22

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. М., 2000. С. 19.

23

Пастернак Б. *Письма к родителям и сестрам*. М., 2004. С. 236.

24

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 673.

25

РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед. хр. 108.

26

Цветаева М. *Собр. соч.:* В 7 т. М., 1995. Т. 7. С. 329.

27

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 356.

28

Семейный архив Пастернака.

29

ИМЛИ. Р. О. Ф. 15. Оп. 2. № 107.

30

Петровский Д. *Воспоминания о Хлебникове*. М., 1926. С. 21 (впервые: ЛЕФ. 1923, № 1).

31

Борис Пастернак и Сергей Бобров: письма четырех десятилетий // Встречи с прошлым. М., 1996. Вып. 8. С. 250.

32

Воспоминания о Борисе Пастернаке. С. 128, более полный вариант: Вопросы литературы. 1990, № 2. С. 51-52.

33

Пастернак Е. *Борис Пастернак. Биография*. М., 1997. С. 191.

34

Пастернак Е. *Борис Пастернак*. С. 191.

35

Там же.

36

Булгаков М. *Дневник*. С. 71.

37

Первый всесоюзный съезд советских писателей. М., 1990. С. 535.

38

Петровский. Воспоминания о Хлебникове. С. 3.

39

Там же.

40

Петровский. Воспоминания о Хлебникове. С. 8.

41

Хлебников В. *Творения*. М., 1986. С. 564–565.

42

Цит. по: Крусанов А. *Русский авангард*. М., 2003. С. 76.

43

См.: Приложение. С. 693.

44

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 352.

45

Там же. С. 350.

46

Там же. С. 365.

47

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 514.

48

См.: Приложение. С. 487.

49

Е. Черняк. *Б. Пастернак. Из воспоминаний* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: Т. 11. С. 134–135.

50

М. Гонта. *Мартирик* // Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 256–257.

51

М. Гонта. *Мартирик*. С. 256–257.

52

Личный архив автора.

53

Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. М., 1998. С. 305.

54

Неоконченное сочинение Михаила Булгакова. Новый мир. 1987. № 8.

55

Ермолинский С. *О времени, о Булгакове, о себе.* М., 2001. С. 56.

56

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 685.

57

Ермолинский С. О времени, о Булгакове, о себе. С. 57.

58

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 685.

59

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 685–686.

60

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 676.

61

Лежнев И. *Записки современника.* М., 1935. С. 250.

62

Лежнев И. Записки современника. С. 252.

63

Там же.

64

Неоконченное сочинение Михаила Булгакова.

65

Семейный архив В. Луговского-Седова.

66

Там же.

67

Семейный архив Луговского-Седова.

68

Там же.

69

Семейный архив Луговского-Седова.

70

Там же.

71

Семейный архив Луговского-Седова.

72

См.: Приложение. С. 477.

73

Пастернак Б. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 271.

74

Литературные записки. 1922. № 3. Цит. по: Фрезинский Б. *Судьбы Серапионов*. СПб., 2003. С. 490.

75

Воспоминания о Н. Тихонове. М., 1986. С.10.

76

Богомолов Н. *К изучению литературной жизни 20-х годов* // Седьмые Тыняновские чтения. Рига; М., 1995–1996. С. 294.

77

Пастернак Б. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 181.

78

Чуковский К. *Дневники. 1901–1929. Т. 1. М., 1997. С. 327–328.*

79

Пастернак Б. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 181.

80

Чуковский К. *Дневники*. Т. 1. С. 328.

81

Цит. по: Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел»*. С. 19.

82

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 732–733.

83

Цит. по: Хренков Дм. *Тихонов в Ленинграде*. Л., 1984. С. 51.

84

Либединская Л. *Зеленая лампа и многое другое*. М., 2000. С. 19.

85

См.: Приложение. С. 471.

86

Либединская Л. *Зеленая лампа и многое другое*. С. 84.

87

История отечества в документах. 1917–1993. М., 1994. С. 54.

88

Асеев Н. *К творческой истории поэмы «Маяковский начинается»* / Вступ. статья к публикации А. М. Крюковой // Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 488.

89

Любимов Н. *Неувядаемый цвет*. С. 208.

90

РГАЛИ. Ф. 1610. Оп. 3. Ед. хр. 24.

91

Цит. по: Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел»*. С. 64.

92

Леф. 1925. № 3. С. 100.

93

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 608.

94

Шаламов В. *Воспоминания*. М., 2005. С. 89.

95

Зелинский К. *Легенды о Маяковском*. М., 1965. С. 8–9.

96

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 463.

97

Тимофеев Л. И., Поспелов Г. Н. *Устные мемуары* / Сост. и пред. Н. А. Панькова. М., 2003. С. 58–59.

98

Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел»*. С. 59.

99

Берковский Н. Я. Красная газета. 10 окт. 1929 г.

100

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 608.

101

Габрилович Е. *Четыре четверти*. М., 1975. С. 132.

102

Семейный архив Луговского-Седова.

103

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 463.

104

Семейный архив Луговского-Седова.

105

Чуковский К. *Дневник*. Т. 1. С. 49.

106

Зелинский К. *Легенды о Маяковском*. С. 7.

107

РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 4. Ед. хр. 2147.

108

Данин Д. *Бремя стыда*. М., 1997. С. 380.

109

РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 9.

110

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

111

Там же. Далее Дневник Гаузнера цитируется по этому источнику.

112

РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 9.

113

РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 9.

114

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 549.

115

Семейный архив Луговского-Седова.

116

Луговской В. *Собр. соч.*: В 3 т. М., 1986. Т. 3. С. 501.

117

Семейный архив Луговского-Седова.

118

Инбер В. *Записки многих лет*. М., 1964. С. 14.

119

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 73.

120

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 198–199.

121

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 268–269.

122

Там же. С. 326.

123

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 430.

124

Семейный архив Луговского-Седова.

125

Государственный музей Маяковского (Рукописный отдел. 11-358).

126

Чурилин Т. *Встречи на моей дороге* / Вступ. ст. Н. Яковлевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 10. М., 2004. С. 468.

127

Крученых А. *Наш выход*. М., 1996. С. 131.

128

Либединская Л. *Зеленая лампа и многое другое*. С. 27.

129

Любимов Н. *Неувядаемый цвет*. С. 23.

130

Булгаков М. *Великий канцлер. Князь тьмы*. С. 182.

131

Семейный архив Луговского-Седова.

132

<http://www.rae.ru/monographs/60-2386>

133

Брик Л. *Пристрастные рассказы*. Н. Новгород., 2003. С. 196.

134

Семейный архив автора.

135

Семейный архив Т. Луговской.

136

Власть и интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. М., 1999. С. 105.

137

Пастернак Б. *Люди и положения* // Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 331.

138

Петровская О. *Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: Т. 11. С. 105.

139

Семейный архив Луговского-Седова.

140

Неизвестная Россия. М., 1992. Т. 2. С. 167.

141

Мысли о смерти (*фр.*).

142

Слово в движении и движение в слове. Письма Бенедикта Лившица / Публикация П. Нерлера и А. Парниса // Минувшее. Исторический альманах. Т. 8. М., 1989. С. 202–203.

143

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

144

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 463.

145

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

146

Чуковский К. *Дневники*. Т. 2. С. 9.

147

Письмо Л. Д. Троцкого о положении на книжном рынке художественной литературы. 25 июня 1922 г.
http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220625troc.html

148

Сельвинский И. *Встречи с Маяковским*. Октябрь. 1963. № 9.

149

Зелинский К. *Легенды о Маяковском*. С. 26.

150

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 183.

151

Там же.

152

Белая Г. *Дон-Кихоты 20-х годов*. М., 1986. С. 286.

153

Левин Б. *Юноша*. М., 1987.

154

Каверин В. *Эпилог*. М., 1989. С. 84.

155

Бажанов Б. *Воспоминания бывшего секретаря Сталина*. М., 1990. С. 95-96.

156

Вокруг смерти Горького. С. 258 (по ук.).

157

Исбах А. *На литературных баррикадах*. М., 1964. С. 204.

158

Семейный архив Луговского-Седова.

159

Там же.

160

Семейный архив Луговского-Седова.

161

Фадеев А. *Письма и документы* / Сост., вступ. статья и комм. Н. И. Дикушиной. М., 2001. С. 31.

162

РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 626.

163

Луговской В. *Собр. соч.* Т. 3. С. 506.

164

РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 908.

165

Семейный архив Луговского-Седова.

166

РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 181.

167

Личный архив автора.

168

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 183.

169

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 183.

170

Герасимова В. *Беглые записи*. Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 129.

171

Олеша Ю. *Книга прощания*. М., 1999. С. 306.

172

Власть и интеллигенция. С. 192.

173

Горький и советские писатели. Неизданная переписка //
Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 32.

174

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

175

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. Современная драматургия. 1993.
№ 1. С. 241.

176

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

177

Воспоминания о Борисе Пастернаке. С. 389.

178

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 411.

179

Там же. С. 427.

180

Неизвестный Горький. М., 1994. С. 172.

181

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 390.

182

Пастернак Б. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. М., 1993. С. 264.

183

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 469.

184

Черняк Е. *Пастернак. Из воспоминаний* // Пастернак Б. *Полн. собр. соч.*: Т. 11. С. 146.

185

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 634.

186

ГЛМ. Ф. 143. Оп. 1. Д. 29.

187

Архив А. С. Коваленковой.

188

Пастернак Б. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 357.

189

Цит. по рукописи: РГАЛИ. Ф. 2847. Оп. 1. Ед. хр. 15.

190

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 533.

191

Там же. С. 553.

192

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 533.

193

РГАЛИ. Ф. 1720. Оп. 1. Ед. хр. 65.

194

Пастернак. Письма к родителям и сестрам. С. 572.

195

Семейный архив Луговского-Седова.

196

Семейный архив Луговского-Седова.

197

Семейный архив Луговского-Седова.

198

Там же.

199

Там же.

200

Там же.

201

Семейный архив Луговского-Седова.

202

Там же.

203

Семейный архив Луговского-Седова.

204

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 183.

205

Булгаков М. Великий канцлер. Князь тьмы. С. 61.

206

Булгаков М. Великий канцлер. Князь тьмы. С. 61.

207

Мандельштам О. *Стихотворения. Проза* / Предисл. и комм. М. Л. Гаспарова. М., 2001. С. 416.

208

Мандельштам Н. *Воспоминания*. С. 225.

209

Исбах А. На литературных баррикадах. С. 334.

210

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 543.

211

Пастернак Б. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 378.

212

Коваленков Ал. *Голос друга*. Литературная Россия. 1966. № 9.

213

Семейный архив Луговского-Седова.

214

День. Киев. 1998. 9 сентября.

215

Там же.

216

РГАЛИ. Ф. 1029. Оп. 1. Ед. хр. 79.

217

РГАЛИ. Ф. 1029. Оп. 1. Ед. хр. 79.

218

Семейный архив Луговского-Седова.

219

Павленко П. А. *Из писем другу*. Знамя. 1968. № 4. С. 127.

220

РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 270.

221

Ильф И. *Записные книжки*. М., 2000. С. 522.

222

П. А. Павленко в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 31-32.

223

Там же.

224

Павленко П. А. *Из писем другу*. С. 134.

225

Цит. по: Фрезинский Б. *Судьбы Серапионов*. СПб., 2003. С. 268.

226

Государство и писатели. Документы. 1925–1938. М., 1997. С. 122.

227

Семейный архив В. Луговского.

228

Цит. по: Нерлер. П. *Слово и «дело» Осипа Мандельштама*. М., 2010. С. 98.

229

Олеша Ю. *Книга прощания*. М., 1999. С. 251.

230

Павленко П. А. *Из писем другу*. С. 135.

231

Семейный архив Луговского-Седова.

232

Семейный архив Луговского-Седова.

233

Тихонов Н. *Двойная радуга*. М., 1964. С. 246.

234

Семейный архив Луговского-Седова.

235

Омаров М. *Сын революции*. Комсомолец Дагестана. 1988. № 6.

236

Павленко П. А. *Из писем другу*. С. 139.

237

Омаров М. Сын революции.

238

Павленко П. А. *Из писем другу*. С. 131.

239

Семейный архив Пастернака.

240

Пастернак Б. «Чтоб не скучали расстоянья...». С. 235.

241

Пастернак Б. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. С. 135.

242

Там же. С. 135.

243

Табидзе Т. *Статьи, очерки, переписка*. Тбилиси, 1964. С. 249.

244

РГАЛИ. Ф. 3100. Оп. 1. Ед. хр. 150.

245

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 703.

246

Семейный архив Луговского-Седова.

247

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 725.

248

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 1. Ед. хр. 102.

249

Иванова Т. Еще о «наследстве», о «долге» и «праве». Был ли Всеволод Иванов «ждановцем»? // Книжное обозрение. 1989. № 34 (25 августа). С. 6.

250

Авдеенко А. *Отлучение* // Знамя. 1989. № 3-4. Далее повесть А. Авдеенко цитируется по этому изданию.

251

«О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А<лексем> Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я

говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М<андельштама>, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т. д. Моя оценка О. Мандельштама: он – первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он – безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т. д. Т. к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он «наблудил», то я решил тебе написать и об этом. Прости за длинное письмо. Привет. Твой Николай. // Р. С. О Мандельштаме пишу еще раз (на об<ороте>), потому что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М<андельштам>а и никто ничего не знает». // Резолюция Сталина: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...» (Нерлер П. *Слово и «дело» Осипа Мандельштама*. С. 39.)

252

Мандельштам Н. Я. *Воспоминания*. С. 153–154.

253

РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 73.

254

РГАЛИ. Ф. 2208. Оп. 2. Ед. хр. 7.

255

Первый съезд писателей. М., 1990. С. 535.

256

Там же.

257

Луговской В. *Собр. соч.* Т. 3. С. 361.

258

Власть и интеллигенция. С. 236.

259

Там же. С. 238.

260

Шварц Е. *Живу беспокойно... Из дневников.* Л., 1990. С. 584–585.

261

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 15.

262

Пастернак Б., Пастернак З. *Письма к жене.* С. 281.

263

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 596.

264

Пастернак Ж. *Воспоминания* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: Т. 11. С. 25, 27.

265

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 5. С. 229.

266

Берлин И. *Встречи с русскими писателями* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: Т. 11. С. 490–491.

267

Пастернак Б., Пастернак З. *Письма к жене.* С. 149.

268

Пастернак Б., Пастернак З. *Письма к жене.* С. 150.

269

Семейный архив Луговского-Седова.

270

Цветаева М. *Собр. соч.* Т. 7. С. 552.

271

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С 49.

272

Цветаева. *Собр. соч.* Т. 6. С. 277.

273

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С 44.

274

Берлин И. *Встречи с русскими писателями* // Пастернак Б. *Полн. собр. соч.*: Т. 11. С. 491.

275

Пастернак Б. *Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак.* С. 282.

276

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой. Т. 3. 1963–1966.* С. 124.

277

Письмо от 3 марта 1953 года. Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 720.

278

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 10. С. 406.

279

<http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=7774>

280

Надеждина Н. А. *«В памяти встает...»* // Китеж: проза, поэзия, драматургия, воспоминания. М., 2006. С. 407-408.

281

Семейный архив Луговского-Седова.

282

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 161.

283

Цит по: Фрезинский Б. За кулисами триумфа // Все это было в 20 веке. Заметки на полях истории. Винница, 2006. С. 441.

284

Семейный архив Луговского-Седова.

285

Там же.

286

Семейный архив Луговского-Седова.

287

Семейный архив Луговского-Седова.

288

Семейный архив Луговского-Седова.

289

Семейный архив Луговского-Седова.

290

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 75.

291

Файман Г. Люди и положения. К шестидесятилетию дискуссии о формализме // *Независимая газета*. 14 марта 1996 г.

292

Файман Г. Люди и положения. К шестидесятилетию дискуссии о формализме.

293

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 5. С. 457.

294

А. Жид. *Возвращение из СССР.*
http://royallib.com/read/gid_andre/vozvrashchenie_iz_sssr.html#0

295

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 65.

296

Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей XX века. 1920–1970. М., 2002. С. 363.

297

РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2138.

298

А. Жид. *Возвращение из СССР.*

299

Власть и художественная интеллигенция. С. 348.

300

Власть и художественная интеллигенция. С. 349.

301

Борис Пастернак в воспоминаниях современников. С. 159.

302

Святополк-Мирский Д. *Поэты и Россия*. СПб., 2002. С. 211.

303

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 7. Ед. хр. 11.

304

См.: Приложение. С. 500.

305

Цит. по: Пастернак Е. *Борис Пастернак*. С. 533.

306

Гладков А. *Встречи с Пастернаком*. М., 2002. С. 56.

307

Власть и художественная интеллигенция. С. 349.

308

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 733.

309

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 515.

310

Власть и интеллигенция. С. 349.

311

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 3. Ед. хр. 34.

312

Семейный архив Луговского-Седова.

313

Семейный архив Луговского-Седова.

314

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. М., 2001. С. 217.

315

Семейный архив А. С. Коваленковой.

316

Архив автора.

317

Старикова Е. *В наших переулках*. М., 2003. С. 360.

318

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 243.

319

Пастернак. Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 115.

320

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 243.

321

Там же.

322

Семейный архив Луговского-Седова.

323

Луговской В. *Быть эхом великого народа* // Молодая гвардия. 1937. № 4.

324

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 811.

325

РГАЛИ. Ф. 2192. Оп. 1. Ед. хр. 187.

326

РГАЛИ. Ф. 2192. Оп. 1. Ед. хр. 187.

327

Цит. по: Роговин В. 1937. М., 1996. С. 203.

328

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 1. Ед. хр. 76.

329

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 1751.

330

Шнейдерман Э. *Дело Бенедикта Лившица* // Звезда. 1996. № 1. С. 96.

331

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 65.

332

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 246.

333

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 65.

334

Семейный архив Луговского-Седова.

335

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 250.

336

Там же. С. 224.

337

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 227.

338

Булгакова Е., Булгаков М. *Дневник Мастера и Маргариты*. С. 286.

339

Цит. по: Роговин В. 1937. С. 402.

340

Пастернак Б. *Письма к жене*. С. 295.

341

Семейный архив Луговского-Седова.

342

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 156.

343

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 3. Ед. хр. 34.

344

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 156.

345

Гонта М. *Мартирик* / Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 260.

346

Антонов-Овсеенко А. *Берия*. М., 1989.

347

Цит. по: Г. Цурикова. *Тициан Табидзе. Жизнь и поэзия*. СПб., 2015. С. 280-282.

348

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 117-118.

349

Там же. С. 141.

350

Каверин В. *Эпилог*. М., 1989. С. 278–279.

351

Цит. по: Шнейдерман Э. *Дело Бенедикта Лившица*. С. 96.

352

Там же. С. 98.

353

Тихонов Н. *Время героев*. М., 1984. С. 9.

354

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 116.

355

РГАЛИ, Ф. 2530. Оп. 1. Ед. хр. 161.

356

Воспоминания современников о Б. Л. Пастернаке. С. 173.

357

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 161.

358

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 233-234.

359

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 161.

360

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 236-237.

361

Там же.

362

Там же.

363

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 218.

364

Тарасенков А. *Пастернак. Черновые записи. 1934–1939* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: Т. 11. С. 173.

365

РГАЛИ. Ф. 2192. Оп. 1. Ед. хр. 187.

366

«Счастье литературы». Государство и писатели. Документы 1925–1938. М., 1997. С. 261.

367

Пастернак Б., Пастернак З. *Письма к жене*. С. 293.

368

Чуковский К. *Дневники*. Т. 2. С. 124.

369

Афиногенов А. *Дневник 1937 года*. С. 221–223.

370

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 267.

371

Государство и писатели. С. 261.

372

Тарасенков А. *Пастернак* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: Т. 11. С. 183.

373

РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 176.

374

Цит. по: Наумов Л. *Борьба в руководстве НКВД*. М., 2003. С. 30.

375

Булгаков М. *Собр. соч.*: В 8 т. Т. 5. М., 2004. С. 533.

376

Орлов А. *Тайная история сталинских преступлений*. М., 1991. С. 25.

377

Цит. по кн.: Гуль Р. *Дзержинский*. М., 1992. С. 35.

378

Мандельштам Н. Я. *Воспоминания*. С. 152.

379

Цит. по: Валюжанич А. О. М. Брик. *Материалы к биографии*. Акмола, 1993. С. 242.

380

Архив автора.

381

Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. С. 253.

382

Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. С. 253.

383

Там же. С. 96.

384

Мандельштам Н. Я. *Вторая книга*. М., 1990. С. 149.

385

Катанян Г. «*Иных уж нет, а те далече...*». // *Сохрани мою речь*. Вып. 3 (1). М., 2000. С. 224.

386

Катанян Г. «Иных уж нет, а те далече...». С. 224.

387

Там же.

388

Катанян Г. «Иных уж нет, а те далече...». С. 224.

389

Мандельштам Н. Я. *Вторая книга*. С. 149.

390

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 161.

391

Заболоцкий Н. *История моего заключения*. М., 1989. С. 8.

392

Заболоцкий Н. История моего заключения. С. 8.

393

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 3. Ед. хр. 34.

394

Заболоцкий Н. История моего заключения. С. 10.

395

Семейный архив Татьяны Луговской.

396

Там же.

397

РГАЛИ. Ф. 1495. Оп. 1. Ед. хр. 80.

398

Семейный архив Луговского-Седова.

399

РГАЛИ. Ф. 2252. Оп. 1. Ед. хр. 200.

400

РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 176.

401

РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 908.

402

Там же.

403

РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 908.

404

Семейный архив Луговского-Седова.

405

Там же.

406

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 711.

407

Власть и интеллигенция. С. 413.

408

См.: Приложение. С. 516.

409

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 811.

410

Цит. по: Пастернак Е. *Борис Пастернак*. С. 549.

411

Цит. по: Пастернак Е. *Борис Пастернак*. С. 551.

412

Подробнее см.: Чудакова М. *О последнем замысле Булгакова* // Седьмые Тыняновские чтения. Рига; Москва. 1995–1996.

413

Луговская Т. *Как помню...* С. 244.

414

Булгакова Е., Булгаков М. *Дневник Мастера и Маргариты*. С. 554.

415

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 65.

416

Гладков А. Встречи с Пастернаком. С. 77.

417

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 65.

418

Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 9. С. 421.

419

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 183.

420

РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 811.

421

Семейный архи Луговского-Седова.

422

«Бизнес» – сборник конструктивистов, изданный в 1929 году.

423

Имеется в виду статья: Ломоян Н. *Уткинизм и политграмота* // Литературная газета. 1929. № 35. С. 2.

424

Валерия Анатольевна Герасимова – жена А. А. Фадеева.

425

Сузи (Суза) – Сусанна Михайловна Чернова, вторая жена Луговского.

426

Вера Казимировна Кетлинская.

427

Петр Андреевич Павленко.

428

Сусанна Михайловна Чернова.

429

Григорий Павлович Широков – первый муж Т. А. Луговской.

430

Татьяна Александровна Луговская.

431

Поэма В. Луговского.

432

Имеется в виду дискуссия о формализме.

433

В это время Тихонов работал над сценарием фильма «Друзья» для режиссера Льва Арнштама.

434

Дмитрий Васильевич Петровский.

435

Всеволод Вячеславович Иванов.

436

Марианна Анатольевна Герасимова – сестра Валерии Герасимовой.

437

Ирина Соломоновна Голубкина – близкий друг В. Луговского, мать его дочери Л. В. Голубкиной.

438

П. Павленко женился на дочери драматурга К. Тренева Наталье.

439

Речь идет о напечатанном в газете «Правда» 5 ноября 1938 года (№ 306) фельетоне В. Катаева «Выдохи и вдохи» на последний сборник В. Луговского.

440

Стихотворение 1937 года.

441

В «Литературной газете» 20 ноября 1938 года В. Лебедев-Кумач выступил в защиту В. Луговского.

442

Анатолий Кузьмич Тарасенков, в это время он предлагал М. Алигер работу в штате журнала «Знамя».

443

Михаил Львович Матусовский.

444

Павел Григорьевич Антокольский.

445

Евгений Аронович Долматовский.

446

Архив автора.

447

Архив Пастернака.

448

Розалия Исидоровна Пастернак – пианистка, мать Б. Л. Пастернака.

449

Ошибка: К. Ф. Неслуховский был инспектором и преподавателем Владимирского юнкерского пехотного училища.

450

Имеется в виду Лариса Михайловна Рейснер.

451

Из архива Луговского-Седова.

452

Из трех моих братьев один замучен белыми в Валуйках в октябре 1918 года, два других брата – большевики с 1917 года. (*Прим. Дм. Петровского.*)

453

Мемуары Б. Лившица назывались «Полутораглазый стрелец».

454

Стихи Маяковского и Пастернака по поводу войны. (*Прим. Дм. Петровского.*)

455

Изданные в г. Городня в 1921 году в качестве книги черновики моих юношеских стихов (сборник «Пустынная осень») в большинстве неправильно датированы: – они написаны не позже 1917 года (и вообще не имеют никакой цены, определяющей мое поэтическое лицо). Я не возражал, когда книжный магазин на Арбате, куда был привезен тираж этой книги, решил отоплаться этим тиражом. Хотя осень 1921 года, когда это все происходило, была еще пустынна в нашей

голодающей, неокрепшей стране, но солнцем ее согревал ум Ленина, следя за которым и идя за которым отогревались люди, верившие в будущее, сделавшееся настоящим, – благодаря верности его учеников – сегодняшней нашей – несокрушимой силы страной. (Прим. Дм. Петровского.)

456

Неустановленное лицо.

457

Ярослав Васильевич Смеляков.

458

В это время Маргарита Алигер въехала с мужем Константином Макаровым-Ракитиным в отдельную квартиру в композиторский дом на Миусской улице.

459

В доме отца Марии Белкиной (где жил и Тарасенков) на Конюшках были две смежные комнаты, что по тем временам казалось невероятной роскошью. Кроме того, отец Белкиной, художник-оформитель, собирал старые вещи, что в конце 30-х считалось мещанством.

460

Н. Асеев говорит о тех, кто исповедует рапповские идеи в литературе.

461

Константин Дмитриевич Макаров-Ракитин, муж М. Алигер.

462

Даниил Семенович Данин.

463

Книга стихов «Железная дорога» вышла в 1939 году.

464

Евгений Аронович Долматовский.

465

Пьеса Леси Украинки, по мотивам «Каменного гостя» Пушкина в переводе М. Алигер шла во многих театрах.

466

Неустановленное лицо.

467

Анатолий Кузьмич Тарасенков и Мария Иосифовна Белкина.

468

Софья Григорьевна Долматовская (Караганова).

469

Сусанна Михайловна Чернова, вторая жена В. Луговского.

470

Первый ребенок М. Алигер умер в 1938 году. В автобиографии она описывала это несчастье как переломное в своей жизни: «И вот тогда меня постигло несчастье, страшнее которого ничего не могло быть, после долгой и тяжелой болезни умер мой маленький сын. Горе, потрясшее меня, перевернув мою душу, открыло, видимо, новые источники жизненной и творческой энергии, и меня словно что-то швырнуло в работу».

471

Неустановленное лицо.

472

Михаил Львович Матусовский.

473

Умерший ребенок М. Алигер.

474

Алексей Иванович Фатьянов.

475

В 1940 г. у М. Алигер и К. Макарова родилась дочь Татьяна.

476

Адель Марковна Долматовская, мать Е. Долматовского.

477

Неустановленное лицо.

478

Возможно, речь идет о С. Л. Соболеве.

479

Имеются в виду актеры Театра рабочей молодежи.

480

Речь идет о сборнике стихов «Железная дорога».

481

Савва Евсеевич Головановский.

482

Леонид Соломонович Первомайский.

483

Перепуганные Кронштадтом, большевики стремились представить это восстание звеном общего контрреволюционного заговора, для чего заговорщиками – кроме офицеров, генералов, профессоров – были представлены два кронштадтских моряка. Остальные, в том числе и Гумилев, были расстреляны для вящей убедительности.

484

Все они потом были ошельмованы и уничтожены – не за участие в этой преступной революции, конечно.

485

Впрочем, самого Родова я не раз встречал в Доме литераторов. Это было в середине то ли сороковых, то ли пятидесятых. Значит, уцелел. Я с ним не был знаком, но помню, что вид у него был самолюбиво-надутый и жалкий.

486

Рапповцами были и хорошие писатели – Александр Фадеев, Юрий Либединский и Афиногенов, никакими «проработками» никогда не занимавшиеся. Тогда еще и Фадеев этим не занимался, да и потом поневоле. Но это как-то не влияет на наше отношение к тому, что стоит за этой аббревиатурой.